

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ



ВЛАДИМИР

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

КОРНИЛОВ

**ВЛАДИМИР
КОРНИЛОВ**

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

РОМАН



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1990

ББК 84Р7—4
К67

К $\frac{4702010201-062}{М172(03)-90}$ 92—90

ISBN 5—239—00842—6

© В. Н. Корнилов. 1990

Часть первая

ПОЛК И ГОРОД

На холоде и в тепле

Хотя в феврале день пехоты выпал на среду, с самого утра снег сверкал по-воскресному и смерть неохота было загорать в казарме. Так и тянуло надраить сапоги и бляху и подкатиться к старшине за увольнительной.

Но полк был особый. Стоял на отшибе — в тридцати километрах от районного городка, в шестидесяти от столицы, и молодой командир части, красивый, невероятно длинноногий подполковник Ращупкин, не выпускал солдат за проволоку.

— Нечего им там делать,— вдалбливал Ращупкин своим офицерам.— Всякое умаление пролетарской идеологии, учат нас, ведет к усилению буржуазной, и чем по избам самогоном надуваться, пусть налегают на спорт. Вам же самим спокойней,— улыбался подполковник всем своим вытянутым, точно у лошади, лицом.

Так что из всего полка за проволоку выбирались одни шоферы да ефрейтор Гордеев. С прошлой весны определенный почтальоном, Гордеев каждый день, правда не помногу, гулял в райцентре, и тот ему даже пообрыдл. Тем паче что у Гордеева в самом полку завелась женщина.

Полк был не просто особый. Гордеев служил по третьему году, успел поменять прорву частей, а такой чудной не встречал. И лишнюю четверть тут прибавляли к жалованью (считалось вроде как за «молчанку»). И офицеров было больше, чем солдат (все сплошь технари или инженеры). И еще в полку (правда временно, но и служба не навсегда!), к неудовольствию подполковника, жили вольные. Они чего-то химичили на двух объектах. Один стоял у самой дороги и звался «овощехранилищем». Второй был далеко в стороне, называли его по-всякому: считалось, что там самая сила.

Впрочем, чисто военные новости сейчас не занимали Гордеева. Прячась от ветра и жмурясь от яркого, будто смазанного соляжкой снега, он жался в кузове попутной трехтонки и думал о своей крале, маркировщице с «хранилища». Она обещала уйти оттуда пораньше и ждать его в финском домике, где жила

еще с девятью девахами с того же «овощного» объекта.

Гордеев плохо спал ночь, ворочался на соломенном матрасе, прикидывал как бы исхитриться не поехать за почтой. Но даже в полутьме спящей казармы перед ефрейтором вставало гладко выбритое лицо молодого бати.

«И не думайте, — скалился подполковник. — На губу, марать честь полка, я вас не суну. Гауптвахта у меня, пока я здесь, пустой будет. И в дисциплинарный батальон не сдам. Просто в такую дыру зашлю, где демобилизация на год позже, а в баню полдня шагают...»

В конце концов Гордеев решил в город поехать, но только перед самым обедом, чтобы утро было совсем свое и он бы побыл с женщиной по-человечески, а не наскоро, в закутке или на холоду в дровяном сарае. Нужно было только пораньше выйти из казармы, показать себя на КПП, а шагов через триста нырнуть в балку. Балка, заросшая сосняком, полуогибала военный поселок. Снег в ней был утоптан. В том месте, где она подползала к забору, две доски держались на верхних гвоздях. Гордеев не однажды глядел с завистью, как лейтенанты, раздвигая доски, сбегали на ночь из полка. А ему всего-то надо было незаметно вернуться в полк.

Сегодня могло пофартить, потому что после развода в полку ни души. Техники и инженеры на объектах. Штабные — в штабе. Рота охраны половиной спит, половиной караулит. А офицерских жен и вообще мало, да и времени у них нет глядеть за каким-то ефрейтором: печи топить надо.

Но зараза, дежурный по части, техник-лейтенант, задержав Гордеева на контрольно-пропускном, попросил купить переговорных талонов с Москвой. Лобастый, лысеющий, он был какой-то чокнутый, образованный вроде, но не по технике, а по другой науке, истории или политике. Он сидел у окна дежурки, туго перетянутый поперек и наискось ремнем, и быстро чирикал на чудной, в полевую сумку спрячешь, пишущей машинке.

— И разом! Один сапог здесь, другой — там! — сказал дежурный.

Он был не строгий. На октябрьские праздники, когда Гордеева, единственного в полку баяниста, отпустили домой на десять суток, этот техник-лейтенант по фамилии Курчев, посланный ефрейтору вдогонку, — спохватились, что другой музыки нет, — выпил с Гордеевым в привокзальном буфете и посадил на поезд, за что схлопотал неделю домашнего ареста. Но сейчас, сам того не желая, лейтенант выказал себя последним падлой.

— Ладно, — крикнул он ефрейтору вслед. — Назад не торопись, а звякни с почты, назови номера талонов.

И пришлось позабыть про балку и лаз, топтать по бетонке до шлагбаума, где кончались владенья полка, голосовать, лететь в город, покупать талоны и забирать почту. Звонить лейтенанту Гордеев из вредности не стал, а поймав в городке машину, залез в кузов и теперь, замерзая, согревал себя мыслями о маркировщице, женщине вдвое старше его.

«Ну и что! — отвечал словно не себе, а завидовавшим солдатам. — Жена она мне, да? На родине сам бы не стал. А тут и Сонька с довесом будет... Офицерья до фига... И все они в тот финляндский домик, чуть вечер, как коты лезут. Девки из кого хочешь гада сделают, — рассуждал почтальон за кабиной трехтонки, вжавши голову между сапог в подол шинели. — Это точно. Курчев был человек, а теперь из-за Вальки чернявой полная зараза...»

Валька, самая худая, но и самая красивая из монтажниц, по уши, как считал Гордеев, втюрилась в лейтенанта.

«Только ей не обломится, — злился ефрейтор на Вальку. — У этого ученого в Москве еще одна есть. Не то б не гонял за талонами».

Он злился на чернявую монтажницу: та всегда норвила пораньше удрать с объекта, поваляться с книжонкой, мешая Гордееву и Соньке.

«Не обломится тебе», — погрозился он Вальке и тут же начал барабанить в крышу кабины. Подъезжали к «овощехранилицу».

Был как раз полдень — шесть минут первого. Если наддать, по-быстрому раскидать почту, еще бы с полчаса осталось на Соньку. Маленький, косолапый, в буровой шинели похожий на ржаную горбушку, Гордеев бежал по снежной, слепящей, как елочная мишура, дороге, а дымы из труб росли ему навстречу что-то чересчур медленно. Над штабом и над казармой курилось еле-еле. И невесело попыхивало над двумя дюжинами офицерских домиков. Но зато из трубы КПП дым валил, как из доброго паровоза.

«Раскочегарил!» — на бегу улыбнулся сквозь свою обиду Гордеев, представляя, как его земляк, толстый, ленивый вечный дневальный контрольно-пропускного Черенков сует в топку березовые горбыли.

Гордеев не ошибся. Красномордый Черенков и впрямь совал в печное нутро метровое полено.

— Остановись, — взмолился лейтенант Курчев.

В ожидании почтальона он сидел за столом, сдвинув ушанку на самый затылок. Край ушанки почернел от пота, редкие воло-

сы взмокли, и капли с большого лба падали в раскрытую тетрадь. Пишущей машинки на столе не было. Видно, опасаясь начальства, лейтенант сунул ее в ящик или унес домой и запер в чемодане.

— Оттепла какой вред? — осклабился дневальный и полена не вытащил.

— Дурак. Лучше бы в деревню продавал,— прошамкал немолодой мужчина в синем драповом пальто и синей велюровой шляпе. Он сидел за столом, сбоку от лейтенанта, позевывая и щеря обломанные зубы.

— Я не спикуюль, товарищ старший лейтенант,— отозвался солдат.

— Ну и дурак,— повторил мужчина в штатском.— Ни себе, ни людям. Гляди, лейтенант мокрый, как в парной.

— Заткнись, Гришка.— Курчев вяло махнул рукой, зная, что тот не замолчит.

— А чего? Пусть солдат политэкономии понюхает. Эй, завпечкой, политэкономию понимаешь?

— Спекуляцию, что ли? — без интереса отозвался солдат.

— Валенок! Сказал тоже — спекуляция...— Несмотря на ранний час мужик в штатском был под градусом.— Если бы спекуляция, горя б не знали.

— Кончай,— вздохнул Курчев.— Где этот собачий почтарь? А ну, крутни,— приказал дневальному.

Солдат, не поднимаясь с корточек, два раза провернул ручку полевого телефона.

— Работает,— отозвался с пола.

— Чего ж лопаухий не звонит? И кассира нет.

— Кассир без бати не вернется,— сказал истопник.— Батя хитрюга. Запретил башли рано привозить.

— Тебя не спрашивают,— отрезал лейтенант.

Было семнадцатое число, так называемый день пехоты, специально созданный для чрезвычайных происшествий. В такие дни тоска с самого утра грызла офицеров. Над штабными бумагами, конспектами уставов, над секретными схемами и включенными приборами витал дух пьянства, и Рашупкин, борясь с младшим и старшим офицерством, а заодно и с самим собой, сколько возможно задерживал доставку жалования. К тому же нынче, 17 февраля 1954 года, в одном из финских домиков ожидался нешуточный выпивон ввиду увольнения из рядов Вооруженных Сил старшего техника-лейтенанта Новосельнова Григория Степановича.

Утром, уезжая с начфином в штаб армии, подполковник пожал Гришке Новосельнову руку и попросил держаться в рамках.

Начфин усмехнулся: он не верил, что проводы пройдут всухую.

— Впрочем, я вас еще увижу,— сказал подполковник.

И вот солнце выкатилось на самую верхотуру неба, офицеры вот-вот должны были повалить с объектов, а аккуратного, кругленького, смешливого, пьющего только чужую водку начфина все не было.

— Езжай в Москву, завтра вернешься,— сказал Курчев.

Он понимал, что испытывает Новосельнов. Последние часы самые тяжелые. В лагерях перед концом срока иные зэки затевали побег, а то и с ума сходили. А для Гришки армия была не легче лагеря, даже тяжелей. Амнистии в ней не объявляли.

— Подожду,— ответил Гришка и лихо заломил шляпу, но Курчев знал, что тот весь на нерве и отчаянно боится.

— Отвальную справлять будете? — спросил дневальный Черенков.

— Отолью тебе полстакана,— пообещал Гришка, заминая вопрос о большом выпивоне.

— За печкой следы,— бросил через плечо Курчев и насмешливо поглядел на Новосельнова.

Все-таки тот держался молодцом. Меня бы как эпилептика трясло,— подумал Курчев, который даже во сне мечтал вырваться на гражданку! Но из этих чертовых полков отпускали пока только ногами вперед. Гришка был первым, но сколько же ему пришлось потрудиться.

Старшему лейтенанту Новосельнову стукнуло тридцать восемь лет, но выглядел он на все пятьдесят. Два срочной, четыре года войны, водка, женщины, пять лет послевоенной гражданки, за которые он успел трижды, правда без отсидки, побывать под следствием, и снова четыре года послевоенной армии здорово поработали над его лицом и телом. Он обморщил, пожелтел, как старая бумага, и обрюзг, как много рожавшая женщина. Волосы у него с висков поредели, а сверху вовсе вытерлись, ресницы тоже выпали, и красные, опухшие глаза вечно слезились. Зубы он растерял, а мосты вставлять не торопился, считая, что так отпустят скорей.

До прошлого сентября Гришка держался в полку смирно, много спал, тихо пил и пристрастился к чтению — выискивал в книгах абзацы, а то и целые страницы про хозяйственные хищения.

Экономические темы были Гришкиным коньком; в финском доме, где он жил вместе с Курчевым и еще восемью холостяками, слушателей хватало. Гришка ходил у офицеров в двух ипо-

стасях — отца родного и шута горохового. Хохот стоял там до полуночи к неудовольствию парторга роты охраны Волхова, трезвенника и сквалыги, который сам стирал исподнее и, несмотря на запрет Ращупкина, трижды в день снимал пробу с солдатского котла.

Но осенью, когда вышел указ гнать из армии всякую немощь и вообще необразованных, Гришка воспрянул, оставил книги и начал пить в открытую. Сбрасывая с себя шинель, а то и брюки, если день выдавался не слишком студеной, он ложился в канаву, оскорбляя тем офицеров и потешая солдат. Курчев, со жгучим любопытством и жалостью следя за Гришкой, чувствовал, что тот зашел чересчур далеко: либо дойдет до трибунала, либо Гришка сопьется.

— Не было такого, чтоб кто-то косил психа и не свихнулся,— пытался он унять Новосельнова.

— Был. Революционер Камо. Знаешь, чего в камере жрал? — отмахивался Гришка.

Но с увольнением в запас не выплясывалось. Всеобщая офицерская демобилизация, как эпидемия охватившая Вооруженные Силы, никак не прилипла к полкам этой армии. И когда из других частей, несмотря на просьбы и рыдания, списывали поголовно, в этих держали, хоть ходи на голове.

На корпусном офицерском сборе командарм пачками называл провинившихся, и они стояли два часа навытяжку, как баясинки без перил, вызывая смех и сочувствие зала. Самый невинный из поднятых, надравшись, блевал в Большом театре с верхнего яруса в партер. Другой, назначенный старшим в рейс, напился и напоил шофера, после чего их трехтонка врезалась в другую, шофер погиб, четверо солдат разбились насмерть, а лейтенант даже не поцарапался и теперь стоял посреди зала с усталой и злобной ухмылкой. Ничего нельзя было доказать. Водитель мог пить на свои. Потому трибунал заменили гауптвахтой, но поскольку в ту осень на гарнизонной губе вроде бы содержался сам Берия, лейтенанта в Москву даже не возили, и он загорал пятнадцать суток на собственной койке.

Были и другие прегрешения. Кто-то уехал на Кавказ и провел там лишних четыре месяца, включая бархатный сезон. О пьяных дебошах командующий говорил вскользь, иначе пришлось бы поставить по стойке «смирно» треть зала и задержать сбор, по крайней мере, на неделю.

Но о Гришке ничего сказано не было. Ращупкин не собирался похоронить себя среди подмосковных лесов. Вернувшись вскоре после сентябрьского указа из отпуска, он тут же вызвал Гришку.

— Бросьте пить, Новосельнов, и я вас уволю,— сказал подполковник.

Гришка неторопливо почесал затылок и показал огрызки зубов. Разговаривать ему не хотелось.

Но молодой Ращупкин, который в тридцать два года командовал особой войсковой частью (по штатному расписанию должность генерал-майора), твердо решил рядом с поплавком Академии Фрунзе привинтить второй, генштабовский, и Гришка ему здорово мешал. Полк должен быть чист, как канал ствола. Ни одного ареста, ни одного ЧП, ни тем более валяющегося в кальсонах на виду у солдат и женщин офицера.

— Вот что, Григорий Степанович,— повторил Ращупкин.— Бросите фокусы — даю вам слово, уволю,— и Гришка почувствовал себя перед молодым подполковником еще беспомощней, чем некогда перед следователем.

— Эх, начальник,— вздохнул он, распустив живот и горбясь, как лагерник. И улыбка у Гришки была точь-в-точь, как у ээка.

Позапрошлый год и первые месяцы прошлого заключенных в этом поселке было раза в три больше, чем сейчас военных. Гришка нагляделся на этих бедняг, а кое с кем даже сдружился. Поселок и объекты — бункера и прочее — строили сообща стройбат МВД и лагерь. Гришка прибыл в полк раньше других офицеров и сразу попал как кур в ощип.

На его долю выпало принимать нестационарное электропитание, и эмвэдэшники из стройбата, спавшая и попеременно то уговаривая, то запугивая, заставили Гришку забраковать три дизельные установки. Две из них были тут же с удивительной ловкостью списаны и проданы в соседний район; третью списать не удалось и ее отпускали то на ремонт дороги, то на пивзавод, то на молочную ферму, то еще куда-то — и от этих щедрот Гришка получал ежедневно бутылку «сучка» и полные штаны страха.

Наконец перед самой смертью Сталина в полк прибыл Ращупкин, вытолкнул временно командовавшего пьяницу начштаба в штаб и стал наводить порядок. Гришку он погнал на два месяца в отпуск, а когда Гришка вернулся, Сталина уже отхоронили, лагерь ликвидировали, да и стройбат был на последнем издыхании. Во всяком случае, стройбатовские офицеры в полку не показывались. Ращупкин не терпел посторонних глаз.

— Так как — договоримся? — спросил Ращупкин.— А то ведь за каждым какой-нибудь хвост есть. Умный человек его под себя поджигает. А? — И, считая дело решенным, добавил: — Советую пока госпитализироваться. Отдохнете, а я за

месячишко все улажу. Начальник кадров в... (он назвал окраину Москвы, где стоял штаб армии) — мой командир взвода. Я у него курсантом начинал.— И снизил голос, как бы тем самым кончая уставную часть разговора: — Зверь я, что ли? По мне, Григорий Степанович, всех нерадивых надо гнать. Армия должна быть сознательной. И каждый офицер — этого до самой смерти повторять не устану! — должен иметь перспективу. Люди должны расти. А тот, кто не растет, тот, простите меня, смердит. Я бы таких хоронил без почестей. Демобилизовывайтесь на здоровье. Дизелист вы великолепный. Брачок в агрегате сразу определите,— не отказал он себе в намеке.— Дизелист что надо! И отпустить вас вроде жаль, но и держать нельзя. Самый свой главный долг перед родиной вы исполнили. Четыре года на войне, притом три — в блокаде! — это...— подполковник запнулся, ища подходящее определение, и не найдя, добавил: — Это много... Я так и напишу в ходатайстве: долг выполнил сполна. А офицеры из-под палки мне не нужны.

И вот сейчас, в день пехоты, Гришка досиживал в дежурке свои последние армейские минуты, ожидая законного двухмесячного пособия и не веря собственному счастью. Ращупкин оказался человеком слова, и по-человечески стоило его отблагодарить.

— Журавлю поставь,— тихо сказал Курчев.— Журавлю следует.

— Он белой не пьет,— вздохнул Новосельнов.— А другого я краснофлотцу не заказывал.

Военторговским ларьком командовал демобилизованный матрос Ленька. Водку он продавал из-под полы по тридцати рублей бутылка, а коньяка, как продукта неходкого, не держал вовсе.

— В ... смотайся,— назвал Курчев районный центр, куда прибывала полковая почта.

Гришка промолчал. Ему не жаль было денег. Он боялся судьбы. Он так долго и так беспричинно ее боялся, что сейчас, когда вроде ничего страшного не грозило, сердце жутко толкалось под ребра и дрожали руки. Оттого-то, а не из жадности, он сидел на КПП, надеясь на ходу перехватить начфина и не справлять отвальной. Чемодан был давно собран. Армейское — сапоги, ремень, китель, бриджи с гимнастерками, подушка, матрас, одеяло — частью раздарены, частью спущены за четверть цены. А начфина все не было. Гришка сердился, подшучивал над собой, глотал с утра водку, но не помогало.

— На черта Журавлю мой коньяк? У него купюры несчитанные.

— Не заливай,— улыбнулся Курчев и без раздражения оторвал голову от тетради. Оставалось дописать три страницы, и реферат был бы готов. Собственно, он уже давно был готов и даже на две трети перестукан на пишущей машинке. Но для таких, которые читают не подряд, а вразброс — начало, середку и последние абзацы, нужно было соорудить конец позабористей. Цитаты из классиков были уже переписаны. Оставалось их соединить поаккуратней, чтобы на кафедре истории поняли, что соображалка у лейтенанта как-никак, а работает.

— Не заливай,— повторил Курчев.— Сам ведомость видел. Тыща девятьсот — должность. Тыща сто — звание. Ну, ординарские, выслуга, «молчанка». Много ли наберется? Так жена не работает и двое пацанят. Ты бы с ним не махнул.

— Я — нет,— кивнул Гришка.— Только ты не так его гульдену считаешь. Не каждую сотню в ведомость вносят.

— Не заливай.

— А ты что — вчера родился? «Севастопольские рассказы» читал?

— Так то когда было?! Тогда полковник или батарейный даже овес — не говорю про лошадей! — сам покупал. Продовольствие — и то сам... Ну, и простор для коррупции был. А теперь что? «Изделия» ему продавать?..

(«Изделиями» называлась огневая мощь полка.)

— «Изделия»? Пальцем, Борька, тебя izdelали,— натужно съязвил Новосельнов.— Полгода с тобой бьюсь, а ты вон как тот, у печки...— он кивнул на дневального.— Валенок валенком...

— А чего... Я понимаю,— отозвался солдат, не поднимаясь с корточек.

— Голос из провинции,— рассердился Курчев.— «Понимаю...» Интересно, чего понимаешь?..

— А то, что у начальства всю дорогу лишняя получка.— Истопник повернулся к офицерам, и улыбка расплзлась по его широкому, красному от печного жара лицу.

— Хватит,— сказал Курчев. («Чего психуешь?» — оборвал себя).— Хватит трепаться,— повторил вслух. Вести подобные разговоры при подчиненном не стоило, но раз уж дискуссия началась, затыкать человеку глотку неприлично, а главное, бесполезно.

— Ну, чего он возьмет? — сердито спросил Курчев.— Чернила в штабе? Черняшку в хлеборезке? Пачкаться не станет. Ему в генералы светит!..

— Чудно мне на вас, товарищ лейтенант,— как на маленького посмотрел дневальный на Курчева и для удобства раз-

говора сел на свой топчан у окна, которое выходило на белое поле и бетонку.— Вы же сами, товарищ лейтенант, на картошку ходили.

— При чем это?

— При том, что за копку батя обещал добавки в котел. Колхоз пять кабанов дал за помощь. Где они?

— У тебя в пузе.

— В пузе у меня картошка,— спокойно растягивая слова, ответил дневальный.— А сала в нем не больше, чем министр выписал, а повар не украл.

— Молодец валенок! — расхохотался Гришка.— Яйца пегуха учат. И правильно. Учи. Он глупее тебя. Ты осенью — аляулю... а он тут темным помрет. А в аспирантуру сбежит, еще темней станет.

— Правда, товарищ лейтенант, вы вроде как не на земле живете,— воодушевился истопник.— Сами же, точно помню, за частями для ЗИСа сто пятьдесят первого с Ишковым катались. Помните, в декабре ЗИС разбило — а батя скрыл аварию...

— Ну и что?

Курчев считал, что про ЗИС никто, кроме него, шофера и Ращупкина, не знает.

— А ЗИС тыщ сто стоит.

— Вот валенок,— веселился Гришка.— У печки спит, а шурупит! И правда, Борька, ЗИС косых сто или даже полтора ста потянет! Ну пусть не весь. Пусть только кардан, радиатор, мотор...

— Мотор тоже не весь,— покраснел Курчев.— Ну чего пристал? Я в кабине сидел. Ишков обо всем договаривался.

— Понятно. Прикрывалом был. И помрешь прикрывалом. Чего тебе не скажешь, все сквозняком выдует. Историк дерьмасылоса... Измы, клизмы в голове, а в жизни соображаешь, как в арбузных обрезках...

— Ладно.

Курчев уже смирился с присутствием дневального и даже не злился на Гришку. Ему просто было жаль Ращупкина. Ращупкин нравился Борису, был с ним не по-армейски короток, обещал помочь демобилизоваться и ездить по гаражам, вернее, по окрестным поселкам, где жили люди из гаражей, другому бы Ращупкин не доверил. А Курчеву доверял, потому что Курчев был человек порядочный и, стало быть, умел держать язык за зубами.

— А чего «ладно»? Ведь ездил,— не унимался Гришка.— Прикрывал покупку ворованного. К ЗИСу запчасти частникам не отпускают. Не «москвичонок».

— Слушай, сыпь-ка отсюда,— пробурчал Курчев, и голос у него был, как у влюбленного, узнавшего, что девушка, которую он считал небесным ангелом, отдается направо и налево.

«Дался, в конце концов, мне этот Журавль,— подумал Борис.— Что он, брат родной или друг любимый? Но и я хорош. Ездил, курил в кабине — не спрашивал. Или с той же картошкой и кабанами... Это ж надо уши развесить: добавка к рациону! Да за такую добавку распатронят Рашупкина за милую душу! Нашелся, скажут, добавлятель! Что же, товарищ подполковник, норма в Советской Армии не жирна?! Да его за одну эту фразу (он же перед строем в открытую сказал!) на Колыму загонят. Или из армии вон. А что он без армии? Не инженер — нуль без колышка. Как такое ляпнуть не побоялся? Или тут полк закрытый, что хочешь травы — не донесут. А особист? Что ж, особист один на три полка. Может, они и особисту полкабана отрубили? Или он вегетарианец?

— Иди, Гришка,— сказал Курчев.— Сейчас начальство попрет.

— Батя в Москве,— подал с топчана голос дневальный.

— Батя, батя. Заладил. Какой он тебе батя? Батей раньше попов звали, а как попы в атаманы пошли — батьками стали. Махно, например.

— Махно учитель был,— уточнил Новосельнов.

«Ну, чего злишься,— спрашивал себя Борис.— Тоже мне, исследователь душ. Верно Гришка сказал: дерьма-силоса историк... Хрена ты в людях смыслишь»,— и он в сердцах хлопнул тетрадь.

— Где этот драный почтарь? Крутни еще раз,— кивнул дневальному.

— Да есть связь,— зевнул Черенков.— Связь есть, а Гордеева нету. Он, собака, может, в город не ехал. Может, он у Соньки, ежовый корень...

— Врешь...

— Пошлите кого-нибудь, пусть шуганет. Или сам слетаю. Погляжу, как с перепугу в штаны не влезет.

— Чего разлегся, за печкой следи,— сказал Курчев.— Пусть побалуется, если охота. Одно плохо: сегодня среда. Если вечером не отвезу, четверг пропал, в пятницу брата на кафедре нету, суббота вообще не день, а на той неделе у него вроде бы командировка в Питер. Смотришь — и моя аспирантура одним местом улыбнулась.

— Ничего, примут. Ты по уму как раз,— зевнул Гришка.

— Вы бы своей машины не относили, товарищ лейтенант, точно бы до обеда управились. Вы это ловко, все равно, как женщина в конторе, где справки заверяют.. Раз постучит — готово, и два рубля с листка. Как родитель помер, мы с маманей в Челябине копию со смерти снимали. Так она, как вы все равно — раз — и вся любовь. Два рубля с листка...

— Ходят тут всякие. Нароботаешь с ними,— пробурчал Курчев.— Особняк уже интересовался, что у меня за машинка, марки какой и для чего... — Борис поглядел в глаза истопнику: не ты ли проговорился. Но истопник смотрел, не моргая. То ли глуп был, то ли чересчур хитер, но на морде смущения не отражалось.

— Думают, все дело отстукать,— снова проворчал Курчев, поворачиваясь к Гришке.— У ихнего брата грамотный, кто очки носит, а кто с пишмашинкой, тот полный академик. Все для показухи, а смысла не надо...

— Точно не надо,— хмыкнул Гришка.— Ваша наука — один пшик. Пена без пива. Передери откуда-нибудь конец и вези кузену. Примут, не волнуйся. Там у вас все друг у друга воруют. Важно, чтоб не слово в слово. На бумаге ты болтать мастер.

Новосельнов знал, что двоюродный брат Бориса проталкивает Курчева в аспирантуру. Правда, дело упиралось в курчевское образование. Оно было жиденькое — даже не университет, а педагогический истфак, оконченный с кучей троек.

— Надо было в училище в партию подать. За руку водить вас, желторотых,— неожиданно повернул разговор Гришка.

— Вы, товарищ лейтенант, комсомолец? — спросил дневальный.

— Два месяца осталось, до апреля.

— Ну и дурак,— сказал Гришка.— Подавай сейчас.

— Поздно. Тогда уж точно не отпустят.

— Теперь, товарищ лейтенант, до двадцати восьми можно,— сказал дневальный.

— Знаю,— помрачнел Курчев. Ему не хотелось затрагивать эту тему. Она отравляла сладость будущей аспирантуры, и он хитрил перед собой — надеялся, вдруг примут без этого, вдруг реферат всех поразит. А нет — можно на два года продлиться... Но сейчас, когда дискуссия о Ращупкине вывела Курчева полным кретином, не тянуло думать об аспирантуре.

«Вечно влюбляешься в кого-то... Добро бы в Вальку... А то в начальство. Ну, чего тебе в нем? Службист и подлиза...» — и Курчев вспомнил, как месяца четыре назад на осенней инспекторской Ращупкин рапортовал корпусному командиру. Огром-

ный, неправдоподобно длинный гаркнул «Сми-ар-на!» на весь поселок, как репродуктор, и, по-журавлиному выбрасывая ноги, двинулся к середине плаца, где стоял укутанный в темно-лиловую шинель кругловатый низенький корпусной, на погонах которого было всего на звезду больше.

«Та-ва-рищ па-ал-ко-ов-ник!» — морщась, вспоминал Борис, и каждый слог рапорта нынче больно ударял по затылку.

«Сознательная дисциплина! — передразнивал он Рашупкина. — Каждый солдат обязан беречь дисциплину и отвечать за нее головой и честью. Каждый! Я понятно говорю?»

«Сознательность... честь... одно сотрясение воздуха», — подумал Курчев. И тут же дневальный закричал:

— «Победа», товарищ лейтенант. Чужая. Второй поворот проехала. И Гордеев, сученок, из оврага вылезает. Значит, был в городе. Газеты тащит.

— Иди ворота открывай. Кого еще несет? Дуй отсюда, Гришка.

— Я пересяду, — сонно побряхтел Новосельнов и перебрался на топчан.

Бежевая, незнакомая Курчеву «Победа» терпеливо, не сигналя, ждала, пока толстый Черенков справится с воротами, а потом прошуршала мимо наклонившегося к ее стеклу Курчева. Рядом с шофером никого не было, а на заднем сиденье Курчев увидел полкового особиста и худого незнакомо-го полковника.

— Товарищ... — не слишком ретиво выдал Курчев, собираясь представиться, но полковник махнул ему, дескать, не рви глотку, мы по делу.

— Кто такой? — спросил Борис истопника.

— Из корпуса. Главный «смерть шпионам».

— Почему знаешь?

— Да что он, первый раз?..

— Ладно, иди. У них свои глупости. Бензин переводят. Видел? — бросил Гришке, возвратившись с мороза в парилку КПП, и тут же заметил почтальона. — Ах, вот ты где? Что не звонил? Знаешь, за чем тебя посылать?..

— Ваши талоны, — скромно ответил Гордеев.

— Ладно, спасибо. Но, между прочим, мог бы и позвонить.

— Еще «Звездочка» ваша...

— Возьми себе. Я зимой газет не читаю, — он стал вертеть ручку полевого телефона. — «Ядро»? Слышишь, «Ядро», дай город. Город, Москву, пожалуйста. Нет, по талону... В Москве? Дмитрий-два... — он назвал весь московский номер. — Все равно кого. Обратный, «Ядро», двадцать первый. Курчева.

Гордеев, для приличия с полминуты потоптавшись на пороге, неловко повернулся и выбежал из дежурки.

— Побыстрее давайте, а то уйдут,— крикнул в трубку Борис. Никто из московской квартиры не собирался уходить. Наоборот, могли еще даже не прийти, но у Курчева вышел весь терпеж. Бросив трубку, он сел на топчан рядом с Гришкой и приложился щекой к оконному стеклу. Вдалеке на бетонке были уже видны одинокие, вяло бредущие фигурки офицеров. Штатские еще не выходили.

«Ладно, всего три страницы. Допишу как-нибудь,— прикидывал Курчев.— Хорошо бы сегодня отвезти и отделаться. А там — примут не примут — один хрен. Все равно демобилизуюсь. Хоть через трибунал, а убогу. Такого не может быть, чтобы держали, если человек не хочет. И кому я нужен, старый и без нормального училища? (Борис окончил лишь годичные курсы.) Сбегу хоть без двух окладов и пенсии за звание. На черняшку сяду, а свое напишу...»

При белом снеге и ярко отсвечивающем на снегу солнце будущее не казалось мрачным.

— Позвонили, товарищ лейтенант? Можно я в казарму покручу? — спросил Черенков. Он отвалился от второго окна, в которое был виден штаб и плац перед штабом. На плацу было пусто, и из штаба никто не выходил. Только ефрейтор Гордеев протрусил по аллейке, не заследив белой торжественности плаца, и в конце, у офицерской столовой, свернул не к казарме, а направо, к финским домикам.

Черенков, следя за почтальоном, как жирный кот за мышью, бурчал в трубку:

— Дневальный? А, дневальный? Сержанта Хрусталева дай. Товарищ сержант, точно, как наметили... Попер туда. Прямо с почтой. Раз — и застучаете. Минуток пять погодьте...

Борис, поглощенный московскими заботами, прислушивался плохо. Он был не здесь, в натопленной дежурке, где храпел Новосельнов, а в четырехкомнатной квартире материнского брата Василия Митрофановича Сеничкина, почти что министра. Отец Бориса погиб в 41-м, а мать умерла еще раньше при не слишком ясных обстоятельствах: то ли большое сердце не выдержало ревности (отец сильно гулял), то ли мать сгоряча чего-то наглоталась. Тогда еще Борька жил не у бабки в Серпухове, а с отцом и матерью ютился в Москве, в развалюхе на Переяславке, все ожидая комнаты, которую твердо, ну прямо вот-вот, «в конце квартала», обещали машинисту Ржевской

дороги Кузьме Илларионовичу Курчеву и которой не дали до сих пор. Но развалюха стояла хоть бы хны на той же Переяславке, недалеко от Ржевской (теперь уже Рижской) дороги, и нынче Курчеву светило получить ее в личное владение.

Дело в том, что машинист Кузьма Курчев не так уж долго горевал по своей старшей его восемью годами жене. Через месяц или около того он привел в развалюху путейского техника Лизку, настырную деваху, которой одного техникума было мало и она, чего-то мудря, училась на вечернем факультете, а когда на Кузьму Илларионовича пришла похоронка, Лизка была уже Елизаветой Никаноровной, инженером, скоро тут же на железной дороге снова вышла замуж, родила пацана, и теперь, в 1954 году, по-серьезному, а не как ее первый муж, ждала твердо обещанной комнаты. Борис после войны в развалюхе уже не жил. Но Василий Митрофанович, родной дядя в ранге министра, получив в 48-м свое четырехкомнатное жилье, вспомнил племянника. Племяш, к тому времени студент, остался без кола и двора. Дом в Серпухове за смертью матери Василия Митрофановича, Борькиной бабки, был продан, и деньги разошлись сами собой, потому что обставить четыре комнаты куда как непросто. Тут никаких сверхкладов не хватит. А жена Василия Митрофановича, Ольга Витальевна, директриса образцовой школы, была женщина распорядительная и любила все делать на совесть.

Борька Курчев жил в общезитии истфака, и у старшего Сеничкина нет-нет да на душе поскребывало. Прописать племянника у себя он, понятно, не мог. Комнат было четыре, но и Сеничкиных тоже было четверо, он с Олей, Алешка, который вот-вот женится, и школьница Надька. Но и племяшу жить где-то надо. А если его, дурака, после окончания вуза отправят в деревенскую глушь и он там как пить дать сопьется, то Василия Митрофановича в свободное от службы время наверняка изведет тоска. И вот без ведома Борьки, но с ведома Ольги Витальевны решил Василий Митрофанович нажать на Борькину мачеху Лизавету.

Он приехал в депо в летний полдень в своем длинном, черном, сверкающем, как генеральские сапоги, лимузине ЗИС-110 и дал Лизавете честное слово коммуниста, что Борька не переступит порога ее развалюхи.

— Только пропиши,— сказал он, полагая, что на «ты» будет родственней и авторитетней.— Самой же лучше. Новую скорей дадут. Так на трех, а так на четырех получится, да и один чужой. Вроде как две семьи. И я при случае, чего смогу — сделаю.

И Лизавета, решив, что по-хорошему оно вернее, сдалась и прописала Борьку. И он действительно не переступал ее порога. Только пришел осенью 50-го за военкоматской повесткой и еще раз зашел в прошлом году, когда Рашупкин разрешил ему прописаться в Москве. А в будущем месяце развалюха переходила Борису. Дело оставалось за ордером.

Но сейчас он думал не о развалюхе, а о Сеничкиных. Дядьку Борис видел редко. Тот с женой почти каждую субботу отбывал то ли на специальную дачу, то ли в особый дом отдыха. Двоюродная сестра, десятиклассница Надька, скорее раздражала Бориса. Пусть она пользовалась у своих сверстников несомненным сексуальным успехом, ему прыщавая Надька казалась толстой, нескладной и довольно противной. Занимал Бориса только двоюродный брат Алешка, двадцативосьмилетний доцент кафедры философии, и его миловидная, тоненькая, пухлогубая жена Марьяна, следователь московской прокуратуры по особо важным делам.

Если долго сидишь среди дремучих лесов, рубишься до ночи в преферанс или ходишь в домик монтажниц, где играешь во мнения или в бутылочку, московская квартира предстает землей обетованной, и из последних сил рвешься, ловчишь, выпрашиваешь у начальства лишние полсуток, прилетаешь сломя голову и видишь, что там преспокойно обходятся без тебя, что ты там не больно нужен, ну, в крайнем случае, выпьют купленный тобой по дороге коньяк или сходят с тобой в «кок»¹, а потом ждут, когда ты отвалишь. И ты наскоро переобмундируешься в засаленный китель и бриджи, летишь к автобусу или на шоссе голосовать, еле поспеваешь к разводу, если ночевал в Москве, а чаще всего не ночуешь и тащишься от магистрали десять километров, валишься на кровать, не выспавшись, топаешь в «овошехранилище», целый день клюешь носом, и назавтра полк тебе дорожке всего на свете, пока не пойдет на убыль неделя и ты опять не начнешь тосковать по столице, по фонарям, улицам, витринам, незнакомым хорошо одетым людям, по снисходительной усмешке двоюродного братца, по кожаному чемодану, единственной собственности, в который уложен серый венгерский костюм, пара рубаш, легкое весеннее пальто и черные модельные туфли фабрики «Парижская коммуна». И в субботу после обеда все начинается сначала, а бывает, что и не дотянешь до субботы, а иногда даже выдержишь полных две недели, но все равно в понедельник все кончается невыспанностью, головной болью от кок-

¹ Коктейль-холл

тейль-холла и обиды, что никому ты там не нужен и, провались ты под землю, никто и не заметит.

— Цирк будет, товарищ сержант... Проучим разгильдяя, — бурчал в трубку довольный Черенков.

— А ну кончай баланду! — Курчев оторвался от своих мыслей. — Куда звонил?

Он не понимал, чему радуется истопник.

— Да так, дружку... — не больно таясь, ответил дневальный. Жирная улыбка сияла на его широкой физиономии. Казалось, еще немного, и он начнет ее слизывать, как подливку.

Курчев снова попросил город. С Москвой не соединяли. По длинной белой бетонке, догоняя офицеров, брели штатские. Близорукие глаза Бориса плохо отделяли мужчин от женщин. Только офицеров он отличал по серым шинелям.

Прошлый год порядку было больше, думал Курчев. Собаки держали строй. Шаг влево, шаг вправо — и кранты... Так рассказывал Гришка. Сам Курчев ничего этого не видел. Сразу по прибытии в полк он отчалил в отпуск, а потом полгода провел в военной приемке на подмосковном заводе, больше, впрочем, сидя в Ленинской библиотеке и ночуя то в загородном при заводе, то в офицерском общежитии в Москве. Год назад ему казалось большим везением не видеть зков; при них он бы чувствовал себя неловко. Так уже было в Запорожье — там лагерный оркестр за час до подъема будил их батареею, да еще по дороге в столовую или в баню нередко батарее приходилось стоять под дождем или мокрым снегом, ожидая пока пройдут колонны в серо-синих или черных рваных ватниках, оцепленные охранниками и овчарками. В лагерях (теперь, в феврале 54-го, Курчев уже знал твердо) сидели миллионы. Но в реферате «О насморке фурштатского солдата» (с подзаголовком «Размышление над цитатой из «Войны и мира») он этой темы не касался, отговариваясь незнанием материала, естественным страхом, а также желанием попасть в аспирантуру. Он вообще отодвигал ее от себя и тут был искренен и одновременно неискренен с собой. Видимо, не так уж и повезло в прошлом году, потому что для познания жизни военный завод давал меньше, чем лагерь и соседствовавший с ним строительный батальон, в котором совершались нешуточные сделки, также не отраженные в реферате. В реферате рассматривались люди абстрактные и безусловно чистые в смысле уголовного кодекса. «Дистиллированные», — как думал сейчас Курчев, глядя на белую, сверкающую утоптаным снегом бетонку. Где-то среди идущих должна была быть Валька Карпенко, и Курчев хотел,

чтобы телефонный разговор дали сразу или уже после того, как девушка пройдет КПП. Валька смущала его, мешала думать и писать, и он чувствовал, что — стоит ему здорово напиться или начать пить регулярно — и сам не заметит, как его с Валькой обкрутят, одолжат денег на свадьбу (целый год расплачивайся!), выделят комнатенку в трехкомнатном домике — и прощай все: белый свет, молодость и насморк фуhrштадского солдата. У Вальки были большие серо-черные глаза, которые глядели так чисто и преданно, как никто еще в жизни не глядел на Курчева, а Борис был вовсе не железный.

ЧП

Телефон неестественно взвизгнул, тут же замолк, снова взвизгнул, телефонистка буркнула: «Даю Москву» — и в трубке закричали:

— Боря! Боренька? Хорошо, что позвонил. Сама хотела тебя вызвать. Обязательно прибудь. Жду.

— Поздно смогу, — сказал Курчев, недовольно оглядывая дневального и очнувшегося от телефонного звонка Гришку.

— Постарайся, пожалуйста, Боренька. Это очень важно.

Женский голос был необычайно мягок. Никто бы не поверил, что он принадлежит работнику столичной прокуратуры.

— Постараюсь, Марьяшка, но раньше половины одиннадцатого — никак...

— Ну, прошу... — голос стал тише. То ли дома был брат, то ли Надья вернулась из школы и валялась в гостиной на тахте, связывала обрывки телефонного разговора.

— Хорошо, Марьяшка, — сказал Курчев. Ему вдруг стало весело, потому что здесь, в натопленной дежурке, пахло настоящим зеленовато-синим морем, и сама дежурка закачалась, будто стала палубой прогулочного катерка. Курчев уже сидел на его корме, на сваленных в кучу спасательных матрасах, а напротив него, на скамейке, переводчица, подруга Марьяны. Два часа спустя она уже лежала с Курчевым на одной койке. Этот роман, начавшийся прошлым августом на Черноморском побережье, длился всего месяц и оборвался сам собой: переводчица вернулась в ГДР.

Они расстались скорее друзьями, чем пламенными любовниками. У женщины был какой-то малопонятный муж, то ли живший с ней, то ли не живший, во всяком случае, развод оформлен не был. Да и переводчица сама была женщиной нервной, видимо серьезно замученной базедовой болезнью. Но

если отвлечься от койки, то Клара Викторовна была милая, по-своему щедрая женщина, и Курчев не жалел, что провел с ней отпуск. Все-таки кое-чего поднабрался. Хотя бы научился входить в ресторан не тюхой-матюхой, есть и пить без солдатской жадности, кутить, не жалея червонцев (Клара Викторовна никогда своих денег не жалела и норовила заплатить за всех). Такие женщины Борису еще не попадались, да и вообще женщин у него было немного. С восемнадцати лет он жил в общежитии, не имел за душой лишней пятерки, был некрасив, не больно развязен, к тому же ходил в братниных обносках. Даже в педагогическом вузе, где ребят раз-два и обчелся, успехи Курчева были ниже средних, и Клару Викторовну он вспоминал с благодарностью, хотя бы за то, что все обошлось без истерики и врача, остался какой-то опыт и иммунитет к другим девчонкам, хотя бы к Вальке, с которой он до сих пор держит себя в узде и не кидается тигром с обещанием жениться.

— Значит, жду,— пропела трубка, и Москву отключили.

— Поедешь? — спросил Гришка. Он совсем проснулся и выезывал последние капли алкоголя.— Хорошо соснул. Даже не верится.

— Вместе поедем. Глотни еще и ложись,— сказал Курчев и вдруг заметил, что дневального в дежурке нет.

Море по-прежнему покачивало КПП, но все это — и море, и качку, вернее память о прошлогоднем море и прогулочном катерке,— стала вытеснять тревога: сначала исчез истопник, потом невесть откуда появилась Валька (а собственно, откуда ей было появиться, как не с бетонки?). Раскрасневшаяся, в цыганском платке и в дешевом пальтишке с цигейковым воротником, Валька всунулась в нагретый КПП и неуверенно улыбнулась Курчеву.

— Ну, чего тебе? — ласково, но машинально спросил он. Ему не хотелось, чтобы исчезало море, которое было лучше всего. Лучше летнего романа, и лучше реферата и надежд на аспирантуру, которым вряд ли сбыться. Море было море. И все. Море ничего не требовало. Только ты требовал, чтобы оно не исчезало, такое вечернее, уже даже не зеленоватое, а совершенно синее и прозрачное. Волны, мягкие и гибкие, почти сквозные, и между ними иногда взлетают дельфины. Но можно без дельфинов. Даже без дельфинов лучше. Только бы длить и длить тот вечер и морскую прогулку до дальней бухты и на-назад, и лежать на свернутых спасательных матрасах, глядеть на Клару Викторовну, с которой у тебя еще ничего нет и поэтому можно ожидать самого замечательного и необъяснимого.

Борис глядел в Валькино лицо, почти не думая о ней, потому что тревога нарастала, но от чего тревога, он еще не догадывался.

— Ты занят? — спросила девушка. Она с робким бесстрашием стояла в дверях КПП, а за ее худенькой спиной проходили офицеры и штатские, смеялись, толкали ее, кто-то даже на ходу обнял, а она все смотрела на Курчева, а он на нее, но думал не о ней.

— Ты занят? — повторила девушка. — А то пойдем. — Только глухой не услышал бы, чего стоила ей просьба. — У нас сегодня знаменитый Сонин борщ. Она специально не ходила на объект... — Девушка смутилась, потому что знала, что не только из-за борща маркировщица осталась дома.

Но Курчев услышал другое. Как запальным шнуром вдруг все соединилось — перестарка Сонька, почтальон Гордеев, комполка Рашупкин, малопонятный разговор дневального по телефону и его исчезновение.

— Бежим! — Он вытолкнул девушку из дверей. — Присмотри, — крикнул через плечо сонному Гришке, забывая, что Гришка уже штатский!

— Ты не очень там, — буркнул тот, но Курчев не обернулся.

Приминяя яловыми сапогами снег, он неловко бежал наискось по плацу, словно нарочно пятная нетронутую гладь. Девушка покорно бежала за ним, ничего не понимая. Легкая и стройная, она не хотела обгонять тяжелого лейтенанта. Хотя целовались они всего раз, да и то несерьезно, спяну, она его уважала и боялась, как старого и склочного мужа.

«Как бы не разбежались!» — соображал на бегу Курчев. Несмотря на злобу и ярость, голова работала необычно четко.

«Сволочи! Гады сознательные! — орало внутри, метрономом выстукивало: — Задержать! Задержать! Задержать!..»

— Атаанда! — крикнули в дворике монтажниц, когда Курчеву оставалось до него шагов тридцать.

— А-а-а! — заорал он, словно подбегал не к штакетнику, а к окопному заграждению. — А-а-а!.. — Рука сама потянулась к кобуре — и вот уже наперевес с наганом, сам не зная как — на тренировке в одних трусах и то бы не перескочил! — Курчев перемахнул метровый штакетник, но левая нога подвернулась. Выбросив правую руку с револьвером, он растянулся на снегу. Шапка слетела, и голова нырнула в сугроб.

— Стой! — закричал он, смахивая шапкой снег с лица. От домика к дальнему забору бежали двое. — Назад! Стрелять буду! — заорал он и тут увидел еще троих. Все были без шинелей. Задыхаясь и прихрамывая, он побежал наперерез. Де-

вушка Валя — он успел заметить — обогнула штакетник и вошла в калитку. Ему было стыдно, что солдаты, несмотря на его истошный крик, убегают на ее глазах. Но не только в ней было дело.

— Назад! — снова крикнул он севшим голосом и тут же, хоть и знал наперед, чем это обернется, выстрелил в воздух. Эхо расколосось над чистеньким военным поселком и уж наверняка докатилось до ушей двух особистов. Солдаты остановились. Теперь близорукий Курчев разглядел всех пятерых. Самым рослым был сержант Хрусталева, черноволосый красивый парень. Трех солдат Курчев знал лишь в лицо. Пятым был истопник.

— Смотри, Боря, чего сделали!.. — раздался Сонькин вопль, и она сама, растрепанная, в разорванном сарафане, выкатилась из-за угла дома. — Смотри! — Она схватила Курчева за руку.

— Сейчас. — Он мягко оттолкнул ее.

— Давайте сюда. — Он махнул револьвером. «Только бы, — подумал, — не слишком быстро прибежали из штаба. Хотя сразу могут не сообразить, куда бежать».

— Давай, давай, — он крутил револьвером и, когда сержант приблизился, толкнул его дулом под ребро. — Пошли поглядим.

Ефрейтор Гордеев без шинели и шапки сидел на ступеньке крыльца, прикладывая комья снега к расквашенному лицу.

Девушка Валя растерянно глядела на ефрейтора — то ли не знала, как ему помочь, то ли боясь обидеть помощью.

— Иди в дом, — кинул ей Курчев. — Кто бил?

Сержант и солдаты молчали.

— Кто бил? — повторил жестко, понимая, что времени в обрез. — Сержант, отвечайте.

Сержант не ответил; вид у него был не запуганный, скорее брезгливый.

— Черенков, снимите пояс с сержанта.

Красномордый дневальный неловко потоптался, но с места не сдвинулся.

— Ну?

— У него кожаный, товарищ лейтенант... — пробурчал Черенков, будто действительно жалел чужую вещь.

— Поменяйся с ним. Своим свяжешь.

— Еще чего... — сплюнул сержант.

— Руки... — выдохнул Курчев и поднял револьвер, грозясь опустить рукоятку на темя сержанта.

Сержант снова сплюнул, но руки вытянул.

— Назад, — сказал Курчев. — Всем снять ремни. Затягивай как следует, — бросил Черенкову.

У всех, кроме сержанта, ремни были брезентовые.

— Отойди,— прикрикнул Курчев на Соньку.

— Так этого тоже надо. Меня держал. Вон пройма порвана.— Она толкнула локтем истопника.

— Шинель своему принеси,— сказал он Соньке и обернулся к сидевшему на ступеньках почтальону: — До казармы дойдете?

Тот неопределенно мотнул головой. Ему было обидно и стыдно, и кровь никак не останавливалась. Но сильнее, чем солдат и сержанта, он ненавидел сейчас Курчева.

«Ну и вид у него. Словно брился в первый раз опасной,— подумал Борис.— Интересно, успел ли... Бедняга... Но вы у меня, сволочи, попляшете».

— Ну как? Всех связал? — спросил дневального.

— Всех, товарищ лейтенант.

«Всех, товарищ лейтенант...— мысленно передразнил Курчев.— Подлиза. Кого бы я с удовольствием изуродовал, так это тебя. И еще сержанта».

— Дистанция один метр. Направление — калитка. В затылок один другому, шагом марш! — скомандовал Борис.— Пойдете сзади,— кивнул почтальону.

Сонька уже вынесла гордеевскую шинель, ремень и шапку. Ефрейтор встал и осторожно поплелся за солдатами, словно не верил, что руки у них связаны.

— Валь, мне кранты,— тихо сказал Курчев. Он подошел к девушке и прижался к ее платку. От неожиданной ласки она вздрогнула и припала к Борису.

— Ты молодец. Все правильно.

— Все равно кранты. Пусть Сонька напишет, как было. Пусть надиктует, ты запиши.

— Ей будет стыдно...

— Чего уж... Все и так знают.

— Хорошо.— Она потерлась платком о его щеку.

— Смелей, смелей! Чего как бараны...— крикнул он, отрываясь от девушки. Солдаты сгрудились у калитки.

— Открыть им нечем,— засмеялся истопник. Он теперь верил, что они с лейтенантом восстанавливают справедливость.

— Помоги,— сказал Курчев и пошел со двора.

Зрелище было из любопытных. Четыре лба гуськом плелись к штабу на глазах офицеров, офицерских жен и вольняшек. Выстрел наделал переполоху, и на плацу народу высыпало, как в праздники. Даже буфетчица офицерской столовки, ши-

карная Зинка, покинула свой пост. Для полного комплекта не хватало Рашупкина. Впрочем, вместо него под штабным навесом стоял тощий начштаба Сазонов.

«Наверно, уже бухой», — подумал Борис.

— Дуй на КПП, — сказал дневальному — вспомнил, что Гришка в штатском, и, значит, проходная пустая, прибавил шагу и, обогнав солдат, заспешил к штабному корпусу.

— Товарищ майор, за время моего дежурства... — срывающимся голосом выкрикивал Курчев сообщение о великолепном ЧП, но начштаба, майор с морщинистым перекошенным лицом, процедил:

— Отставить! — резко схватил Курчева за плечо и втолкнул в помещение.

— Е... твою... — рычал он в коридоре. — Ты что? Да я... — Держа за лацканы, он бешено тряс Бориса.

— А ну, пустите, — Курчев оттолкнул майора.

— Абрамкин! — закричал начштаба.

Дверка маленького, врезанного в большую, обитую железом дверь окошечка распахнулась — оттуда выглянула вихрастая воробьиная головка.

— Примешь дежурство!

— Так я еще того... не запитывался...

— Мать вашу, повторять надо. Снимай повязку. — Начштаба повернулся к Курчеву.

Крохотный Абрамкин вылез из своего святилища. Борис подставил ему левый рукав.

— Оружие тоже, — приказал начштаба.

— Почистишь, — с издевкой сказал Борис. — После стрельбы смазывают.

— Очень надо. Я свой возьму, — обиделся секретчик.

— Бери его. Арестованному наган не положен, — бушевал начштаба. — Заправься, — он помог секретчику продеть в кобуру ремень. — В первый раз дежуришь, дармоед? Дуй за инженером, как его...

— Забродиным, — подсказал секретчик, навешивая на железную дверь замок и прихлопывая на воск печати.

— Пока семь суток получишь, — сказал начштаба Борису. — Рашупкин вернется, еще добавит.

Абрамкин в одной гимнастерке выскочил из штаба.

— Разрешите узнать за что? — спросил Борис.

— А-а-а, сучонок, еще спрашиваешь? Да я тебя на губе сгною. Ты у меня ванькой-взводным век ходить будешь!.. — Майор снова затрясся.

— А я, между прочим, техник, — разозлился Курчев. Но

ему стало не по себе. Угар проходил, и надвигалась тоска ожидания. За выстрел и связанных солдат не поблагодарят. Начнется: честь полка и все такое... Тебе, скажут, хорошо, ты на гражданку метишь, а нам тут служить не переслужить... Пойдет выправление по струнке, явки на подъем, отбой и прочее.

Борис наперед знал, какие пойдут разговоры. Даже Гришка его не одобрит. Даже Гришка, валявшийся в нижнем белье на виду личного состава. Потому что кальсоны кальсонами, а жахнуть в воздух, когда в полку «смершевцы» — это уже политика...

Высокий, плотный, уныло-красивый инженер Забродин ввалился в штабной предбанник и неумело козырнул майору. Это был лейтенант из штатских, взятый с последнего курса института связи. Строевая подготовка ему не давалась, и он махнул на нее рукой, так же как на демобилизацию. На гражданке платили раза в три меньше, и у него никого там не осталось, кроме жены, а она год назад сошлась с его другом.

— Явился по вашему распоряжению,— сказал Забродин нечленораздельно, словно не дожевал лапшу и гуляш.

— Является черт во сне,— не удержался от подковырки майор.— Пишите записку об арестовании.

Инженер неловко потоптался у тумбочки посыльного.

— Что? Бланка нет? Вот возьмите. Вечно у вас ничего нет. И вообще вид у вас... Хреновый вид. «Победу» купили, а на китель жметесь. Пишите — неделя домашнего ареста.

— За стрельбу? — спросил инженер.

— Какую еще стрельбу? — рассвирепел майор.— За оставление контрольно-пропускного пункта без дежурного и дневального. Ясно?

— Соображать, Сева, надо,— улыбнулся Курчев и постукал пальцем по лбу инженера.— Разрешите идти? — козырнул майору.

— Иди, пока не повели,— буркнул тот.

В офицерской столовой было полно лейтенантов и штатских, и при виде Курчева все, как по команде, замолчали. Борис, чувствуя себя зачумленным, ни с кем не поздоровался, за стол не сел и прошел прямо к буфету.

— Сколько там за мной? — спросил румяную, полную Зинку-буфетчицу.

— До фига и больше. Плати наличными.

Лихая, ядреная Зинка жила с его соседом по комнате, лейтенантом Володькой Залетаевым.

— Ладно, борща не надо. Давай одно второе. И посоли,— подмигнул Курчев.

Зинка не выдержала и улынулась.

— Ты все про одно, дурень...

— А твой умный? Ему бы тоже юшку пустили...

— Он офицер.

— А солдату что, не хочется?

— Им чего-то в чай подливают...

— Вранье... Не видишь, как они тебя глазами жрут?

— Ох, нагорит тебе, Борька.

— Поглядим.

Он стал есть прямо у стойки. Разговаривать ни с кем не хотелось. Поговорим дома. Там ждет Федька Павлов, забулдыга и умница, и еще напоследок припрется Гришка Новосельнов. А тут, в столовой, стоишь, как на суде чести или корпусном сборе.

— Вечно ты что-нибудь отчебучишь. Теперь из-за тебя холодное ешь,— уныло сказал за его спиной инженер Забродин и взял с буфетной стойки тарелку с остатками гуляша.

— Перетоскуешь.

— Не переживайте, товарищ инженер,— подмигнула ему Зинка.— Зато Бореньку — ушлют, и Валентинка ваша будет.

— А ведь точно,— поддакнул Курчев. Забродин сох по Вальке Карпенко почти так же, как Валька по нему. Курчеву стало жалко и девушку, и себя, и даже инженера — он тенью бродил за хорошенькой монтажницей, а дойди дело до загса, заведет свои колеса и оторвется на третьей скорости. Все они, брошенные, такой народ. Сохнут и плачут, а когда девчонка соглашается, впадают в амбицию.

«Но и ты ведь не женишься,— сказал себе.— Ну и что? Я же не сохну.— А терся об щеку зачем? — То-то и оно... Все мы так...— Нет — я не так...— Ври больше.— Ну, разве что самую малость...— Принцессу ждешь? — Никого я не жду»,— зло ответил себе.

— Спасибо, Зина. Бабки подбей. Вечером рассчитаемся,— кивнул он буфетнице и ушел из столовой.

Теперь снег не сверкал, как в воскресенье, и никаким морем не пахло. Была обыкновенная зима плюстоскливое ожидание взбучки. Гришка, привалясь к стене КПП, поджидал Бориса.

— Выгнал меня Абрамкин. Штатским на проходной неположено. Теперь начнут у вас болты затягивать.

— А тебе-то что? — отмахнулся Борис.

— Погоришь, парень,— вздохнул Гришка.

— Да ладно. Двух ЧП в день не бывает.

— Съедят тебя, парень,— Новосельнов подтолкнул его кулаком.— Зря я тебе про Журавля напомнил. Ты ведь ему назло стрелял? Я же тебя знаю. С такой невинной совестью по пятьдесят восьмой садятся. Да, забыл — твоя тетрадь. Абрамкин забрать ее хотел. Я отнял, конспекты, говорю. Хорошо, почерк у тебя хуже некуда.

Они пошли вверх по улице.

— Съедят тебя,— повторил Гришка.— Один шанс — на весь банк идти. Отстучи прямо Маленкову. Так, мол, и так. Имею гуманитарное образование. К технике склонности нет. Боюсь загубить ответственное дело: матчасть сложная, а я ничего не смыслю. Кроме того, уже возраст, двадцать шесть, а училище не закончил. Бери на жалость. Приплети что-нибудь семейное: есть невеста, но жениться не могу: в полку для нее нет работы.

— Это можно,— засмеялся Борис.

— Ну и про аспирантуру: мол, хочешь поступать, реферат готов, и все в таком разрезе... Главное, в обратном адресе номер напиши без города. Если у них кавардачок, сразу не смекнут, откуда ты, поставят резолюцию «отпустить», и наши тогда хрен помешают. Только не разъясняй, какая техника. Просто для тебя, дурака, трудная, потому что ты гуманитарий с минус третьей близорукостью. Усвоил? Но шанец не большой — один на тыщу!..

Вместо ответа Курчев обнял Гришку, и шедшие сзади офицеры удивились: и где это историк успел надраться.

Тощенького, кучерявого, точно баран, Федьку Павлова замучили чирьи. Они прочно обсели загривок, не позволяли застегивать ворот. Потому Федька сидел дома, а еду ему отправляла с посыльным Зинка.

— Привет снайперам,— встретил он Курчева, отрывая голову от миски.

Посыльный, маленький неприметный солдат, сидел рядом с Федькой, ожидая, когда тот доест, чтобы лишний раз не бегать за грязной посудой.

— Дожуй сначала,— Курчев метнул недовольный взгляд на посыльного.

— Э, секрет полишинеля,— засмеялся Федька, но тут же сморщился: донимали фурункулы.

— Ешь быстрее,— прикрикнул Володька Залетаев. За-

бравшись с ногами на койку, он ждал, когда посыльный испарится.

В финском домике было три комнаты. В первой, отдельной, жили три младших лейтенанта. Большую, проходную, занимали пятеро: Курчев, Павлов, Гришка, Володька Залетаев и его однокашник, тоже связист, — он был в отпуску. Последнюю, запроходную, оккупировала аристократия — два лейтенанта, ветераны части — маленький плешивый Секачев и язвительный красавец с недолеченным триппером Морев. Все обитатели домика нынче валялись на койках. Вряд ли кто собирался после обеда на объект в этот благословенный день пехоты.

Курчев вытащил из-под кровати желтый кожаный двухсотрублевый чемодан, близнец того, что хранился в кладовой у Сеничкиных, достал пишущую машинку.

— Опять за свое? — бросил в открытую дверь Морев. — Тарахти на коленях. Мы играть будем.

— Геть отсюда, — махнул Секачев солдату. — А ты завтра доешь, — сказал он Федьке и выдернул у него миску. — Пулю черти.

— На четверых?

— Будешь, Григорий Степанович? — спросил Секачев.

— Один хрен... Начфина нету, — отозвался Гришка.

Игроки заняли стол, Курчев поставил углом тумбочку, и началась привычная жизнь — преферанс под аккомпанемент машинки.

«Техник-лейтенант
Курчев Б. К.
в/ч...

Председателю Совета Министров
Союза ССР тов. Маленкову Г. М.

17.02.54» — быстро отстукивал Борис.

«Дорогой Георгий Максимилианович!» — Он передвинул каретку в центр.

«Нашел тоже дорогого, — подумал Курчев. — Все равно читать не будет. У него тридцать тысяч курьеров, то есть секретарей. Хорошо бы к самому глупому попало. Чтоб разорался: что такое? Почему не пускают? Всех негодных гоним, а тут...» — размечтался Борис, не отрывая пальцев от клавиш.

— Пас, — над стблом объявил Секачев.

— Туда же, — отозвался Морев.

— Два паса, в прикупе...

— Колбаса! — докончил за Гришку Федька. — Открыть?

— Открывай. Играем, как в колхозе, без распасовок. Эх, поблядушка не того цвета, — удивился Гришка, открывая бубновую даму.

— Без шпаги будешь, Георгий Степанович, — зевнул Морев.

«Мною подан рапорт на имя командования...» — печатал Борис.

(«Именно командования,— усмехнулся про себя.— Ни-ни, уточнять какого...» Выше командира корпуса он пока рапортов не подавал.)

«...с просьбой уволить меня в запас, так как я хочу честно работать и, не краснея, расписываться в денежной ведомости».

— Две да без одной — три,— считал аккуратный Секачев.

— За одну,— сказал Федька.

— Чего кропаешь? — заскучавший Залетаев подсел к Борису.

— Ерунду,— отмахнулся тот. Страница кончилась, Борис выдернул ее из каретки и сунул текстом вниз под машинку.— Не сиди над душой.

— Загордился, образованный, а нам тут пропадать, да?

— А убили бы почтальона, тогда как?

— Не убили бы, поучили бы слегка. Сам виноват. Зачем в самоволки бегаешь, других подводит?

— Слышал. Сознательная дисциплина...

— Точно, сознательная. Когда каждый знает, что делает.

— И мятежит другого?

— За дело. А ты нарочно связал сержанта.

— Главную опору командира?

— Да, главную... Не ты ночуешь в казарме! На то и сержант, чтоб стоял за тебя над солдатом от отбоя до подъема.

— Эту суку не связать — убить мало... И вообще отлезь. Мне некогда.

— Куда торопишься? Все равно будешь тут загорать, если на полигон не загремишь.

— Там поглядим. Отвали.

Курчев сунул в машинку вторую страницу.

— Чего пишешь?

— Рапорт.

— Не поможет...— Залетаев махнул рукой, лег на свою койку, а Курчев стал достучивать письмо. Надо было допечатать еще дюжину страниц реферата, а три последних даже не были скомпонованы.

«...Пользы от меня, как от техника, никакой. Условий для научной работы — тоже никаких. Мы живем скученно (впятером в проходной комнате), и вечером, когда выпадают свободные минуты, заниматься очень трудно. Книг, нужных мне для занятий историей, нет ни в части, ни в близлежащих городках, а ездить в Москву, в Библиотеку им. В. И. Ленина я не имею физической возможности. Для подготовки реферата мне пришлось использовать отпуск».

(«Может, я это зря? Да что там, проверять не будут. Скажу, мне Алешка помогал на Кавказе. На пляже!»)

«...К тому же в пользу моего увольнения имеется еще одно немаловажное обстоятельство: моя невеста учится в Москве в аспирантуре...»

(«Валяй-шмаляй,— подбодрял себя.— Невеста — не жена».)

«...в конце года она заканчивает аспирантуру, но пожениться мы, по-видимому, не сможем, так как жить нам все равно придется врозь. В пределах части моя будущая жена работы не найдет, а забрать ее в часть, чтобы после восемнадцати лет учебы она сидела сложа руки, я не имею морального права.

Учитывая все вышеизложенное, прошу Вас помочь мне уволиться из рядов Советской Армии.

Техник-лейтенант

(Курчев)

О себе сообщая:

Курчев Борис Кузьмич, 1928 г. рождения, окончил в 1950 г. исторический факультет педагогического института. По окончании института был призван в ряды Советской Армии. Служил год в батарее младших лейтенантов запаса, затем был направлен на краткосрочные технические курсы, по окончании которых (декабрь 1952 г.) в звании техника-лейтенанта был послан в в/ч..., где и служу в настоящее время».

— А, фиг с вами, трус в карты не играет! — петушился Федька.— Мизер!

— Дризер! На второй руке? — усмехнулся Морев.

— Все равно в долг,— сказал Федька.

— Сегодня сосчитаемся,— пробасил Секачев.

— Жалко мне тебя, Федя,— вздохнул Новосельнов.— Смотреть даже не хочу,— и, положив на стол карты, он повернулся к Борису.— Ну как, успеваешь?

Курчев глянул в окно,— за ним чересчур быстро темнело,— и помотал головой.

— Всего триста наверх, Григорий Степанович. Зря ты его пугал,— сказал Секачев.

— Курочка по зернышку, лысый по червонцу,— съязвил Морев.

— Уеду, не играй с ним, Федя,— сказал Гришка.— За год он с тебя на «Москвича» слупит.

— Слупишь с него, как же! — помрачнел Секачев.— Тут на одну передачу за зиму не навистуешь.

У него сидел отец, сапожник: утащил с обувной фабрики пять метров хрома, и Секачев каждый месяц отсылал домой половину жалованья.

— Жми на Рашупкина, поможет,— сказал Гришка.

— Карты возьми, Григорий Степанович,— ответил Секачев.— Не до меня теперь Журавлю: снайпер ему удружил...

Секачеву не хотелось обращаться за помощью к Ращупкину, потому что таких офицеров, как он, с полным училищем, в полку было меньше десятка, и ему светила академия. Отец со своим хромом здорово удружил, и академия грозила накрыться. Не мог, что ли, попасться до смерти Сталина, тогда бы по амнистии вышел. Но домой деньги Секачев слал аккуратно, и удалось бы добиться переследствия, на защитника отдал бы все, что накопил. Только теперь надо было брать хорошего, который не только бы сам взял, но и судьбе сумел бы передать. Гришка говорил, что таких адвокатов полным-полно, и потому Секачев показывал ему письма из дому и даже величал — вроде бы в шутку, а на самом деле почтительно — Григорием Степановичем.

Зажимая карты в левой руке, а правой аккуратно записывая на краешке газеты, сколько у него набрано против каждого чистых денег (что считалось вообще-то неприличным, потому что преферанс — игра комбинационная, и играют в нее не ради выигрыша), Секачев был невесел. Без Григория Степановича жизнь в полку будет не та. И преферанс не тот, хоть и проигрывал Гришка немного. Главными фрайерами были Павлов и Курчев. Но про жизнь, хотя бы, скажем, про тот же ворованный хром, из которого отец шил соседским девкам туфли, они рассуждали как недоделанные: украл — сиди. Будто отец для собственной радости воровал, будто он мог прокормить семью на зарплату.

Глядя на склонившегося над тумбочкой Курчева, отчаянно колошматившего на машинке, словно не он, а полк заплатил за нее полторы косых, Секачев с тревогой думал: неужели все образованные такие дурни. Да я бы такому на своем дворе гальюн рыть не доверил. Идиот, в воздух пулял. Ничего, батя ему покажет. Батя сам образованный, с поплавком. Только поплавок у него на кителе, а не на глазу. Свет эта хреновина бате не застит.

— Ты чего, пидер, несешь,— рассердился он на Федьку.— Видишь, я крести кидаю.

— Не плачь, не корову...— отмахнулся тот и опять скинул вистовую карту.

Зажгли верхний свет. Пришел из караула парторг Волхов, покачал головой, глядя на Курчева,— тот, не отрываясь, печатал,— постоял над играющими, силясь в который раз понять мудреную игру, снова покачал головой, вздохнул:

— Ну и накурили,— и ушел назад в караулку.

Скоро уже сменялся гарнизонный наряд, а начфина все не

было. Володька Залетаев давно храпел, накрывшись курчевской подушкой. Молодой, двадцати одного года, он вообще горазд был спать, а теперь с Зинкиной любви осунулся и спал всюду — в «овощехранилище», в КПП на дежурстве, даже на политзанятиях.

— Эй, ледчик,— Морев толкнул спящего. Летчик послушно повернулся к окну, но храпеть не перестал.— То-то,— хмыкнул Морев и сбросил карту.

Он играл без интереса, никогда не проигрывая и не зарясь на чужие висты. И вообще казался каким-то сонным и, по-видимому, неумным, хотя никаких глупостей не совершал. Для Бориса он был загадкой. Борис никак не мог определить, что же в Мореве главное, чего он хочет, куда гнет, на что надеется. Схватив два года назад, сразу после училища, невеселую болезнь, он до сих пор жаловался на рези и вечно ныл. Но Курчев подозревал, что ноет он от мнительности, и триппера у него скорее всего не было. Пил Морев не больше других, но и не меньше, на машину не копил, помогать тоже никому не помогал. Его мать и тетка в Петрозаводске имели свой дом с огородом и еще где-то служили. В Москву Морев выбирался редко и, не доезжая до центра, оседал в окраинных столовках. Он был хорош собой, выглядел моложе своих двадцати четырех,— а вот поди ж ты — ни черта не желал, никуда не стремился, даже в радиоакадемию. С женщинами после того обидного (реального или выдуманного) случая он, сколько знал Борис, дела не имел. Словом, это был не лейтенант, а сплошное — черт возьми! — и Курчев, теряясь в догадках и сомнениях, все подбирал к нему отмычку, надеясь написать небольшую, страниц на двадцать, работу об Игоре Олеговиче Мореве, странном, ничего не желающем офицере. Это было куда интересней реферата, который с каждой страницей черствел, ссыхался и уже вызывал тошноту, как съеденный на четвертый день батон.

Теперь, после выстрела, Борису открывалось, как надо было написать реферат. Надо было делить мир не на начальство и нена начальство, а на единицу и множество. Выстрел, оттолкнувший от Курчева офицеров, был как гром небесный, как 22 июня 41 года, как все, грозное и реальное, что ставит жизнь с головы на ноги.

Курчев перенес машинку на кровать и нехотя стал прикидывать на отдельном листке, куда сунуть какую цитату. Занятие было не из приятных.

Если ты такой любитель правды,— подумал он,— оставайся в полку и качай права. А реферат пусти на подтирку... Слабо!

Открылась дверь, вошел посыльный, тот, что приносил

Федьке обед, и встал у печки. Дальше идти ему было некуда — мешали играющие.

— Чего тебе? — лениво спросил Морев.— В штаб кого-нибудь? Лейтенанта Курчева?

Борис поднял голову. Посыльный мялся.

— Нет, не в штаб,— наконец выдал он.— Мне до вас, товарищ лейтенант.

— Говори. Я не глухой,— сказал Курчев.

Солдат все еще мялся.

— Не пыхти над ухом,— рассердился Секачев.— Чего пришел?

— Да... это самое,— промямлил солдат и тут, словно махнув рукой,— мол, что мне, больше других надо — выпалил: — Капитан Зубихин велели у лейтенанта Курчева на полчаса машинку позычить.

— Чего-чего? — переспросил Федька.

— Достучался.— Морев покачал головой.

Зубихин был полковым особистом.

— Скажи, занята. Видишь, сам печатаю. Скажи, пусть в штабе возьмет.

— В штабе заперто,— ответил посыльный.— Младший лейтенант Абрамкин в наряде...

— Ну, и моя занята. Поищи Абрамкина, пусть отогреет.

— Начфин там не приехал? — подал голос Гришка.

— Приехал,— ответил солдат.— Только деньги вроде завтра давать будут. Батя заболел.

— Идите,— сказал Секачев.

— Порядок в танковых войсках! — закричал Федька.— Давай, старлей, отвальную!

— Придется, Григорий Степанович,— пробасил Секачев.

— Ледчик, ледчик! Па-адьем! — Морев тряс спящего.— А ну к ерам эту пулю! — Морев оживился и смял двойной тетрадный лист с росписью.

— Тише ты,— Секачев бережно разгладил лист.— Григория Степановича распишем, а сами доиграем завтра. Дуй за горючим, Григорий Степанович.

— Вы это без меня, ребята...— бормотал Гришка. К нему возвращались утренние страхи.— Я ж бухой, до шоссе не дохопаю.

— А ты здесь переночуй,— сказал проснувшийся летчик.

— Не могу, ребята.

— Чего не можешь, Григорий Степанович? — Начфин толкнул дверь.— Налетай, подешевело! Расхватали — не берут! — и, растолкав сгрудившихся офицеров, он хлопнул об

стол серым спортивным чемоданом.— С доставкой на дом! Батя бухой. Велел завтра давать. Но для своих я всегда пожалста...

Он вытащил лиловатую ведомость и начал священнодействовать.

— Обманули тебя, Григорий Степанович. За «молчи-молчи», я узнавал, выходное не платят. Расписывайся. За февраль с надбавкой, а за март-апрель — без...

— Фью-ить! Полкосых долой!— сказал Морев.— Давай, ледчик, за бутылками. Жертвую четвертную.— Он вытащил из кителя сложенную вдвое двадцатипятирублевку.

— Не надо. Я сам,— сказал Гришка.

— Ничего... Надо. А то гавриков до ениной матери. Ну, кто больше? Ледчик? Так. Историк? Секачев? Пехота, пить будешь? — спросил он Волхова.— Не будешь? Тогда мотай отсюда.

— Ну, ты... — неуверенно пробурчал Волхов. По тону Морева никогда нельзя было понять, говорит в шутку или серьезно.

— Забирай сундук, начфин, и разом назад. Только соседа не приводи — зануда... Мне он и в «хранилище» офиздинел.

— Он непьющий,— засмеялся начфин. Его соседом был инженер Забродин.

— Ничего, пусть его... Я за ним забегу,— крикнул Гришка.— Вот, Володя, возьми еще.— Он сунул Залетаеву сотенную.— Пусть инженер посидит, зато до автобуса подкинет,— и Гришка побежал вслед за начфином.

— А мне что? Нам, татарам, все одно — что малина... — скривился Морев.— Чего кислый? — кинул Борису.

Тот возился на койке, закрывал машинку, складывал отпечатанные и чистые страницы в конторскую папку с завязочками, где уже лежал запечатанный конверт с письмом в правительство.

— Чего кислый? — повторил Морев.— Не дрейфь. Батя поднадрался, не вызовет.

— Чемодан у тебя большой? — спросил Курчев.

— Забыл? Вроде твоего.

— А у тебя? — Борис повернулся к Федьке.

— Спортивный.

— Тогда давай.

Федька высыпал на стол из такого же, как у начфина, серого чемоданчика несколько черных конвертов, видимо с фотографиями, две пары толстых деревенских носков, толстую байковую рубаху и катушку ниток с блеснувшей иглой.

— К себе положу,— Курчев смахнул все добро со стола

в свой кожаный чемодан. На дне Федькиного чемоданчика он уложил папку, придавил ее машинкой. Оставалось еще свободное место, и он засунул туда старые газеты, лежавшие стопкой на подоконнике.

— Ты чего? — с ленивым интересом спросил Морев. — Вот чудик, опер тебя везде отыщет.

— В Москву отвезу. Сломал. Ремонт нужен...

— Ну и правильно, — кивнул Морев.

— Так ты ж арестован? — удивился Федька.

— А вы ничего не видели. До рассвета я обернусь.

«Только где бы, — соображал, — допечатать? У Алешки — нехорошо. Подумает, что я тяп-ляп. Я ж ему пел, что всю зиму клоплю над рефератом».

— Секачев, не помнишь, когда из Москвы, от какой станции ближе, второй или первой? — крикнул в запроходнягу.

— От второй, там дуй по бетонке, а потом сюда до поворота. Натопашься. Километров восемнадцать... — Секачев вышел из своей комнатенки и стал расстилать на столе газеты. — Упьетесь ведь как свиньи, — ворчал по-старушечьи.

— Стели, стели. Порядок нужен, — сказал Морев. — А это кто такой? — он поглядел на фотографию в газете. — Подполковник Запудыкин. Молодец, товарищ подполковник. Повезло тебе.

— Это почему? — удивился Секачев.

— А потому, что Секачев не будет твоей мордой задницу вытирать. Скоро историк большим человеком будет... Тогда мы его тоже на подтирку пустим.

— Ему сперва батя этим самым морду вымажет, — усмехнулся Секачев.

— Смотри, Борис, — удивился Федька. — Обратная сторона славы... От великого до смешного... Так что ты в газетах не печатайся.

Курчев, не отвечая, вышел в кухню — ваксить сапоги.

Входная дверь теперь хлопала, как вокзальная. В домик набились офицеры. Пехотный парторг Волхов выглянул из своей комнатенки, проворчал:

— Вот свиньи, снег бы хоть отряхали, — и устался на Бориса.

Борис, чистивший сапоги волховской ваксой (никто в холостяцком домике ваксы не имел, но все знали, куда Волхов прячет свою), покраснел:

— Извини, последний раз попользуюсь.

— Ты это куда? — спросил парторг.

— К девчонкам. Мне ж пить нельзя, я — под арестом.

Парторг еще раз недоверчиво глянул на щетку и ваксу и прикрыл дверь. Снова хлопнула входная — ввалился Гришка, веселый сразу от всего: от общества, конца службы и выпивона.

— А где инженер? — спросил Курчев.

— Не придет. Велел через четверть часа ждать у ворот. В райцентр едет.

— Порядок! Я с тобой.

— Не повезет,— Гришка с сомнением покачал головой.

— Ничего, уломаю.

Сушеные абрикосы

Борис выскользнул из дома и раздвинул доски за сараем. Было почти темно, но фонари не зажигали. Сильно похолодало, и, нырнув в балку, он развязал тесемки ушанки.

«Замерзнешь тут, пока они там греются... И чего это Марьяшка меня вдруг заприглашала? — чтобы согреться он решил не думать об армейском.— Кларка, наверно, придет?» — Переводчица должна была насовсем вернуться из ГДР. Но летние воспоминания нынче не согревали.

Он осторожно выбрался на бетонку, опасаясь, как бы не заметили из окна КПП, и посмотрел в сторону «овощехранилища» — не идет ли кто навстречу. Ветер сметал с бетонного покрытия снег, дорога просматривалась плохо.

Сзади, над забором и КПП, засветилось электричество, и почти тотчас же Борис услышал пыхтение мотора. Видимо, Черенков, отпирая ворота, заодно и зажег свет. «Победа» медленно двинулась к повороту, а затем поползла вниз по бетонке. Курчев стал посредине шоссе, и вдруг с ужасом понял, что в темноте цвета машины не определишь. А если это не серая, забродинская, а бежевая особистов?

Что им скажешь? Сломал малявку? Так они посмотрят. Попал ты, Борис Кузьмич! Еще чего! Моя вещь — куда хочу, туда везу, возразил себе.

Ослепляя фарами, «Победа» надвигалась на него, но у водителя кишка, видать, была тонка. Не прибавляя скорости, он повернул машину влево, но и Борис тоже отпрыгнул влево. Тогда водитель вильнул вправо, но тут — скорость была малая — мотор, зачихавши, заглох.

— Ты что, пьяный? — раздался крик Забродина.— Это ты, Курчев? Да как ты...

— Боренька, а мы с Валухой в магазин,— слышался смех Соньки.

— И ты здесь? — удивился Курчев.

— Ты куда, Курчев? Домой иди,— занервничал Забродин.

— Тише, инженер. Мне до поворота.

— Не повезу. Ты арестован.

— А мы не скажем,— заступилась Валька.— Подвезите его, Всеволод Сергеевич.

— Подвези, чего уж, инженер. До поворота только,— пробурчал Гришка.

— А зачем свет испортил в салоне? — спросил Курчев, открывая дверцу.— Не бойся. Я тебя не видел. Ты меня не вез. Спрячьте меня, девочки,— и он уткнулся Вальке в колени.

Повезло, подумал. Надо же такой фарт, чтобы зануда их катать повез. Тоже мне мотомеханизированное ухаживание.

— Ты не очень их спаивай, Сева,— сказал, когда проехали шлагбаум.

— Мы в магазин,— снова засмеялась Сонька — никто бы не поверил, что это она сегодня днем, воя в голос, бегала по двору в разодранном сарафане.

Машина тяжело поднималась по горбатой дороге. Забродин был неважным шофером, осторожничал, запаздывал переключать скорости.

— Не захотела диктовать,— шепнула Курчеву Валька.

— Бог с ней.

— Я боялась зайти. Два раза мимо прошла. Видела — ты сидел на койке. Печатал, да? Там у вас Игорь Морев этот. У него язык как бритва...

— Кончай шептаться,— прошамкал Гришка.

— Секреты на кухню,— бойко подхватила Сонька.

— Сейчас вылезем,— сказал Курчев.

Всем пятерым не терпелось добраться до поворота.

В полупустом автобусе Гришку начало укачивать. Он позывал, клевал носом, но уснуть не мог — разгулялись нервы.

— Женись, слушай, на этой чернявой,— прокряхтел, разгоня дремоту.— Ей бо, не прогадаешь. А то этому хмырю достанется.

Борис, оторвавшись от своих печалей, поглядел на Гришку и вдруг сообразил, что километров через сорок они вылезут из полутемного с замерзшими окнами автобуса и распрощаются навсегда. Полгода жил с Гришкой душа в душу, спал на соседней койке, а теперь, напоследок, занят своими пустяками.

— Куда мне ее? — улыбнулся Борис.

— А что... Свадьбу сыграешь. Все равно тебе в полку не

жизнь. Так ли, эдак ли, а удерешь. У нее специальность. И потом чистая, аккуратненькая. А то женишься на какой-нибудь невытой, в очках.

— Иди ты...

— А ты не зарекайся,— расходился Гришка.— Валька, она в порядке. У меня друг до войны на такой женился. И знаешь, чудно как... Идем, значит, с ним,— покашливая и отсмаркиваясь, Гришка стал настраивать голос, все равно, как гитару,— с другом моим, по Невскому, как раз под выходной, в получку. Так, сами ничего, в галстучках, в чарльстонах. Я еще лысый не был, а приятель вообще «вейся чубчик кучерявый». Приняли немного. А Питер до войны совсем другой был. Тогда где чего — точно знали. Педерасты, те у Казанского собора прохаживались, а девочки подальше, у кино «Молодежный».

— И теперь все на тех же местах.

— Ходил туда?

— Слышал.

— Параша. Теперь все вперемешку. Уже не разберешь, где кто и которая какая. А до войны было строго, порядок. Подходим, значит, к «Молодежному», и вдруг стоит девочка. Ну, точно твоя. Одета чистенько, но бедно. Штопаное. Последнее. Носочки, помню, на ней были. А время — осень посередине. Стоит и ожидает. Ну, мы к ней — ля-ля, мол, то да се. Как вас, фройлян, по имени. Молчит. Приятель хватить ее повыше локтя. Не вырывается. Только дрожит. Мордашка такая — еще чуть-чуть и реветь начнет.

«Чего стоишь здесь? — это я ее спрашиваю.— Тут,— говорю,— маленьким стоять неположено. Тут, знаешь, чья стоянка?»

«Знаю»,— отвечает. Это мы от нее первое слово услышали. И слезки сразу заблестели, а ресницы, как у твоей Вальки, даже еще длинней.

— Да оставь ты Вальку,— сказал Курчев. Ему не хотелось слушать эту бодягу. Он знал, что она надергана из разных чужих историй или даже книжек, но перебивать человека перед разлукой было невежливо.

— К инженеру ревнуй, а я тут при чем? — осклабился Гришка.— Я тебе точно говорю — женись. В отпуск к нам в Питер приедете. Жена как родных примет. Не хочешь?.. Тогда я к тебе... Ну, так вот. «Знаю»,— она нам ответила. Понимаешь, девчоночке, ну, шестнадцать, не больше, а знает. Собой — свежачок такой. Грудки еле-еле под жакеткой наметились. Ну, скажу тебе — мечта! Сколько лет прошло, а помню...

— Слюни подбери...

— А мне что? Я ее не трогал. Другу досталась. Он, понимаешь, раньше моего докумекал. «Ты что,— удивился,— такая?» — «Угу»,— кивает, а сама уже ревет по-серьезному. «Брось ты ее,— говорю.— Припадочная...» А она на меня с кулачками: «Иди отсюда, гадкий, противный...»

— Смотри, разглядела,— усмехнулся Борис.— Ну, и дальше что?

«А квартира у тебя есть?» — спрашивает приятель.

«Есть»,— кивает.

Ну, и поехали они. А напослезавтра с утра пораньше, смотрим, друг в мастерской по тридцатке, по червонцу стреляет, трешкой и то не брезгует. «Женюсь,— орет.— Честной оказалась». Отца, понимаешь, взяли (как раз такое время было), мамаша померла, одна осталась и в первый раз вышла. И видишь, как повезло, на хорошего человека напоролась. И ему фортануло. Верной оказалась...

— И сейчас живут, мед попивают?

— В блокаду погибли,— не сморгнул Гришка.— И ты женись. Думаешь, философия или история тебя прокормят? Ну, а прокормят, так такого дерьма жрать заставят, что сразу гастрит заимеешь. Нервное это дело. Сегодня одно говори, завтра — другое. Нос держи по ветру и, чуть насморк схватишь, готовься с вещами на выход. Десять лет без права переписки... Это страшный мир, Борис Кузьмич, дорогой ты мой,— Гришка снизил голос до шепота.

— Почему знаешь?

— А что я, не в Питере жил? В Питере, знаешь, сколько раз людей сажали? Этих кампаний было — пальцев на руках и ногах не хватит. Дворян, немцев, чухонцев, профессоров, потом тех, которые с золотишком, потом кировцев, ну, и как везде — троцкистов, шпионов. И еще этих, после войны, писателей. А уж головку — этих подчистую...

— Какую головку?

— Обыкновенную. Смольный весь. Ты же одни журналы читаешь, а в них о том не пишут. Ну, пойми, о чем писать можно? Только чужое жевать-пережевывать. Ты жизни толком не видел, а увидишь — все равно правду о ней сказать не дадут. А теперь, как рябой подох, так вообще неясно, кого хвалить, кого не надо. При нем хоть понятно было. Хвали усамого, перехваливай и только гляди, чтоб другой сильнее тебя не перехвалил и на тебя же потом не наклепал. А теперь вот, году еще нет, как рябой в Мавзолее, а уже поклевывают, и неясно, кому задницу лизать. Так что бросай эту хреновину, женись на Валюхе и чини телевизоры. Хочешь, устрою?

— Спасибо, обойдусь, и задницу лизать не буду.

— Тогда с голоду сдохнешь. Я всерьез, Борька. Я ж тебя, дурака, люблю. Парень ты свой, а что глупый, так это проходит. Я давно тебе сказать хотел: бросай ты эту хреновину. Опер уже за машинкой присылал. Зачем, думаешь?

— Хрен его знает...

— Пропадешь, парень. Машинку везешь? — он кивнул на чемоданчик.

— Ага. Допечатаю и в Москве оставлю.

— А чего скажешь?

— Чего-нибудь придумаю...

— Не положено офицерам машинку иметь.

— Где это сказано? В уставе?

— Без устава голову иметь надо. Это множительный аппарат, понял? Ты на ней чего-нибудь такого напечатал?

— Да нет. Только реферат...

— Значит, просто корпусной «смерш» взглянуть хотел. Привези назад.

— Разбежался! Получишь с них потом. Скажу, продал.

— Спросят, кому. Скажи, мне отдал, но уж тогда точно отдай. Или жалеешь?

— Мне надо допечатать три страницы.

— Поедем к одному мужику. Там допечатаешь.

— А удобно? Мне всего полчаса — не больше.

— Удобно. Все удобно. Это такой экспонат — девять лет отсидел, а хоть бы хны, прямо огурец парниковый! Я тебе не рассказывал? Фрукты сушеные. Абрикосы. В общем, ленинградская симфония! Чем только человек не занимался: и снабжение, и руководство (с перерывчиками — само собой!). Но выходил. В 41-м послали его в Грузию готовить что-то не продуктивное. А тут война. Ну, он, понимаешь, скумекал, что непищевое потерпит, оформляет документы и везет в подарок рабочему Питеру три вагона сушеных абрикосов. Война только разворачивается. А он парень головастый. Финскую помнит и знает, что Ленинград — город фронтовой, все может случиться. И вот повез он на север с Кавказа три вагона кураги. Два вагона у него оформлены, а третий, как говорится, в уме. Ехал он долго и чуть не последним эшелонам в Питер проскочил. Два вагона, ясное дело, героическому Ленинграду передал и еще благодарностью заработал, к медали представили. А третий вагон на рельсах оставил и по-тихому разгрузил со своей бражкой. Вагон сухофруктов. Представляешь? Тут зима. Блокада. Миллион или больше на тот свет без пересадки. Рояль за полбуханки шел. На растопку, понятно. А тут тридцать с чем-нибудь тонн кураги!

— Подлость...

— Да погоди ты... Как он ее прятал, не знаю. Но за три года распродал. Трем сестрам где-то в Вологде или Вятке дома построил. Родителей обеспечил, жену, детей. А сам, понимаешь, сел — не повезло — на весь червонец.

— Слава богу...

— Не славкай. Сел по-глупому. Не сообразил транспорт оформить. Как блокаду сняли, так в Питер бумага пришла. Мол, так и так, все понимаем: вагоны вы, ясное дело, сожгли, но ходовые части, тележку с колесами — верните. И написано: три двухосных вагона. А в накладной — два. Ну — туда-сюда, завертелось! Куда третий дел? А он, может, его просто из рельсах бросил или в тупик угнал. Где через три года сыщешь? Но размотали, и десятку схлопотал. Однако сидел — к лопате не прикасался. Весь, понимаешь, срок в дежурке у печки или в сарае у дизеля филонил. «Казбек» покуривал и охрану угошал. Реформа в 47-м — один к десяти, а ему без разницы. Теперь жилищный кооператив купил. На дочь оформил. Две отдельные комнаты — дворец!

— Глаза б мои на него не глядели, — разозлился Курчев. — Ты же сам все это видел: голодный город, дети мертвые...

— Впечатлительный... — Гришка покачал головой. — Ну, хорошо. А привез бы он два вагона. Лучше, что ли? Так хоть вагон людям пошел, а так ни одного. Жданов — вроде философ. Так он, может, по литературе или по музыке ученый, а в жратве ничего не смыслит. Ленинград на голодовку посадил. Но кому-кому, а ему кураги хватало! Мы, бля, на передовой сухари сосали, а он в бункере под вокзалом, сам знаешь, не пайку грыз. От армянского коньяка небось не просыхал и для жажды икру ложками в хайло заталкивал. Да и фрукты — не сушеные, а свежие ему с Большой земли возили. — Гришка потрепал Курчева по щеке. — Дурень ты, Борька. Ох, и дурень. На полмиллиметра вглубь не видишь. Тебе бы стихи писать, а не историей заниматься. Я сам таким был, но только до пяти лет, ну до восьми, не дольше... Уже в 31 году, на фабзауче, все понимал. Бывало, иду по Питеру, хоть по Фонтанке, хоть по Дворцовой, гляжу на всю эту красоту и знаю: каждый камень, гвоздь каждый, даже хвосты у лошадей на Аничковом — все это не за так, не от Бога или начальства. Все деловым рабочим человеком добыто, и не прямо, а в обход и с умом. С начала мира того не хватало, другого. И не кто-нибудь, а деловой человек договаривался с кем следует и доставал, где другой в жизнь не раздобыл бы. Думаешь, царь, или там Сталин, или теперь Маленков подписали, так все — Днепрострой или Исаакий пост-

роен? Шиш... Это, Борька, все равно, как если бы от загсовского свидетельства дети рождались... И обидно, что таких дураков, как ты, тьма-тьмушая. И самое чудное, что лопуха за версту видно. У идеалистов глупость на морде светится. Вон как у тебя, — и Новосельнов незлобно пихнул Бориса локтем. — Все вы уверены, что стоит вам правду вытащить на свет, как люди в нее поверят, к груди ее прижмут. Мол, скажи вы им эту правдоху, и все работяги всемирной армии труда за руки возьмутся и начнут петь: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!» А что жрать человеку надо и что одной вашей правдой хрен его накормишь, про это забыли. Жратва же, между прочим, не от правды-матки растет, а от работы. И от дела еще. Жратву, ее сперва заготовь да еще в магазин завези. А вы хрен ее заготовите. Вы нос дерете: мы, такие-этакие, честные, пачкаться не хотим. Честные... — рассердился Новосельнов. — Как же! Честные — это те, кто пользу приносит, ну и себя, понятно, не забывает. А как забудешь? Кругом подмазывать надо. Что я, чокнутый, пальцем изготовленный?.. Я нос не деру, выше других себя не считаю. Мне тоже жить надо. Ну и живу. И польза от меня идет. Может, в Америке (не был — не знаю) на лапу не дают. Может, там они все сознательные. Но, думаю, просто берут аккуратней и сразу помногу. А у нас и без «помалу» нельзя. На зарплату только дураки живут. И то в самом низу. А кто чуть повыше, у тех всякие прибавки, пакеты, пайки именные. Не знаешь — дядьку спроси.

Автобус медленно плыл сквозь просвистанную ветром и слабо пробиваемую немногими тусклыми фонарями шоссею темноту. У Курчева на душе было погано.

— Такие, как ты, самые вредные экземпляры, — не унимался Гришка. — И откуда на нашу голову свалились? В дерьме живете, но других учите, чертовы болячки. А вы сперва поглядите, что и как. Потом и самим учить не захочется. А то вдруг узнают чего-то, чему сто лет в обед, и разорутся: караул! грабят! — хотя давно все разграблено-переграблено. Живет такой слепой болван и вдруг очухается и начинает, понимаешь, в колокол бить. Вроде Герцена твоего. А зачем? Несправедливость всегда была, с первого дня, и если рассосется, то не от крика. А будут, вроде тебя, в воздух пулять, еще хуже станет. Знаешь, как в анекдоте: попал в дерьмо, не чирикай.

— Философия лежачего камня, — скривился Борис.

— Нет, воробья, которого обхезала корова. А он, чудик, расчирикался. Кошка учуяла, вытащила его оттуда и сожрала.

— Старо.

— А нового ничего и нет. Для меня. А для тебя — вагон

с тележкой. Иначе бы в воздух не шмалял. Чего теперь Журавлю скажешь? Зачем, спросит, патрон тратил?

— Отбрешусь. Скажу, по близорукости. Я думал, чужие. Свои, скажу, считал сознательные — не побегут от дежурного по части.

— Это годится. Умнеешь. Только нос затыкать не надо — пахнет, мол. Мировому дерьму две тыщи лет. Принюхаться пора. Ты уж взрослый. Многие до твоих годов не дожили... Поехали, покажу тебе мужика. Телевизоры ремонтирует. Скажу — тебя устроит.

— Больно надо.

— Ну, хоть достучишь свою фигню. И по рюкзаке хлопнем. Ведь расстаемся.

— Ладно, погляжу на твоего монстра. Авось пригодится, — улыбнулся Курчев.

Вечерняя Москва в клубах пара и в ярких, слепящих, как фары автомобиля, фонарях была будто из сна или кинофильма. Хотелось остановиться, наглядеться, но все вокруг мелькало, спешило, не давалось и в то же время оглядывало тебя чудного, в тесной короткой шинели, в тупых, яловых, плохо начищенных сапогах. А Гришка, который нынче в полку выглядел ряженым, вдруг в эту Москву вписался, просто прилип к ней, вечерней, шумной фонарно- и неоновочерной — и был тут свой, шел с чемоданом от автобуса, минуя огни метро, в какой-то людный проулок, словно всю жизнь здесь ходил и два часа назад не дрожал от страха, что не отпустят из полка.

Курчев хватал морозный, городской, пахнувший камнем, ржавчиной, копотью — чем угодно, только не небом и елкой, — воздух и все не верил, что снова в Москве, в городе, где сплошная свобода и воля. Так бывало с ним всегда и всегда кончалось ничем. Москва никогда не давалась в руки, вроде строптивой девчонки, что ластится-ластится, но не дается... только изведешься понапрасну и со злобной тупой радостью уползешь назад в полк: да пропади ты все пропадом!..

Так бывало и раньше, когда Борис мальчишкой приезжал на выходной из Серпухова. Москвой никогда нельзя было наглотаться вволю, так, чтобы осточертела, обожраться, как до войны мороженым, а теперь — водкой.

«И слава Богу», — думал Курчев, невесело глядя на круглые носки своих сапог. Они вышли на другую улицу, параллельную той, по которой ушел автобус.

— Только не тушуйся, — предостерег Новосельнов у высокого нового дома с вывеской «Парикмахерская». Из подъезда

пахнуло свежей краской — этот запах прорезал плотный холод улицы.

— Не тушуйся только,— повторил Гришка, словно подбадривал себя.— Невысоко, так поднимемся,— робковато улыбнулся, обходя новенькую кабину лифта.

— Будто к генералу идешь,— пошутил Курчев.

— А что... Он все может! Связи большие... Захочет — меня в Москву перетащит.

— А чем дома нехорошо?

— Дружки,— вздохнул Гришка.— Боюсь, по-новой пойдет.

А как же благородная миссия деловых людей? — хотел было спросить Курчев, но не успел. Шедший впереди Гришка остановился на площадке у высокой, окрашенной под дуб двери.

— Погоди,— обернулся он к Борису.— Стань так, чтоб тебя видно не было, еще испугаешь.

«Мильтон я, что ли?» — подумал Борис.

Запел звонок, нехотя отползла дверь.

— Привет Игнату Трофимовичу! — подобострастно поздоровался Гришка.

— А, Григорий батькович! Разоблачайсь. Ноги только сним. Паркет...

Дверь за Гришкой защелкнулась, но тут же отъехала вправо, и зычный голос позвал:

— Где ты там, вояка?

На пороге в пижамной куртке и брюках, вправленных в белые бурки, стоял кряжистый, крепко срубленный мужик.

«Ого!» — подумал Борис. Мужик вполне тянул на большого начальника.

— Проходи. Прахоря скинь. Паркет.

Пол действительно сиял, но прихожая и видная в распахнутые двери комната имели вид не жилой, показушный. Горка с посудой, диван, ковер над диваном, стол со скатертью — все было новым, нетронутым, словно люди не пользовались мебелью, а молились на нее.

«У дядя Васи не шикарней»,— подумал Борис.

Хозяин, не дожидаясь, пока лейтенант разденется, ушел в комнату.

«Силен!» — хмыкнул Борис. Те лагерники, которых он успел повидать в полку, были какие-то приниженные, угодливые.

«Что ж, он у себя дома, а мой дом — моя крепость,— подумал Курчев, оглядывая квартиру.— На каждом долларе комья грязи, на каждом долларе следы крови,— вспомнилось неожиданно, но он оборвал себя: — Не пыли цитатами. Жутко этот хмырь кого-то напоминает. Вылитый генерал.»

Из двух сидевших в креслах никак не хозяин, а облезлый и красноглазый Гришка выглядел недавним эком. Лицо у Гришки было заискивающее, и глядел на хозяина он чересчур преданно.

— Куда мне приткнуться? — нарочито громко спросил Борис.

— Чего у него? — спросил хозяин.

— Машинка. Реферат допечатать, — просительно сказал Гришка.

— Тоже контору нашли. Скатерть не помни, — проворчал хозяин.

«На кого он все-таки похож?» — думал Борис.

— Ты там недолго. А то вас кормить надо, — буркнул хозяин.

— Подождем, Игнат Трофимович, — сказал Гришка.

— А чего ждать? Время не раннее. Или заночуешь?

— Как посоветуете. Разузнать хотел. Вы обещали...

— Что обещал, сделаю. От своих слов еще не отказывался. Только тут, понимаешь, — он слегка приглушил голос, но Курчев и за стуком машинки все равно слышал, — возможность назревает. Судимость с меня снять хотят.

— Так у вас же амнистия?

— Амнистия — само собой. А тут возможность и вовсе чистяком. Судья, что мне срок впаял, гадом оказался. Из тех, что наш Ленинград врагу сдать хотели.

— Вот это да! — вскрикнул Гришка, словно не он час назад рассказывал Курчеву про ленинградскую «головку». — Скажите, пожалуйста!

— Да. Выходит, меня оклеветали. Девять моих годов по ветру пустили. Девять годов, — повторил он с некоторым даже надрывом, словно это ленинградские начальники сбывали курагу. — Я, понимаешь, расти мог. Здоровье какое имел!

— Да у вас и сейчас здоровье ого-го!

— Не скажи...

— Переследствие будет?

— Умные люди соображают, как провести. Дочь — тоже юристка — выясняет. Полоса, говорят, скоро такая пойдет — уже помаленьку начинается. Пересматривают кой-кого. Кто сидел невиновно. Момент уловить надо. Тогда место получу и тебя пристрою. Квартира в Ленинграде большая?

— Две комнаты.

— На одну сменяешь. А чего в Москве не видел? Супружница хворает?

— Да, врачи велят... Климат... — соврал Гришка.

— Что ж, устроишься. Я тебя хоть сейчас могу в ателье, только ты дизелист...

— Дизелист,— с сожалением кивнул Гришка.— Поздно мне на телевизоры. Вы этого возьмите...— Он кивнул на быстро печатавшего Курчева.

— На хрен мне грамотных,— процедил хозяин.— Квитанцию я и сам оформлю. Паяльником он умеет?

— Умеет. Головастый. Не примут в аспирантуру, к вам придет. Не прогоните?

— Вообще-то на хрен нищих. Но, если просишь, пусть...

Борис со злостью тарахтел на малявке. Цитаты из классиков под эту беседу казались музыкой.

«Убьет и сам не заметит»,— подумал о хозяине.

Кончив печатать, Курчев ушел, отказавшись от выпивки и закуски. Гришка, растерянный и робкий, в одних носках выбежал на площадку.

— Попрощаемся хоть!

Курчев обнял его, чмокнул в губы. Пахло от Гришки скверно — гнилыми зубами и утренним спиртным, но все же это был людской запах.

— Будь,— Борис толкнул его в плечо, никак не мог настроиться на прощальный лад.

— Не дрейфь,— шепнул Гришка.— Обойдется. Слышал, Игнат сказал, другая сейчас полоса. Выпускать начали.

— С тобой бы обошлось. Ты с ним осторожней,— сказал Курчев.

— С ним-то? Да он теперь на воду дует...

— На воду дует, а на тебя плюнет и разотрет.

— Не тушуйся. Еще увидимся.— Гришка боязливо оглянулся и, боднув Бориса, юркнул в дверь.

— Проводились? — улыбнулся Игнат. Он разлегся в кресле, расстегнув пижаму на две верхние пуговицы и распустив живот, вид у него теперь был куда благодущней и человечней. То ли потому, что на столе возникли закуска и запотевший хрустальный графин, то ли оттого, что ушел лейтенант.

— Он ничего парень. Тоже деру дать собирается,— хихикнул Гришка.

— Не спорю, не спорю,— ответил хозяин.— Но вдвоем веселее. Слушай, Григорий батькович. Тебе этого... ну, того, финансов, одним словом, башлей не требуется?

— Да что вы, Игнат Трофимович? — Гришка от неожиданности покраснел.

— Не стесняйся.

— Я компенсацию получил, — Гришка хлопнул себя по кителю. С левой стороны солидно оттопыривалось.

— Могу для симметрии добавить, — загоготал хозяин. — Совсем как баба будешь.

«Чтоб ты меня, как бабу...» — подумал Гришка.

— У жены дома кое-что есть, — ответил хозяину. — Так что пока обойдусь...

— Это ты правильно говоришь «пока». Телефон мне вот куда запиши, — хозяин кивнул на совершенно новый бювар, лежащий возле нетронутой пепельницы на полированном журнальном столике. Видимо, в доме не писали и не курили.

— А вообще взял бы, — повторил хозяин. — Или сразу на работу пойдешь?

— Не знаю, — Гришка пожал плечами. Устраиваться в Ленинграде ему не хотелось.

— На одну комнату — это я тебе в месяц организую. Сейчас уже поздно, завтра с утрачка обзвоню кой-кого. Вас двое?

— Теща третья, — снова покраснел Гришка, словно чувствовал себя виноватым.

— Ну, трое еще сойдет. В Москве сколько угодно таких, что шестером на пяти метрах кувыркаются.

В детстве Борька Курчев обожал дядю Васю.

Но в последние годы говорить ему с дядькой было не о чем.

«Как служба, солдат?» — «Полный порядок!» И все. Спросить, что там у них, наверху, неловко, да и дядька отшутится, не ответит. Он и Алешке ничего не говорил. Кое-чего в семью просачивалось только через тетку Ольгу Витальевну. Та иногда любила пофорсить перед сыном и невесткой. Бориса же она не жаловала. Просто так, нипочему. Места он много не занимал — разве что чемодан ставил к ним в кладовку. Но все равно он был посторонний и видел, как живет дом. Небось еще в своем полку выбалтывал, что Василий Митрофанович книг не читает, а все вечера сидит в гостиной один на один с телевизором.

Сколько дети изводили ее из-за этого ящика: переставь его на кухню или в спальню. Но стояла насмерть, хотя телевизор терпеть не могла.

— Пусть смотрит, — отвечала, — работа у него тяжелая.

Эту свою работу Вася от нее не скрывал. Все секретное и несекретное в спальне, как на исповеди, выкладывал. С кем ему еще было советоваться? Она и журналы по его отрасли

читала и подумывала даже совсем бросить школу. Все-таки техника — это не то, что директорство или язык с литературой. Техника была самая передовая и почти вся за нулями. Под приглядом Василия Митрофановича трудились два полных академика, три членкора, с десятков докторов, а уж кандидатов наук и не счесть. Чуть ли не каждый месяц люди защищали диссертации. Народ у Василия Митрофановича рос быстро. Но сам В. М. Сеничкин был всего лишь инженером, да притом, честно сказать, не сильно образованным: институт заканчивал в тридцать пять лет без отрыва от службы. Давно надо было сделать ему диссертацию, но тут имелась одна заковыка.

В своей технической области он был самым главным. Выше не было никого. И потому его пост был приравнен к министерскому, а управление — к министерству.

Так что двигаться здесь Василию Митрофановичу было некуда. Только вниз... И возраст у него был неопределенный — пятьдесят два года. А время после смерти товарища Сталина стояло не приведи Бог. И хоть академики под началом и техника очень существенная, но все же не основная, вспомогательная. И вспоминали наверху о Василии Митрофановиче не часто. ЗИС у него был черный, но без дополнительных фонарей. Дача была в два этажа, но стояла не отдельно, а в общем поселке, где ни один полный министр не жил, хотя поселок был забором, имел проходную, на которой спрашивали: к кому идете и справлялись по телефону — пускать или нет.

Могло, конечно, повернуться колесико удачи, как однажды повернулось шесть лет назад. Могло повернуться еще, и недавно чуть было не сдвинулось на ползубика. Предлагали перейти в главк одного сверхсерьезного министерства и дали бы даже генерала (войну Василий Митрофанович закончил полковником). Перспектива, конечно, имелась — можно было через год сесть в заместители, а зам этого министерства — побольше обыкновенного министра. Но начальник главка — хоть и перспективно, но поначалу не так-то много: ЗИМ вместо ЗИСа, зарплата ниже, и дача в другом, еще не обжитом месте. Три ночи супруги прикидывали, переходить или нет — и не решились. Лучше бы уж, не спрашивая, перевели. Приказ он и есть приказ, но самой решить: «Переходи!» — Ольга Витальевна не могла. А вдруг бы не потянули?

И остался Василий Митрофанович у себя в управлении при Совмине, на той же даче, при том же ЗИСе, и так же сидел вечерами перед своим телевизором «Темп-1». И диссертации ему тоже не написали.

— Совесть коммуниста не позволяет, — отнекивался он, ког-

да Алешка советовал выбрать тему и засадить кого-нибудь из толковых инженеров за две параллельные работы: для себя и начальства. — Нет, не позволяет совесть, — вздыхал Василий Митрофанович, но, честно говоря, кривил душой. Не нужна была ему эта диссертация. Если стремиться наверх, она вовсе ни к чему. Ведь братья-то будут не ученого, а опытного администратора.

Шесть лет назад занимал его кресло не кандидат и не доктор наук, а полный академик, на всю страну прославленный молодой красавец генерал с кучей орденов и Звездой Героя. Собственно, для него еще до войны создали это управление, преобразовали из какой-то махонькой конторы — и он как раз пришелся к месту, хотя академиком был липовым. Но слава у него была своя, заработанная, и талант тоже. А у Василия Митрофановича до войны была только жена с характером да две коммунальные комнатенки не в Москве. И вот каким-то чудом красавец генерал оценил Василия Митрофановича и перетащил в столицу. И стал расти Василий Митрофанович тут, в управлении, не так, чтобы быстро, но надежно. Не быстро, потому что за счастливчиком генералом не было видно простого русского работягу.

Но всему приходит срок, и, когда боролись с низкопоклонством, красавец зарвался. То ли одним махом хотел выше взвиться, то ли вожжа под хвост попала, но потребовал генерал новой техники и, поскольку отечественной не было, предложил купить за рубежом и перехватил чужой товар. Тут и завертелось. Нет, не хотел Василий Митрофанович съесть красавца. Честно говоря, не решился бы. Но генерал сам в рот лез и еще для съедобности горчицей себя намазывал. Не хотел его губить Василий Митрофанович, и Ольга Витальевна тоже не советовала. Никакого зла супруги против красавца не держали, напротив, испытывали к нему одну благодарность. Ведь не угляди их тогда красавец, не жить бы Василию и Ольге Сеничкиным в столице, не учиться бы Олиному сыну Алешке в самом престижном институте. Нет, не копал под генерала Сеничкин. Приказали. Не сам посадил себя председателем суда чести. Назначили. Не хотел съесть красавца — в рот запихнули. И тут уж Василий Митрофанович взялся за него как следует, иначе нашлись бы доброхоты и Василия Митрофановича пристегнули бы к генералу.

И все равно не хотел Сеничкин садиться в генеральское кресло. Посадили. И только сев туда и получив ЗИС и квартиру в четыре комнаты, только тогда рассердился на генерала Василия Митрофанович. Останься на прежнем месте — зла бы

не таил. Случись им встретиться, первым бы подошел и сказал:

«Не сердись, брат. Это спор идейный. Сам видишь, не для себя старался».

А теперь с дачей, с квартирой и машиной — выходило: для себя. И понимая, кем их отныне считает Герой, стали Сеничкины тоже считать его врагом и не прочь были сжить его со света, потому что нет людей страшнее недобитков.

Но хоть и сила была теперь у папы Сеничкина, и руки длинней стали, а дотянуться до Героя не мог. Если человека не зажарили сразу, то снова раздуть костер непросто. А красавца не только не зажарили, но выпустили, лишь чуть подпалив. Звезду Героя ему оставили. И академика с него не сняли. И вместо управления дали лабораторию, небольшую, но все ж таки. И сидел красавец в ней, носа не высовывал. Что он там делал — неизвестно. Василию Митрофановичу туда лезть не полагалось. Но Ольга Витальевна через наробразовских и других знакомок узнавала: в своей академической лаборатории красавец вроде затих. Держит себя с народом скромно. Говорили даже, что, придя на новую работу, сразу сказал: мол, товарищи, никакой я не академик и не доктор, не кандидат даже; знания мои равняются аспирантским. Так что буду учиться как аспирант.

А лет, между прочим, было красавцу уже сорок.

И он засел в своей лаборатории. Сидел, не двигался, будто действительно наукой занялся. Короче, уцелел человек. И уже подниматься начал. За границу на конгресс съездил. В газете его упомянули. Потом еще раз и еще. А потом осел в одной подкомиссии ООН. И это был тоже высший пост, предел. Дальше по этой линии двигаться красавцу было некуда.

И вот теперь, когда помер Сталин, который когда-то обнимал красавца и пил за его здоровье, а через десять лет подписал бумагу о разжалованье, могло быть всякое. Впрочем, и при Сталине люди Бог знает откуда возвращались. А нынче наступила неясность, и в этой неясности было видно: за шесть лет папа-Сеничкин ни на метр не продвинулся (даже по нерешительности пропустил шанс уйти в серьезный главк), а Герой, начав по-новой чуть не с нуля, прошел свою трассу чисто, и скорость у него не убавилась. И если бы решили менять Василия Митрофановича на Героя, то кандидатская диссертация не то чтобы не спасла, а даже рассмешила бы. Герой-то был доктором и академиком теперь уже не липовым, а с запасом набранных за время опалы нешуточных знаний.

Правда, у Сеничкина-старшего имелся один козырь, даже не козырь, а всего лишь козыришка: он был вице-президентом некоего международного технического сообщества. Руководство

этой организации сменялось каждые четыре года и как раз нынешней весной должны были состояться перевыборы. Англичанин и американец уже сидели на этом посту, и теперь вся штука была в том — кого изберут, француза или Василия Митрофановича. По всем статьям очередь была советского представителя, но ведь империалисты народ подлый, и В. М. Сеничкин мог пасть жертвой холодной войны.

Пост этот был еще дорог тем, что выбирали не просто представителя страны (что тоже приятно), а конкретного человека. И если бы в Совете Министров захотели заменить Сеничкина Героем или каким-нибудь другим прытким типом, то Советский Союз лишился бы президентского кресла в этой негромкой, но все-таки всемирной организации. Как-никак дело шло к международной разрядке, и дядя Вася мог получить четыре года спокойной жизни.

Так что никто не угадал бы, от каких мыслей он отдыхает, сидя в гостиной один на один с телевизором. Вот почему не тревожила его Ольга Витальевна и племяннику тревожить не позволяла.

К тому же она была сердита на Борьку, поскольку своих родичей не привечала. Всех разом как отсекла!.. А этот, сеничкинский, используя свое сиротство, вечно вертелся у них в доме.

Но если говорить начистоту, тут была самая заурядная ревность. Борька Курчев приходился родным племянником Васе, даже внешне походил на него, а ее любимец Алешенька, хоть и считался Васе сыном и фамилию его носил и отчество, но сын был приемный. И ревновала Ольга Витальевна как бы за двоих: за себя и за сына, в чем никогда бы себе не призналась. Видела, гордится Вася Алешкой, любит его почти как Надьку и по доброте душевной одаривает даже больше, чем родную дочь. Из-за границы одежду не себе — Алешке привозит; но нет-нет да взглянет Вася на дуболома-сиротку, потреплет по плечу — и настроение у Ольги Витальевны сразу идет на смарку, и давление прыгает.

«И надо же было этой курице Клавке замуж за пьяницу выходить и потом травиться...» — сердилась Ольга Витальевна.

О своей несчастной родне и о погибшем в год великого перелома Алешкином отце она не вспомнила.

И Курчев не любил тетку. Всегда, сколько себя помнил. Наверно, нелюбовь перешла по наследству от матери и бабки. Бабка ревновала сына, а мать, должно быть, завидовала невестке. Тетя Оля была образованная, учительница старших, а не младших классов и сумела скрутить своего Василия. Бывший плотник, дядя Вася не пил, не гулял на стороне и при всей

своей тупости (так в семье считали!), окончив с грехом пополам институт, стал первым ученым в роду Сеничкиных.

Такая она была тетка, рослая, давно уже не молодившаяся женщина. Черный костюм с орденской ленточкой или черное платье с меховой накидкой по торжественным дням и с белым тонким пуховым платком по будням. Четкий римский нос. Сильно поседевшие подвитые волосы. Заслуженная учительница РСФСР, депутат райсовета. Кавалер ордена Трудового Знамени. Без нее дядя Вася сейчас бы уже пошабашил в столярке и лежал бы бухой в серпуховском доме. А с ней?

А с ней он сожрал Героя Советского Союза, мирового парня, которого до войны вся страна высыпала на улицы встречать, подумал Борис и прибавил шагу.

Хотя в доме жили люди особые, лифтерша почему-то отсутствовала, и свет на нижних маршах не горел.

Дверь открыла Курчеву Надька, десятиклассница с грудью знатной доярки и плечами боксера-средневика.

— Чао! — сказал Борис.

— Чао, прощаясь, говорят.

— Это я авансом. Уйду, ты уже бай-бай будешь...

— Я позже тебя ложусь. Это у вас живут по команде.— Надька скривила безбровое лицо. Прыщей на нем уже не было.— Чего уставился?

— Ну, и молодчага,— сказал он.— Сразу похорошела. Мать в курсе?..

— Не твое дело.

Но он состроил смешную рожу, Надька не выдержала, прыснула и, подобрев от смеха, взяла у него шинель.

— Дядя Вася спит?

Двустворчатые зеленоватые стеклянные в пупырышках двери гостиной поблескивали холодно и темно.

— Ложатся. Хочешь дербануть?

— Забыл! Честное слово, забыл. И гастрономы по дороге были!.. Понимаешь, навалилось сегодня всякого... У Алешки что, гости? — вовремя оборвал себя, глядя на толстую без стекол дверь молодых Сеничкиных.

— Лешкина новая, Марьянка, испсиховалась. Оставить одних боится. Будто места другого не найдут. А ты на офицера не похож. Китель мятый-перемятый и сапоги какие-то дурацкие.

«С нашим братом шьется», — подумал Курчев.

— Ты что завтра делаешь? — спросил, на мгновение обманутый ее добротой.

— В ресторан позвать хочешь? Не могу. Занята.

— Да нет...

«Надьке нельзя поручить письмо. Вскроет и мамаше покажет... Они меня уже однажды спихнули в армию... Значит, я... вызван на отвлечение...» — он снова покосился на дверь Лешкиной комнаты, и тоскливое чувство обиды, обычно появлявшееся под конец московской побывки, на этот раз пришло сразу.

— Кто такая? — Он кивнул на дверь.

— Средний из себя кадр. Аспирантка, — скривилась Надька, как будто уже была доктором наук, но Курчев вздрогнул.

«Неужели, — пронеслось в голове. — Вот оно — соврешь, а выходит взаправду. Накаркал...»

— Это что? Знаменитая малявка? — Надька заглянула в приоткрытый чемодан. Пришлось вместе с синей папкой достать машинку, которую он хотел незаметно спрятать в кладовой.

— А? Приехал?! — Марьяна открыла дверь.

— Смотри, какая у него машинка! — сказала Надька. — Боренька, дашь попечатать?

— Я не слышала звонка, — извинилась Марьяна.

— Ври больше, — обрезала ее Надька. — Все твои хитрости дурацкие. Не клюнет она на «сиротку», — Надька высунула язык и, нахально покачивая бедрами, удалилась к себе.

— Вот дрянь. Не обращай на нее внимания. Есть хочешь? — Марьяна неуверенно посмотрела на Курчева.

— Я бы лучше помылся.

Он знал, что с кормежкой у Сеничкиных сложно.

«Черт, четыре года не слышал я от них «сиротки»! Это, разумеется, заслуженная учительница пустила. Сиротка! Производное от сирота. «На столе лежала тыква, круглая, как сирота», — вспомнились чьи-то смешные стихи. Ничего у них не берешь и все равно ты для них «сиротка». Подохнешь с этой кличкой. Надо бы хлопнуть дверью и гуд бай! Но тогда труба аспирантуре».

— Я бы вымылся, — повторил он.

— Зайди, поздоровайся. Эти, наверно, легли. — Марьяна кивнула на дверь Сеничкиных-старших.

— Пусть Алешка сразу поглядит, — буркнул Борис и ввалился в комнату молодых.

Собственно, это была не комната, а кабинет Василия Митрофановича. Но так как министр дома делами не занимался, то кабинет отдали молодым, и в результате кабинет кабинетом

не остался. Но и жилой комнатой не стал; Марьяна Сеничкина чувствовала себя здесь не хозяйкой, а приезжей родственницей. Даже подкрашивать ресницы приходилось выбегать в ванную. Зеркала в кабинете не полагалось. Зато тут стоял отличный раздвижной диван, на котором сейчас сидела аспирантка. Она сидела скромно, словно присела на минуту, как в троллейбусе. В рассеянном свете торшера Курчев заметил, что аспирантка молодая, худощавая и одета неброско.

Разговор, по-видимому, не клеился, и Алешка даже обрадовался Курчеву.

— А, явился! — Алешка работал иностранца и сидел на полированном столе без пиджака и посасывал короткую незажженную трубку. Директриса дыма не выносила, и Алексей Васильевич со своей пустой трубочкой изображал джентльмена, бросающего курить.

— Прочти. Я добил, — прикрывая застенчивость грубостью, буркнул Курчев.

— Медведь. Познакомься сначала.

— Инга, — сказала гостя. Голос у нее был глуховатый, а ладонь тонкая и холодная.

«Везет же доцентам!» — позавидовал он Алешке.

— Ты прочти, а я под душ полезу. — Грязным, взмокшим не хотелось стоять рядом с такой девушкой.

— Извините, Инга, — сказал Алешка Сеничкин. — Фронтвик приехал. Казарма. Пехота-матушка. Толстая что-то, — деланно вздохнул он, развязывая тесемки.

— Два экземпляра, — сказал Борис. Покраснев, он все еще торчал с машинкой посреди кабинета, чувствуя, что занимает чересчур много пространства.

— Да поставь ты свое гуттенберговское сокровище, — усмехнулся Сеничкин.

— Это машинка? — удивилась девушка.

— Да выпусти ты ее из рук. Покажи человеку, — сказал Алешка, радуясь, что можно разрядить неловкость.

— Пожалуйста, — пробормотал Борис и раскрыл машинку. Но не отдал девушке, а поставил на диван. Он боялся, что девушка учует скисший запах армейского пота.

— Я пойду, — он кивнул в сторону ванны.

— Кто про что... Ладно, иди. Мы пока поглядим. Вот вам, Инга, первый экземпляр. — Протянул доцент гостю пачку страниц.

— Не берите. Скучища... — сказал Курчев.

— А мне можно? — спросила пухлогубая Марьяна.

— Читай. Только скучища, — повторил Курчев.

Горячая, чуть ли не крутая вода снимала, как щелочь ржавчину, всю дрянь дня, невыспанность и усталость.

— Так, так,— приговаривал Борис, надеясь, что за шумом воды в спальне не услышат. — Раз! Взяли! Еще раз — взяли! — Он тер себя, как будто был огромной зениткой и весь оружейный расчет драил его в банный день. Ничего не было лучше горячей обжигающей воды, рваной мочалки и красного, таявшего на глазах мыла.

«А все же пузо наел,— подумал Борис. Отпаренное от кислых казарменных запахов тело не стало стройней.— Боров,— сказал он себе.— Худеть надо. Вон Алешка какой».

И вспомнив, что Алешка читает сейчас вместе с девушкой его реферат, Курчев застыдил. Реферат был такой же нескладный.

В дверь постучали.

— Ты, Борис? Открой, я один,— услышал Курчев сквозь шум кранов дядькин басок.

Огромный, в пижаме, Василий Митрофанович втиснулся в просторную ванную, и в ней сразу стало тесно.

— Заматерел ты, Борис,— сказал он, оглядев племянника.

Расслабленный от душа, умиротворенный, Курчев не находил в дядьке сходства с абрикосочником, хотя пижамы были одного рисунка и даже лица в чем-то отдаленно схожи.

Сколько раз до войны, при жизни отца, пацаненком, мечтал Борька Курчев: а вдруг его отец не этот сухонький пьяница и гуляка, машинист маневрового паровоза Кузьма, а непьющий степенный инженер дядя Вася. Дядька иногда приезжал в Серпухов и брал с собой племянника на рыбалку. В эти блаженные часы у жидкого попыхивающего костерка, когда они сидели, накрывшись дядивасиной телогрейкой, Борьке казалось, что дядька и сам не прочь взять его в сыновья, потому что Алешка хоть и отличник и собой хорош, а все-таки не свой, не сеничкинский.

Борька знал, что это мечты стыдные, но засыпать с ними было сладко. Только весной 42-го, когда в Серпухов пришла первая пенсия за погибшего (похоронка пришла к Лизавете в Москву), повзрослевший Борька бросил такие игры и перед сном думал об убитом отце, а не о дядьке, который хватает большие чины и ордена не на самом фронте. Даже в захолустном Серпухове при своем огороде жилось голодно, и социальные контрасты сами собой вытеснили любовь к дяде Васе. А через год Алешка, счастливо избежав призыва, поступил в знаменитый, только что созданный институт международных отношений, и зависть к Ольге Витальевне и ее детям, разду-

ваемая бабкой, заразила и Бориса. Но детская привязанность к дяде Васе, видимо, не вовсе ушла, и даже сейчас, в ванной, Курчеву было радостно глядеть на здорового рослого мужика, единственного родича. Так и подмывало попросить лично передать письмо в Совет Министров.

— Давно не виделись. На буднях не выбраться, да? Что ж, служба — ничего не попишешь, — покряхтел министр, как бы сгибаясь под тяжестью долга, но на самом-то деле гордясь общей ношей. — У Лизаветы был?

— Нет. Но там порядок. Она сообщит.

— Не прозевай. Сразу в отпуск просись. Прописка — дело серьезное.

— Будет сделано.

— Давно тебя не видел, — снова повторил дядя Вася. — Демобилизоваться не раздумал?

— Не знаю... — Курчев пожал плечами. Его не сердили вопросы. Он понимал, что дядька не желает ему зла.

— Подумал бы еще, — сказал дядя Вася. — Хитрая это наука... — Он кивнул в сторону кабинета, где Алешка с женой и любовницей сейчас читали втроем реферат. — У нас, брат, с тобой таких мозгов нету, — печально пробормотал он, отделяя себя и Бориса от приемного сына. — Алешка — талант. Ничего не скажешь... И образование... А получится ли у тебя, сам знаешь, неясно, — он развел руками, и Курчев снова не обиделся. — Непостоянство в их науке наметилось. Трудно им теперь. За Алешку, прямо скажу, не беспокоюсь. Он, хоть и не стреляный, а вывернется... Ты, Борька, попроще будешь... — улыбнулся дядя Вася и хлопнул племянника по затылку, как когда-то на рыбалке. Тогда это называлось «дать макарону». И Курчев снова не обиделся.

— Ты здесь, Васенька? — спросил грудной голос за дверью.

— Сейчас. — Министр оглядел племянника, тот застегивал китель.

— Вы что, курите? — Даже в халате и шелковом платке, прикрывающем бигуди, тетка выглядела, как на выпускных экзаменах. — Ты почему не здороваешься, Боря?

— Извините, — покраснел Курчев.

— Что это у вас — банная идиллия? Четверть одиннадцатого, Васенька.

— Сейчас, — повторил министр и встал. Лицо у него было раздосадованное — он словно силился что-то вспомнить. — Так ты не проворонь. — Он снова хлопнул по шее племянника. Получилось ненатурально, поскольку он хотел сказать совсем другое. Но, взглянув на жену, — величественная в своем шел-

ковом синем, длинном до пола халате, она высилась в дверях ванной,— он четко и резко, словно в управлении, добавил, как припечатал: — Пропишешься, денег дам на обстановку,— и нарочно для жены уточнил: — Три тысячи с тетей Олей дадим. Так что рассчитывай,— и ласково погладил племянника по мокрой негустой шевелюре.

Вот кого дядька напоминал — заготовителя. Как раз, когда вспомнил о деньгах. Не нужны были Курчеву их три тысячи. То есть еще как нужны, но платить за них пришлось бы втрое, хоть и не деньгами. Сиротка!

Он поглядел в зеркало. Лицо было нескладное, но совсем не сиротливое.

— Бывают же такие вывески! — вздохнул он, вспомнив, что за стенкой девушка читает его реферат. Кажется, красивая... Попытался представить себе сидящую на диване гостью. Она была в сером домашней вязки свитере с высоким воротом и в длинной шерстяной юбке. Туфель он не запомнил. Кажется, ботинки, отороченные мехом. А лицо? — спросил себя. Вроде бы овальное, продолговатое. Нос прямой, недлинный. А волосы? Каштановые, что ли? Словесный портрет не получался. Но сейчас, содрав пот и усталость, Курчев чувствовал, что девушка ему нравится.

Но вот про лицо, которое смотрело на него из большого зеркала, укрепленного над умывальником, он этого сказать не мог. Лицо никуда не годилось. Его сработали словно бы наско-ро, и оно ничего не могло выразить, хотя очень хотело, и его раздирало, как от немого крика. Такие лица, наверное, бывают у солдат, когда они раскатывают «ура!» вблизи колючей проволоки. Но если солдаты остаются живы, лица их принимают обычный вид. А его лицо, казалось Курчеву, молча кричало и кричало. Даже большой лысоватый лоб не прибавлял ему ни доброты, ни мудрости.

«Женись, дурак, на Вальке и Бога благодари,— сказало зеркало.— И не заглядывайся на аспиранток. Они не для тебя».

«А я не заглядываюсь»,— ответил он зеркалу, закрутил краны и вошел в кабинет.

Инга

Девушка сидела на том же месте и читала рукопись, складывая рядом с машинкой прочитанные страницы. Алешка и Марьяна либо реферат уже прочли, либо не стали читать. Страницы второго экземпляра были рассыпаны по полу и креслу, а супруги о чем-то негромко спорили.

— С легким паром! Наконец-то... — сказал Сеничкин-младший чуть громче обычного. — Выкупался, Спиноза? Ну, пойдем! — и он зло, совсем как днем начштаба Сазонов, схватил Курчева за плечо и втокнул в темную, смежную с кабинетом гостиную.

— Да ты понимаешь, что делаешь? — Сеничкин щелкнул выключателем. — Россия выстрадала марксизм, а ты что несешь?.. На Тайшет захотел? Да кто ты такой? Недоучившийся фендрик? Наполеончик от вольтерьянства? Заткни свой реферат себе в одно место взамен экстракта красавки.

— У меня нет геморроя.

— Ничего, будет. От таких потуг непременно будет. Сидел, тихий как мышь, а тут вдруг высунулся. Тебе учиться надо, а не изобретать велосипед... Фурштадский солдат... Тебе не в науку надо, а сочинять стихи. Лирику для бедных. «У бурмистра Власа бабушка Ненила починить...», дальше не помню. Отдельная личность. Индивидуум. Марксизм рассматривает личность как?.. Сначала условия для всех, затем для каждого. А ты каждого, одного, молекулу какую-то, во главу угла ставишь. Так в мире сейчас три миллиарда людских молекул. Ну, перебери всех. Знаешь задачу с шестьюдесятью четырьмя клетками? На одну клетку кладут зерно, на вторую два зерна — и так далее... На последней — какие-то нули в энной степени. Земля раньше от атомного взрыва в нуль обратится, чем ты до второй тысячи доедешь. Отдельные особенности личности! Учудил! Поистине страна большого кретинизма. Подумать, где-то в глуши, среди лесов дремучих, сидит недоучившийся техник, который и пробок починить не может, и изобретает теорию отдельного человека.

Алексей Васильевич ходил из угла в угол, как в аудитории, и с удовольствием прислушивался к своему голосу, жалея, что его слушает один Курчев.

А впрочем, зачем сердиться ему, доценту, надежде и гордости кафедры философии, Алексею Сеничкину, на этого балбеса, который ни бельмеса (как сошлось в рифму, а?! Не забыть бы...) не соображает и думает, будто философия — это наука, которой может заниматься кто попал, стоит ему только чуть

поднатужиться. Балбес, неуч, не прочитавший даже того, что положено в их наробразовском институте по кастрированной программе. Дурак, который еле полз на тройки и без шпаргалетов не приходил на экзамены. Лентяй, которому самое место в этом Богом забытом полку, а он вон на что замахнулся. Сиротка... Все они, сиротки, такие... Их только пригрей, себя тут же покажут. Но Алексей Сеничкин не злыдень. Черт с ним. Пусть идет в аспирантуру. Пусть не думает, что ему завидуют. Там дурь из него выбьют. В конце концов, складывать слова сиротка умеет. Фраза у него получается. По-настоящему, дурака надо было бы отправить на филфак. Но туда он бы по конкурсу не прошел. А слог у него есть. Эта охломонская статья написана не так уж плохо.

— Это никуда не годится,— сказал Алексей Васильевич вслух.— Лучше порви. Не ровен час попадет к вашему особисту, сам он скорее всего не раскумекает, но наверх стукнет, а там уж разберутся. Порви, а через неделю привози что-нибудь путное. Хотя бы такое...

Он вышел в кабинет, открыл левую тумбу полированного стола и из нижнего ящика вытащил три брошюрки и переплетенную рукопись.

— Вот, возьми,— сказал, возвращаясь в гостиную.— Через неделю притащишь. Передери как следует. Цитаты замени. Или место оставь — вдвоем заменим. Перепишем так, что сами Юдин, Митин и Константинов не докопаются. Ну, пошли. А то перед девочками неудобно.

Курчев сидел на подлокотнике массивного кресла, красный сразу от стыда, злости, безнадёжности, но еще и от гордости: все-таки я допек доцента! Но обидно было, что все труды пошли коту под хвост; снисходительное же — передери — обтяпаем, — не обнадеживало, а обижало. Курчев считал себя не глупее доцента. То, что Сеничкин писал, было вовсе никуда, хотя среди своих Алешка считался философом, позволяющим себе вольности.

Но аспирантура накрылась. Завтра надо было явиться пред ясные очи Ращупкина и — еще не ясно зачем — пред не менее ясные очи полкового особиста. И отстуканное послание в правительство, где главным козырем была аспирантура, оказывалось бесповоротным враньем. Короче, безнадёга была полная.

— Значит, договорились? — спросил Алешка, приоткрывая дверь в кабинет.

— Да иди ты... — прошипел Курчев.

— Самолюбие, — вздохнул Сеничкин-младший, — я думал — ты умнее.

Он стоял, худой, стройный, хорошо подстриженный, с короткой трубкой в зубах. Суженные по самой последней моде брюки, импортный пуловер. Шерстяная рубашка без галстука. Вид домашний, но строгий.

— Понимаю, неприятно, но сдерживаться надо,— сказал он.

— Да, конечно,— ответил тот.— В наш век сдерживаться просто необходимо. В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства...

— Что? Что? — насторожился Сеничкин.

— То самое. Я наизусть знаю,— нехорошо усмехнулся Курчев и, поднявшись с кресла, встал в позу Гамлета. Это он уже не раз проделывал в финском домике, веселя офицеров.— В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистического капитала все более и более суживается,— завывал Курчев, будто это была не статья в философском сборнике, а душераздирающие стихи,— американо-английские империалисты, панически напуганные гигантским ростом сил лагеря мира, демократии и социализма...— для разнообразия в этом месте Борис перешел на сталинскую интонацию и даже согнул для убедительности указательный палец,— видят единственный путь к сохранению своей власти в новой мировой войне...

— Это подло,— сказал Алешка и вышел из гостиной.

«Опять я в дерьме»,— подумал Курчев.

Круглый стол и восемь стульев, полированная горка с чайным и столовым сервизами, вымеренные сантиметром пейзажи на стенах и два слоновых кресла презрительно обступили неудачника. Только телевизор, покрытый черным плюшем, был безразличен, как клетка с уснувшим щеглом.

«Застрелиться, что ли? — подумал Курчев.— Так я наган сдал».

Он рухнул в огромное кресло, закинул ногу на ногу.

— Лучше бы пожрал у заготовителя,— сказал вслух и ощутил голод.

Сволочной дом. Поесть дадут только в праздник, либо обжирайся, либо голодай. И Алешка хорош. Пригласил женщину, а вместо еды — ля-ля. Директриса небось доктора наук еще покормила б, а ради аспирантки нет расчета снимать скатерть...— Он брезгливо поглядел на толстый, зеленый, расшитый шелковыми цветами плюш. Впрочем, аспирантка перебьется. Завтра доцент ее в ресторан потащит. Теперь у него гонорары незаприходованные... Ладно, не психуй. Ехать надо... На вокзале заправишься. Только куда деть машинку? Здесь — Надька ломает, в полку — особист заберет. Отнесу Елизавете.

Точно Елизавете! И письмо ей отдам. А Зубихину скажу: малявка моя, никому ее не доверяю.

Он вовсе успокоился и снова оглядел гостиную. Стулья, кресла, стол, горка и пейзажи были по-прежнему величественны, но уже не раздражали.

— А вы — застрелиться! — и он состроил рожу. За дверьми о чем-то переговаривались молодые супруги. Голоса девушки не было слышно.

Елизавету бы не разбудить — встает рано, подумал Борис.

Он погасил в гостиной свет и вышел через стеклянные двери в прихожую. Рядом с его шинелью висела длинная дубленая выворотка.

«Везет охломонам!» — вздохнул Борис, напялил ушанку и влез в шинель. Хорошо было бы улизнуть, не прощаясь, но в кабинете остались реферат и машинка. Тихо, чтоб не услышала Надька (из-под ее двери прорезывалась полоска света), он вошел в ванную и завернул в газету полотенце и мыльницу с мочалкой. Засунул сверток в чемодан и сверху положил письмо, надеясь, что оно не промокнет.

— Ты что, уже?.. — удивилась Марьяна, когда он, перетянутый ремнем, словно собрался на развод, вошел в кабинет.

— Завтра опаздывать нельзя. — Он закрыл малявку. Инга, по-видимому, реферат уже прочла, потому что он лежал на диване аккуратной стопочкой.

— Очень удачная машинка, — сказала Инга.

— Машинка ничего. Работа могла быть получше, — сказал Алешка.

— Тебе бы все ругать, — возразила Марьяна. — По-моему, даже неплохо. Не слушай его, Боренька. — Она обняла лейтенанта. Тот, нагнувшись, собирал рассыпанные страницы.

— Не изображай оскорбленное самолюбие, — сказал Алешка. — Книг не взял? Не валяй дурака — за неделю напишешь новый.

Курчев сунул реферат в папку и положил ее в чемодан вместе с машинкой.

— В другой раз, — ответил Сеничкину.

— Зря ты Борю ругал, — сказала Марьяна. — Не так уж он плохо пишет. Не хуже тебя. — Она ткнулась Курчеву в плечо. — Ведь, правда, неплохо? — Она посмотрела на Ингу.

— Мне понравилось, — твердо сказала та.

Курчев с досадой оглядел гостью.

— Понравилось, — повторила она. — Читать исключительно интересно.

— Но какая же там философия? — улыбнулся Сеничкин.

Так он улыбался слабо успевающим студенткам.— Чистая самодеятельность. И цитаты плохо подобраны. Нет, это никуда не годится.

— Может быть... Я в философии слаба...— Инга пожалала плечами.— Но читать интересно и ассоциаций много.

— По-моему, просто хорошая работа,— сказала Марьяна. Но Курчев чувствовал, что она не дочитала рукописи — просто ей хотелось позлить мужа.

— А вообще, Алексей Васильевич,— аспирантка снова пожалала плечами, словно так ей легче было искать слова,— это очень самостоятельно, ни на что не похоже.

— Чистейшей воды дилетантизм,— фыркнул Алешка.— Ни в какие ворота не лезет. Разве такое можно принести на кафедру? В самом оптимальном варианте — засмеют.

— Да, для кафедры это не годится — тут вы правы... Зато читать исключительно интересно.

Курчев почувствовал, что и гостья задирает доцента. Она встала и оказалась не очень высокой, хотя и выше и худее Марьяны.

Марьяна ее не удерживала.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— сказала она Сеничкину, который доставал из стенового шкафа пиджак.— Меня... ваш брат проводит.

— Вам на метро? — спросила она Курчева. Он кивнул.

«Выдержка! — удивился Борис, понимая, что его используют как подручные средства при переправе.— Но зачем ломать комедь, приглашать домой девчонку, с которой живешь? Или это не доцент ее пригласил, а Марьянка? Скорей всего, ее штучки. Зазвать домой разлучницу, показать ей что к чему. Ну, деточка, решайся! Слабó, а? Марьянкин почерк. Что ж, каждый сражается, как может. Во всяком случае, не по-страусиному. Без обмана и самообмана...» — И Курчев ткнул Марьяну в плечо.

— Медведь,— фыркнула она, словно радуясь, что он ее разгадал.

Что ж, первый раунд был за Марьяной. Впрочем, Курчев не сомневался, что она выиграет схватку, если не нокаутом, то по очкам.

В прихожей доцент подавал Инге выворотку и тихо — громко разговаривать здесь не полагалось — разглагольствовал о вступительной главе ее диссертации, которую, очевидно, пообещал написать:

— Нет, нет, это вовсе не трудно...

Курчев видел, что Инге не по себе.

— Заходите, заходите,— приговаривала Марьяна.

— В комендатуру не попади,— вдруг, прервавшись, сердито сказал Сеничкин.

— Я натошак не пью,— поддел его Курчев, но тот и бровью не повел.

— Книги не забудь,— бросил свысока Алешка.

— В другой раз,— отмахнулся Курчев.— Эта неделя у меня — не продохнуть.

Не хотелось препираться в дверях. Он спиной чувствовал, как Инге не терпится выскочить из этой квартиры.

— Ну, так как? — шепотом спросила Марьяна, едва захлопулась дверь.— Бедненький Лешенька,— она подошла к мужу и погладила его по затылку.— Бедный, бедный дурашка. Нет, это не то, что вам нужно, Алексей Васильевич. Нет, Алексей Юрьевич Сретенский, это совсем не то.

Она стояла перед ним, ладная, аккуратная, пухлогубая, невероятно уверенная в себе Марьяна Сергеевна, старший следователь по особо важным делам. Нежная, удивительно понятливая, уступчивая, снисходительная, она иногда срывалась и тогда возникала другая Марьяна — лихая, грозная, безоглядная, и Сеничкин тут же поджимал хвост. В решительные минуты она преображалась, впрочем, не исключено, что она всегда была такой, только держала свой норв на запасном пути. Обычно ее не тревожили измены мужа. «Хороший левак укрепляет брак»,— задорно острила она в компании. Но настоящую опасность Марьяна ощущала издали. Прошлым летом, когда из ГДР приехала в отпуск ее подруга, расфуфыренная в пух и прах переводчица Клара Викторовна, и Алешка, приведенный в восторг разнообразием ее туалетов, решил было с ней переспать, Марьяна спешно вызвала из Подмосквья Курчева.

Но сейчас опасность была посерьезней. Аспирантка была куда красивей Кларки, и Алешка так втрескался, что, по подозрению Марьяны, не спешил с пересыпом.

— Не такая женщина вам нужна. Не такая, не такая, не такая,— шептала Марьяна — она доставала рослому мужу лишь до подбородка — и в глазах ее сияли презрение и любовь, твердость и уверенность; привстав на носки, она уверенно, как судебное определение, впечатала в губы мужа свои и не отрывала их, вся вминаясь в струсившего Сеничкина. Она вминалась в него в полуосвещенном коридоре, вдавливалась требовательно и нежно, и Сеничкин, или Сретенский,— все равно! —

чувствовал, что раскисает, покоряется, сдается и уже плывет, как в нокдауне, голова затуманена. Инга куда-то скрылась, а в Сеничкине растут гордость и тщеславие, и наконец возникает самое простое, но почему-то необыкновенное желание обладать влюбленной в него женой.

— За перила держитесь! Темнотища...— крикнул Курчев, обгоняя девушку. Проклятые сапоги по-милицейски стучали подковками. Дверь наверху захлопнулась.

В окна лестничной клетки светили два фонаря со сквера, но все равно в подъезде было жутковато. Курчеву хотелось поскорее на мороз. Да и вообще надо был спешить к Лизавете.

— Вы около какой станции живете?— крикнул он вверх. Молчать было так же неловко, как бежать впереди.

— У вокзалов. Возле Домниковки.

— Соседи.— Он, осмелев, толкнул сапогом дверь. Мороз убавился или после тепла не ощущался. Ветра в закутке тоже не было. Два фонаря над сквером не раскачивались.

— Мне на Переяславку,— быстро, как пули, сажал он слова.— Сейчас на стоянке словим...

— Зачем? Вон шестерка...

Действительно, по тихой черно-белой бесшумной улице, желтая окнами, плыл медленный, как рок, автобус. Курчев удивился его величавости. Он был в точности такой, как загородный, но загородный подходил к остановке замерзший и словно бы виноватый: мол, опоздал, простите! А этот плыл будто по собственной прихоти, будто он не для пассажиров, а они для него.

— До библиотеки,— сказала Инга и остановилась в проходе, ожидая, пока лейтенант, позвякивая мелочью, расплатится с кондукторшей. Пожилая сонная женщина оторвала длинную узкую полоску от бумажного ролика. Пальцы у кондукторши были сморщенные, черные, словно она всю жизнь чистила картошку, и сиротливо выглядывали из обрезанной перчатки. «Митенки»,— зачем-то вспомнил Курчев.

В автобусе никого не было. Инга придвинулась к окну, опять зябко повела плечами и улыбнулась, как бы объясняя лейтенанту, что устала в министерском доме и здесь, в пустом позднем автобусе, ей куда проще и уютней. Курчев стал рядом. Лицо у него было мрачным — он злился на Алешку.

Инга молча улыбалась. Нахмуренное лицо странного офицера не мешало ей радоваться, что вынужденный визит наконец окончен и можно расслабиться, даже напевать в уме какую-то чушь. Ей жаль было этого нескладеху-лейтенанта в тесной ши-

нели и в огромных сапогах, и, преодолев застенчивость, она сказала:

— В одном ваш кузен прав — в аспирантуру с таким рефератом не примут.

— А ну его...— Курчев оторвал руку от поручня и едва удержался на ногах. Автобус круто поворачивал на Арбатской площади. К кому относилась реплика — к реферату или к Сеничкину — осталось неясным.

— И зря,— сказала Инга.— У вас интересная работа. И что необычно — минимум жвачки.

— Вы всерьез?

— Угу,— кивнула девушка.

— Работа — туфта! — отрезал он, представив, как завтра за укромным столиком окраинного ресторана девушка будет корить Алешку за разнос реферата, а потом милостиво простит и, смеясь, расскажет, как утешала нелепого военного.

Ну их к лешему, решил Борис. Кто кого осилит — Марьяна вас или вы Марьяну — мне без разницы. И плевал я на всех Сеничкиных и на их подачку в три тысячи гульденов.

— Реферат — туфта,— повторил он.— На жизнь не похоже. В жизни дерьма — ого-го! А у меня чисто, как в аптеке.

Инга, прижимаясь плечом к стеклу, глядела из-под алого вязаного башлыка на чудного офицера. Капризный, надутый, он походил на неловкого некрасивого ребенка. Хотелось потрепать его по ушанке, успокоить. Говорил он сбивчиво, его трудно было понять, и не верилось, что это он написал любопытную по мысли и свободную по языку работу.

— Вам выходить,— пробурчала кондукторша. Автобус остановился.— Все лалакают... Спешить дармоедам некуда...

Курчев хотел огрызнуться, но, покосившись на Ингу, покраснел и не сдержал улыбки.

— А вы о чем пишете? — спросил, когда они спрыгнули на снег.

— Об одном английском романисте прошлого века, Тэкерее,— ответила без всякой интонации, как телефонистка. Чувствовалось, что ей порядком надоел этот вопрос.— Подальше от туфты, как вы говорите.

— Такси! — крикнул он. Мимо проехала «Победа» с зеленым глазом.

— Бросьте! — Инга схватила его за руку.— Вот же метро. Машина не остановилась.

— Вы, оказывается, брётёр?

— Бретёр,— поправил Курчев, не догадываясь, что она говорит на английский манер.— Я спешу.

— Метро всего быстрее. Я каждый день сюда езжу.

— Ах, да! Третий научный... Нашего брата туда не пускают...

— А вы напишите другую работу и пустят.

Они спускались по мокрой гранитной лестнице. Девушка весело помахивала рукой в варежке.

— Нет,— сказал Курчев,— с меня хватит! Тыфу ты, черт, опоздал! — он взглянул на часы над кассой.— Опоздал,— повторил он, зачем-то сверяясь со своими.

— Вам сейчас на работу? — спросила девушка, протягивая билетную книжечку контролеру.

— Да нет... К мачехе. Они рано ложатся.

Времени было четверть двенадцатого.

— Я на вашем месте все-таки подала бы в аспирантуру,— повторила девушка.— Или вам светит удачная карьера?

— Карьера? Какая там карьера, не выше капитана. А теперь и вовсе трибунал корячится,— добавил, сам не зная, прихвастнул или нет.— Мачехе письмо везу: чтоб в Кутафью башню отнесла, на имя Маленкова. Теперь по почте придется... — Он оборвал себя, потому что получалась сплошная жалобная книга.

— Большие неприятности? — спросила Инга уже на перроне, вежливо поддерживая разговор.

— Да так... В общем, я решил рвать когти...

— Вот и подайте в аспирантуру...

— Нет. Для аспирантуры писать — себе дороже... Про девятнадцатый век еще куда ни шло, но мне про сегодняшнее охота...

— С сегодняшним сложнее,— согласилась Инга.— Даже с меня сегодняшнюю туфту требуют. Не знаю, как выкрутиться.

Подошел поезд.

— Спасибо, ваш брат обещал написать самые идейные страницы,— Инга не давала затухнуть разговору.

— Он умеет,— сказал Курчев, не желая ругать Алешку.

— Да, это неприятное занятие,— согласилась Инга.— Но у Алексея Васильевича как-то получается.

— Вранье, как его ни переворачивай, оно все равно вранье.

— Скажем лучше — общие места. Их трудно изложить так, чтобы звучало не унижительно.

— Да, унижений вагон,— согласился Курчев.— А все от вранья.

— Нет, скорее от скованности. Я чуть не ревела: слова все выходили какие-то нечеловеческие...

— Точно,— улыбнулся Курчев.— Но на это есть мастаки.

Я на гауптвахте встретил одного такого. Я в позапрошлом году по глупости попал на гарнизонную губу под Питером. Вдруг выключили свет. А в этот день как раз печатали газету-дивизионку, и меня как самого грамотного послали в редакцию крутить наборную машину. Я ручку верчу, а в кабинете пропагандист из Ленинграда инструктаж толкает, как писать передовицы. Я, говорит, товарищи, покупаю тетрадки, очень удобные, в переплетах. У меня их уже больше двадцати набралось. Вам тоже советую не пожалеть денег и купить. В эти тетрадки я заносу всякие образные выражения, например: «твердыня мира», «бастيون социализма», «оруженосцы американо-английского империализма», «пропагандистская машина» и другие. Он их насчитал штук сто. Я всех не упомянул,— улыбнулся Курчев, потому что все примеры взял из Алешкиной статьи.— В общем у него был полный набор с прицепом. Все это, говорит, товарищи, я заносу в тетрадку. И передовицу сначала пишу своими словами, но потом вынимаю тетрадки и смотрю, что можно заменить на научные, красивые и образные словообороты.

— Шутите? — засмеялась Инга.

— Честное слово, нет.

— Вы считаете, что у вашего брата тоже заведены тетрадки?

— А ему зачем?..— начал Борис, но вовремя осекся. Ему хотелось сказать, что у Алешки и без тетрадок голова набита дрянью.

— Все равно спасибо Алексею Васильевичу,— сказала Инга.— Если, конечно, не подведет.

— Не подведет...— вздохнул Курчев, посмотрел на ручные часы и нахмурился. Инге стало неловко, словно это она его задержала у Сеничкиных.

— Совсем опоздали? Вам, наверно, стоило попросить родных... Или в башне большая очередь?

— Нет, никакой. Сдаешь в окошечко, и все дела. Расписки не нужно. Это напротив, в Президиуме, у Ворошилова, очередь. А Кутафья башня как почтовый ящик. А, ладно, плевать! — Он махнул рукой: долго расстраиваться не умел.— Наклею марку и пошлю.

— Хотите, я передам? — спросила вдруг Инга.

— Вы всерьез? — обрадовался он.— Да нет, неудобно...

— Отчего? Я каждый день бываю напротив.

— Ах да, третий научный!..

— Он самый,— улыбнулась девушка.— Дайте письмо.

— Ловлю на слове! — осмелел Курчев и достал из чемодана белый конверт. «Хорошо, что заклеил», — подумал он и вдруг, вовсе расхрабравшись, спросил: — А машинку случаем не возьмете?

- Тоже туда отнести? — улыбнулась девушка.
- Нет. У себя оставьте. Мне ее сейчас деть некуда, а с ней тоже непросто...
- А вы сдайте в камеру хранения,— нашлась Инга.
- Нельзя. Там только пять дней держат, а мне дали неделю ареста и еще, наверно, добавят,— сказал Курчев и смутился, вдруг Инга решит, будто он хочет ее закадрить с помощью малявки.
- Что ж, давайте,— согласилась девушка.— Запишите мой телефон — только я редко бываю дома.
- Мне не к спеху. В полку она мне не нужна.
- А вдруг вы передумаете и решите написать другую работу?
- Нет.— Курчев покачал головой. И тут поезд остановился на станции «Комсомольская».

Запахи позднего пустого метро — резкие запахи подтаявшего снега, влажного сукна, мокрого меха, смерзшейся резины и сырой кожи — были последними для Курчева запахами города. А сейчас то ли от скованности, то ли от голода эти запахи ощущались еще острее и навевали тоску.

— Все-таки как-то неловко,— сказал он, поднимаясь с девушкой по желтой от снега и опилок лестнице.

— Вам решать...— сказала Инга.

Он посмотрел в ее лицо, охваченное темно-алым башлыком. Правильные черты лица, длинные, почти как у Вальки Карпенко, ресницы, но вся она была другая, и Курчев ее побаивался.

— Я всегда считала, что военные — народ решительный,— улыбнулась девушка.

— Какой я военный? Я ни то ни се. А вам спасибо. И за письмо, и за машинку — не то мне ее хоть в урну кидай.

— Я думала, вы ее жалеете...

— Вообще-то, жалею. Но сегодня я, как Епиходов... Двадцать два несчастья.

— Запишите телефон и дайте ваше сокровище,— сказала девушка.

— Я вас провожу...

— Зачем? Вы торопитесь, а она нетяжелая. Мне близко.

— Теперь не тороплюсь. Только узнаю, когда последний паровик. Вы очень спешите?

— Да нет.

Они прошли вдоль вокзального здания.

— До...— буркнул Курчев в сонное окошечко пригородной кассы.

— Вы там живете? — вежливо спросила девушка. — Или это военная тайна?

— От этой военной тайны еще восемнадцать километров, и все пехом.

— Ого! И вы еще не хотите в аспирантуру?

— Рад бы в рай, да грехи...

— Какие еще грехи? Вы написали отличную работу. Я даже хотела у вас попросить экземпляр для мужа.

— Вы замужем? — спросил Борис, повеселев.

— Разве непохоже?!

— Да нет. Просто чудно немного... Извините...

— Не пойму, вас это радует или удивляет, — сказала Инга.

— Сам не пойму... — Курчев засмеялся. — Правда, не торопитесь? Может, посидим? — кивнул на длинное здание вокзала. — Или это неудобно?

— Отчего же, вполне удобно. Просто мне трудно следить за переменами вашего настроения.

— Это от зажатости, — улыбнулся он — Тогда пошли. А то я сегодня не обедал.

Теперь ему было с ней легко, почти так же, как с Гришкой Новосельным или с Федькой. Не надо было искать слова. Они сами выскакивали, как патроны из автоматного рожка, когда его разряжаешь, и весело раскатывались по квадратному столику между тарелок и фужеров. В грязноватом, заставленном пыльными пальмами ресторане было пусто и тускло, и Курчев, не стыдясь засаленного кителя сидел напротив Инги так же непринужденно, как в финском домике. Официант работал споро, выбирать было особенно не из чего — и теперь в ожидании бифштексов с луком они запивали холодную осетрину красным вином.

— Выбирайте вы. Я неголодна, — сказала Инга, и Курчев с опозданием вспомнил, что к рыбе положено белое.

— Извините, у нас обычно пьют полтораста с прицепом. Это я от Сеничкиных кое-чего поднабрался... А Теккерея, — он ударил на предпоследнем слоге, — честно сказать, я не читал.

— Прочтите. Вам понравится.

— Если он не слезливый.

— Нет, слезливый это Диккенс.

— Я слезливых не люблю. Я больше по насморку...

Ему теперь хотелось, чтобы Инга поговорила о реферате.

— Я хочу показать вашу работу мужу и еще одному приятелю, — сказала она, словно услышала его мысли. — Они понимают, много чего прочитали...

— А я мало...— вздохнул Борис.— В институте — он, простите, у меня бабский был...

— Педагогический?

— Угу... четыре года пошли коту под хвост. Даже не помню, на что их угрохал... Если что стоящее прочел, так это Толстого...

— Это он-то стоящее?

— По мне — еще как! Логика какая!..

— По-моему, злобный старик,— усмехнулась Инга.— Ханжа. Я где-то читала, что теорию непротивления мог придумать и Наполеон, но лишь на Святой Елене.

— Не знаю,— смешался Курчев.— В его учении я не смыслю, но Наполеона он здорово прикладывает, хотя несправедливо...

— А женщин как ненавидел! — продолжала Инга.— Сплошные комплексы. Элен — какая-то кукла. Мстил, наверно, какой-нибудь отвергшей его красавице. И вся эта нудятина о комильфо! А Наташа? Эпilog он явно написал для Софьи Андреевны, чтобы не огорчалась из-за вечных беременностей.

— Из двоих всегда один страдает,— перебил ее Курчев.— Муж и жена, как два стебля в одной банке,— кто из кого больше высосет.

— Оригинальный взгляд на супружество. Вы женаты? — Она тряхнула головой, словно хотела откинуть прядь со лба.

— Нет. Бог миловал. А что — я не прав? — Он поглядел ей прямо в глаза, выпытывая, так ли у нее с мужем.

— В реферате вы проповедуете равенство,— уклонилась она от ответа.

— Реферат — дистиллированная вода. Движение без трения. Про семейную жизнь я не знаю, а про обычную — скажу: нету в ней ничего химически чистого. Даже разложите доброту, и составных у нее выйдет больше, чем цветов в спектре.

— К концу суток это для меня чересчур сложно,— сказала Инга.— Лучше выпьем за ваш успех,— и она погладила свою кожаную сумку, где лежало письмо в правительство.

— Хорошо. За вашу легкую руку! — обрадовался Курчев.

Звон толстых вокзальных фужеров был еле слышен, но Курчеву хотелось верить, что это колокольный звон судьбы.

Он чувствовал себя легко и свободно, а после жаренного с луком мяса даже беспечно. Разговор с Ращупкиным и особистом был где-то далеко — за ночным поездом и долгим маршем — сквозь снег и темноту лесного шоссе. А пока что напротив сидела молодая женщина, от которой ему ничего не нужно, пусть только сидит, пока длится ужин.

— И все-таки вам надо в аспирантуру,— повторила Инга.

— Не возьмут. Я беспартийный.

— Я тоже.

— Вы молодая, а мне через два месяца билет сдавать.

— Теперь можно продлиться,— сказала Инга, и Курчеву показалось, что все это уже было, но тут он вспомнил, что эту же фразу сказал в дежурке Черенков.

— У меня с этим всегда неприятности выходят. Я даже в армию загремел оттого, что не достал партийного поручительства.

— Как? — Инга вскинула голову.— Я даже хотела спросить, почему вы там оказались? Не получили диплома?

— Получил. Только у нас в женском монастыре не было военного дела, и меня загребли солдатом.

— Простым солдатом?

— Простым.— Он усмехнулся.— Меня уже брали на радио, в монгольскую редакцию, но нужно было два поручительства. Одно дала мачеха, а второго я не достал. И тут как раз повестка.

— А разве Сеничкины беспартийные?

— Лешка тогда в кандидатах ходил или только перешел, а дядька... Знаете, родственные отношения... Впрочем, демобилизуюсь, жалеть не буду. Армия кой над чем задуматься заставляет.

— Жаль,— сказала Инга.— Вам надо учиться. Давно вы в армии?

— Осенью будет четыре года.

— Разве теперь столько служат?

— Служат по двадцать пять лет и дольше. Я ведь офицер. Выпил за здоровье саксонского курфюрста.

— Как Ломоносов?

— Точно,— обрадовался он.— Нас, понимаете, загнали на Азовское море. Жара была зверская. Гимнастерки от пота прямо как сапоги торчком стояли, пилютки у всех сплошь белые. Мы в них воду из ручья носили, а была она соленая, как в Азовском. Пить жутко хотелось. Это были летние лагеря, стрельбы. А меня, как назло, за близорукость из наводчиков, первых номеров, турнули в телефонисты. Старушечье занятие. Кричал в трубку: «Шамолет пошел на пошадку». Бани не было, в море мылись. Вот у меня и волосы вылезли...— Он тронул макушку.— И тут прибегает в наш окоп лейтенант из штаба дивизии, в легких брезентовых чукяках. Высший шик считался. Не всем носить разрешали. «Кто хочет,— кричит,— учиться на лейтенантов-радиолокационных, подавайте на годичные курсы. Училище под Ленинградом...» Я соображаю — туда ехать через Москву. И прямо в окопе пишу рапорт. Глаза, думаю, у меня минус три.

Съезжу туда, в Москве покантуюсь... А под Питером разберутся, что у меня зрение никуда — и назад отправят. Глядишь, месяц долой. В армии дорога — самое милое дело. Ни подъема тебе, ни нарядов на кухню...

— Плохо в армии? — спросила Инга.

— Тоска. Кто сидел, говорят, похоже на лагерь, только дисциплины больше.

— А как же ваша близорукость? *

— Никак. Медицинской комиссии не было. Сказали: раз в солдаты годишься, то и в техники годеи. В общем ношу шкуру... — Он хлопнул себя по серебряному, изрядно потемневшему погону.

— А вы не слишком серьезный, скорее импульсивный... — сказала Инга. — Зато пишете хорошо.

— Какое там хорошо!.. Вы лучше о себе расскажите, а то я вам слова сказать не дал.

— У меня ничего импульсивного, все зауряд-обычно. Поздно уже. Пора.

Курчев расплатился. Вышло за все про все меньше шестидесяти рублей.

За время ресторанного сидения мороз усилился, да и ветер стал резче. Но согревшемуся лейтенанту мороз и ветер пока не мешали. Он даже не опустил ушанки. Впрочем, до Ингиного переулка было рукой подать. Они прошли под железнодорожным мостом мимо похожей на отрезанную половину гигантского костела высотной гостиницы на темную Домниковку. Разговор сам собой оборвался в гардеробе ресторана и начинать его на ходу было, не с руки, тем паче, что скоро все равно прощаться. Но и молчать было неловко, хотя эта неловкость как раз говорила о каких-то пусть еще непрочных, а все-таки наладившихся отношениях. Два человека, ничего не зная друг о друге, случайно столкнулись в чужом доме, разговорились, выпили легкого красного вина и теперь идут по замерзшей спящей Москве — и идти им осталось не больше трехсот шагов.

Курчев даже не пытался понять Ингу. Она явилась в конце сумасшедшего дня, когда от усталости голова ничего не соображала. И что толку спрашивать о муже, если из расспросов ничего не узнаешь. Лучший способ — раскрыть себя в разговоре, тогда, бывает, и собеседник распахнется. Но в ресторане от голода, заморенности, неудачи с рефератом и от армейских неприятностей Борис ошалел, стал выдавать на-гора собственную биографию и проворонил миг встречной исповеди. Он слов-

но забыл, что напротив сидела замужняя женщина, которая — от жалости ли к нему, от тоски ли — съела за компанию бифштекс с луком и выпила за его удачу. Тогда он о ней почти не думал. Теперь же, на холоду, он вдруг очнулся и понял, что сейчас он ее доведет до дому — и все, больше он ее не увидит.

— Инга...— начал он.

— Тише...— прошептала она, схватив его под руку и вжавшись в него плечом — словно пряталась от кого-то.

Они собирались свернуть в проулок, но она потянула его дальше по темной Домниковке.

— Муж, что ли? — не удержался от вопроса Курчев, близко вглядываясь в спускающегося по переулку тощего невысокого мужчину в осеннем пальто.

— Нет. Потом, потом...— смеясь, Инга быстро тащила Курчева дальше по улице. На следующем углу торчало псевдоготического вида здание из красноватого кирпича. «Монастырь,— подумал лейтенант.— Отсюда, наверно, и Домниковка». Они свернули в проулок. Он тоже поднимался горбом, как предыдущий, по которому спускался тощий мужчина.

— Приятель,— пояснила Инга, когда они отделились от Домниковки.— Очень милый человек. Но...— и она оборвала фразу.

«Караульщик»,— хотел сказать Курчев, а вместо этого брякнул:

— Холодно сегодня...

Это могло относиться и к мужчине, который намерзся в переулке, ожидая загулявшую Ингу, и к своим восемнадцати километрам от железнодорожной станции до полка. Инга, видимо, восприняла слова как проявление мужской солидарности.

— Наверное, что-то передать хотел. Очень начитанный. Обещал помочь с диссертацией.

— Да на вас целый комбинат работает!

— Да. Еще бывший муж консультирует,— засмеялась Инга.

Теперь уже и ежу было ясно, что она свободна от мужа и, по-видимому, от ожидавшего ее в переулке начитанного доходяги. Значит, оставался один Алешка.

— Сюда,— сказала Инга. Они вошли в проулок с параллельной Домниковке Спасской и остановились у кирпичного дома старой постройки.— Давайте ваше сокровище и реферат.

— Для начитанных? — спросил Курчев.

— Угу,— кивнула Инга.— И для меня тоже.— Голос у нее

все еще был веселый.— Хотите, вынесу вам Тэккерей? Или вам надо бежать?

— Еще нет.

Она вошла в подъезд. Борис отвернул рукав. До последнего поезда оставалось двадцать четыре минуты. «В крайнем случае, голосну на шоссе,— решил, чувствуя, что его разбирает любопытство.— Тебе недолго увлечься,— ругал себя.— Ну, куда с твоим суконным рылом?..»

В проулке перед подъездом ветер гулял вовсю, но войти в парадное было неловко.

Дверь отворилась. На пороге встала Инга с двумя толстыми зелеными книгами. Выворотки и башлыка на ней уже не было.

— Простудитесь! — испугался Курчев и попытался втолкнуть ее в подъезд.

— Ничего. Я на минуту,— сказала она.— Не выношу стоять в парадных.— Она снова зябко повела плечами, возможно теперь уже от холода.— Счастливо. Письмо завтра передам. Вдруг принесу вам удачу. Звоните, когда будете в городе! — махнула рукой и тут же отпустила дверь — та гулко хлопнула.

Курчев поглядел на номер дома. Под цифрой по белому кругу даже при тусклом электричестве легко прочитывалось название проулка — Докучаев.

«Ну и ладно,— вздрогнул Борис — в названии ему почудился намек.— Я не навязывался».

Он спустился на Домниковку, быстро дошел до вокзала, купил у телеграфистки два конверта. На первом вывел адрес части, на втором — адрес мачехи.

На обороте лилового телеграфного бланка печатными буквами, чтобы было разборчивей, написал:

«Елизавета Никаноровна! Извините за назойливость. Если я Вам понадоблюсь, напишите. Адрес на конверте. Привет Славке и Михал Михалычу.

Еще раз простите. Ваш Борис.

Я был в городе недолго.

18 февраля 1954 г.» — кинул письмо в высокий деревянный с аляповатым государственным гербом ящик и вышел на платформу. За тусклыми окнами ночного поезда людей не было видно.

«Остановок небось не объявляют»,— подумал Борис и залез в первый от паровоза вагон.

Инга поднялась на третий этаж, отпустила на замке собачку и осторожно закрыла дверь. Квартира спала, света в прихожей

не было. Инга взяла с сундука реферат и машинку, прошла к себе в комнату. Двоюродная бабка Вава спала или притворялась, что спит, и от скрипа двери не шелохнулась. Инга засветила ночник над своим узким диваном и развязала тесемки конторской папки.

Шрифт у машинки был мелкий, но четкий.

Подтянув колени к подбородку, Инга уютно свернулась на жестком диванчике и стала перечитывать реферат.

«Борис Курчев

О НАСМОРКЕ ФУРШТАТСКОГО СОЛДАТА

(Размышления над цитатой из «Войны и мира»)

«Вопрос о том, был или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского солдата»

Лев Толстой

Надеясь унижить Наполеона, великий писатель приравнял его к самому последнему обознику. Толстой не прав. Но в данной работе мне не хочется полемизировать с ним в оценке способностей французского императора. Задачи реферата гораздо уже. Я хочу весьма приблизительно, хотя бы пунктиром обозначить границы самой малой человеческой величины и определить место этой личности в многомиллионном людском ряду.

Если человеческое общество вообще можно с чем-то сравнивать, то я позволю себе сравнить его с очень длинной десятичной дробью, где самый главный член общества будет стоять слева от запятой, а самый ничтожный — справа от нее, замыкая весь ряд.

С чисто математической точки зрения — это, конечно, несерьезно, так как в практических расчетах последние знаки зачастую отбрасываются и измерения ведутся с известной долей приближения. Но в расчетах человеческих такой метод приемлем.

Безусловно, в донесениях с Бородинского поля потери давались округленно до тысяч или даже до десятков тысяч, то есть счет велся слева направо, причем каждый левый арифметический знак был важнее последующего. Но если на минуту забыть о реляциях, посланных в Петербург или в шатер Наполеона, а представить себе реального обозника с оторванной ядром ногой, то для этого раненого солдата подобный отсчет покажется бесчеловечным. Живое округлять нельзя.

Правда, есть некое, иногда чуть ли не мистическое родство между последним и первым знаком нашей десятичной дроби.

К этому родству я еще вернусь, но пока лишь замечу, что это родство явно не равнозначно, то есть привязанность последнего знака дроби к цифре, стоящей перед запятой, гораздо сильнее, нежели этой цифры к последнему знаку. Недаром реляции с Бородинского сражения писались весьма округленно, и точное число потерь неизвестно и по нынешний день.

Все мы помним английский детский стишок «Гвоздь и подкова»:

Не было гвоздя — подкова пропала.
Не было подковы — лошадь захромала.
Лошадь захромала — командир убит.
Командир убит, армия бежит
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.

Казалось бы, этот стишок восстает против округления потерь и защищает важность и весомость самого последнего знака (в данном случае — гвоздя) в нашей десятичной дроби. Но это защита мнимая. И счет здесь идет опять-таки слева направо, так как стихотворение (конечно, очень наивно и общо) пытается определить полезность малого с точки зрения целого. Но самоценности малого оно не определяет.

Могут возразить, что в стихике речь идет о неодушевленном предмете, то есть о гвозде, и не более, чем о гвозде. Но как часто в литературе и не только в литературе прибегают к сравнениям личности с гвоздем, винтом, болтом, гайкой и прочей скобяной мелочishкой.

Всякое сравнение обедняет, если не обесценивает, сравниваемое. А сравнение живого с неживым и вовсе уничтожает жизнь. Живое самоценно, но никому не придет в голову рассуждать о самоценности колесика или болта. Да и смешно говорить о часовом механизме с точки зрения гайки.

Гайку в механизме можно заменить, дробь округлить, то есть отбросить последние знаки. И такие замены и округления вполне правомерны под углом всеобщей пользы или пользы первого знака дроби. Но вряд ли они правомерны со стороны замененного или округленного (т. е. отброшенного человека).

Главная идея «Войны и мира» — идея народная, писал Лев Николаевич.

Но что такое народ? Чисто арифметически — это совокупность отдельных малых и больших величин — личностей. И опять-таки это нечто общее, большое, целое, которому не страшна потеря малого, то есть округление. В понятии народ существуют реальные связи и связи чисто мистические, которые помогают скрыть или, наоборот, выпятить связи реальные.

Когда-то в детстве мне на глаза попалась литография «Николай I хоронит солдата». Снег. Страшный петербургский холод, и император в кивере то ли идет за гробом, то ли даже несет гроб — сейчас уже не помню. По-видимому, литография эта — не что иное, как попытка мистически передвинуть последний знак нашей десятичной дроби к самой запятой. Мертвых вообще передвигать легче, чем живых. Живой, перенесенный от конца ряда к началу, уже не будет ничтожным знаком. Пирожник Александр Меньшиков, когда стал временщиком, ни на шутку кое-кого потеснил. А мертвого передвигать дело плевое, так как мертвый, не теряя своего самого последнего звания и должности, в то же время мистически приближается если не к Богу, то к королю или премьер-министру. В Париже у арки Неизвестного солдата горит Вечный огонь (подведен газ), и президент или глава правительства склоняется перед этой могилой, едва ли не лобызая плиту.

С мертвыми всегда проще. Мужичку Жанну д'Арк, чтобы возвести в святые, пришлось предварительно сжечь. Видимо, существовала реальная опасность, что эта бесписьменная девушка захочет перекроить математический ряд, заменить его первые цифры.

Мнимые, то есть нереальные, мистические связи смазывают настоящую картину взаимоотношений и взаимозависимостей в общем ряду, затемняют механику принуждения и угнетения последующих чисел предыдущими и в то же время цементируют, скрепляют, казалось бы, несоединимое. То есть в конечном счете они-то и создают весь ряд — нашу десятичную дробь.

Всякое сравнение, как я уже писал выше, обесценивает или даже уничтожает сравнимое. Поэтому я считаю, что нам пора отойти от понятия «ряд» и далее оперировать названиями — общество или людская совокупность или для конкретности — государство. Но даже эти понятия не могут дать точной и четкой картины человеческих взаимоотношений.

Каждое государство соседствует с другим, и отношения с соседями затемняют, искажают или изменяют механику внутренних отношений. Внешний враг почти всегда — внутренний союзник в деле соединения, сплочения, цементирования дроби, то есть в угнетении наших последних людских рядов предыдущими. Причем самому последнему знаку нашего ряда, нашему фурашратскому солдату не дают возможности самому разобраться в степени опасности внешней угрозы для него как личности.

Вообще задача каждого императора, полководца, диктатора, предводителя и так далее — превратить нашего обозника

в гайку, винт, болт и тому подобную мелочь, уверив его при этом, что он-то и есть основа всего механизма.

Вместо истинного понятия о зависимости, свободе и воле последнего члена общества в него вбиваются красивые фразы о долге, мистической или божественной связи его со всем рядом и самим главой ряда, вбиваются доводы о необходимости жертвы ради всеобщего блага и так далее. Как в армии солдат всегда должен быть занят и ни на минуту не может быть предоставлен себе, своим мыслям и раздумьям, так последний член общества должен быть всегда зависим, всегда готов к самопожертвованию и всегда обуян страхом исключения из ряда.

Но самый последний фурштатский солдат, самый глупый и ничтожный человек,— все-таки личность, а не болт, гайка или винт. И пока он жив и крутится в общем механизме страны или общества, он должен иметь какой-то зазор, какой-то отличный от нуля минимум свободы выбора, свободы воли духовной и свободы воли физической.

Итак, в этой работе я хочу попытаться, сколь возможно снимая мистику, определить контуры личности самого ничтожного обозника.

Безусловно, это всего лишь попытка, и попытка со слабыми средствами. Отдельной личности никогда нигде не было, разве что в романе Дефо. Всегда человек связан еще с одним человеком, а тот, в свою очередь, с третьим, и все трое соединены между собой и еще с бесчисленным множеством других людей. И все-таки, насколько я знаю, основное внимание всегда уделялось именно этим связям или путам. Тех, кто были связаны или спутаны, всегда хотели связать или спутать еще сильнее.

Так свободен ли, и если свободен, то насколько, наш фурштатский солдат? Есть ли у него возможность выбора действия или бездействия, возможность неподчинения и протеста, возможность, наконец, выпутаться совсем или хотя бы частично, в то же время не теряя своего последнего места в ряду, то есть оставаясь самым распоследним фурштатцем?

Наш несчастный солдат должен есть, пить, дышать. Должен быть защищен от непогоды, дождя, ветра, холода. Он должен воевать или работать, то есть обеспечивать существование тех, кто сам не воюет и не трудится. Кроме того, наш солдат не бессмертен и поэтому должен быть заменен во времени следующим обозником. Словом, наш солдат должен размножаться, а поэтому обязан иметь жену и как минимум двоих детей, которым тоже надо дышать, есть, пить, во что-то одеваться и т. п.

Следовательно, у нашего солдата кроме государственных или общих обязанностей есть еще немало своих сугубо личных,

тем не менее чрезвычайно для него важных. Причем его семейный долг редко может быть заменен мистическим. Высшая общая польза никак не может затушевать или скрыть насущности его семейных задач. И в какой бы опасности ни было отечество, дети должны быть накормлены, и босыми в сорокаградусный мороз их из избы не выпустишь. Как бы ни был приучен солдат жертвовать собой ради родины, он, если не полный кретин, жену свою или малолетних детей не поведет под пули или на минное поле ради не очень ясного ему дальнего всеобщего блага.

Об этом, кстати, замечательно сказано у Толстого. Даже посредственность из посредственностей Николай Ростов и тот правильно оценил значение подвига генерала Раевского в Салтановском сражении.

«Офицер с двойными усами, Здражинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здражинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними пошел в атаку... Ростов молча смотрел на него. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его,— думал Ростов,— остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевляться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре?»

Я прошу извинить мне эту длинную цитату, но уж очень велико было искушение ее привести, хотя она, возможно, и уводит слегка в сторону.

Итак, личные обязанности нашего фурштатского солдата сталкиваются с его обязанностями общими, гражданскими и зачастую мнимыми. В данной работе фурштатец рассматривается мною, естественно, не столько как солдат, обозник, сколько как **последний** член некоей людской совокупности. Возможно, что некоторые военные сравнения, затемняют смысл данного реферата, за что прошу прощения у читающего.

Нашего обозника приучили жертвовать собой, но жертвовать детьми не приучили. Вот как раз в его отношении к детям, к семье и пробивается его естественная, то есть человеческая сущность. Привязанность к детям — это, видимо, тот личный плацдарм, который еще не полностью захвачен государством

или обществом, то есть это то реальное, что еще не побеждено и не уничтожено мнимым, мистическим, религиозным.

По-видимому, здесь мы нащупываем первое противоречие. Солдат-обозник, то есть наш последний горемыка, нужен обществу (государству), вернее его правителям, как несомненно реальная величина, но они опутывают его помимо реальных физических пут еще путами и цепями мнимыми — фантастическими, религиозно-патриотическими и прочими.

Желая выжать из него побольше и заплатить ему поменьше, они превозносят нашего обозника до небес, но не его, конкретного фурштатского Жана, Пьера, Франсуа, а его, как жана, пьера, франсуа с маленькой буквы и в то же время как нацию с буквы большой.

Итак, личная свобода нашего фурштатца ограничена не только его реальной слабостью, подчиненностью вышестоящему капралу, незащищенностью перед миром и обществом, а еще и мистическим нереальным страхом несуществующей угрозы, страхом перед остракизмом, отлученностью его, реального, от нереального целого (государства, сообщества и т. п.).

Но так ли страшно оказаться отлученным?

Страшно. Но опять-таки можно определить четкие пределы этого страха, то есть беспредельность привести к чему-то более или менее определенному.

Наш фурштатец обладает самым минимумом прав, самым минимумом благ и в то же время на нем держится все общество. Во время войны он к тому же находится в непосредственной близости от смерти. Так страшно ли фурштатцу исключение из ряда?

Да, страшно. Страшно, потому что фурштатец связан со своей семьей и в случае его выхода из ряда (общества, группы и т. п.) — возмездие неминуемо и, если не настигнет самого обозника, то уж, во всяком случае, не обойдет его семью. Но страх за семью — страх реальный, а всякое реальное имеет свои границы как в пространстве, так и во времени. Не потому ли так часты среди фурштатцев случаи дезертирства (или эмиграции, бегства в мирное время). Что такое дезертирство или бегство, как не попытка выбора, как не сравнение двух страхов, двух опасностей? Нисколько не оправдывая беглецов и дезертиров, я в данной работе просто рассматриваю самую возможность бегства как такового.

«Пролетариату нечего терять», — писал Маркс. Нашему фурштатцу — тоже. Если поезд остановился или повернул не в ту сторону, то спрыгнуть легче всего безбилетному пассажиру. Он ничего не теряет и может найти себе другой поезд, который

движется в нужном направлении. Человек, заплативший за билет да еще первого класса (купейный или спальный), во всяком случае будет надеяться, что поезд наконец двинется и повернет на нужный путь, как было обещано. Обознику никто ничего не обещал. Вернее, обещали, но что-то очень неконкретное, вечную славу, например. И поэтому покинуть состав ему легче, чем пассажиру спального вагона.

Фурштатец почти всегда на нуле и поэтому ему проще сызнова начинать с нуля.

Но стоит ли брать крайние формы протеста — как-то дезертирство, бегство и т. п.?

Ведь кроме этих крайностей есть еще формы промежуточные, как-то нерадивость, леность, разболтанность, филонство (т. е. итальянская забастовка). Человека убежавшего легко подвергнуть остракизму, легко наказать его или его семью. Человека нерадивого наказать труднее. Как вызвать сочувствие у последних знаков ряда, наказывая нерадивого соседа, если каждый видит, что сам наказыватель ни черта не делает, то есть тоже нерадив?!

Вполне допускаю, что мое соображение ненаучно, но мне кажется, что все исторические формации лопались не вследствие дезертирства или бегства низших рядов, а как раз из-за их ничегонеделанья, из-за саботажа наших фуршатцев. Равнодушие к своим общественным обязанностям, то есть к производству, приводило к гибели всей формации, а точнее — к перестановке знаков во всем нашем ряду и к модернизации реальных и мистических пут и цепей.

Итак, мы замечаем, что как бы ни был угнетен наш обозник, в известном смысле, он даже более свободен, чем знак, стоящий ближе к запятой. Отказаться что-либо делать для других куда проще, чем отказаться что-либо делать для себя. Поэтому в каждой новой формации должна была увеличиваться доля получаемого обозником от его труда продукта. То есть фурштатец «богател» и несколько «освобождался», но поскольку его богатство и свобода увеличивались не в пространстве, а во времени, он их ощущать не мог. Сравнить ему было не с чем. Ведь он по-прежнему оставался распоследним знаком в нашем ряду.

Правда, следует сказать, что богатство не только относительно. Всякое улучшение условий бытия чревато разного рода последствиями. Французы, которые в прошлом веке были отличными солдатами, в нашем столетии оказались ни на что не годны. Впрочем, это предвидел еще Толстой в своей великой эпопее.

«Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до $\frac{1}{3}$ части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам... Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы не осталось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штаблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребках, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили, ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было».

На этой цитате Инга оборвала чтение, взглянула на часы и поняла, что устала и хочет спать. Но на душе у нее было все еще легко, и она вдруг, неожиданно для себя, встала на голову и перевернулась на узком, еще школьных времен диванчике.

«Тише, Ваву разбудишь!» — одернула себя, тихо разделась, накинула халат и пошла в ванную. Стоя под горячим душем, она с улыбкой вспоминала нескладного лейтенанта и художого унылого человека, который одиноко спускался под Докучаеву переулку.

О бывшем муже и об Алеше Сеничкине, с которым у нее назревал роман, думать ей не хотелось.

Дознание

Завязав на подбородке ушанку и прикрыв очками глаза (чтоб не попадали искры от паровоза и можно было прочесть названия остановок), Курчев курил в тамбуре головного вагона.

Стекло в двери было выбито, в тамбур задувало холодом, но все-таки тут было веселее, чем в грязном, душном, хоть и пустом вагоне.

Поезд шел медленно, и вообще неясно было для кого его пустили. Третий час ночи — время позднее даже для пьяниц, тем более посреди недели.

Курчев прикуривал сигарету от сигареты, не чувствуя, что зарабатывает на сквозняке недюжинную простуду.

Поезд припустил, колеса на стыках ударяли в железный пол, и это взбадривало. Вагон весело раскачивался, Курчев

все чаще высовывался в разбитое окно — боялся пропустить свою остановку. Вокруг было бело от снега и черно от деревьев.

Теперь вдали от столицы следовало думать о завтрашних разговорах с Ращупкиным и особистом, но мешал и манил Докучаев переулочек.

«Забирает? Не тебя одного», — усмехнулся Борис.

Соскочив с поезда, он обошел завалы угля, поднялся на бугор, увидел узкую асфальтированную дорогу, доверчиво пошел по ней и шагов через двести наткнулся на первый километровой столб. По асфальту идти было веселей, он вел до магистрали, потом по магистрали, потом снова от магистрали до «овощехранилища», а оттуда оставалось лишь два километра бетонки, балка, лаз и полтора часа сна на собственной койке. И Курчев бесстрашно воротился к московским впечатлениям.

Новая знакомая его поразила. Может быть, где-нибудь в метро или в троллейбусе он бы ее не заметил. Лицо у нее было неброское, но из тех, на которые чем дальше глядишь, тем сильнее притягивают, а Курчев целый час глядел на него в вокзальном ресторане.

На магистрали кое-где горели фонари. Редкие грузовики на бешеной ночной скорости пролетали мимо, и Борис раздумал голосовать. Он уже приновился к дороге, а мысли об Инге согревали продутое в тамбуре тело.

«И чего она пошла со мной в ресторан? — размышлял он. — Погубит тебя анализ. А чего бы не пойти? Тем более на душе после Марьяны невесело. Что у нее с Алешкой? Хрена два разберешь, — соврал он себе. — Только не вздумай околачиваться возле ее дома. Не то жалеть будет. А что хуже жалости?»

Он вспомнил худого мужчину, спускающегося с горба проулка.

Намерзся, бедняга.

Борис и сам стал замерзать и обрадовался, когда дошел до отводного шоссе. По бокам шоссе росли высокие ели; ветер дул здесь не так сильно. Оставалось чуть больше половины пути.

«Наверно, какой-нибудь ханурик из редакции, — подумал он о караульщике. — Что-то уж больно много нас: муж, Алешка, я... А ты-то при чем? — перебил себя. — Ты вообще с боку припеку. Консультант по Теккерею...»

Со временем полупустой чемодан стал оттягивать руку. Пальцы в старых перчатках отчаянно зябли.

«Сколько может быть мужчин у порядочной женщины одновременно? — перебил себя. — Живем, как при империализме:

все лучшие женщины, как колонии, давно под чьим-нибудь мандатом. Разве что отвоюешь. А вдруг она ничья? Что значит — ничья? Самостоятельная? Впрочем, сейчас много самостоятельных. Равноправие.

Наверно, те, кто замужем, мечтают о воле, а те, кто сами по себе, замуж хотят. Но она молодая, года двадцать три, от силы четыре... Если замужем побывала, сразу по-новой не захочет. Может, с Алешкой у нее несерьезно. Радость великая с таким оборотом крутить? Хотя Марьянка в него двумя руками вцепилась. Ни черта ты в этом не смыслишь. Лучше напиши новый реферат. О браке, например. Но это уже лирика».

На восьми километрах стояли две деревни. Первую Курчев прошел, даже не заметив ее. Ни в одной избе не было света.

Хорошо бы у шлагбаума часовой кемарил. Мысли его переключились на армейские передряги. Впрочем, черт с ними — к разводу поспею...

Теперь он еле передвигал ноги. Невдалеке чернела вторая деревня. Времени было без семи пять, свет здесь тоже не горел.

«А для чего вообще женятся? — вернулся он, словно голодный к уже обглоданной кости.— Причем некоторые сами. А других силком ведут в загс. Интересно, почему Лешка женился?...»

Он чувствовал, что Алешка расписался без особой радости, хотя ни о каких детях речь не шла. Впрочем, во время Алешкиной женитьбы Курчев загорал в номерном училище и впервые увидел молодоженов, когда они, съездив на медовую неделю в Питер, завернули оттуда на полчаса к нему.

Вид у новобрачного был невеселый, а молодая Борису понравилась. Было ей тогда двадцать семь, но выглядела она моложе — свежее лицо, на редкость большие серые глаза, пухлые яркие ненакрашенные губы. Она не задавалась, тут же на скамейке у КПП перешла с Борисом на «ты» и, когда интерес к ней сплывал мимо курсантов несколько поутих, протянула Курчеву две запечатанные четвертинки.

— Вот женился,— сказал Алешка.— Смотри, не сотвори подобной пошлости.

Марьяна сидела рядом и непреклонно улыбалась.

— У тебя, разумеется, тугриков нет? — вздохнул Алешка и вытащил из бумажника полусотенную.— Бери. Больше, к сожалению, не имеется. Прокутили. Следственная женщина.— Он кивнул на молодую жену: — Пьет как лошадь.

— Не надо,— Курчев отвел Алешкину руку с купюрой.

— Бери,— сказал Сеничкин.— Мы отсюда на вокзал. Медовку провели. Теперь и развестись можно.

— Он чокнутый? — спросил Курчев Марьяну, пытаясь все свести к шутке.

— Вам виднее,— улыбнулась она.— Я его еще не раскусила.

— Дурак он,— сказал Борис. Ему жаль было Марьяну. Ему и сейчас было ее жаль, хотя с тех пор прошло уже два года, а Алешка так и не развелся.

Остаток дороги Курчев брел, как во сне. Так солдатом, когда их батарея ночью возвращалась из бани, он, засыпая на ходу, выскакивал из шеренги. И нынче, пару раз угодив в кювет, Курчев растер снегом лицо и из последних сил прибавил шагу. От усталости и недосыпу он казался себе невероятно легким, только чемодан с двумя томами Теккерера оттягивал руку. Еще не рассвело, но бугор «овощехранилища» был хорошо виден. Часовой дремал в будке. Курчев обошел шлагбаум и припустил вверх по бетонке. Было без четверти шесть. Ветер стих. Крутой морозный воздух был беловато-синий, как молоко.

Качаясь, Курчев прошел балку, раздвинул доски забора и нырнул в свой дворик. Входная дверь была отперта. За следующей дверью в нос ему шибанул пот и несвежее дыхание храпящих мужиков. Форточка в проходной комнате была притворена, но Курчев не полез ее открывать. Как был в сапогах и шинели, повалился на койку и тут же заснул.

Спать ему оставалось всего ничего. Уже через полтора часа надраенный, перетянутый ремнем, готовый к разводу Морев ретиво тряс его за плечо:

— Па-адъем! Па-ад-ъем! — орал он.

— Не тронь его,— сказал Володька Залетаев.

— Подъем! — тряс Морев Бориса.— Подъем, историк. Заптитываться надо. В стройбате харчушку прикрыли...

Любивший поспать Борис обычно не успевал позавтракать до развода в Зинкиной столовой и потому, выходя из КПП, сворачивал в ворота бывшего стройбата. Стройбат давно разогнали, но оставалось кое-какое имущество и что-то вроде буфета. Повариха и буфетчица варили для себя, кормили завскладом, кладовщика и еще вот Курчева.

— Подъем, подъем! — Морев продолжал его трясти.

— Оставь его,— пробурчал сквозь сон Федька Павлов. Борис не просыпался.

— И ты вылазь! — Залетаев стянул с Федьки шинель и одеяло.— Борьку покормишь. Со вчера осталось.

Летчик открыл тумбочку, кивнул на почти пустую бутылку и накрытую другой глубокою тарелку, перетянулся ремнем и

вышел вслед за Моревым. Пуговицы на его шинели, не в пример моревским, не сверкали.

Уже рассвело. По всем трем спускавшимся к штабу улочкам поскрипывали сапогами офицеры, шлепали галошами и валенками инженеры и монтажники. Монтажницы еще не выходили. Из экономии они завтракали у себя в домике.

Федька сунул босые ноги в сапоги, накинул на исподнее шинель, с тоской поглядел в окно и зашаркал во двор. Вокруг нужника и дровяного сарая предательски желтели вензеля — свидетельства лености офицеров. В самом нужнике вокруг очка намерзли кучи.

— Эх, старшины на вас нет! — вздохнул Федька, но наводить порядка не стал. Зябко прикрываясь шинелью, он заспешил обратно в дом.

Федьке было двадцать два года, но в нем словно стерлась главная нарезка, и гайка свободно проворачивалась. Федька никак не мог взять себя в руки. Он был вовсе не глуп, память у него была уникальная, способности исключительные, но что-то странное творилось с его волей. Доучившись до четвертого курса Менделеевки, он вдруг ни с того, ни с сего перестал ходить на лекции, его выгнали сначала из института, потом из общежития, он лишился отсрочки и загремел в армию. Не прослужив и полугода в батарее младших лейтенантов запаса, он подал рапорт на курсы того же училища, в котором учился Курчев, и годом позже с грехом пополам их окончил. Не окончить их не было никакой возможности. Приказ о присвоении воинского звания подписывался министром до сдачи экзаменов. Получив младшего лейтенанта (теперь уже давали младших), Федька не поехал в отпуск домой, а по непонятной причине пропьянствовал весь срок в Москве, пропадая попеременно то в студенческом, то в офицерском общежитиях, и почти голодный, измученный водкой и недосыпом, в изжеванном кителе и прохудившихся за месяц сапогах предстал перед Ращупкиным. Тот определил его под начало Секачева во вторую группу «овощехранилища». (Старшим техником первой был Курчев.)

Поначалу Федька с жаром взялся за дело, дважды в день, утром и после обеда, ходил на объект. Не разгибаясь, сидел рядом со штатским инженером у осциллографа. Но потом вдруг заскучал, начал филонить, пропускать послеобеденные занятия и наконец заявился в санчасть.

Врач полка, медицинский лейтенант хмурый Музыченко, при виде Федькиных фурункулов хмыкнул и дал ему освобож-

дение. Что делать с чирьями он не знал, поскольку готовился к научной работе (в полку он в основном занимался разведанием плесени для пенициллина), но отправить Федьку в госпиталь, боясь нагоняя, не решился. Врач он был никакой — в полк попал прямо из института, а советоваться ему здесь было не с кем. Ему казалось, что даже солдаты видят его никчемность, потому он сторонился всех и сошелся только с инженером Забродиним, таким же обидчивым бирюком.

Получив освобождение сперва на неделю, потом еще на одну, а теперь уже третью неделю загорая в финском домике, Федька и вовсе распустился — пил, резался в преферанс, а днем, когда офицеры сидели в «овощехранилище», помирал от скуки.

Он был парень неглупый и не пытался обмануть себя; понимал, что в его жизни ничего не переменится, и не знал, что с собой делать. Поэтому вечно суетился, громче всех кричал, чаще всех спорил, за что получил прозвище «чума», и сдружился лишь с Борисом. Только Курчеву, и то после пьянки, он открыл страшную тайну, как в позапрошлом году, доведенный до отчаянья бесплодной любовью к одной студентке, заявился бухой к своей беременной сестре в общежитие и стал к ней приставать.

Даже через полтора года Федька не мог побороть дрожи, рассказывая, как прогоняла его сестра и как он молил ее согласиться, поскольку она и так подзалетела...

— Да ты не плачь... Матери она ведь не написала, — с трудом преодолевая брезгливость, утешал Федьку Борис. Но тот все рыдал. Маленький, тощий, в колечках волос, он походил на приютского заморыша. Курчев насильно уложил его, укрыл шинелями. Хорошо еще офицеры укатали в райцентр и никто не слышал Федькиной исповеди.

Возвратясь в опустевший дом, Федька зачерпнул кружкой из ведра и как прачка брызнул в лицо Борису.

— Вставай, — сказал мрачно. — Дальше никак нельзя...

До развода оставалось восемь минут. Курчев покорно поднялся, скинул шинель, китель и нижнюю рубаху. И тут же озяб. На крыльце Федька облил его из ведра. Кое-как растеревшись, Курчев снова напялил форму, глотнул из бутылки, закусил хлебом с остатками бычков в томате и поспешил к штабу. Ноги были как чужие. Суставы словно подкрутили гаечным ключом и пережали — теперь ноги плохо сгибались.

Хорошо, идти было недалеко. Сбегая вниз, Курчев успел обогнать вышагивающего по параллельной улочке Ращупкина

и пристроиться во второй офицерской шеренге как раз под крик дежурного офицера:

— Смирна! Равнение на середину!

Покорно, с тупым равнодушием Борис глядел на длинного, хорошо выбритого, сияющего Ращупкина, который с напускной серьезностью выслушивал рапорт низенького младшего лейтенанта из огневиков. Никаких событий в полку не произошло, но лицо у Ращупкина было торжественно-внимательным, как у опытного педагога, выслушивающего захудалого первоклашку.

«Сразу вызовет или в обед?» — гадал Курчев. Но почему-то сегодня будущий разнос почти не тревожил.

Черенков отпер ворота, и солдаты двинулись на объект. Офицеры не спеша потянулись через проходную. Курчев поплелся в хвосте, ожидая, что Ращупкин его окликнет. Но тот стоял на штабном крыльце, о чем-то разговаривал с главным инженером, черноволосым очкастым молодым татаринном.

Солнце постепенно выкатывалось из-за леса, и словно бы скользило по снегу. Борис миновал опустевший стройбат и вышел на прямую, как рельс, бетонку. Впереди шли гурьбой десятка полтора офицеров, но Курчев не спешил. Ноги хотя и разошлись немного, все равно ныли; голова была свинцовой — набухали виски.

Эти два неполных километра он хотел отвести для Инги. В бункере будет тесно от людей, душно от включенных ламп, шумно от сельсинов и реле. К тому же там крутится красивая Валька Карпенко, при ней не размечтаешься.

А на бетонке он был один: шедшие впереди ему не мешали.

Выросший под бабкиным крылом, Борис мало чего перенял от отца, машиниста окружной дороги Кузьмы Илларионовича. Разве что влюбчив был, как отец. Но, влюбляясь, он каждый раз верил, что это всерьез и по гроб. Каждую девчонку он примеривал с первой минуты в жены. Хотя к двадцати шести годам он все еще не женился, подобными примерками он занимался всю жизнь: в первый раз семнадцатилетним хотел жениться на их квартирантке, хлебной продавщице, соблаздившей его, в последний — сегодня ночью — на Инге. До Инги соответственно тоже были разные кандидатуры от переводчицы Клары Викторовны и до монтажницы Вальки.

Сейчас, несмотря на головную боль, он мечтал об Инге Рысаковой. Фамилию ее он прочел на форзаце «Ярмарки тще-славия».

На снежной, просвистанной ветром дороге между еловой балкой и бараками бывшего лагеря мысли об Инге приобретали необычную серьезность. Издали Инга казалась ближе и

роднее, чем вчера в ресторане, а Алешка, человек в осеннем пальто и бывший неизвестный муж тревожили куда больше, чем вчера. И особенно Алешка. Алешка закрыл надежды на аспирантуру. У Алешки водились деньги, он был женат на чудесной женщине и еще лез к чужой (считай, теперь к его, курчевской). Вдобавок, Алешка был хорош собой, джентльменист, умел себя держать и никогда бы не стал караулить на морозе загулявшую знакомую. Алешке во всем были везение и удача, несмотря на недалекость и шкрабскую манеру передирать чужие мысли.

«Своих нету, а все равно помрет академиком»,— подумал Курчев.

Но тратить на Алешку чистое солнечное утро не хотелось, и Борис вернулся к Инге.

Жены из нее не получалось. Правильно писал он вчера в правительство. В полку ей нечего делать. Даже переводчица Кларка с кучей своего умопомрачительного импорта и то больше подходила к полковой жизни.

А Инга в скромной длинной выворотке оказалась бы в полку куда беззащитней, чем скрипачка на лесоповале.

Курчев вспомнил, какие у нее длинные и тонкие пальцы. И запястье тоже тонкое, и вся она худая, словно неотогретая. Наверное, потому передергивает плечами. Спускаясь к «овощехранилищу», он чувствовал, что над ним самым нависло немало, и, если даже и пронесет, все равно на расстоянии в полста километров Ингу не убережешь от житейского холода и прочих неурядиц.

«Встретиться хотя бы год назад,— подумал он,— когда мне времени девать некуда было».

Действительно, год назад он почти не ходил в военную приемку, куда был откомандирован из полка, и пропадал в Ленинской библиотеке.

«Но она же в третьем научном занимается!» — и этот третий научный, куда ему ходу не было, еще раз показал Курчеву всю безнадежность его мечтаний.

— Чего еле бредешь? — окликнул его Володька Залетаев, и Борис поднял голову. Навстречу по бетонке, прижимая офицеров к обочине, поднималась бежевая «Победа». Курчев сообразил, что это вчерашняя, «смершевская».

— Догоняй! — крикнул ему Залетаев и побежал к проходной объекта. Курчев поплелся за летчиком. Ноги не слушались.

Перед «овощехранилищем» стояла такая же халабуда, как перед военным городком, но тут спрашивали пропуска. Вытащив вдвое сложенные картонки, утыканые оттисками голов

разных животных, Курчев и Залетаев сунули их под нос сержанту. Тот взял пропуска, лениво повертел в руках. То ли давил на бдительность, то ли выслуживался перед смотревшим на него через окно КПП старшим лейтенантом, командиром роты охраны. Комроты, невзрачный человек с лицом язвенника, так же, как и парторг Волхов, был новым человеком в полку. Он прибыл из Германии, и ему казалось, что все здесь идет не так и дисциплины в полку кот наплакал.

Наконец сержант возвратил пропуска, и офицеры, пройдя еще двести шагов, спустились в бункер. Блоки и приборы еще только разогревались, в «овощехранилище» за ночь настало. Курчев прошел вслед за летчиком в аппаратную, где было потеплей, потому что тут дежурили круглую ночь, и пристроился дремать за серым железным шкафом, не обращая внимания на дежурившего солдата-связиста. Тот учился печатать на большом, похожем на магазинную кассу телеграфном аппарате.

— Поел? — спросил Залетаев, усаживаясь за свой стол и доставая из ящика книгу дежурств. — А то давай... — Он кивнул на кулек с баранками в глубине ящика.

Борис помотал головой и вдруг неожиданно для себя сказал:

— Неохота. Я вчера влюбился.

— Можете покурить, Синьков. — Залетаев повернулся к связисту.

— Некурящий я, — улыбнулся солдат.

— И уже завтракал? — засмеялся Курчев. — Ладно, пойду к секретчику.

В «овощехранилище» был свой штатский библиотекарь, выдававший схемы блоков, спецификации и прошитые бечевкой, опечатанные сургучом личные тетради офицеров. Он вечно запаздывал, и возле его обитой железом двери по утрам матерились монтажники: стояла работа. Секретчику было лет девятнадцать. Провалившись в институт, он спасался на объекте — тут давали броню от армии.

— Арестованным физкультпривет! — встретил он Бориса. — Чего надо? «Конспекта на родину»?

Так назывались солдатские письма, сочиняемые обычно на политзанятиях за спинами товарищей. Но Курчев в секретную тетрадь, уповая на неразборчивость своего почерка, заносил соображения о фуhrштатском солдате и о жизни вообще. Библиотекарь, заглянув в его тетрадь, удивился скромному количеству цифр, схем, сокращенных наименований реле, ламп и узлов, решил, что лейтенант ведет в спецтетради дневник, и с тех пор поддевал Бориса.

— Давай два шкафа и помалкивай, — притворно рассердился Борис.

— А что мне? — сказал секретчик, протягивая два увесистых тома с чертежами. — По мне хоть голых баб рисуй. Только бы тесемочки на месте были. Валька, пока тебя вчера арестовывали, с инженером в райцентр катала.

— Не завидуй, — сказал Борис и ушел в дальний отсек, к двум черным шкафам, которые когда-то вызывали в нем почти религиозный восторг, и не только из-за своей фантастической стоимости. Когда-то Курчеву казалось, что это и есть настоящее дело, ради которого надо забыть обо всем. Но длилось это недолго. Шкафы остались, восторг прошел. Невидимые враги-американцы почему-то вызывали куда меньше неприязни, чем сержант Хрусталеv или начштаба Сазонов.

Он сел за стол и уперся локтями в развернутую схему. За его спиной шум постепенно рос, как фон в нагреваемом приемнике. Включались приборы, слышались женские и мужские голоса, смех, иногда матерок. Начался рабочий день, в бункере заметно потеплело, но Курчев поеживался от холода.

«Покемарю немного», — подумал он и положил голову на тостую коленкоровую папку, к которой был прикреплен лист светоконии. Несмотря на зябковатость в спине и плечах, он тотчас провалился в черную шахту сна. Он словно падал в нее вниз головой, потому что даже во сне голова была тяжелой и горячей, как расплавленный чугун. Казалось, еще немного — и голова разорвет.

— Ночи вам мало, Курчев? — сказал главный инженер полка майор Чашин. Борис оторвал от чертежа голову, зевая поглядел на майора и вдруг почувствовал, что тот ему ни чуточки не страшен.

— Виноват. Голова разболелась. — Он снова зевнул, но не встал. В отсеке появилось уже несколько штатских, в том числе Сонька. Заглядывая в светоконию и сверяясь со своим листком, она маркировала провода в первом секачевском шкафу. Большая переносная лампа была в очки майору. Все мешало распечь нерадивого лейтенанта как следует. Впрочем, майор Чашин еще в военной приемке махнул на Бориса рукой. Только в дни пехоты вздыхал:

— И не стыдно вам, Курчев, в ведомости расписываться?

Но все знали, что майор тоже не безгрешен: два раза на неделе бросает приемку и ездит к жене в Иваново. Правда, теперь жена перебралась в полк, и майор исправно ходил в «овощное хранилище», но делать ему тут было нечего. Монтаж только начался. Общение со штатскими разбалтывало офицеров, а технических знаний не добавляло: участвовать в монтаже Ращупкин им запретил, и Чашин ему не прекословил. Он и сам толком

не решил, как лучше. Дело было новое. Даже готовые объекты сплошь и рядом перемонтировались. Майор уже два года занимался этой работой и все радовался, что он пока что главный инженер, а не командир части. Со временем он, конечно, сменит Ращупкина, потому что таким сложным хозяйством управлять может лишь специалист. Ращупкин же, хоть и сообразительный строевик, импульсного объекта ему не поднять. Но сменить Ращупкина Чашин хотел не раньше, чем тут наведут порядок и штатских уберут подальше. Пока что его заботило одно: чтобы офицеры знали чертежи. Месяца через два ожидалась инспекторская поверка. Что же до солдат, их на объект пускать и вовсе не стоило. Они постоянно вертелись вокруг монтажниц, а один обормот даже раскокал огромную генераторную лампу. Хорошо, что по договоренности со штатскими ее удалось списать и, оформив как учебное пособие, выставить в радиоклассе. Отсутствие стекла помогало с помощью указки объяснять пути электронов от сетки к катоду.

— Садитесь, Курчев,— усмехнулся майор, он понял, что лейтенант не думает подниматься.— В преферанс играли?

— Играли,— ответил Курчев.— Приходите. Рубанем сочинку.

— Как-нибудь...— сказал майор, может быть, впервые завидуя Курчеву.— Ладно, игра игрой, а как готовитесь к инспекторской?

— Никак. Чего спросят — отвечу. Откуда куда чего идет, где чего замыкает-срабатывает — это я, товарищ майор, сообщу.

— Тогда, Бог с вами, спите,— сказал майор.— Командир корпуса отказал вам в демобилизации.

— Что же делать? — спросил Борис.

— Ничего... В воздух палить не надо...— ответил майор, блеснув очками.— Хитрость эта копеечная — только Ращупкина рассердили. Так, лейтенант, дела не делают.

Видно было, что он жалеет Курчева, но помочь ему не может.

— Спите. Наверно, вас скоро вызовут,— бросил он и ушел в другой отсек.

— Взбойка? — Сонька повернулась к Курчеву, поставив консервную банку с краской прямо на чертеж.

— Еще нет,— ответил Борис.

— Валюха, дуй сюда,— крикнула маркировщица. Валька Карпенко работала на настройке в смотровом узле.

Если демобилизуюсь и устроюсь на завод, воображал Курчев, то на двух электричках полтора часа в один конец... А если в командировку зашлют, то выйдет тех же шей... Он усмехнулся,

представив, что попал в свой же полк, но уже штатским. То-то засмеют. Нет, завод не годился. А телеателье представлялось ему крохотым чуланом, в дверях которого цербером стоял абрикосочник в пижаме и бурках. Не лучше ли остаться в «овощехранилище» среди черного покрытия шкафов, жужжащих сельсинов и знакомых монтажниц?

— Не выпался,— Валька присела рядом на скамейку, положила ладонь поверх его ладони. Большие серо-черные глаза смотрели на него так, что хоть тут же предлагай руку и сердце.

— На каток не пойдешь? Спать будешь? — Она заглянула ему в лицо.

— Угу,— кивнул он, смежая веки, чтобы не смотреть на девушку. Она сидела совсем рядом, живая, теплая, удивительно милая.

«Какого тебе еще рожна?..» — спросил себя, потому что в пылающей голове Инга куда-то отступала и уменьшалась.

— Да ты вроде заболел...— сказала Валька и коснулась щекой его лба.— Горячий.— Она тревожно покачала головой.— Соня, ну-ка потрогай.

— Перетрудился небось,— ослабилась Сонька и приложила к его лбу шершавую ладонь.— Есть температура,— подтвердила бесстрастно.

— Иди домой,— сказала Валька.— Иди, не бойся. Я Забродину скажу. Всеволод Сергеич, идите сюда,— крикнула в соседний отсек.

Но, опередив Забродина, к ним пробрался связист Синьков и доложил, что лейтенанта Курчева вызывают в штаб.

Борис вылез из бункера и побрел к КПП. Солнце выкатилось высоко над лесом и било прямо в глаза, отчего голова болела еще сильнее. Он вошел в дежурку, показал сержанту пропуск и привалился к внутренней двери.

— Ноги не идут. Передай на шлагбаум, пусть машину остановят,— сказал младшему сержанту.

— Неположено здесь, товарищ лейтенант.

— Тогда звони в гараж. Пусть санитарную вышлют.

— Да вон идет!..— обрадовался сержант и стал махать поднимающемуся по бетонке самосвалу.

Самосвал шел на второй объект, но водитель, покряхтев, довез лейтенанта до военного городка.

— Горло, что ли? — спросил он.

— Нет,— Курчев мотнул головой, но тут же почувствовал, что горло тоже болит.

— Кто меня вызывал? — спросил он посыльного, сидевшего в штабном предбаннике возле ящика с оружием.

— В радиокласс велели... Там начальства много...

Курчев прошел по коридору, толкнул дверь радиокomнаты.

— Разрешите присутствовать? — спросил срывающимся голосом. Перед глазами плыло — он не сразу разглядел, кто его ожидает.

— Милости просим, — раздался веселый хриловатый голос.

Поморгав, Курчев разглядел вчерашнего, смершевского полковника, особиста Зубихина, еще одного незнакомого майора и полкового замполита подполковника Колпикова. Подполковник жался в углу у окна. Вид у него был пришибленный, его кругленькие глазки то и дело моргали.

— Садитесь. Лейтенант Курчев Борис...

— ...Кузьмич, — сказал Курчев, садясь за узкий длинный черный стол, наискосок от полковника.

Утреннее солнце било Борису прямо в глаза, он передвинулся на два стула левее и оказался лицом к лицу с корпусным смершевцем.

— Побеседовать с вами хотели, — сказал полковник. — Отчего раскраснелись? Бежали?

— Температура, — буркнул Борис. Смершевцев он сегодня почему-то не боялся: его действительно сильно знобило, перед глазами плыли пятна, кружилась голова. Он потер ладонью лоб.

— Уж вы нас извините, Борис Кузьмич, — добродушно сказал полковник. — А то нам еще раз ездить далековато. Мы вас постараемся не задерживать.

— Ничего, — в тон ему ответил Курчев и провел ладонями ото лба к подбородку, словно снимал с лица противогаз.

— Да ты не волнуйся, — усмехнулся капитан Зубихин.

— Я болен, — зло поглядел на него Курчев.

— Хлипкая молодежь пошла, а, Иван Осипыч? — Корпусной смершевец повернулся к замполиту Колпикову.

Толстощекий кругловатый замполит поспешно кивнул.

— Вот познакомиться с вами хотели, товарищ лейтенант, — повторил полковник. — Узнать, как живете, чем дышите. Может, немного расскажете нам о себе?

— А что говорить? В личном деле все есть, — буркнул Курчев.

— Курчев, — зашипел замполит.

— Ну, ну... Так уж и все, — улыбнулся полковник. — Личное дело — бумага. А вы — живой человек. Живого человека в бумагу не спрячешь. Верно?

— Не знаю. — Борис пожал плечами. Он ждал, когда спросят о малявке.

— Так уж и не знаете? Человек вы грамотный. Он что, Зубихин, с институтом?

— С институтом,— кивнул капитан.

— Какой институт закончили?

— Педагогический.

— Вот видите, учитель. Интеллигенция. А говорите — не знаете.

Курчев ничего не ответил.

— Так расскажите нам, Борис Кузьмич...

— О чем?

— О себе. Чем дышите? Что читаете?

— Читаю? — Лейтенант снова пожал плечами.— Все читаю.

— Ну, так уж и все,— подмигнул полковник.

— Что попадается. У нас тут не книжное хранилище.

— Что ж ты, Иван Осипыч?! — Полковник снова повернулся к замполиту.— У офицеров запросы, а ты на книги жмешься.

— Что положено...— Замполит развел руками, понимая, что все это игра, но опасаясь показать, что понимает.

— Значит, не нравится вам здешняя библиотека? — добродушно усмехнулся полковник.

Лет ему по виду сорок пять, подумал Курчев. И чего ему надо?.. На место Берии, что ли, метит?

— Библиотека как библиотека. Я еще всей не прочел,— сказал он, надеясь разозлить смершевца, чтоб тот наконец выложил, что ему нужно. Хорошо бы про выстрел спросил, а то ведь с машинки начнет...

— Значит, библиотека хорошая? Только из нее книги берете?

— Читаю, что попадается,— ответил лейтенант.

Конечно, следовало каждый раз прибавлять «товарищ полковник», но Борису казалось, что так будет отдавать подхалимажем. Впрочем, смершевец по-прежнему держался по-свойски.

— А что попадается? — спросил он Курчева.

— Разное. Всего не припомню. Вот «Ярмарка тщеславия» хотя бы...— сказал Борис и осекся, на форзаце первого тома стояла надпись «И. Рысакова». Господи, да они еще притянут Ингу и в два счета доберутся до малявки...

— Теккерей? Что ж, хорошая книга. Понравилась?

— Только начал, товарищ полковник,— выдавил Борис.

— Советую продолжать.

— Ему читать некогда, он сам писатель,— хмыкнул капитан

Зубихин.— Вчера, товарищ полковник, я машинку у него попросил, так он, понимаете, пожалел. Самому, сказал, нужна.

Курчев промолчал, и полковник, не ответив капитану, снова спросил:

— Ну, хорошо. Книги книгами, а журналы читаете?

— Редко.

— А какие редко?

— Какие есть. «Огонек», «Знамя»...

— И «Новый мир»? Про искренность...

— Нет,— соврал Курчев.

Эту статью он читал у Сеничкиных, но в полку о ней не говорил.

— Что — нет? — повторил полковник.

— «Закон чести» не читал,— сказал Курчев, работая идиота.

— Я не про пьесу спрашиваю, а про статью «Об искренности в литературе».

— Нет,— сказал Курчев,— не читал.

— Как же вы, педагог, литератор, а не читали?

— Я кончал исторический.

— Понятно. А «Вопросы истории» читаете?

— Читаю,— кивнул Борис.

— Это хорошо. Вы, кажется, в аспирантуру собираетесь?

— Мне отказано в демобилизации,— ответил Борис.

— А если в заочную?..

— Ездить далеко, а месяца отпуска для архивов мало.

— Да, мало... — согласился полковник, словно сочувствовал ему.— И все-таки добивайтесь заочной. Вы человек грамотный, политически подкованный. Член партии?

— ВЛКСМ.

— Пора ему в партию, Иван Осипыч. Что ж ты кадры не растишь?

— У него с дисциплиной не ладится,— пробормотал подполковник.

— Ни за что бы не подумал,— смершевец покачал головой.— Грамотный парень, высшее образование, а дисциплина, понимаешь, никуда. Ну и ну,— усмехнулся он непонятно над кем — Курчевым, замполитом или над здешними порядками.

— Может, ты газет не читаешь, а, лейтенант? — вдруг перешел он по-отечески на «ты».

— Читаю,— сказал Курчев.

— Про футбол небось да про шахматы?

Смотри, угадал, удивился Борис. Или донесли?

— Про все читаю,— ответил поспешно.

— Ну да. Будто я молодым не был. И вроде тебя больше слабым полом интересовался. Он как на этот счет, Иван Осипыч?

— Ничего особого не замечено...— ответил подполковник.

— Да? — удивился смершевец.— А я тут видел — у вас стройщицы очень подходящие. Красивые даже есть.— Он подмигнул, и Курчев подумал: «Неужели узнал про Вальку? Нет, на пушку берет».

— Газеты надо читать,— посерьезнел полковник.— «Звездочку» штудируешь, лейтенант? Нет? А нашу окружную? Скучная, не спорю, а все равно надо. Кому и читать, как не тебе? Или ты только штатские читаешь? «Вечерку», например?

— Ее здесь нету.

— Здесь — понятно... Ну, а в Москве читаешь?

— Нет.

— Так-таки не читаешь? — Смершевец испытующе смотрел на лейтенанта так, будто чтение «Вечерней Москвы» было делом подсудным.

— Мне ее негде брать, товарищ полковник. За ней очереди.

— Да,— вздохнул корпусной.— Ходкая газетенка. Ну а какую-нибудь покупаешь? Завернуть что-нибудь или в автобусе почитать со скуки?

— Да нет, пожалуй...— Борис пожал плечами. Он ждал, скоро ли они вернутся к малявке.

— Покупаешь самую какую ни есть неходкую? «Медицинский работник», например? Или дома газеты берешь?

— У меня нету дома, товарищ полковник.

— А в Москву к кому едешь?

— Ни к кому. Проветрится...

— А, понимаю. Закладываешь?

— Не особенно.

— Не пьет он, Иван Осипыч?

— В рамках,— попытался улыбнуться замполит, но его круглое лицо оставалось неподвижно унылым.

— Значит, пьешь средственно, а газет не покупаешь?— усмехнулся полковник.— А может, покупаешь все-таки? Завернуть грязное белье...

«И к чему он клонит?» — никак не мог понять Курчев. Оттого, что приходилось быть начеку, голова уже не так болела, но Борис не знал, надолго ли хватит сил, не взлетит ли температура.

— Мне здесь стирают,— ответил он.— Женщина из деревни приходит.

— Ну, ладно. Ничего у нас с тобой, товарищ лейтенант, не

получается, — вздохнул полковник. — А кроме тебя, понимаешь некому...

Курчев недоуменно уставился в лицо смершевца.

— Да. Кроме тебя некому. Мы всех проверили.

Добродушия в полковнике как не бывало. Теперь начнет трясти, как пленного, решил Борис.

— Вот. Вы это привезли. Больше некому, — снова переходя на «вы», сказал полковник и вытащил из портфеля сложенную вчетверо «Строительную газету». На левой свободной от текста кромке газеты был разорванный след от дырокола.

— Это не моя, — покачал головой Курчев.

— Не эта. Другая. За то же число. Вы ее привезли в часть.

Полковник развернул газету и ткнул пальцем в снимок, изображавший какое-то заседание. На трибуне стоял Маленков.

— Узнаете? — спросил полковник.

— Георгий Максимилианович, — четко сказал Курчев: вчера он это имя-отчество аккуратно отстучал на машинке.

— Газету узнаете? — резко повторил полковник.

— Нет... — Курчев помотал головой. — Не читал.

Он еще раз взглянул на снимок. За спиной Маленкова на скамьях сидели, по-видимому, члены Президиума. Клише было не ясным.

— Очки наденьте... — с издевкой сказал полковник.

— Слушаюсь. — Борис полез в карман кителя.

В очках он разглядел за спиной Маленкова Берия и улыбнулся. Газета была годичной давности — за 16 марта 1953 года.

— Узнали?

— Враг народа Берия.

— Газету узнали? — повторил полковник.

— Газету — нет. Меня тогда в части не было. С февраля по май я находился в командировке — завод почтовый ящик...

— А в день пехоты? — не выдержал капитан Зубихин. Он покраснел и набычился. Короткая шея того и гляди распорет воротник.

— В день пехоты я ходил к начфину в... — отчеканил Курчев, называя окраину Москвы. — Это рядом с заводом.

— Вы свободны, лейтенант, — холодно сказал полковник.

— Разрешите одну минуту, Андрей Тимофеевич, — повернулся красный, как свекла, Зубихин к полковнику. — А это что? — Он вытянул из-за спины фанерный щит и положил на стол перед поднявшимся Курчевым. Верхнюю часть щита он прикрыл развернутым ЦО строительного министерства.

— Стенгазета, — ответил Курчев.

Собственно, это была не просто стенгазета, а стационарка,

ленинка, как ее когда-то называли, размером с небольшую классную доску. Заметки в ней не наклеивались, а вставлялись в специально прорезанные пазы. Каждый столбец отделялся от другого тоненькими переборочками.

— Твоя стенгазета? — спросил капитан Зубихин.

— Нет. Не я редактор.

— Машинка, спрашиваю, твоя? Ты печатал?

— Я. А подписано — подполковник Колпиков, — усмехнулся Борис.

Он соврал. И печатал и писал заметку он. Подполковник был не шибко грамотен и не раз просил Курчева сочинить ему доклад или составить конспект для политзанятий.

Ну, теперь он нахлебается, подумал Борис. Подполковник действительно сидел красный и смущенный. Капитан сидел красный и злой. Майор по-прежнему молчал. А полковник закурил «казбечину», предоставив капитану самому выпутываться из дурацкого положения.

— Значит, печатал? — злорадно спросил Зубихин. — Печатал. Так? А на чем ты печатал?! — он отшвырнул газету и показал верхнюю часть стационарки. Справа от заголовка «За нашу Советскую Родину» была наклеена та же газетная фотография с выступающим Маленковым и сидящим над ним врагом народа Берия.

— На этом я не печатал. Это в каретку не влезет, — обржал Курчев. — Мне Хрусталеv носил домой листки, я на них печатал.

— Лейтенант, можете идти, — сказал полковник и поставил фанерный лист на подоконник.

— Слушаюсь, — Борис снял очки, поднялся, козырнул, кинул взгляд на стационарку, и тут ему все стало ясно. Он даже пожалел этих незадачливых смершевцев.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться. Я знаю, откуда эта газета! — выпалил Борис.

— Сядь, — сказал корпусной.

— Извините. Я вижу неважно, а очки не ношу. Теперь без них узнал... Она в стройбате висела.

— Где?

— В стройбате. Прежде я там запитывался. До развода не успевал, — объяснил Курчев специально для замполита Колпикова. — Вот эта фанера с заголовком и фотографией — она над раздаточным окном висела. Кто-нибудь оттуда приволок.

— Понятно. Спасибо, лейтенант, — сказал полковник. — Посыльного за редактором пошли, — кивнул он Зубихину.

— Фу ты, — выдохнул Борис, вываливаясь в коридор.

— Посыльный,— раздался за его спиной крик Зубихина. Зря им сказал. Теперь растрясут этого дурака Хрусталева, подумал Борис о своем недруге. Член комсомольского бюро, красавец, службист и одновременно сачок, Хрусталев выступил в конце года на собрании и, пользуясь весьма суженной армейской демократией, стал критиковать комсомольца (он так и говорил «комсомольца», а не лейтенанта!) Курчева за невыполнение возложенных на того поручений. В частности, вместо того чтобы читать лично составу лекции о международном положении, комсомолец Курчев каждую, видите ли, субботу уезжает в Москву.

«Хотя что взять с Хрусталева, если у него всего восемь классов? За все ответит Колпиков, а может, и Ращупкин. Но, если этот Андрей Тимофеевич спросит про выстрел, то Хрусталев как пить дать расколется, насчет сознательной дисциплины и мордобоя. Или это не их дело? Да нет у них никакого дела,— Борис ежился на крыльце штаба.— Ну и времена! Да в прошлом году за такое полчасти бы за проволоку засадили. Впрочем, что это я — в прошлом году за Берию бы не тронули»,— спохватился он и тут увидел вдалеке Ращупкина.

Двухметровый Ращупкин даже в февральский четверг сиял, как на первомайском параде.

Молодой и удачливый, краса и гордость полка, он вызывал зависть всех начинающих служак зенитной части. Не только простоватая пехота, но даже огневики и кичащиеся своей интеллигентностью импульсники из «овощного хранилища» втайне надеялись, а вдруг и им так повезет! Шутка ли в мирное время в тридцать два года занимать генеральскую должность!

Но озябшему Курчеву Ращупкин не казался сегодня ни удачливым, ни счастливым.

Он шел бодрым, почти строевым шагом, но Курчеву казалось, что подполковник ступает тяжело, будто идет не с горы, а в гору.

Курчев стоял на крыльце — ноги не шли — и с усталым презрением наблюдал за Ращупкиным, который, похоже, не собирался идти в штаб, а, наоборот, хотел поскорей пройти мимо: очевидно, знал, кто там сейчас. Может быть, он и миновал бы Курчева, но тут из-за угла штабного барака показался подтянутый Хрусталев и лихо козырнул Ращупкину. Ращупкин улыбнулся, тоже подтянул руку к ушанке и остановил Хрусталева. Курчев, не слыша, о чем они там говорят, по-прежнему брезгливо улыбался и вдруг перехватил взгляд Ращупкина. Осме-

лев от жара, Курчев не отвел глаз, и Ращупкин принял вызов. Огромный, как кентавр, и блестящий, как фаворит скаковой трибуны, он вальяжно двинулся к штабному крыльцу. Рослый Хрусталеv рядом с ним выглядел пузатой мелюзгой.

Борис небрежно козырнул командиру полка и прошмыгнуvшему мимо сержанту.

— Стыдно? — спросил Ращупкин.

— Никак нет, — ответил Курчев.

— Стыдно. Вижу. Думать надо сначала. Тогда краснеть не придется.

— Это от температуры, — сказал Борис, почувствовав, что действительно весь горит.

— Пойдемте. У меня продолжим. Садитесь, — сказал он Курчеву в кабинете, снял шинель, провел ладонью по темным блестящим волосам и сел под портретом Сталина. — Распекать я вас не буду. Мне хочется, как говорил Маяковский, понять вас и простить. Что же все-таки, Курчев, случилось?

— Ничего...

— Ну, что ж, — вздохнул Ращупкин. — Значит, вам стыдно. То, что вам стыдно, это хорошо, но этого недостаточно. Я в ваши годы, Курчев, дивизионом командовал. А в зенитной артиллерии, сами догадываетесь, растут быстро.

— Товарищ подполковник, — Борис попытался отряхнуться от жара, как отряхиваются ото сна. — Я получил неделю ареста, хотя в части произошло ЧП, групповое избиение. Четверо солдат и сержант учинили самосуд.

— Ну уж и самосуд... — улыбнулся Ращупкин. — У вас действительно жар.

— Товарищ подполковник, — медленно выговорил Борис, — я был дежурным по полку. Отвечал за внутренний порядок. Во время моего дежурства четверо солдат при участии сержанта пустили почтальону юшку.

— Почтальону? — презрительно протянул подполковник. — Почтальон — дезертир. Его давно пора судить и спровадить в дисциплинарный батальон, куда ему и дорога, а не держать в образцовом полку. Я считал, что мы сумеем перевоспитать разгильдяя. Во всяком случае, привести в чувство. Но некоторые офицеры мне мешают. Лейтенант Курчев, я, ей-богу, не понимаю вашей слабости к ефрейтору Гордееву. Это пахнет порочными наклонностями, — сказал Ращупкин в надежде, что Курчев бурно запротестует и разговор примет иное направление. Но Курчев не поддержал темы.

— Товарищ подполковник, повторяю, в полку произошло групповое избиение.

— Групповым бывает только изнасилование,— снова попытался перевести разговор в шутку Ращупкин.

— Хорошо. Не групповое, а массовое. Четверо солдат и сержант не подчинились приказу дежурного по части и бросились наутек... Мне пришлось остановить их выстрелом в воздух. Учтите, я плохо вижу и не разглядел солдат. Мог ли я предположить, что в нашем образцовом полку солдаты не подчинятся дежурному офицеру? На моем месте каждый бы выстрелил. Ведь это могли быть переодетые американцы...

— Бросьте демагогию, Курчев. Я вам не Колпиков и образован не хуже вашего. Никто не виноват, что вам однажды вздумалось стать кадровым офицером, а потом расхотелось. Вам известно, что я не возражал против вашей демобилизации. К сожалению, я не министр обороны. К сожалению. Моему. И к вашему счастью. Потому что теперь я считаю необходимым оставить вас в полку. Вы что думаете, если собрались отсюда бежать, так можете тут свинячить? Нет. Полк — это родной дом для солдат и офицеров, в особенности для офицеров. Вы нагадите, а нам потом дышать! Дудки, товарищ Курчев. Отныне будете все драить, пока не станет чисто. Люди стараются, а вы что? Расписались в денежной ведомости и айда в столицу?! Нет, не выйдет. Будете торчать в казарме от подъема до отбоя. Получите взвод, чтобы у вас ни минуты свободного времени не оставалось. Поработаете с сержантом Хрустальевым. Кое-чему у него поучитесь.

— Сознательной дисциплине?

— Да, сознательной дисциплине. И пожалуйста, без ехидства,— рассердился Ращупкин.— Именно сознательной — когда знаешь, что во имя чего.

— И все средства хороши?..

— Бросьте, Курчев. Я уже просил вас оставить демагогию.

— Хорошо. А как быть, товарищ подполковник, с мордобоем, у нас ведь не николаевская армия. Марксизм отрицает зуботычины.

- — Марксизм не догма...— обрадовался Ращупкин своей находчивости.

— Знаю,— сказал Курчев.— А руководство к действию. Но вряд ли вы убедите меня, что сержант Хрустальев руководствовался основами марксизма, когда пускал кровь ефрейтору Гордееву. Увы, сержант руководствовался всего лишь самодельной теорией так называемой «сознательной дисциплины». Не знаю, кто ее выдумал. Схожая теория бытует в воровских шайках. Иногда еще ее называют круговой порукой. И не место ей в Советской Армии, а тем более в образцовом полку.

Если бы не жар, Курчев бы наверняка постыдился такой тирады. Но сейчас и Ращупкин за письменным столом, и портрет Сталина над его головой — все плыло перед глазами и казалось нереальным. И даже угроза Ращупкина дать взвод не пугала.

Подполковник по-прежнему был красив и подтянут. Это был все тот же Ращупкин, с которым Курчев два месяца назад беседовал под этим же портретом.

А чуть раньше Курчев, построив полк четырехугольником, звонко рапортовал Ращупкину:

— Товарищ подполковник! Ра-ра-ра полк по вашему приказанию построен.

И Ращупкин, войдя в середину торжественного четырехугольника, произнес громовым голосом, каким он рапортовал корпусному командиру:

— Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Свершился справедливый суд. Расстрелян враг народа Берия. Этот подлый интриган замышлял в нашей стране реставрацию капитализма, убийство наших руководителей и в первую очередь нашего дорогого и любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Силен заливать, подумал тогда Борис, стоя в трех метрах от подполковника.

Но вечером того же дня, когда Курчев сдал дежурство, Ращупкин предложил ему задержаться и, когда они, по обыкновению, начали разговаривать о жизни, указал пальцем на портрет за спиной:

— Не все с ним просто. Большие ошибки совершал. Да и кто у нас не ошибается?

Впрочем, Борис и без Ращупкина знал, что правда никогда не ходит в одиночку. Правд много. Есть такая, что годится для лейтенанта с головой — она тычет пальцем и подмигивает. А есть другая — для солдат и сержантов — и эта объявляет, что Берия хотел убить дорогого и любимого вождя.

Но сейчас Ращупкин о Сталине не вспоминал.

— Вот так-то,— сказал он.— Примите второй огневой взвод. И шкафы в бункере тоже останутся за вами. Поташите ляжку. Знаете, на хитрую... кое-что с винтом. Так дела не делают. Был тут уже один холодный философ. Новосельнов ваш. Кальсонами думал меня взять. Но он все ж таки не полный кретин. Понял, что этим ничего не добьется. Фронтовик фронтовика всегда поймет. А вы, Курчев, хоть и гусь, да ошипанный. С вами скучно. Примите взвод, а там поглядим.

— Слушаюсь,— Курчев тяжело поднялся.— Разрешите, однако, подать рапорт об избиении почтальона.

Ращупкин не ответил. Он знал, что Курчев ничего подавать не станет.

Хватаясь за стенки, Борис еле добрался до крыльца, хлебнул свежего морозного воздуха и потащился в санчасть. Медицинский лейтенант был на месте. Он сунул Борису градусник, тут же вынул его и уныло качнул головой:

— Поздравляю. Тридцать девять и девять.

Часть вторая

ГОРОД И ПОЛК

Караульщик Бороздыка

Инга Рысакова по аспирантской свободе могла вставать когда угодно, но неизменно поднималась в семь, словно все еще была студенткой. Отец ее Антон Николаевич, скромный преподаватель начертательной геометрии, любил завтракать в кругу семьи. Потом все расходилось до вечера, дома оставалась одна Ингина бабка Вава (незамужняя тетка отца).

По утрам семья пила кофе; его покупали в зернах и мололи на домашней кофемолке. Отец, по-стариковски словоохотливый, разглагольствовал:

— И почему это древние называли вино напитком богов?! Ошибались греки. Напиток богов — это конечно же кофе. Правда, дочка?

— Угу,— кивала Инга. Она любила отца и не раздражалась на его болтовню.

Это была тихая беспартийная семья, чудом сохранившаяся в перипетиях войн и социальных катаклизмов. Когда-то, точнее 1 марта 81 года, двоюродный брат бабки Вавы в незрелом возрасте швырнул бомбу в царские сани, и память об этом настолько отвратила семью от каких бы то ни было общественных порывов, что даже поступление семнадцатилетней Инги на филфак они восприняли чуть ли не как революционный заговор.

— Наука! Только одна наука. В крайнем случае, музыка,— восклицал отец за полгода до постановления ЦК «Об опере «Великая дружба». Но, на беду, у Инги решительно не было способностей ни к музыке, ни к точным предметам.

— Что ж, я это предвидел,— шептал жене Антон Николаевич, когда год назад Инга нежданно-негаданно вышла за человека десятью годами ее старше. И это по паспорту. А с виду Георгию Ильичу можно было дать все сорок.— Я предвидел, предвидел...— повторял Антон Николаевич, хотя в 47 году филфак университета казался ему не вертепом разврата, а лишь кузницей революции.

— Успокойся, Тошка. Все обойдется,— успокаивала его жена.

— Так я и знал, так я и знал! — переходил на шепот Антон Николаевич, чтобы не услышала в соседней комнате дочь. Ей он из деликатности ничего не говорил. Лишь нежно поздравил с законным браком и несказанно обрадовался, когда через несколько месяцев Инга вернулась домой.

Держалась Инга молодцом. Развод не был оформлен, незадачливый Георгий Ильич иногда звонил, впрочем, звонили и другие мужчины. Инга не грустила и много работала. Антон Николаевич был счастлив.

— Ты права, все обошлось,— шептал он ночью жене.— Что ни говори, хорошая кровь и хорошее воспитание не могут не сказаться. Но я бы поторопился с оформлением этого неприятного документа...

— Успеется, Тошка,— успокаивала его жена.

В год великого перелома, когда в Москве вдруг стали исчезать продукты и интеллигенты, когда и без того зябковатая жизнь беззащитных служащих стала вовсе сирой и неуютной, в тот год они с женой нашли друг друга и стали друг для друга прибежищем, пристанью, опорой, выходом из отчаянья и источником силы. Татьяне Федоровне было тогда уже под сорок, и знакомый врач, чрезвычайно интеллигентный человек (он повесился в прошлом году во время дела врачей), посоветовал им не заводить детей. Но она не послушалась его и родила Ингу. Теперь Татьяне Федоровне было за шестьдесят. Она хотя и прихварывала, продолжала преподавать в музыкальной школе, но от частных уроков уже отказывалась.

— С разводом успеется,— шептала она мужу.— Так девочка с нами... А разведется, глядишь, опять с кем-нибудь расписется...

— Ты, как всегда, права,— соглашался Антон Николаевич.

В семье был чуть ли не суеверный страх перед всякого рода документами, гербовыми печатями и прочим. Получение любой справки, даже из домоуправления, сопровождалось отчаянными муками, долгими сборами, волнениями и оканчивалось каплями Зеленина. Словом, это была семья, уцелевшая лишь благодаря своей незаметности и взаимной поддержке. В одиночку никто из Рысаковых не выстоял бы.

«Родить им, что ли, внука? — подумывала Инга, глядя на милых и жалких старичков.— Вот развяжусь с аспирантурой и подсуну им вместо себя ребятенка».

Впрочем, ее тяготила не их опека, а их деликатность.

— Что это ты ночью читаешь? Закончила главу? — спросила старуха Вава, когда Инга, умытая и причесанная, в юбке и вязаной кофте, вошла в родительскую комнату.

— Если бы...— вздохнула Инга, понимая, что нельзя лишать старичков информации — ведь у них слух постоянно напряжен, как у охотничьих собак.— Да нет, чужой реферат. О месте последней личности...

— ...в истории? — подхватил Антон Николаевич.— Что-нибудь плехановское?..

— Нет, это о другом,— сказала Инга.— Так. Взгляд в нечто... Один захолустный офицер...

— Не люблю военных,— фыркнула Вава.

— Не скажите, среди них случаются любопытные экземпляры,— возразил отец.

— Этот любопытный,— кивнула Инга, прихлебывая кофе.

А что, если взять и выйти замуж в какой-нибудь секретный полк? Они захотят приехать, а им пропуска не дадут,— подумала Инга.

— Не расплескай кофе,— сказала Вава.— Ты сегодня, я вижу, в отличном настроении.

— Она всегда в отличном настроении, правда, девочка? — Татьяна Федоровна погладила дочь по голове.

— Всегда и везде, маман. Все у меня прекрасно и удивительно. Лет до ста и так далее — равнение на ма тант. Сегодня кофе само совершенство! — улыбнулась она отцу.— Папа, чего они от меня хотят?

— Уймись, женщины,— вступился за нее отец.— Как, Ингуша, эта работа в пределах досягаемости?

— Да. Целых два экземпляра. Но это не по моей теме. К Бекки Шарп отношения не имеет.— Зазвонил телефон, и она поднялась: — Скажите, что я уже ушла.

— Утром звонят по делу,— проворчала Вава и сняла трубку.— Ингу. Антонову? Пожалуйста.

— Что ж ты, Вава...— Инга покачала головой.— Да,— сказала в трубку.— Доброе утро, Алексей Васильевич. Да. Уже выхожу. Как всегда. В библиотеке. Как всегда.

Она положила трубку.

— Я же сказала: меня нет.

— Неприятный звонок? — насторожилась мать.

— Просто занудный,— солгала Инга.— Так, один доброхот. Предлагает написать за меня основополагающую часть тошнеловки.

— Это неприлично,— не удержалась Вава.— Каждый должен работать за себя. И потом, что у тебя за язык: тошнеловка, все эти суффиксы — овки, евки — никуда не годятся.

— Знаю, знаю,— как можно — «газировка» вместо газированной воды! — Инга почувствовала, что ее втягивают в

давнишний семейный спор.— Но великий и могучий должен все-таки развиваться.

— Но не за счет улицы,— отпарировала Вава.

— Дискуссия по вопросам языкознания переносится. Гуд лак! — Инга потерлась о плечо отца.

— К ужину тебя ждать? — спросила Вава.

— Ни в коем разе! Мне и так пора расставлять юбки.— Инга с притворным ужасом оттопырила пальцы около узких бедер.

— Надо меньше есть в ресторанах,— не растерялась Вава.

— Мам,— по-детски протянула Инга.— Ну, что она ко мне?..

— Не трогайте ее, Вава. Она не обжориска... Иди, девочка,— Татьяна Федоровна шутиливо, как в школьные времена, вытолкнула дочку из комнаты.— Не надо к ней привязываться. Она ведь умница,— сказала Татьяна Федоровна негромко, скорее себе, чем Ваве.

— Собственно, это и обнадеживает,— кивнул Антон Николаевич.

В вагоне метро Инга вспомнила о Кутафьей башне и заглянула в папку в надежде: вдруг письма там нет. Она понимала, лейтенанту позарез нужно, чтобы письмо попало в башню, и ей было стыдно, но уж очень не хотелось идти в Кремль. Ну, отдаст письмо днем позже — какая разница? Все равно у нас везде волынка. Письмо лежало в папке.

«Хорошо бы встретить какого-нибудь знакомого. Вдвоем не так страшно,— подумала Инга.— Вдруг он согласится отдать письмо. А у меня просто идиосинкразия к таким учреждениям».

Медленно поднимаясь из метро, она оглядывалась по сторонам. Читатель сплошным потоком тек по лестнице, торопясь к открытию зала, чтобы захватить места получше, а главное, не ждать на выдаче. Инга шла не спеша, и ее толкали со всех сторон. Один полужнакомый молодой человек из третьего научного, кивнув, проплыл мимо. Он, видимо, не прочь был приволокнуться за Ингой. Его можно было бы попросить. Он посмеялся бы над ней, но не отказался пойти в башню. Но поток проволок его мимо, а окликнуть его она не могла, потому что не знала, как его зовут.

Инга выбралась на улицу, но к Кремлю не пошла, а повернула в глубь библиотечного дворика. В зал еще не пускали, и хвост растянулся на весь дворик. Полужнакомый молодой человек стоял метрах в семи от конца очереди — он махнул

Инге рукой: мол, становитесь впереди меня. Но тут чуть впереди него Инга увидела своего приятеля Игоря Александровича Бороздыку, того самого, который ждал ее вчера в переулке. Игорь Александрович тоже махнул ей, и Инге пришлось стать впереди него.

Она была бесконечно благодарна Игорю Бороздыке: он помог ей пережить трудные для нее месяцы после разъезда с мужем. Но со временем он стал довольно назойлив — без конца звонил, ждал ее на всех углах, таскал на разные просмотры, а отказывать ему было трудно: уж очень он был обидчив. Однако взять его в Кутафью башню было неловко: несмотря на его рассеянность и близорукость, никогда нельзя было сказать, что он видел, а что нет, и было неясно — заметил ли он ее вчера на Домниковке с лейтенантом. А на конверте был четко напечатан адрес: город и в/ч такая-то... (В последний момент, вопреки Гришкиным наставлениям, Курчев решил сообщить адрес полностью, чтобы скорее получить ответ.)

«Бедный лейтенант. Но что я могу поделывать?» — подумала Инга. Тут двери открылись и гуманитарии ринулись к вешалке.

Игорь Александрович сел с ней рядом и мешал ей сосредоточиться. Он что-то черкал в небольшом иностранном блокноте, но видно было, что черкает он в основном для блезиру, а пришел сюда из-за Инги — в надежде вытащить ее на лестницу и приступить к выматывающим душу излияниям, в подтексте которых одно: выходите за меня замуж.

К тому же Инга была раздосадована своей робостью. Все-таки надо было с утра отнести письмо в башню. Ведь между двумя и тремя пополудни в библиотеку явится Алеша Сеничкин, и тогда ей и вовсе трудно будет туда вырваться.

Все это отчаянно мешало, и главу, которая и раньше не больно шла, сегодня как заклинило... Инга откладывала уже шестую страницу, а на каждой осталось не больше трех-четырёх фраз, да и те были зачеркнуты-перечеркнуты.

«Не мудри,— уговаривала она себя.— Как думаешь, так и пиши. Стил — это человек. И нечего мудрить над стилем. Строчи, и все! Ведь для чего-то ты села писать? Пиши, как лейтенант. Вон взял и настрочил сорок страниц... Хорошо ему: он ничего не понимает в теперешних требованиях, пишет, как на деревню дедушке... А писал бы для ученого совета, посмотрела бы я на него», — возражала она себе.

«В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистического капитала все более...» — вспомнился ей голос лейтенанта за дверью. Она узнала, откуда

эта фраза: Алеша Сеничкин подарил ей коллективный сборник со своей статьей, написав не на титуле, а в середине, рядом с заголовком статьи, по-английски: «Инге, строгой и красивой, на суд и расправу». Но статью он написал в соавторстве с еще одним философом, так что, над кем творить суд и расправу, было неясно.

Все так, и все же Алеша Сеничкин Инге нравился. Однако лейтенант в мятом кителе и огромных плохо начищенных сапогах стоял перед ней укором и мешал думать о Сеничкине. А может быть, ей не хотелось думать о Сеничкине из-за его вчерашней свары с лейтенантом, хотя на самом-то деле вовсе не из-за этого, а из-за его жены Марьяны.

Эта следовательница по особо важным преступлениям не то чтобы напугала Ингу, но такие приятные и легкие отношения с Алешей превратила в запутанные и нудные. Что и сказать, неглупый способ позвать домой соперницу. Даже честный: смотри, мол, сравнивай — я, жена, а ты — кто? — любовница. Но ведь Инга еще не любовница... Тьфу, будь оно неладно это слово!.. Марьяна самолично вытащила ее вчера из библиотеки, сказав: «Алексей Васильевич просил вас прийти». И все сразу стало абсолютно ясно, но от этой ясности на душе муторно.

И зачем, спрашивается, Алеша, обычно такой воспитанный, кричал на лейтенанта, как склочный сосед из-за показаний электросчетчика? А может быть, он кричал нарочно, чтобы тот испугался. В армии, вероятно, за такой реферат может здорово влететь, и Алеша просто тревожится за лейтенанта. И все-таки не надо было кричать. Ведь с ней, с Ингой, Алеша был мил и сдержан. А ведь прояви он настойчивость, и они бы уже были вместе, то есть не вместе, но близки... Заупрямься он, она бы ему отдалась, как писали в старинных романах, или переспала бы с ним, как говорят нынче.

Но он был так терпелив и нежен, словно хотел ей показать, что отношения с ней для него не эпизод, а нечто большее, и он не торопится, потому что впереди у них — вечность.

Что ж, она ему благодарна: ведь он мог воспользоваться трудным для нее временем после разрыва с мужем. Он с ее мужем был коротко знаком — и по работе (напечатал рецензию у мужа в журнале), и по сборищам, и не исключено, что и по холостым компаниям. Да они все друг с другом знакомы. И муж, и Алеша, и Игорь Бороздыка. Даже Марьяна Сеничкина тоже прошла через эту компанию, правда, в свои еще незамужние времена. Центром компании или, если хотите, круга, был Ингин бывший муж Георгий Ильич Крапивников, человек, казалось бы, незначительный, даже неостепененный и должность занимав-

ший вполне незаметную. Но именно он был главным в этом кружке и первым любовником всех посещавших кружок — он собирался в его квартире — женщин. Его даже окрестили «феодалом», намекая, что он присвоил себе право первой ночи.

Впрочем, не о муже речь. С мужем у нее все кончено... Муж несчастный, пусть и яркий, во всяком случае, способный человек, промотавший себя. Мужа можно лишь пожалеть... И Инга спокойно разговаривала с ним по телефону и в библиотеке. Даже согласилась встретиться с ним новый, 54 год, хотя разъехались они еще в сентябре. Как видно, очередной роман Георгия Ильича был на исходе, и он не нашел ничего лучшего, как пригласить Ингу.

Что ж, Инга не отказалась — ей было все равно. В конце концов, чем не достойное завершение злополучного года: сойтись в феврале, расписаться в марте, разъехаться в сентябре и поставить точку 31 декабря.

На этой встрече она была единственной ничейной женщиной — ни жена, ни знакомая, ни разбери-пойми. И все ухаживали за ней наперебой: и Бороздыка, и только что представленный ей Сеничкин, и все остальные мужчины. Там она и увидела впервые Марьяну, к которой отнеслась без всякого интереса, та же, напротив, приняла Ингу всерьез.

— Не идет? — Бороздыка оторвался от блокнота. Голос у него был красивый, не вязавшийся с его худым очкастым лицом и тонкими усишками.

— М-м-м...

— Найдите другой поворот. Скажем, напишите, что Теккерей завидовал Диккенсу.

— Но он действительно завидовал, — занятая своими мыслями, громко сказала Инга.

— Нельзя ли потише?! — буркнул старушечий голос.

— Выйдем, — шепнула Инга.

День все равно пропал. Бороздыка послушно поплелся за ней по широкому проходу. Хотя ему было за тридцать, ходил он, как мальчик, который подражает взрослой походке. Обычно это забавляло Ингу, но сейчас она постаралась перегнуть Игоря Александровича.

— Но вы же не напишете о том, что у него был комплекс неполноценности? — Бороздыка нагнал ее уже на выходе.

— Не в этом дело. Я просто не могу писать. Понимаете, не умею.

— Не говорите глупости, — сказал Бороздыка.

— Ничего не глупости. Я бездарь. Бездарь из интеллигентной семьи, оттого и потащилась в аспирантуру. Раньше шли в

сельские учительницы, в народницы, а я не могу без ватерклозета, вот и полезла в литературоведы.

— Экая чепуха. При вашем удивительном уме...

— Ладно. Дайте лучше сигарету.— Они остановились на лестничной клетке.— Как это вы томились полтора часа без курева? И зачем люди курят? Никогда не научусь.— Она закашлялась.

— Вам не идет курить,— сказал Бороздыка.— Но возможно, я не прав.

— Вы всегда правы. Только не преувеличивайте мои возможности. Я не идиотка, но вчера, например, я встретила женщину куда умнее себя. И мужчину — тоже. То есть он-то как раз глуп, но это глупость поверхностная. А по-настоящему он очень умен. Хотите прочесть его реферат?

— С удовольствием,— сказал Бороздыка потускневшим голосом.— Кто такой? Я о нем слышал?

— Нет. Это один технический лейтенант. Реферат его о месте последней личности в обществе. В обществе довольно абстрактном, и вообще там все на живую нитку... но очень любопытный. Я обещала ему, что вы прочтете.

— Ради вас я выкрою время,— заважничал польщенный Бороздыка.

Печатался он мало — изредка тиснет маленькую в две-три страницы рецензию. Поэтому просьба неведомого лейтенанта его вдохновила — ему и в голову не пришло, что лейтенант знать его не знает, что просьба исходит от Инги.

Бороздыку печатали вовсе не потому, что он писал хорошо. В редакциях ему заказывали, даже навязывали всякую мелкую работу, так как Бороздыка считался человеком нуждающимся. Его бросили две жены, причем у первой был от него ребенок (считалось, что Игорь Александрович его содержит, хотя жена давно отказалась от его мизерной и нерегулярной помощи), и сердобольные сотрудницы журналов старались обеспечить его рецензиями, чаще внутренними, не так уж плохо оплачиваемыми, и он мог бы жить вполне сносно, если бы не ленился.

На войну его не взяли из-за близорукости, и он окончил университет, а затем аспирантуру. Но дальше дело застопорилось. Едва он начинал читать где-нибудь курс, как его тут же увольняли, потому что читал он, несмотря на отличный голос и обширные сведения, из рук вон плохо, к лекциям не готовился и был не находчив. Студенты задавали ему вопросы на засыпку, он мешался, дерзил им и его увольняли. Он перешел на заочные факультеты, где народ попроще и стремится не к

знаниям, а к диплому. Зачеты он ставил охотно, на экзаменах неудов и троек никому не лепил, но не по доброте, а по безразличию и из боязни неприятностей. Неприятностей все равно избежать не удавалось, и он увольнялся отнюдь не по собственной инициативе. С каждым годом устраиваться становилось все трудней — все больше людей защищалось, им нужны были кандидатские ставки, и в конце концов Бороздыке пришлось переключиться на внештатную работу. Он мог бы подобно Крапивникову пойти в журнал, но не выносил дисциплины, пусть даже и нестрогой, а еще более ответственности, и потому пробавлялся мелкой работой, надеясь в свободное время написать нечто серьезное, как он говорил, для души и вечности.

— Где вы столкнулись с армией? — спросил он, старательно выпуская спиральку синего дыма.

— Была вчера в гостях у Сеничкиных. Технический лейтенант — кузен доцента.

— Радеют родному человечку? — усмехнулся Бороздыка. — Так, так...

Всякое упоминание о Сеничкине выводило его из себя. Он чувствовал, что между Ингой и доцентом что-то завязывается.

— Ничего подобного, — сердито сказала Инга. — Реферат совершенно непроходимый. Доцент учинил брату страшный разнос. Проходимую работу я бы не стала просить вас читать, — добавила она примирительно.

Игорь Александрович тут же взбодрился:

— Может быть, уйдем, вы устали?

— Нет. Надо работать. Ну, а вы как? Что-нибудь набросали?

— Что я? — вздохнул Бороздыка. — Я, Инга, другой. У меня тьма недостатков, зато я начисто лишен тщеславия. Одному на миллион есть что сказать, а все пишут, пишут из одного честолюбия. Гордыня-матушка... Я скорей извиню графомана: не ведает, что творит, и творит бескорыстно. Бескорыстно и безнадежно. А эти, даже говорить не хочется...

Это он об Алеше, подумала Инга.

— И потом, сами понимаете, что сейчас скажешь? Ведь за что ни возьмись, все нельзя!..

— А «Об искренности»?

— Но это же собрание баек! Мы ведь с вами говорили...

Они действительно говорили об этой статье. Два месяца назад Бороздыка звонком ни свет ни заря поднял Ингу с постели, кричал, что появилась потрясающая, великолепная статья, переворот в мыслях, новый катехизис. Теперь эту же статью он назвал собранием баек.

— Все перекрыто. В России всегда было так, — он вошел в раж. — Если что напечатать и удавалось, то только гению, с его безумной энергией. А просто образованному человеку никогда не удавалось пробиться. Вот я. Я не гений. Но у меня собственный путь. Я мечтал написать историю русской мысли. Начал бы я с Чаадаева. На Чаадаеве все сошлось. Ведь Чаадаев — это все равно что... — однако сравнения Игорь Александрович подыскать не смог. — Чаадаев — это все. В нем начало и конец русской идеи. Без Чаадаева нам никак нельзя.

— А без Теккерей? — спросила Инга.

Неделю назад, когда она плакалась ему, что ее диссертация никому не нужна, Бороздыка возбужденно доказывал ей, что без Теккерей Англия не Англия и даже Европа не Европа, что «Ярмарка тщеславия» — не просто книга и что вся наша жизнь это и есть ярмарка именно того самого тщеславия.

— Теккерей? — опомнился Игорь Александрович. — Что ж, Теккерей... — ему захотелось сказать какую-нибудь гадость о Теккерее, потому что вводную главу к Ингиной диссертации предложил написать Сеничкин. Месяца два назад Бороздыка сам вызвался набросать эту главу, но то ли не удосужился сесть за нее, то ли у него ничего не вышло; поэтому, когда за это дело взялся доцент, он даже обрадовался. Стряпню доцента он разругает в пух и прах, а там, глядишь, перелопатит ее так, что ни доцент ни Инга не узнают. Но теперь отношения Инги и Сеничкина вышли из-под контроля Игоря Александровича. Они часто встречались в каких-то отдаленных кафе или окраинных ресторанчиках, ездили на лыжах или просто бродили по зимним улицам — и похоже, Инга вообще могла не показать Бороздыке того, что накопает для нее доцент.

— Теккерей для Англии все равно что Чаадаев для России, — нашелся Игорь Александрович: он не оставлял надежды. В конце концов Сеничкин прощелыга, к тому же женат на работнице грозного ведомства. С такой шутки плохи. — Нисколько не меньше, чем Чаадаев, — важно добавил он.

— Спасибо. Вы меня утешили, — сказала Инга.

Они вернулись в зал. Но работа не двигалась. Только росла пачка измаранных страниц, и в конце концов Инга сдалась и стала рисовать на полях юбки и кофточки.

Быстрее, что ли, обед. Сдам книги и прямо из буфета отправлюсь в эту самую башню. Идти туда натошак не хотелось.

— Если б не эта неблагодарная поденщина, — сказал Игорь Александрович, когда они наконец засели в буфете, — я бы написал книгу. Именно книгу, а не статью, не рецензию. Книгу. Почти беллетристическую.

Он воодушевился и, неловко цепляя трехзубой вилкой пельмени, разливался, как перед выпивкой:

— О Булгарине. Да, да, о том самом Фаддее Булгарине. Пушкин был пристрастен. Мог ли он с его гармонией понять издателя «Северной пчелы»? Булгарин — это фигура для Достоевского. Это Свидригайлов, Лебезятников, Лебедев, кто хотите — но это чисто российский тип. Знаете — «широк русский человек, не мешало бы сузить»? Я все брошу. Сяду на хлеб и кашу, но напишу.

— Конечно! — Инга ободряюще кивнула.

Пусть его, только бы отвязался. Господи, какая тоска. Тут не то что главу писать, тут жить не захочешь. Нудит, нудит. До обеда у него Чаадаев главный человек, в обед — Булгарин. Позавчера звонил ночью, предлагал писать вместе: я — о Теккере, он — о Диккенсе... Ну хорошо, помог, ну, рыдала тебе в жилетку, ну, спасибо. Но ведь не вечно расплачиваться? Я же не собес. Гордится: не тщеславен, не карьерист, не пролаза. Так не тщеславен оттого, что тщеславиться нечем. Не карьерист оттого, что лентяй. А насчет пролазы — еще неясно... Прелезает, жалостью берет — и там, и здесь, и еще где-нибудь на свой хлебец с маслом и швейцарским сыром наскребывает. Тоска...

— Обязательно напишите, Игоруша, — сказала она. — Идите прямо домой, садитесь за работу. Тут я вас заражаю никчемностью. Ну зачем вам таскаться в библиотеки? Вы сами замените любое хранилище, и потом, у вас дома нету Вавы.

Бороздыка опасно поглядел: уж не шутит ли она.

— Идите, — повторила Инга. — Все равно мы с вами лишь мешаем друг другу. К тому же скоро сюда явится доцент Сеничкин.

— Ну что ж... — Бороздыка в раздражении встал.

— Я позвоню вам вечером — передам реферат, — сказала Инга. Она старалась избегать сцен.

— Как хотите.

— Не надо сердиться по пустякам, — сказала она холодно и почувствовала, что всего охотней сбежала бы сейчас домой и прикорнула бы на диванчике, и пусть Вава ворчит сколько влезет.

Но надо ждать Сеничкина. Если уйти, он начнет названивать ей домой, вызывать ее к метро или еще куда-нибудь. Впрочем, скорее всего они поедут на такси в какой-нибудь ка-

бак, и там Сеничкин станет изливать ей душу и клясть свою судьбу.

«А почему ты знаешь? — возразила себе. — Алеша обычно такой сдержанный. Сдержанный-сдержанный, а сейчас не сдержится. А тебе урок — нечего возжаться с женатыми мужчинами... А я не возжалась... А не возжалась, чего ж ты расстраиваешься?»

— Идите, Игоруша, — сказала она.

«И что я в ней нашел? — думал Бороздыка. — Обыкновенная ломака. Хватит! Мы и так потеряли лучшие годы. За работу! Даже лучшая девушка дать не может больше того, что она может. За работу! За работу!» «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис, женской лаской смущенный», — мурлыкал он, спускаясь к гардеробу. Жизнь была прекрасна.

Над лучшим созданием божьим
Изведал я силу презренья
Я палкой ударил ее. —

вдруг продекламировал он, и две девушки шарахнулись от него.

Чуть пританцовывая, Бороздыка прошел к вешалке и там увидел Сеничкина. Тот снимал полуспортивное пальто и пыжиковую шапку.

— Приткни куда-нибудь, отец, — сказал доцент гардеробщику. — Я ненадолго.

— Зачем же притыкать? Мы повесим, — ответил гардеробщик и почтительно принял пальто.

— Салют, Игорь Александрович! — обрадовался Сеничкин. — Что так рано?

— Дела, — хмуро ответил Бороздыка, протягивая одной рукой рубль и номерок гардеробщику, а другой, чтобы не отдавать ее доценту, пожимая сеничкинский рукав.

— Был у вас в конторе. Задвинули вы меня, милорд, — говорил доцент, не замечая холодности Бороздыки.

— В майском пойдет, — сказал польщенный Бороздыка.

В журнале он не работал, а лишь отвечал на самотек, но ему случалось и замещать заболевших или ушедших в отпуск сотрудниц, чем он немало гордился. Сеничкин же думал, что если человек сидит в редакции, стало быть, на что-то там влияет. Всегда занятому, удачливому доценту не приходило в голову, что можно изо дня в день торчать без дела в журнале.

— Май — это поздно! — вздохнул Сеничкин. — До мая столько всего переменится!

Он кривил душой: пятый номер его вполне устраивал — могли ведь перекинуть и на осень.

— Перемены идут наверху, они лишь для больших деревьев опасны. А не для кустарника...— пустил шпильку Бороздыка.— У вас, по-моему, что-то против мальтузианства,— добавил он, желая унизить соперника, Дескать, разве запомнишь всякую мелочь.

Но Сеничкин и подумать не мог, что Бороздыка к нему не расположен, и повернул разговор по-своему.

— Да, вы правы. Это всего лишь начало. Подступы к большой работе: личность на Западе. И Мальтус тут постольку-поскольку. Я его ведь даже не называл. Это вы в подтексте разглядели,— польстил он Бороздыке.

Как об стену горох, подумал Игорь Александрович, чувствуя, что ему не пробить толстокожее добродушие доцента.

Он похлопал себя по карманам и охнул: блокнота не было. Заглянул за гардеробную стойку: не уронил ли туда. Старичок гардеробщик брезгливо взглянул на мечущегося Бороздыку. Он встречал людей по одежке и провожал по ней же, и в Игоре Александровиче видел вечного студийоза, то есть самую презираемую фигуру. Судорожно сунутый для форсу рублишко ничего тут не менял.

— Потеряли что-нибудь? — спросил Сеничкин.

— Блокнот. Записи...

— Может, в зале оставили? — доцент стал стаскивать с Игоря Александровича старенькое пальто, но Бороздыка вцепился в обшлага, словно доцент был ночным грабителем.

— Нет-нет. Не люблю возвращаться.

— Ну, вам видней,— удивился Сеничкин и двинулся к лестнице.

«Все по Фрейду,— подумал Игорь Александрович.— Все по этому пархачу Зигмунду. Хотел вернуться и нарочно блокнот забыл. Жаль, записи стоящие...»

Но дольше разговаривать с доцентом да еще при Инге было выше его сил, и Бороздыка напялил ушанку и закрылся в телефонной будке.

Восторг освобождения от бесплодной влюбленности и жажда работы не покидали его, пока он набирал номер и слушал протяжные гудки.

«Ах, да ведь сейчас перерыв!» — сообразил он и поглядел на большие электрические часы напротив будки. До двух оставалось минут шесть, и Игорь Александрович позвонил в журнал.

— Серафима Львовна,— сказал он самым любезным голосом.— Нельзя ли Крапивникова? Спасибо... Юрка, ты? Ну, в общем у меня пошло. Я начал...

— Это ты, Игорь? Можешь не заходить. Верстки не будет.

— Я писать собрался,— обиделся Бороздыка, чувствуя, что вдохновение выходит из него, как воздух из прохудившейся камеры.— Буду писать о Булгарине.

— Извините,— послышалось в трубке. Видимо, у Крапивникова кто-то сидел.— О Фаддее? — в голосе послышался интерес.— Очень любопытно. И знаешь, весьма современно. Листа два можно будет пустить у нас. И у соседей приткнем... Много накарябал?

— План готов и структуру вижу.

— Жми без плана. Первая фраза есть? Прочти.

— Очередь собралась,— соврал Бороздыка. Минутная стрелка на вестибюльных часах уже торчала строго вверх, как на компасе.— Очередь,— повторил Игорь Александрович и для убедительности постучал пятиалтынным по стеклу. Но чувствуя, что приятель не верит, выпалил скороговоркой:

— Пушкин был не прав. Гении вообще ошибаются чаще обычных смертных.

— Чудесно, Ига. И вовсе на Виктора Борисовича не похоже,— в свою очередь соврал Крапивников.

— При чем тут Шкловский? Я его на дух не переносу,— обрадовался Бороздыка и дернул за рычаг, потому что второй фразы не придумал.

«К чему блокнот? — подумал он.— И к чему мне эти вымученные аспирантки, эти несчастные комнатные пальмы? «Настоящие женщины не поедут за нами...» — вспомнил он строчку одного хотя и не печатавшегося, но известного поэта, исчезнувшего в конце сороковых годов.

— Врешь... Настоящие поедут. А вот эти комнатные останутся в Москве,— бормотал Бороздыка, набирая номер.

— Поедут,— повторил уверенней, хотя никуда ехать не собирался, а всего лишь хотел написать книгу об агенте III отделения.— И Фрейд ни при чем: блокнот я оставил по рассеянности.

— У аппарата,— ответил женский голос.

— Хабибулину.

— Минуточку...

«В основе всего не Фрейд, не подсознательное, а ясное и четкое знание: вот не звонил же Зарке вчера, когда она брала ребенка»,— рассуждал Игорь Александрович, забыв, что вчера он мерз в Докучаевом переулке.

— Зарема? Как ты сегодня? — бодро спросил, услышав короткое «аллё». — Занят. Вчера был занят. В журнале горы работы. Сегодня? Сегодня могу. Верстки нет. Через полчаса буду. Целую.

Что ни говори, а жизнь прекрасна. Его ждет женщина, а завтра с утра — работа. Застегивая на ходу пальто, Игорь Александрович пересек внутренний дворик, повернул на улицу Калинина и в гастрономе Военторга купил большую бутылку нелюбимого им портвейна «777» и плоский торт «Сюрприз». Бутылка, от которой завтра будет болеть голова, никак не лезла в карман. Торт тоже неудобно было нести, и, подходя к стоянке такси, Бороздыка уже не испытывал восторга, а лишь злился на Ингу Рысакову.

Страсти по доценту

Вернувшись из столовой и обнаружив рядом с томиками Теккерей черный под кожу блокнот, Инга не подумала о фрейд-довской теории подсознательного, а стала покорно ждать Игоря Александровича.

«Ну и пусть... — решила она. — Увидит Алешу и сам отстанет, а то жизни от него нет. Сам ничего не делает и другим не дает. Были же у меня какие-то мысли. Даже самые простые мысли могут быть интересными. Вон тот офицер написал: «Пусть каждый скажет себе, где он свободен, а где зависим, в чем его свобода, а в чем скованность, причем пусть будет откровенен всюду — в большом и в ничтожном, — и честное слово, эти признания будут интересней самого великого романа».

Там как-то по-другому сказано, но это ведь не стихи. Сразу не запомнишь. Офицер — молодец. Но ведь и мне тоже что-то хотелось сказать о Теккерее, да и не только о Теккерее, а о нас: он ведь удивительно современный. Недаром Теккерей не слишком верил в порядочность, то есть в изначальную порядочность. Тощий Доббин — ведь всего лишь слабая тень диккенсовских чудаков. Люди часто порядочны, когда им выгодно, когда порядочными быть легче, чем подлецами. Вот Алеша Сеничкин порядочный человек, а как кричал вчера на офицера. Идеологию на помощь призвал, будто нельзя обойтись одной логикой. Ну, хорошо... Пусть брат чудаков и неуч. Но бескорыстие надо уважать. Пусть брат чурбан, — Инга вспомнила некрасивое, топорно сработанное лицо лейтенанта. — Тем более зачем кричать?.. Но скорее всего он хотел уберечь брата. Может быть, для военных крик понятней. Ведь армия, кажется, вся построена на командах...

У меня тоже были мысли, переключилась она на себя. И Теккерей я взяла не потому, что остальных викторианцев разобрала. А хотя бы потому, что живее Бекки Шарп женщины в

английской прозе тогда не было. И я не хотела бы с ней, живой, встретиться на улице или в гостях. Как, например, вчера.

И тут Инга увидела подходившего к ее столу Сеничкина, все такого же стройного и изящного, хотя под его серым в мелкую клетку пиджаком был надет пуловер.

— Успешно работалось? — довольно громко спросил он, присаживаясь на место Бороздыки.

Злая старуха, три часа назад шикнувшая на Ингу, на этот раз тоже оторвалась от книги, но ничего не сказала.

— Средне, — ответила Инга и стала собирать в папку листы и блокнот Игоря Александровича. Вечером, решила, отдам ему вместе с рефератом.

— У меня тоже сегодня не клеится, — вздохнул Сеничкин, намекая, что никак не придет в себя после вчерашнего, хотя эта неприятная для Инги встреча с Марьяной и сближала их.

Инга его поняла. Но сегодня ей не хотелось, чтобы Сеничкин думал, будто она с полуслова понимает его.

— Мне сказали, что я бездарность.

Она шла рядом с Сеничкиным по ковровой дорожке.

— Это мой брутальный родич так распоясался? — спросил Сеничкин, открывая перед Ингой дверь.

— Нет. Родич у вас вполне милый. Зря вы на него напустились. Человек возлагал надежды на реферат. Для него ведь аспирантура это еще и избавление от муштры.

— Смеетесь? Какая там муштра? У него там сплошное безделье. Он сам в офицеры полез. По лени и бесхарактерности.

— И все равно у вас нет родственных чувств. Нет, не совсем, — улыбнулась она девушке на выдаче. — Я еще вернусь... Вам куда? — спросила она Сеничкина, когда они спустились в раздевалку.

— Я за вами зашел, — улыбнулся тот. Ему не хотелось ссориться, и он принимал Ингино раздражение как вполне понятное следствие вчерашней встречи с Марьяной. Сейчас они покинут библиотеку, оседлают где-нибудь столик, и все уладится.

— Мне надо в Кремль! — сказала Инга.

— Ого! — Сеничкин решил, что она шутит, но поскольку смысл шутки он не понял, то вновь заслонился все той же снисходительной улыбкой. — И долго там пробудете?

— Зависит не от меня.

— Я все равно подожду, — сказал Сеничкин, принимая у гардеробщика ее выворотку.

Солнце на минуту пробилось сквозь быстрые кучевые облака, и на внутреннем двореке стало веселей и просторней. Инга

едва сдерживала смех. Алеша и выглянувшее солнце как бы подталкивали ее к этой распроклятой башне, вернее даже не к башне, а к пристройке.

— Может, мне пойти с вами? — предложил Алеша, когда они пересекли Моховую улицу и подошли к Кремлю.

— Но вас ведь не просили...— Инга чувствовала, что ему тоже не по себе, будто они идут не в Кремль, а в другое учреждение совсем на другой площади.— Спуститесь в сквер. Я постараюсь не задержаться.

Она вошла в типичное бюро пропусков с окошечком, с сержантом внутренних войск и стоящими вдоль стены откидными, как в кинотеатре, стульями. На одном из них сидел странный человек в тулупчике, не то пьяный, не то душевнобольной.

— Тогда к Вячеславу Михайловичу,— ныл человек.

— Товарища Молотова тоже нет,— равнодушно ответил сержант.— Иди-ка, отец.

— Ну, тогда... к этому... к Микояну Анастасию Ивановичу...

— Нету, нету. Все заняты,— повторил сержант.— В окошко, девушка,— сказал он Инге, когда она достала из папки конверт.

Какие они вежливые, удивилась она и протянула конверт в окошечко.

— Хорошо, передадим,— сказал сидевший за окошком другой сержант.— У вас что-нибудь еще?

— Нет. Я не знаю,— смутилась Инга и повернулась к двери.

— Тогда к товарищу Первухину... С Первухиным собственноручно знаком,— не унимался душевнобольной.

Бедный, подумала Инга и как непойманная птица выпорхнула из кирпичной пристройки.

Доцент ждал ее внизу в сквере. С тротуара была видна только его голова в большой шикарной шапке. Инга спустилась к нему.

— Не приняли?

— Приняли. Все в порядке.

Солнце опять запуталось в тучах. Но груз с души был сброшен, и Инга улыбалась.

— Куда пойдем? — спросил Сенечкин.

— Все равно. А лучше погуляем по скверу.

Сенечкин огляделся, словно искал на снегу следы автомобильных шин: не может ли тут появиться на своем «козле» Марьяна.

— Знаете, я, как все мужчины, не умею любезничать стоя.

— Знаю. Читала в «Прощай, оружие!». Но вы не лейтенант Генри.

— А другой лейтенант, мой братец, разговаривал с вами на улице?

— Ваш брат хотел поймать такси, но удовлетворился подземкой. Впрочем, он повел меня в ресторан.

— Ну, и мы пойдем,— сказал Сеничкин, взял Ингу под руку и почувствовал себя уверенней.

— А жены не боитесь? — спросила Инга.

— Боюсь,— признался Алексей Васильевич.— Но когда с вами, не так страшно.

Инга промолчала. Искренность всегда ее обезоруживала.

— Это целая история,— печально вздохнул Алексей Васильевич, сжимая ее локоть.— Вы, конечно, подумаете, что каждый народ достоин своего правительства, а каждый муж — соответственно... что браки заключаются на небесах, ну и — ты этого хотел, Жорж Данден...

Алексей Васильевич ожидал, что Инга его перебьет, но она молчала. Они вышли из пустого Александровского сквера (сегодня во вновь открывшийся Мавзолей к двум вождям не пускали) и спустились на набережную. Инга слушала Сеничкина, не замечая холодного, бьющего в лицо ветра. Ей было стыдно, боязно и любопытно.

— Я не говорил, но вы и без слов поняли, что вы для меня значите...— сказал Сеничкин.

Они прошли под Малым Каменным мостом.

— Видите ли, я не робкого десятка, но с вами робею...

После вчерашней встречи трех держав (так Сеничкин мысленно назвал вчерашний вечер) он решил поговорить с Ингой начистоту. Он чувствовал, что перетончил и вот-вот проворонит ее.

— Вы особенная,— сказал Сеничкин.— Для меня особенная, поэтому я так неуверен... Но я такой не всегда. То есть я на самом деле такой, с вами я настоящий. Все остальное — форма. Раньше я держался на одной форме. Нас в МИМО на-таскивали... Но вы для меня — девятнадцатый век. У нас на кафедре были англичане. Прием, разговоры, тосты. Вы, говорили мне британцы, из другого теста. Вы не похожи на прежних советских людей. Наконец-то, восторгались они, в России появилась элита. Мы это приветствуем... Я с ними спорил. Какая у нас может быть элита? У нас всеобщее, равное и тайное образование, страна равнозначных возможностей. И вправду, какая я элита?

— Не скромничайте.

— Я ведь понимал, что гублю жизнь. Но раньше это мне не мешало. Раньше я не влюблялся. Не любил,— поправился он.— Знаете, дом, жена. Правда, дом не мой. Ну, и жена...— Он помолчал с минуту.— Иногда я чувствую, что все это происходит не со мной...

Он чувствовал, что лишь жалостью может снова расположить к себе Ингу.

— Элита... Смешно... Я как-то жил. Шел впереди других, и все само шло в руки. В двадцать два — диплом, в двадцать пять — кандидат, в двадцать семь — доцент... Можно продолжить список и в перспективе. Докторская. Профессура. Этапы большого пути. Но что это за путь, если все идет по накатанному?

— А чем это плохо? — сказала Инга. — Вы очень способный человек. У вас все отлично складывается.

— Нет, не все. И вы это знаете.

Ему хотелось сказать, что ее, Инги, у него еще нет — чтобы она его опровергла. Он и сам не смог бы объяснить толком, для чего она ему. Он ее хотел иначе, чем других женщин. Пусть сильнее, но как-то по-иному, более сложно, что ли. Ему казалось, что это его желание исчезнет не скоро: и он был даже не прочь жениться на Инге, несмотря на неприятности в семье и на кафедре, какие повлечет за собой развод с Марьяной. Он чувствовал, что влюблен, потому что ему хотелось делать что-то другое, необычное — и это чувство было для него внове. А то, что он делал ежедневно, свою обычную работу, — выполнять на порядок лучше. Вчера Борькин реферат оскорбил его еще и потому, что понравился Инге. Это совсем не походило на его страсть к Марьяне. С той он спал на второй день знакомства.

Инга вовсе не казалась бесплотной. Даже на пустой продутой ветром набережной он чувствовал через дубленный рукав ее руку, живую и тонкую. Он знал, что ей не безразличен. Инге, а не руке. Руке, наверное, тоже.

И все-таки он тянул с самого Нового года. «Женщина должна созреть. Что толку есть неспелые плоды?» — любил повторять Сеничкин, хотя сам не придерживался этого правила. Заведя тонкую игру с Ингой, он восторгался своей выдержкой. И вдруг в эту игру вмешалась Марьяна, и весь театр, как говорится накрылся. Все стало зыбким, лживым и неблагоприятным.

Он сжимал Ингину руку, желая отвлечься от вчерашних объятий с Марьяной в пустом коридоре. То, вчерашнее, было удивительно ярко, и остро, и ново из-за страха, что в коридор вылезет Надька. И в то же время пугало, потому что показывало: решимость жены не имеет пределов.

«Нет, с Марьяшкой не расплюешься», — подумал Сеничкин, и улыбка раздвинула его губы, которые вчера в полутьме коридора кусала жена, жадно сливаясь с ним, словно он был ей не муж, а новый любовник, а коридор был чужим подъездом.

— Да, Марьяна — личность, — сказал Сеничкин через полчаса в пустом светлом ресторане, обретая после двух рюмок холодной водки уверенность лектора. Правда, слушала его одна Инга, поэтому сеничкинский голос звучал не только внушительно, но и нежно. О вчерашнем коридоре упоминать не стоило, с тем большей охотой Сеничкин перешел к былым историям своей, как полагал он, многострадальной жизни.

— Понимаете, Инга, я не собирался закрепощаться. У нас все шло на курьерских, и, казалось, вот-вот расстанемся... Марьяна старше меня на год. Она, как говорит моя мать, росла на работе, а я еще только подбирал отмычки к Мальтусу и запарывал диссертацию. Вернее, не запарывал, но мог бы запороть. Зачем я это рассказываю? Вам, наверно, неинтересно?

— Наоборот.

Инга тоже выпила ледяной водки, и водка побарывала ее невыспанность, усталость и недовольство собой. Она радовалась, что ресторан пуст. Правда, было без малого четыре, и с минуты на минуту сюда могли повалить мимошники. Придется знакомиться, и назавтра прокурорша получит кучу информации. Но пока что ресторанный зал был пуст, так же, как парк за окном, по дорожкам которого скользили редкие конькобежцы.

«Хорошо здесь», — подумала Инга.

Несмотря ни на что, ей хотелось положить ладонь на рукав Сеничкину, а еще бы лучше прижаться к нему. И пусть приходят сюда любые мимошники, пусть станет тесно. Все начнут танцевать, и он ее крепко обнимет. Они танцевали только однажды — на Новый год в тесной крапивниковской квартире. Тогда Алеша был пьян и попытался ее прижать. Тогда это ей не понравилось. Но сейчас она этого хотела.

— Налейте еще, — сказала она.

Холодная водка распрямила, как утренний душ. «Не хмелеешь, а смелеешь, — подумала Инга. — Нет, до чего хорош — и как идет к нему эта длинная тонкая сигарета! Плевать мне на прокуроршу. И зачем он про нее рассказывает? Знать ее не хочу!»

Но Сеничкин продолжал:

— Вы, очевидно, догадываетесь, что все началось как обычный летний роман... Летний роман второй половины века. Летом в Москве пусто. Все на дачах. Лето 51 года... — Отдаваясь воспоминаниям, Сеничкин словно сам летел, как конькобежцы за окном, и в то же время крутился вокруг себя, как фигуристки на дальнем пяточке, целиком отдаваясь движению и почти забывая о сидевшей напротив Инге.

«Летний роман? Летний... А у нас — зимний. Ему некуда меня вести, вот мы шатаемся по кабакам и предаемся воспоминаниям...» — думала Инга, забывая, что до вчерашнего дня ее даже радовало, что Сеничкин не торопит события.

— Представляете, у меня было мало обязанностей и много свободы,— продолжал Сеничкин, доверительно склонив голову, словно делился некоей тайной. К киевской котлете он почти не притронулся: был равнодушен к еде.— Когда много свободы, с женьбой, естественно, не спешишь. Отец с матерью имели какие-то планы на меня, но планы у наших руководителей, как вам известно, вечно расходятся с реальностью...

Он стал говорить медленно и округло, как на лекциях, когда освещал щекотливые темы. В истории его женьбы все было не так просто. Светлана Филипченко, дочь переведенного в Москву крупного деятеля, которую сватали ему отец и мать, его ничуть не раздражала. Наоборот, все в ней было в допуске и весьма кстати. И сами стати (как шутя срифмовал подвыпивший Алеша), и то, что молодая,— значит, можно лепить из нее что хочешь, и то, что влюблена по уши — в рот будет глядеть, и то, что провинциальная — в столице отшлифуется, зато не будет навязывать свои порядки. И, чего уж скрывать, нравилось, что получит отдельную, свою квартиру — не придется спать в кабинете отца, куда никого не приведешь, заведет свой холодильник со своей водкой, бужениной, балыком, и каждого, кто ни придет, корми-пои до отвала. Сеничкин был щедр, в ресторанах всегда платил за всех; материнская, к счастью, не унаследованная им скарденность его прямо-таки бесила.

Сейчас все это он пытался объяснить Инге. Хотя что тут было объяснять, если вчера в министерском доме ей даже чаю не предложили. И если б не этот чудной лейтенант, пришлось бы ночью таскать, к неудовольствию Вавы, из кастрюли холодные тефтели.

Она со вниманием слушала Сеничкина, хотя чем дальше шел его рассказ, тем больше менялось ее представление о нем.

Так, скажем, приглядываешься к ужасно симпатичной ткани. ждешь не дождешься стипендии, навевываешься в комиссионку и радуешься: еще не продали. Лежит в сторонке, никем не замеченная. И вот наконец, не вытерпев, наодолжив денег, бежишь на Арбат и уже знаешь, что из нее сошьешь (платье десятки раз нарисовано на полях тетради, и туфли к нему есть), и вдруг вбегаешь в магазин, а ее продали. Правда, есть другая ткань, и тоже ничего. Но другая. Об этой не мечтала, к этой не приглядывалась, не рисовала на полях. Но деньги одолжены, делать нечего — берешь эту, другую, и всем говоришь, что она

та самая, замысленная, к которой неделю присматривалась.

Да, это был другой Сеничкин. Милый, симпатичный, но жалкий. А ведь тот, первый, был даже не продан, просто выдуман. И выдумку разоблачил вчерашний вечер с реальной женой, не той, новогодней, расфуфыренной, которую Инга почему-то не запомнила, а опасной в своей домашности Марьяной Сергеевны Сеничкиной, следователем, а не прокурором, как почему-то все ее называли.

Было жаль Сеничкина, у которого дома не все ладно не только с женой, но и вообще. И комната у него какая-то нежилая, и семья малопривлекательная. Лейтенант недаром попросил отнести письмо ее, постороннего человека. И партийной рекомендации лейтенанту тоже не дали, и он, бедняга, в сущности, из-за них четыре года мучается.

Типично чиновничья семья. Но ведь сам Алеша на чиновника не похож, а вот допустил же, чтобы его сватали, как чиновников в пьесах Островского.

— Понимаете, нечто кустодиевское,— разливался меж тем Сеничкин. Он уже рассказал про родительские планы с тонким, как ему казалось, английским юмором, без каких бы то ни было обид на предков. Это, дескать, ниже его достоинства. Это его-то при его элитарности они собирались сочетать с какой-то провинциальной девицей. Он уже забыл, что два года назад эта кустодиевская барышня не казалась ему смешной.

— Родители возлагали надежды на новый, 52 год. Они были званы туда...— Сеничкин возвел глаза к потолку.— Не на самый верх, но достаточно близко к верху. И предки воображаемой невесты — тоже... Так сказать, смотрины на высшем уровне. А наши смотрины, или негласная помолвка, намечались на даче этих нуворишей. Ритуал был разработан заранее. Наш ЗИС без дополнительных фонарей должен был доставить на их дачу мужчин, женщины прибывали туда на нуворишском ЗИСе с дополнительными фонарями. Я стоял за такси, но где его под Новый год раздобудешь? В общем, сплошной моветон. Насколько веселее было в этом году у Георгия Ильича.

— Не отвлекайтесь,— сказала Инга.

— Не буду,— засмеялся он.— Так вот, этот Новый год оказался моим днем «икс»... Ваше здоровье!

Сеничкин слегка захмелел. За окном темно. Над катком зажглись фонари, и музыка рыдала о журавлях уже над всем парком, а не только над катком для фигуристок, и отзванивала в ресторанных стеклах.

Сеничкину было жаль себя и хотелось эту жалость передать

Инге, поэтому он повествовал скорбно и несколько даже умиляясь своей скорбью. Он уже был приятно пьян и ему не хотелось задумываться, чего же он, собственно, хочет от Инги. Вообще-то давно пора было снять гарсоньерку. Теперь у него нет-нет да и мелькали неучитываемые Марьяной гонорары. Но до сих пор он как-то перебивался без «хазы» — одалживал ключи у холостых или полухолостых приятелей. Несколько раз его выручал Жорка Крапивников, человек отзывчивый на такого рода просьбы. Можно было бы обратиться к Жорке, но не оскорбится ли Инга? И достойно ли это джентльмена? Сеничкин верил, что у него к Инге возвышенная любовь, и ему хотелось, чтобы Инга для нее тоже созрела.

Вчера грубая Марьяна пыталась подорвать хрустальный дворец его мечты. И сейчас Сеничкин спешно заделывал следы Марьяниной диверсии, расписывая историю своего закабаления.

Сеничкинский ЗИС, отвезя родителей, должен был заехать на набережную за Киевским вокзалом, к одному школьному приятелю Алексея Васильевича. У того собралась мужская команда, она раздобыла магнитофон «Днепр-1», уникальную по тому времени игрушку. Филипченки ее еще не завели. У Сеничкиных она была, но Ольга Витальевна, как ни хотелось ей породниться с Филипченками, взять ее из дому не позволила.

Прикрыв глаза, чуть откинувшись в кресле, как на мягком сидении отцовского автомобиля, Сеничкин вспоминал свою, пусть незадавшуюся, но милую жизнь. Она была для него полна глубокого смысла, и он бы искренне удивился, узнав, что кому-то она может быть неинтересна.

— И вот уже одиннадцать, а машины нет как нет. Мимо летят с сумасшедшей скоростью такси. Мороз страшный. Клубы пара, как в Сандунах. Я в третий раз выбегаю на набережную. Четверть двенадцатого... Двадцать минут. Нервы взвинчены. К тому же дико неудобно перед ребятами. Команда в трансе. Того и гляди начнется бунт. Раздаются демобилизующие реплики: «Зачем нам эти кошки в мешке?» А дело в том, что, кроме меня, никто женской команды в глаза не видел. Вся изюминка была в том, чтобы встретить грядущий год в совершенно незнакомой компании, так сказать, «закрыв глаза, заре навстречу...» — процитировал Сеничкин один из афоризмов Георгия Ильича. Инга поморщилась, но, погруженный в воспоминания, Сеничкин ничего не заметил.

— Словом, бунт на борту обнаружив, хватаю магнитофон, и мы спускаемся со всеми бутылками на набережную. Жидкость обеспечивали мужчины, пищу — дамы. До Нового года остает-

ся четверть часа, а до треклятой дачи километров что-нибудь... затрудняюсь сказать сколько... Набережная пуста. Вся Москва садится за стол. Вино, коньяк и водка плещутся в бутылках. От магнитофона мерзнут руки. На землю не поставишь. Штучка отечественная и, сами догадываетесь, капризная. Ребята костерят чудесное начинание, а у меня в мозгу прокручивается кинолента. Так и вижу перед собой огороженную дачу и женщин за столом с закусками, без единой бутылки горячительного. Позор!

Наконец (каким чудом их сюда занесло?) летят две «Победы» с зелеными глазами, и мы, как Раймонды Дьен, чуть ли не ложимся поперек набережной: «Выручайте! Вся наличность ваша!» Ребята похрустывают сторублевками, как-то уламывают шефов...

Сеничкин все больше погружался в морозную, нервную бестолочь новогодней встречи. Водка была допита. Не прерывая рассказа, он поманил официанта и заказал бутылку сухого, мгновенно сосчитав, что одолженной на кафедре сотняги хватит за глаза.

— Представляете — длинное шоссе, асфальт заметает снегом, а адрес у меня весьма приблизительный.

Он отпил из фужера холодного вина, которое любил больше водки, и вновь увидел это узкое шоссе, почти пустое и в обычные дни, а в ту ночь настолько вымершее, что даже спросить дорогу не у кого. Таксисты начинали ворчать.

Наконец фары выхватили белую, залеplенную снегом фигуру рогатого лося — одну из вех — и Сеничкин понял, что они не сбились.

— Где-то здесь, — сказал он, как можно веселее, и километра через четыре начались дачи. Среди них надо было искать филиппченковскую.

— Сворачивай к любой! — решил Алексей Васильевич, и таксист, нервничая, врезался крылом в проходную будку.

— Мать твою!.. — в один голос крикнули пассажиры и выбежавший охранник. Голос у него был злобный и уже пьяный.

— Мать вашу! Куда претесь?

— Дачу Филипченко Андрея Фроловича, — крикнул Сеничкин.

— Давай назад. Чтоб духу вашего тут не было! — заорал охранник. — Тут живет... — и он назвал фамилию тогдашнего зампредсовмина, члена Политбюро.

— Ну вас к дьяволу, ребята, — сник шофер. — Бог с ними с деньгами. Воля дороже.

— Не бойся, вмятину оплатим,— успокаивал его Сеничкин. Они проехали еще шесть дач. Дальше начинался пустырь.

— Не поеду, сами идите,— заупрямился таксист.

— Володька, ну их к ерам! — крикнул водитель второй, еще целой «Победы».

— Все, ребята. Давайте гроши. Времени час без четверти. В гараж надо.

Уговоры не помогли. Пришлось отдать три сотенных, плюс еще одну за помятое крыло, и выбраться на мороз с бутылками в авоськах и тяжелой самоговорящей бандурой. Ручек на ней не было. Темнота стояла адская, мороз прибавил и ветер выл, как на набережной.

В крайней даче охранник оказался повежливей.

— Где-то там,— он махнул рукой через пустырь,— фамилию вроде такую слышал. Только вы бы, ребята, здесь не шатались. А то, сами знаете...— не стал он уточнять, но трезвая измученная компания и без того все понимала.

Сейчас в ресторане Сеничкин сдабривал рассказ юмором, но в ту ночь было не до шуток. Кто-то предложил пить прямо на пустыре, закусывая мануфактурой. Алеша оставил предводительские замашки, а только крепче прижимался к ненавистному магнитофону.

За пустырем что-то чернело. Видимо, там начинались другие дачи. Костеря мать, отчима и невесту, Сеничкин плелся через пустырь, загребая снег новыми импортными туфлями. Сзади кто-то откупорил бутылку. Сквозь вой ветра слышались бульканье и матерщина.

И вдруг в темноте вспыхнули фары, и раздался пронзительно-радостный, как крик колумбовского матроса «Земля!», оглушающий и задорный, как выхлоп пробки шампанского, голос:

— Алеша! Алешенька!

И пустырь стал землей обетованной, на которой стоял «козел», ГАЗ-63, и в распахнутой шубке летела навстречу Сеничкину следователь московской прокуратуры Марьяна Фирсанова. Оторвав руки от магнитофона, Алеша бросился к ней, как к судьбе, и обнял ее под беличьей шубкой, гордый и счастливый.

— Воссоединение фронтов! — крикнул кто-то.

— Прорыв ленинградской блокады,— добавил уже пьяноватый голос.

— Магнитофон побил, сукин кот,— ворчал владелец, но и его обрадовало явление Марьяны.

Каким чудом она разыскала дачу Филипченко, осталось ее профессиональной тайной.

— За мной, мальчики,— скомандовала Марьяна и, держась за руку сияющего Сеничкина, повела их через пустырь к новому поселку. «Газик» ехал впереди по проложенной им же колее.

— Счастливого года, Васенька,— крикнула Марьяна водителю, и, развернувшись, «газик» помчался в Москву.

— Пора, пора! Давно ждут...— весело приговаривал открывавший калитку охранник.

На филипченковской даче царило уныние, как после обыска. Казалось, что мальчиков тут не ждали, что, наоборот, их отсюда увели.

— Алеша? — Кустодиевская девица удивленно раскрыла глаза.

— Знакомьтесь, знакомьтесь,— пьянея от счастья, кричал Сеничкин, не выпуская Марьяниной руки.

Это был его триумф. Вся команда видела, как Марьяна, словно декабристка, нашла его в глуши. Кустодиевская моргала большими бараньими глазами, ничего не понимая. Но им было не до нее. Слышались крики:

— Ничего не потеряно!

— Лучше поздно, чем никогда!

— Ничего не поздно! Встречаем по Гринвичу!

— С Новым годом и знакомством! Ура!

Кто рассаживался, кто ел стоя. Царила неразбериха, и кустодиевской Светлане никак не удавалось проявить себя как хозяйке.

Уныние перешло в разгул, но в рамках. Магнитофон, он, по счастью, упал в сугроб — не повредился.

— Хью-хью-уй-ю! — по-английски орал он на всю дачу. Танцевали, не выпуская из рук бокалов и рюмок. Кто-то даже отплясывал с тарелкой. Владелец магнитофона танцевал с владелицей усадьбы. Но она не смотрела на галантного кавалера, а все искала глазами Алешеньку. Но его нигде не было.

Впрочем, обо всем, что происходило в гостиной, Сеничкин узнал позднее. Прихватив бутылку сухого, бутылку петровской водки и минимум закуски, он заперся вместе с Марьяной в просторной кладовой. Они расставили раскладную, предназначенную, очевидно, для нечиновных гостей койку, опорожнили бутылки и веселились до шести утра, а потом незаметно покинули усадьбу и, смеясь, добежали до электрички.

Нынче Сеничкин опускал в рассказе ненужные подробности, в основном упирая на свою благодарность и невозможность не ответить на такое сильное Марьянино чувство.

— Так что видите, Инга, это оказалось сильнее меня. Через две недели мы расписались.

Он, естественно, не обмолвился о скандале, который закатил ему отчим, почуявший нешуточную угрозу своему служебному положению. Мать, разумеется, тоже вышла из берегов и напомнила сыну, что Василий Митрофанович ему душу отдал, холил и лелеял его, неблагодарного пашенка, как родного сына. Тогда же его посвятили в некоторые детали биографии самой Ольги Витальевны и ее первого мужа. Алеша был напуган. Но новогодняя встреча сделала свое дело. Как ни была провинциальна Светлана Филипченко, но унижения при подругах простить Алеше она не могла, и Сеничкиным пришлось объяснить ее родителям, что Марьяна — это Алешина роковая страсть.

— Сама виновата! — сказал Алеша матери. — Зачем не прислала машины?!

И тут Ольга Витальевна призналась, что от волнения перед встречей с Филипченками и их высокими покровителями забыла послать шофера к Алешину приятелю. И вспомнила об этом лишь с последним ударом спасских часов, когда все подняли бокалы.

— Вот и вся история, — сказал Алексей Васильевич. — Она должна вам многое объяснить.

«Зачем он мне это рассказывает? Пугает?» — подумала Инга и посмотрела на свои маленькие квадратные часы. Было четверть седьмого.

— Теперь вы все обо мне знаете. Принимаете меня такого?

— Я не экзаменатор.

— Да, конечно. Но вопрос не стоит, принимать или не принимать.

— И тем более я не Маяковский.

— Бойтесь моей жены?

— Не вижу оснований.

Инга почувствовала, что опьянела. «И пусть», — решила она. Ей хотелось наругать ему так, чтобы никогда его больше не видеть.

— Инга, что с вами? — наконец оторвался от своих воспоминаний Сеничкин. — Сейчас пойдем, — сказал он. — Минуточку. — Он махнул официанту. — Всего одну минуту. Вот смотрите. — Он вынул вместе с бумажником свернутые вчетверо листки тонкой рисовой бумаги. — Я тут набросал соображения и цитаты.

— Спасибо, — выдавила Инга через душившие ее слезы.

«Господи, глядеть на него не могу! Это лицо. Эта прическа! Этот самовлюбленный голос. Господи, что за идиоты мужчины?! Один — труженик секса, другой — нарцисс...» — думала Инга, пробегая глазами странички, исписанные аккуратным писарским почерком.

Сеничкин расплатился, осторожно подхватил Ингу под острый локоть, вывел в гардероб, подал ей выворотку и распахнул двери в парк. Им в лицо вместе с морозным ветром дохнула музыка.

«Он думает, что я вдребадан,— решила Инга.— Ну и пусть».

В парке ей стало легче. Мимо пронеслись по двое, по трое конькобежцы, беззаботные и счастливые: сквозь рыдание журавлей (крутили все ту же пластинку!) слышался их молодой, животный гогот.

Инга и Сеничкин остановились в трех шагах от беговой дорожки. Конькобежная карусель все убыстряла бег. «Журавли» сменились другой, медленной «Я иду не по нашей земле», но конькобежцы все летели, не в такт музыке закидывая ноги, догоняя ребята — девушек, девушки — ребят, и смеялись все звончей и безнаказанней.

Неожиданно откуда ни возьмись на пяточке против ресторана закрутились подростки, стали сбивать пролетающих мимо девчонку. Девчонки опасно замедляли бег, жались к обочине или прыгали в сугробы, отделявшие каток от парка. Некоторые, сжимая кулаки, смело летели на подростков. Одна решительная девица, выставив левый конек, полоснула им по ноге растерявшегося паренька, а сама, наддав, помчалась к набережной, где было светлее, побольше народу и где медленно и важно катались по кругу в синих шинелях ставшие удивительно высокими от коньков милиционеры.

— Хотите на лед? — спросил Сеничкин.

Инга мотнула головой, но потом решила поскорей проститься с Сеничкиным, сказала:

— Вы покатайтесь. А мне пора.

Хотя незадачливый паренек все еще сидел в сугробе и, засучив штанину, всхлипывая, тер ногу, остальная шайка по-прежнему резвилась на ледяной аллее, задевала девиц. Накрашенная женщина в красной (безусловно, импортной!) куртке, разогнавшись, летела к ним. Ее глаза были сошурены, но не от страха (на коньках она держалась уверенно), а от близорукости; когда она пролетала мимо Инги и Сеничкина, ей подставили подножку, и она грохнулась на лед под гогот парней.

— Пойдемте!..— Сеничкин схватил Ингу за локоть; она подумала, что Алеша хочет поскорее уйти, потому что глядеть,

как бунят мальчишки и не вмешиваться, неудобно... Но тут женщина в красной куртке поднялась и, прихрамывая, подошла к сугробу, потерла снегом щеку, несколько раз присела, прищурившись поглядела на Сеничкина и вдруг крикнула:

— Алеша! Алексей Васильевич!

Он опустил Ингин локоть, подошел к женщине:

— Ушиблись?

— Сослепу,— засмеялась женщина, голос у нее оказался резкий, прокуренный.— Я Марьяну жду, а вовсе не вас. Или вы теперь за ней следите?

— Почему теперь?..— удивился Сеничкин.— Я тут случайно.

— У нас с вашей благоверной свидание, но она вечно опаздывает.— Женщина отогнула рукав куртки, поглядела на часы.— Она у вас, Алешенька, кто спорит, красавица, но я не мужчина, чтобы столько ждать.

— Не волнуйтесь, придет.

— А я не волнуюсь. Я катаюсь,— хихикнула женщина.— Пусть теперь она померзнет, я сделаю еще кружок. Мы с ней назначили свидание у этой пивнушки.— Женщина махнула перчаткой на серое здание ресторана.— Хотите с нами?

— К сожалению, спешу.

— Тогда ауфвидерзеен,— крикнула женщина и, прыгнув на лед, тут же упала.

Пока Сеничкин помогал ей подняться, Инга ушла. Следовало бы, конечно, попрощаться, но Алеша не счел нужным их знакомить.

Женщина эта была Клара Шустова, бывшая преподавательница Академии Фрунзе, а последние два года переводчица на одном из строительных объектов в ГДР. Прошлым летом она ездила в компании с Сеничкиным и Курчевым на Кавказ, а еще раньше бывала с Марьяной Фирсановой у Крапивникова.

Но Инга этого не знала и, напрочь забыв об этой случайно встреченной женщине, поднялась на мост. Тут ветер гулял еще сильнее, чем на катке. Инга прикрыла лицо папкой и не заметила, как налетела на Марьяну Сеничкину.

— А я как раз думала о вас! — засмеялась Марьяна.— Иду и думаю: сейчас встречу Ингу.

«Выслеживает, что ли? — решила Инга.— Да нет. Она спешит на свидание с той женщиной...»

— У вас неприятности? — спросила Марьяна.

— Нет, просто голова болит.

— Хотите «тройчатку»? — Марьяна открыла сумку на длинном ремне.

— Нет, спасибо. Запить нечем...

Инга отстранилась из боязни, что прокурорша учует водочный запах.

— Жаль, что вы вчера так рано ушли, — болтала Марьяна. Ветер дул ей в спину. — Надеюсь, наш медведь доставил вас до дома. У вас ведь район тот еще — бывшая Сухаревка...

«Все знает...» — вздрогнула Инга, но ответила спокойно:

— Нет, у нас тихо. А родственник у вас очень милый. Доставил меня в полной сохранности.

— Борька неотесанный, но в общем, как поют, подходящий. Мой Алеша ему завидует.

«Мой Алеша, — мысленно передразнила Инга. — Ну, и держите его при себе...» Но вслух сказала:

— Странно. По-моему, вашему Алеше нечему завидовать — он всего достиг.

— Ну что вы! Как говорит ваш бывший муж, ему суждено умереть в президиуме. Так что его ждет большая дорога. Но все-таки занимается Алеша не наукой, а шкрабством. Знаете, президиум президиумом, а талант надежнее. Так что лейтенант обкачет Алешу.

— Вам виднее. Извините, я что-то совсем расклеиваюсь... — Инга махнула варежкой и заспешила к Крымской площади. Голова у нее действительно разболелась. В метрошном аптечном киоске она купила пачку анальгина. Тут же рядом продавались поздравительные открытки к 8 Марта. Инга купила одну, написала:

«Борис! — тут же сообразила, что впервые называет лейтенанта по имени. — Вашу просьбу выполнила. Очень трусила, но оказалось: это совсем просто. Перечла работу и еще раз Вам позавидовала. Подумайте, вдруг Париж стоит мессы и все такое... Хотелось бы, чтобы Вам повезло. Будете в городе — звоните. Инга».

Выйдя на «Комсомольской», она кинула открытку в почтовый ящик и позвонила из автомата Бороздыке. Трубку долго не снимали, потом старуха соседка прошамкала, что Игорь не возвращался.

— Передайте, пожалуйста, что его блокнот у Рысаковой.

— Не запомню, дочка.

— Постарайтесь, пожалуйста.

«Может быть, позвонить Юрке, попросить прочесть реферат? Нет, на сегодня хватит. День насмарку, голова раскалывается», — решила Инга и побрела домой.

Застигнутый переводчицей, Алексей Васильевич не на шутку струхнул и полез через сугроб. Нужно было отвести эту подвернувшую ногу дуреху в раздевалку. Он тащил ее за руку, она ехала за ним на коньках и хихикала, словно это не она, а он подвернул ногу.

— Что сердитесь, Алешенька? Что надулись?

— Крепче держитесь, не то грохнемся! — Сеничкин еле сдерживался, чтобы не взорваться. И что я раньше в ней находил? Хорошо подслеповатая: Ингу не заметила.

— У нас с Марьяшкой свидание, — болтала немка. — Ну и жена у вас, Алешенька! Загадочная личность. Вы ее недооцениваете! Я бы вас пригласила, Алешенька, но у нас сугубо дамский разговор.

— Спасибо. Я тороплюсь. Не падайте больше.

Он вышел из парной гардероба на лед, но двинулся не к Центральным воротам, а к памятному еще со студенческих лет выходу на Калужскую и позвонил Жорке Крапивникову. Тот сказал, что у него сидят два прелестных создания и горят желанием увидеть Сеничкина, предпочтительно с горячим. У Сеничкина оставалось рублей сорок. Он решил купить коньяку, но был только грузинский, в просторечии — клоповник, и Сеничкин взял сорокапятиградусный «Джин голландский» — знай наших! Уж, во всяком случае, лучше заурядной водяры — под нее закуска нужна, а закуски у Крапивникова никогда не водилось. На оставшийся червонец он доехал до Никитских ворот.

Новые приятельницы Крапивникова были не старые, но отнюдь не прелестные: большая, рыхлая, крашеная блондинка и менее броская худощавая брюнетка. И тем не менее их общество в содружестве с парой рюмок джина быстро поправило Сеничкину настроение. Все было как нельзя более прилично, никакого свального и даже просто греха. Лишь Крапивников, слегка захмелев, начал обольщать их на манер, который приберегал для дам попроще. Маленький, красноносый, лысый, он встал на колени перед рыхлой блондинкой и пугал ее, как малютка-удав огромную крольчиху:

— Бойтесь меня! Я океан! Я вздымаюсь, я захлестну вас!..

Сеничкин трясся от хохота, но блондинка впрямь пугалась. Ее невзрачная подруга раскраснелась и, похоже, ревновала.

Вскоре появились двое мужчин с закуской, водкой и не очень молодой, но привлекательной женщиной.

— А, товарищ прокурора!

— Привет товарищу прокурора!

— Салют прокурорскому товарищу! — пожимали они Сеничкину руку и при этом смеялись. Жорка Крапивников тоже смеялся. Смех их звучал издевательски, но Сеничкину и в голову не приходило, что он может быть смешон и что «товарищем прокурора» окрестил его Крапивников, имея в виду товарища прокурора из толстовского «Воскресенья», который, как известно, «был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».

— Марьяна — следовательно, — поправил Сеничкин.

— Какая разница... — Крапивников похлопал Сеничкина по плечу, и гости снова расхохотались.

Началась обычная в этой компании пьянка с чтением стихов, болтовней, приправленной анекдотами и взаимными подначками. Сеничкина несколько оттеснили, да он и не собирался занимать площадку. Завтра у него с утра были лекции, поэтому, улучив момент, он выпросил у худошавой дамы ее координаты и по-английски, не прощаясь, покинул крапивниковскую обитель.

Инга зря обиделась, думал он. Он ведь ничего от нее не утаил. А если она такая нечуткая, для нее же хуже. Но скорее всего, это просто дамские штучки — и она отойдет.

Родители уже спали, а из-под Надькиной двери выбивалась полоска света. Алексей Васильевич, вспомнив вчерашнее, улыбнулся и до прихода жены часа полтора плодотворно работал. У него от выпитого голова не раскалывалась. Человек он был на редкость здоровый.

Страсти по кентавру

Дело о стенгазете не стало ЧП. Смершевцы ничего не смогли (или не захотели) из него состряпать и спихнули его в политуправление корпуса, а там инструктора долго и нудно отчитывали подполковника Колпикова.

В полку прочитали строгий циркуляр о стенной печати, сержанта Хрусталева отстранили от должности редактора, а во взводах выпустили «боевые листки». Стенд, похищенный из стройбата, смершевцы увезли с собой, и, что они там с ним делали, никто не знал. По всей видимости, отклеили газетную фотографию — и все.

Капитана Зубихина, когда он опять появился в полку, на смех поднять побоялись; но всем стало ясно, что сыщик он хреновый, если даже чудило Курчев его обштопал. Курчеву же за сообразительность даже простили стрельбу в воздух, тем более что он валялся с сорокаградусной ангиной. Даже Ращупкин понял, что погорячился: ставить Курчева взводным было все равно что лепить из навоза бронебойный снаряд. Так что курчевская ангина пришлась как нельзя кстати. Посрамление Зубихина тоже радовало Ращупкина. Особист вообще много себе напозволял, но Ращупкин видел его насквозь и, как говорится, на два метра и глубже.

Толстый, ленивый особист поселился в корпусном городке, потому что дома там были получше. Машины ему по штату не полагалось, а числилось за ним ни много ни мало целых три полка. Ездить на попутных Зубихин не любил: потому в каждый свой наскок хотел переделать массу дел, которые сам же высасывал из пальца и вообще мечтал весь личный состав полка пристегнуть к своему ведомству.

Прошлую осень он пронюхал про пять кабанов и вообразил Бог весть что. Вот дурак: кто-кто, а Константин Романович Ращупкин не хапуга. Три кабана честь по чести он пустил в солдатский котел, а двух остальных велел заму по снабжению разделить между женатыми. Не все брали, кое-кто и отказывался. Майор Чашин, к примеру, не взял. Может, вспомнил, как в детстве, в школе русские мальчишки дразнили его свиным ухом. А может, не пожелал брать незаприходованное, пусть и парное мясо. И Ращупкин не взял. А Зубихин, кстати, покочевряжившись, увез без малого четверть туши, а уж донес он или не донес кому следует — кто ж его знает.

Другой раз Зубихин развил активность, когда разбился ЗИС-151. Тогда Константину Романовичу пришлось послать по гаражам личного шофера. Сережка Ишков был человек проверенный, он знал о комполка все не все, но такое, чего не знала сама командирша. А для прикрытия Ишкову придали лопуха Курчева — он, не вылезая из кабины, как всегда, читал «Войну и мир».

Зубихин хотел расколоть Ишкова, но тот валял ваньку, тарачил на него, как потом рассказывал Константину Романовичу, глаза, и особисту не обломилось. А к Курчеву он пристал, когда тот едва стоял на ногах — так упился в офицерской столовой.

— Пшел на легком катере, — ответил ему Курчев и, рухнув с крыльца, добавил:

— Отставить! Пшел к своему Лаврушке!.. Вольно.

Берию только что арестовали, и Зубихин молча утерся. На другой день Курчев ровно ничего не помнил, но Ращупкин тем не менее обо всем узнал.

Нет, Зубихину в этом полку не фартило, и, побарывая лень, капитан, желая сквитаться, чаще, чем в другие, заглядывал в эту якобы передовую, а на самом деле совершенно разложившуюся часть. Рыба гниет с головы, думал особист и продолжал по-тихому обкладывать Ращупкина. Что-то подполковник чересчур зачастил в Москву. Дружки в штабе или баба? Где дружки, там и баба, решил Зубихин, но дальше догадки дело не двинулось.

Капитан особого ведомства не ошибся: молодой подполковник действительно не на радость себе полюбил одну москвичку, женщину лихую, хоть и замужнюю.

— Что там с Курчевым? — спросил Ращупкин полкового врача, едва Курчев слег. — Может, филонит?

— Нет. Есть температура. Но симптомы себя не показали.

— Какие еще симптомы, если температура? — скривился подполковник. Он давно подозревал, что Музыченко сачок и тупица.

— Квартиру Колпикова, — сказал он в трубку. — Ирина Леонидовна? Вечер добрый. Не очень заняты? Просьба к вам. Консилиум надо устроить. Офицер занемог. Какая температура? — спросил он, прикрывая трубку.

— Тридцать девять и девять... Почти сорок.

— Ах, чтоб вас... — еле сдержался Ращупкин. — Сорок у него, Ирина Леонидовна. Боюсь — вдруг тиф. Где Курчев? — спросил он Музыченко.

— У себя, — потупился тот.

— Если можно, Ирина Леонидовна, пожалуйста, посмотрите его.

Ращупкин бросил трубку, полоснул взглядом Музыченко.

— Похоже на ангину, товарищ подполковник, — пробурчал Музыченко. В нем боролись обида и страх, и страх пересиливал.

— А если тиф?..

— Это ангина. Горло забито.

— При дифтерите тоже забито. Чем вы его лечите? Пенициллин у вас есть?

— Нет.

Музыченко боялся признаться, что не в ладах со шприцем — готовя себя к науке, он не одолел эту премудрость.

— Позвоните в корпус или поезжайте сами за пенициллином. И немедленно отправьте его в санчасть.

Мадам Колпикова, как ее называли между собой офицерские жены, тридцатилетняя гранд-дама, в прежней жизни — врач-терапевт, нашла у Курчева заурядную, хотя и в тяжелой форме ангину.

Курчев временами бредил, но лечиться в санчасть не захотел. Ближайшая к нему, бывшая Гришкина койка пустовала, и лейтенанта решили не трогать. Чтобы сбить температуру, мадам Колпикова колола его по три раза в день. Секачев и Морев острили, мол, дураку-историку нечего показать врачихе, кроме задницы. По беспроволочному телеграфу это тут же долетело до замполита, и он оскорбился. Но Ирина Леонидовна извелась без дела в закрытом полку, и, смешно сказать, курчевская ангина была для нее чуть ли не праздником. Да и взбадривали ее комплименты Ращупкина.

— Ваше здоровье, Ирина Леонидовна,— чокался он с ней первой в субботу, когда устраивали, так сказать, генеральную репетицию перед 23 февраля, вызывая ревность замполита и своей невероятно раздобревшей от двух беременностей командирши.— Нам бы такого врача. Давайте ее аттестуем, Иван Осипович!

— Спасибо, спасибо,— краснела большеглазая черноволосая врачиха.— Только ради Бога, не растревляйте меня, Константин Романович. Я ведь и поверить могу. Мне бы хоть вольнонаемной сестрой...

Среди офицерских жен она одна окончила медвуз. Другие были агрономши или учительницы, но работы здесь ни для кого не было. Все колдовали у печек.

— Да,— вздохнул подполковник.— Да, тяжкая ваша доля, дорогие мои подруги! — Он вытянулся во весь свой без малого двухметровый рост и растроганно сказал:

— Тяжкая, но завидная... Пью за вас всех и за тебя, Маша.— Он нагнулся, обнял свою семипудовую жену.— Нет ничего выше вашей жертвы. За вас всех! Спасибо, дорогие женщины! Ура!

Все со слезами на глазах потянулись чокаться друг с другом. Большеглазая врачиха плакала навзрыд. Ей нравился Ращупкин, но здесь, в полку, дальше тостов дело пойти не могло. Она догадывалась, что и сама ему мила, уж, во всяком случае, милее раскоряченной командирши, и плакала над своей неудавшейся судьбой, вовсе горестной после трех рюмок вермута. Она знала, что у полковых дам к ней душа не лежит, так же, как, правда, по другой причине, не в чести у офицеров ее муж, и нещадно его

тиранила. Он служил ей верно, как престарелый поклонник, заботился о ней, как отец: подметал квартиру, чистил картошку, топил плиту и нередко готовил обед. Его жизнь была беспросветным кошмаром. Даже ночью Ирина Леонидовна, стиснув зубы, долго не подпускала к себе Ивана Осиповича, пока гробовыми клятвами, самоунижением и лестью ему не удавалось преодолеть ее презрительное упрямство.

Но эта Ирина Леонидовна выходила Курчева. Впрочем, может быть, он и сам поднялся бы; ангина все-таки болезнь не смертельная и уже наверняка не бесконечная.

Удача никогда не бывает полной, наверно, оттого, что всегда приходит в неудачное время. Приняв в тридцать лет войсковую часть, Ращупкин гордился, но не ощущал себя счастливым. Ему нравилось шагать по поселку, где все при виде его длинной, ладной фигуры вытягивались, причем не для порядка или из подобострастья, а потому, что душа радовалась глядеть на такого молодого подтянутого офицера. К нему относились чуть ли не с любовью. Власть и вообще притягательна, а Константин Романович к тому же не кичился, не перегибал палки, был справедлив и вежлив.

Ему нравилось не только обходить поселок. Нравилось выйти за ворота, спуститься по бетонке до «овощехранилища», а потом подняться по той же бетонке вверх за огороженную пока еще территорию бывшего стройбата. Сейчас покосившийся забор портил общую недурную картину, но вскоре весь плацдарм отойдет к Ращупкину, и тогда он потолковее его использует. Но особенно любил Константин Романович, миновав стройбат, пройти по бетонке туда, где вскоре будет сосредоточена вся огневая мощь, настолько грозная, что мысли о ней почти пугали Ращупкина, зенитчика с двенадцатилетним стажем.

Долговязый, тощий, худошей Костик Ращупкин в юности не собирался в офицеры. Шестой ребенок в семье, поскребыш, он рос при школе, где его отец с конца нэпа служил завхозом. Городишко был хоть и областной, но не крупный. Школа стояла на окраине. Рядом был огород, и большая семья как-то перебивалась. Один за другим, не задерживаясь дальше седьмого класса, уходили на производство братья, да и сестры держались не многим дольше. Один Костик прилип к школьному двору, к учителям и к учебе. Уже почти вся стена вокруг портрета товарища Сталина была обклеена похвальными грамотами, и никто

не сомневался, что впереди у поскребыша столичный институт, и появится среди Ращупкиных первый образованный — инженер или там ученый, но на пороге десятого класса случилось непредвиденное. В тот 40 год, когда Костик стал десятиклассником, окраинную десятилетку отдали под авиационную спецшколу, и завхоз, оставшись при прежней должности, не отпустил от себя сына, хотя нормальная школа была всего в четырех кварталах. Так и не стал Костя Ращупкин студентом, зато остался жив. А ведь иначе — скорее всего сложил бы голову после первого курса в московском ополчении или просто в пехоте. Но в авиационном училище, куда он попал после спецшколы, Ращупкина забраковали (нашли какие-то шумы в сердце) и сплавил в зенитно-артиллерийское, где он проучился полгода, после чего сторожил небо приволжских городов, за что в конце войны, уже командиром батареи, не получив ни единой садины, награжден был орденом Красной Звезды.

За войну Константин Романович основательно подзабыл школьную премудрость, зато окреп и стал на редкость красивым парнем. Теперь никто не признал бы в нем худенького отличника с первой парты, который писал тайком стихи и разрисовывал стенгазеты. Капитан Ращупкин выжимал левой два пуда и лучше всех в полку крутил солнце. Весь женский состав (в полку во время войны в основном служили зенитчицы) обмирал по длиннономугому комбату, но у капитана еще не погасла мечта демобилизоваться, и победу он встретил неженатым.

Однако с демобилизацией ничего не вышло. Имей Ращупкин за плечами хоть курс института, его бы отпустили на гражданку, а офицеров с десятилеткой оставляли в армии. Жизнь в разрушенном городе, на Украине, куда полк передислоцировался с Волги, была не сахар. А тут еще и командир полка приревновал к молодому капитану свою жену. Запахло большими неприятностями, и Константин Романович с тоски и безнадёги стал захаживать к молодой агрономше в ближайший от батареи совхоз. Тут же у него родился первый сын, а через полтора года второй. Правда, в той же дивизии, хотя и в другом полку, освободилась должность комдива¹, и Ращупкины переехали в большой областной центр. Терять было нечего: Марья Александровна все равно не работала, а совхозные продукты после отмены карточек прежней ценности не имели.

Жить вчетвером на комдивское жалование было нелегко, а двигаться дальше Ращупкину без «поплавка» не светило, и Константин Романович под визг и рев младенцев засел за

¹ Командир дивизиона; то же, что в пехоте командир батальона.

учебники. Теперь стало ясно, что идти надо по командной линии, что в двадцать семь лет начинать осваивать технику поздно. Да и привык Ращупкин к командирской должности. Впрочем, и генерал, настоящий комдив (командир дивизии), оценивший Константина Романовича, посоветовал подавать в Академию Фрунзе, и Ращупкин попал туда с первого захода.

И все бы сложилось лучше не надо, если б не Москва, город, в котором Ращупкин раньше нигде, кроме вокзалов и Мавзолея, не бывал.

Константин Романович помнил, что Москва — столица мира, центр социализма и рабочего движения, город, где живет Сталин и похоронен Ленин. Знал, что Москва — твердыня мира, мост в будущее, форпост науки, в том числе военной, самой передовой науки побеждать. Но он никогда не думал, что Москва это еще и город молодых, красивых, хорошо одетых женщин.

Даже при сверхзагруженном академическом дне они попадались ему на каждом шагу, прежде всего, в скверике напротив академии, где он гулял с сыновьями. Там паслись девушки из двух медицинских, педагогического и института тонкой химической технологии. Это было молодое, невоенное племя. В нем чувствовалась некая тайна, волновавшая Ращупкина, привыкшего в основном к зенитчицам, которые вызывали у него лишь безгливость и жалость, потому что после каждого воздушного налета их исподнее приходилось сдавать в стирку. Правда, и среди зенитчиц попадались презанятные девчонки, но и в них ничего загадочного не было.

А эти студентки из четырех окрестных вузов волновали своей неразгаданностью, и майор Ращупкин, глядя на них, вновь чувствовал себя долговязым, тонкошеим школьником, с завистью следившим за дверью директорской квартиры, из-за которой когда-то до его ушей доносились обрывки непонятных и потому волновавших воображение разговоров.

Москва была городом женщин, а женщины влекли Ращупкина, и не только потому, что он был еще молод, здоров, пылок, а прежде всего неясностью, каким-то секретом; для себя он называл это интеллигентностью. Они его волновали так же, как директорская дверь, за которой шли удивительные и загадочные для завхозовского отпрыска споры. И хотя потом, когда Косте сравнялось пятнадцать, он сам поселился за этой дверью (директора и директоршу арестовали), все равно память о чем-то неясном, неразгаданном, недостижимом хоть под спудом, но жила в нем; и теперь в Москве освободилась из-под спуда.

Он был уже опытный офицер. Знал, что почем, и понимал, что интеллигентность связана с незащищенностью, с неким недостатком жизненных сил, волевого напора. И дело было вовсе не в том, что директора с женой арестовали. Арестовывали людей и более защищенных. Просто интеллигентность подразумевала невозможность целого ряда действий, необходимых для служебного благополучия.

Потому-то Ращупкину казалось, что женщины интеллигентнее, духовнее мужчин, бескорыстней, во всяком случае. И те девушки, что шептались в скверике, не глядя в толстые учебники, представлялись Константину Романовичу воплощением всего лучшего в этом раздираемом злобой мире.

Да и помимо студенток вокруг хватало женщин. Хватало их и в академии. Там была целая рота лаборанток, секретарш. Впрочем, лаборантки и секретарши немногим отличались от зенитчиц. Хотя они и носили цивильное, но отчаянно липли к неженатым, а кое-кто и к женатым слушателям. Зато на кафедре иностранных языков, почти сплошь состоявшей из женщин, встречались молодые преподавательницы поинтеллигентнее, и с одной из них, немкой Кларой Викторовной Шустовой, Ращупкин сдружился, а через нее проник в круг штатских молодых мужчин и женщин. С самой немкой у него ничего не вышло: Марья Александровна была начеку. В общежитии, которое отделяло от академии не более ста метров, не только все видели, но и слышали.

Ращупкин любил жену. Всего двумя годами старше, она была неглупая, надежная, распорядительная и служила верно и уважительно, как старшина-сверхсрочник. Но она у него уже была, а остальных женщин, из библиотек и вообще московских улиц — у него еще не было. Жена жила с ним с конца 45 года, ради него бросила работу, расплзлась, рожая ему сыновей, и постепенно опускалась нравственно и физически именно потому, что он поднимался и рос. Он ее любил из благодарности и еще потому, что она была ему нужна. Он тосковал по ней с третьего дня ее отъезда (она часто, хотя с большой неохотой, увозила сыновей на Украину к родителям). Но она у него была. Была, как Вчера, как в лучшем случае Сегодня, как в свое время батарея, дивизион, как сейчас полк, и не было в ней никакой мечты, ничего непознаваемого, высшего. Просто она была, всегда была, и даже понемногу становилась хуже, в чем Ращупкин сам себе не признавался. Она была реальная, а Константина Романовича тянуло к чему-то смутному, неопределенному. Она была своя, а его тянуло к чужому. Ему хотелось чего-то такого, чего нельзя вычитать в книге и вызубрить к экзамену, чего-то вне правил,

не в смысле крамольного политически, но такого, как писал Есенин, чтоб «мечтать по-мальчишески — в дым».

Преподавательница немецкого тоже не была загадочной, но зато он побывал с ней на нескольких сборищах у Крапивникова, где нагляделся на кандидатов наук, аспирантов, начинающих журналистов и литераторов, но ни с кем не сошелся, — наоборот, многих даже напугал. У него не было штатского костюма. Таких размеров не продавалось, а возиться с шитьем не хватало ни времени, ни денег. Но куда больше кителя этих штатских раздражала его четкая и непоколебимая уверенность в себе. Сказывалась давняя привычка повелевать людьми и отвечать за них. Еще не дослушав собеседника, он, сам того не желая, начинал его поучать. Штатские, привыкшие к легким, неуставным разговорам, посмеивались над ним.

Поэтому с тамошними мужчинами он не сошелся, за что себя очень ругал. Ведь у этих штатских было то, чего он покуда лишен, надо было слушать их и набираться ума. Но желание верховодить въелось так сильно, что он с порога начинал их перебивать; штатские замолкали или задирались, и он уходил ни с чем. Подвыпивший Бороздыка даже как-то сказал при Константине Романовиче уткнувшемуся в книгу юнцу:

— Учитесь, учитесь, молодой человек, кандидатом станете. А не доучитесь — офицером.

Анекдот был такой старый, что и убить за него мало. Но Ращупкин сдержался и даже сострил: дескать, в ходе третьей мировой войны доучимся... Но его острота никому не понравилась.

Зато с женщинами Константину Романовичу могло повезти. Несколько замужних или полужамужних дамочек были явно не прочь закрутить с ним легкий роман, но он, на свою беду, влюбился в подругу немки, лихую юристку Марьяну. Любовь была бесплодной и мучительной, какая бывает только у пятнадцатилетних подростков. Короткие встречи в метро, прогулки под дождем, объятия в чужих подъездах. У Марьяны не было своей квартиры, она жила у родных за городом. К тому же — это Ращупкин понимал и это больше всего тянуло его к ней — Марьяна Фирсанова его не любила, предпочитая ему другого ухажера, молодого занозистого аспиранта Сеничкина.

— Костенька, оставьте надежды, — смеялась Марьяна. — У вас положение хуже, чем у католика. Папа римский может еще и развести, а ваш министр — никогда! Так что вы ловите кайф и не терзайте себя.

Но кайфа-то как раз и не было.

«Я у нее на запасном пути», — злился Ращупкин и рад был

послать ее подальше, да не получилось. Все его мечты заземлились на этой задорной, несносной, жесткой, нежной, очаровательной, смелой и робкой, на словах безоглядной, но в последний миг выскальзывающей из его вовсе не слабых рук Марьяне.

— Я не голодающая женщина, — вдруг вспоминала она, поправляя прическу.

«Б... ты, вот ты кто», — думал он.

Но не в его характере было отступать на полдороге. Брак Марьяны с защитившимся аспирантом Ращупкина не отпугнул. Как ни странно, тут-то они и стали близки.

У немки Клары Викторовны умерла мать, и Клара Викторовна завербовалась в ГДР. Так сыскалась комната. Клара Викторовна сдала ее Марьяниной подруге, а та, в благодарность за комиссию, время от времени оставляла Марьяне ключ.

От этих дневных свиданий у Ращупкина, как у мальчишки, шла кругом голова, и он все больше запутывался.

— Лучше мужика, чем ты, не надо, — признавалась Марьяна. — Даже вполонину лучше — и то чересчур... Ведь калекой оставишь. Жену ведь изуродовал, а? — дразнила она Ращупкина, а он все ей прощал, надеясь, еще одна-другая встреча — и он освободится. Но свободы не было, наоборот, последняя свобода убывала, как вода из дырявой фляги.

Жена после отъезда немки поутихла, но по-прежнему была настороже. Девушки в Новодевичьем скверике все так же строили глазки. И когда он возвращался с дневного пересыпа, все встречные дамочки как будто понимающе улыбались, и он злился, отчего это ему досталась такая женщина, — именно ему, с которым удача спит и ест из одной тарелки...

Константину Романовичу не с кем было поделиться своей незадачей. На курсе его любили, но больше завидовали. К тому же в академии как раз прошло несколько аморалок. Так что бдительность постоянно повышалась. На пьянство, правда, глядели сквозь пальцы. Зато измена жене приравнивалась чуть ли не к потере бдительности. И хотя Ращупкин во время отлучек жены посещал компании, где женщины пили и не строили из себя недотрог, это не спасало его от Марьяны.

Несмотря на несчастную любовь, Константин Романович превосходно учился — при его способностях и собранности это было несложно, — кончил с отличием и правом выбора места службы. Он мог бы остаться при кафедре, но должность была неперспективной, и поэтому взял себе особый полк, новую, многообещающую войсковую единицу. Правда, в будущем предполагалось, что эти полки отдадут выпускникам инженерных академий. Но Ращупкин и сам не собирался тут засиживаться.

Кроме всего прочего он выбрал эту подмосковную часть, потому что ездить в штаб армии придется часто. И если подобрать молчаливого шофера, Марья Александровна ничего не узнает. Сергей Ишков оказался надежным парнем, но выбираться удавалось куда реже, чем хотелось, да и, выбравшись, не всегда дозвонишься в прокуратуру. Однако они с Марьяной встречались — за год с гаком таких встреч набралось ровно одиннадцать, и тут как раз в среду, в февральский день пехоты, Марьяна ему сказала, что все... Кларка вернулась из Германии. Встретаться негде. Да и, честно говоря, ей сейчас не до того...

Все это Марьяна говорила обиняками, видно, кто-то был в кабинете, а под конец бросила в трубку:

— Позвоните позже.

Но когда он позвонил позже, ему ответили, что Сеничкина уже ушла.

В штабе армии дело у него отняло десять минут. Он велел Ишкову дожидаться начфина, а в шестом часу подъехать к Академии Фрунзе. Ишков всегда стоял там, потому что Клара Викторовна жила неподалеку, сразу за клубом «Каучук».

Шофер с начфином подъехали к академии в четверть шестого, но Ращупкина не было. Они прождали его часа полтора. Без малого в семь он приехал на такси, жутко бухой — таким ни Ишков, ни начфин еще его не видели, — с двумя четвертинками в кармане и, презрев увещевания начфина, допил их по дороге.

Позорнее этого дня в жизни Ращупкина не было. Дважды позвонив в прокуратуру, он рассердился, пошел от штаба к трамвайной остановке и там, у ларька, принял свои первые двести грамм. Затем доехал на трамвае до людной улицы, где тихо выпил вторые двести. И тут он понял, что не удержится и позвонит Марьяне домой. Телефон ему когда-то дал ни о чем не догадавшийся Сеничкин. Впрочем, в то время он еще не был Марьяниным мужем. Накупив закусок и шесть четвертинок (приличней было бы взять коньяку, но хуже нет смешивать!), Константин Романович помчался на такси к клубу «Каучук». У Шустовой его развезло. Он пил, плакал и пересказывал немке в подробностях свой злосчастный роман. Немка удивлялась, сочувственно кивала, вежливо ахала, а когда Константин Романович рыдал, гладила его по голове, как маленького. Она была потрясена. Ну и Марьяна! Вот это личность! Всюду попевает!

Когда прошлым летом у нее затевался флирт с Алешей Сеничкиным, Марьяна чего только не предпринимала, чтобы по-

мешать ему. Даже взяла на Кавказ этого чудака-лейтенанта. Нет, непостижимая женщина!

Кларе Викторовне стало жаль себя, и этого очаровательного глупыша-подполковника, и весь мир. Она, хотя ей это было категорически запрещено, даже выпила с ним. Он пил, как лошадь или как кентавр, безутешный и несчастный.

Наконец, испугавшись, что подполковник, перебрав, останется у нее, Клара Викторовна тайком стащила со стола две чекушки и сунула ему в карман шинели. Но он ничего не заметил и продолжал пить, не закусывая.

Когда же часы пробили пять, Ращупкин, похоже, протрезвел, сорвал с вешалки шинель, но его качнуло, и он рухнул на тахту. Клара Викторовна все-таки уговорила его подняться, вывела на лестницу. Идти он не мог, ей пришлось тащить его вниз и сажать в такси. Таксист не хотел везти пьяного, и тогда Клара Викторовна села рядом с Ращупкиным, и они полтора часа колесили по городу.

У подполковника случилось выпадение памяти. Он забыл, куда ему следует ехать. Они помчались на окраину: Ращупкин, засыпая, повторял это название. Но когда они подъехали к войсковой части, он промычал:

— Нет, не то... На-азад...

Таксист начал злиться. Клара Викторовна клялась, что он не останется в накладе, но тут подполковник снова очнулся и скомандовал:

— В Академию Фрунзе.

— Куда вы в таком виде в академию? — чуть не рыдала Клара Викторовна.

— В академию... В академию. Все в порядке... Так точно...

— Назад,— вздохнула Клара Викторовна, и, когда такси промчалось вдоль фасада академии, подполковник очнулся:

— Вот она ждет меня...

На этом, собственно, эпопея и кончилась, но немка получила на свою загадочную подругу нешуточный компромат.

Личная жизнь не задалась у Клары Викторовны Шустовой. Прожив до двадцати шести лет в девицах, она неожиданно, уже в Германии, выскочила за юного, столь же неопытного техника-геодезиста Диму и прожила с ним полгода. У них, как и у всех советских за границей, были тряпки, казенная квартира с приемником и магнитофоном, но чего-то главного не вышло, и они тихо расстались. Техник вернулся в Москву, а следом за ним воротилась Клара Викторовна.

Деньги у нее пока были — за комнату, и еще часть зарплаты шла на сберкнижку в рублях. Поэтому, прежде чем вернуться на службу, Клара Викторовна хотела прооперировать щитовидную железу.

Именно в ней, в этой мерзкой щитовидке, она видела причину своих бед — неудачного замужества и еще менее удачных коротких романов, которые и романами-то назвать нельзя.

— С Димкой мы так ничего и не поняли, — призналась она на юге Курчеву.

Дело было августовской ночью. В распахнутое окно лезли большие абхазские звезды и кривая турецкая луна. Курчев и Клара Викторовна лежали на узкой койке и курили сигарету за сигаретой. Говорить им было не о чем, молчать — тоже. Они не подходили друг другу, но отпуск только начался, деваться некуда. Через стенку спали Сеничкины, и, похоже, у тех ночами не возникало проблем.

— С Димкой мы ничего не понимали, — повторила Клара Викторовна, — а с тобой все понятно. Это — не то, не то и не то... Ты нетерпелив, все время спешишь. Это вообще редко удается. Но когда удается, это чудесно. Это праздник тела...

«Именины сердца», — чуть не ляпнул Курчев, вспомнив Манилова. Но крыть было нечем. Рядом лежала женщина, и ей было плохо, хотя его тянуло к ней и днем, и каждую ночь. Но едва он к ней подступался, она нервничала, дергалась, и Курчеву хотелось сбегать к морю или далеко в горы. Нескольким раз он вылезал курить на крышу сарая, а однажды неосторожно заснул там, и утром под смех квартирантов Алешка стащил его оттуда за ноги.

Курчев ничего не понимал. Прежде у него с женщинами все было в порядке, хотя бы в норме.

«Может, вправду, уже не гожусь?» — думал он, лежа в солнцепек на крупной, вонзающейся в спину гальке. Он жалел Клару Викторовну. Если бы не спать вместе, они стали бы добрыми друзьями. А так, не высыпаясь, они мучились, ссорились.

Зоркая Марьяна давно догадалась, что у Кларки с лейтенантом не клеится и, перестав опасаться, что та умыкнет Алешку, шутливо задирала Курчева, прижималась к нему на пляже и в менее многолюдных местах, очевидно, в надежде расшевелить заскучавшего мужа.

Курчев воли себе не давал, а Алешка все хандрил. Курчев воли себе не давал, но это было непросто. Марьяна ему нравилась больше, чем Клара Викторовна. Она была красивой — это и слепой бы разглядел. Кожа у нее была чистая, да и

характер, несмотря ни на что, легкий. Наверное, спала с мужчинами без трагедий.

Борис и Клара Викторовна кое-как дотянули отпуск и с облегчением расстались. Она воротилась еще на полгода в ГДР, а он — к Ращупкину в полк.

В Германии, на объекте, работы уже сворачивались, преобладало чемоданное настроение. Все понимали, что на родине как следует не погуляешь и напоследок пошли вразнос. Клара Викторовна не так уж и любила «клюкнуть», но тоже поддалась всеобщему загулу, спьяну снизошла к одному сослуживцу, но тут же в нем разочаровалась. Затем в другой подвыпившей компании к ней прилип ее начальник, но «праздника тела» тоже не вышло. Может быть, его вообще не существовало, может быть, о нем насочиняли западные писатели, а всякие гуляющие личности, вроде Марьяны, им поверили.

— Ты пей меньше, а то глаза вылазить начали,— сказала Кларе Викторовне геодезистка, соседка по коттеджу.

— Глаза красные, очки менять надо,— вздохнула Клара Викторовна.— Уже минус восемь не годятся...

— Это базедка,— безапелляционно заявила геодезистка. «Всегда обрадует»,— рассердилась Клара Викторовна, но вслух сказала:

— От базедовой болезни глаза не краснеют.

— Кто спорит? Краснеют от выпивки, а вылезают от базедки.

И дня через два, не надеясь, что Клара Викторовна пойдет к врачу, геодезистка привела к ней своего ухажера из военного госпиталя. Тот намял Кларе Викторовне шею и сказал, что прощупаться прощупывается, но ручаться он не может: все-таки он хирург, а не эндокринолог. Надо ехать в Берлин.

Но Клара Викторовна, не желая посвящать окружающих в свои печали, не пожалев дефицитных марок, отправилась к местному эскулапу. Тот был строг и сух, видимо не любил русских. Он сказал, что нет никаких сомнений: базедова болезнь по всем признакам. Зря она ездила в августе на раскаленный юг; лечить уже поздно — надо резать.

Но из трусости Клара Викторовна тянула с операцией. Вчерашнее появление Кости Ращупкина несколько растормошило и развлекло ее в унылом ничегонеделанье.

Выскочив из пропахшего водочным перегаром такси, она, не снимая шубки, позвонила Марьяне.

— Ну надо, очень-очень,— лукаво пищала она в трубку.

У Марьяны кто-то был, и она разговаривала неохотно.

— Дело твое,— Клара Викторовна начала обижаться.— Только у меня потрясающие новостишки.

— Тогда давай завтра.

— Завтра я хотела наконец-то добраться до льда. После операции не покатаешься.

— Не ной, катайся себе на здоровье. Я тебя окликну.

И вот они сидели в кабаке возле катка. Потрясающие новостишки не смутили Марьяну.

— Ну и что? — скривилась она.— Думаешь, великая радость?

— Но он же потрясающий мужчина.

— Слизняк.

Ожидая бифштекса с луком, подруги пили сладкое вино. Сухое уже кончилось, а от коньяка Марьяна отказалась: привыкла платить за себя, а денег было в обрез.

— Не знаю... Грех жаловаться, но жизнь у меня собачья,— сказала Марьяна.— Сегодня опять убийство при попытке изнасилования. Демобилизованный солдат напился и полез, представляешь, к стрелочнице. Тетке сорок восемь. Сидела на путях кулема-кулемой, в платке и ватнике. Стала орать, так он ее ломом... Пахнет вышкой, особенно если пустят показательным...

— Ужас,— вздохнула Клара Викторовна, не зная, как вернуть разговор к Ращупкину.

Но Марьяна раскурила длинную сигарету и, словно угадав ее мысли, сказала:

— Боюсь, подполковник тоже меня пришьет. Плохо их в Вооруженных Силах обуздывают. Сам министр, говорят, большой селадон.

— Куда ему — он уже седенький, с бородкой,— улыбнулась Клара Викторовна.— Хотя моськой ничего.

— И Ращупкин ничего...— сказала Марьяна.— Вообще-то я зря... Он парень что надо. Только я устала от него.

Клара Викторовна замерла, ожидая исповеди, и Марьяна, помедлив и снова затянувшись, стала говорить без раздражения, что с ней теперь случалось не так уж часто.

— Не у тебя одной, Кларка, все шиворот-наперед и еще раз навыворот. Черта лысого потянуло меня на этот говенный юрфак. И денег тут — на три дня после получки, и работа — сплошь чужие слезы. Война была — не рассуждали. Четыре года — и в дамках. После войны преступлений, мол, будет навалом. Дело перспективное, расти сможешь. Насчет преступлений — не обманули, а все равно себе дороже...

— Но ведь растешь!..

— Хм... Расту?! Вон Борька, лейтенант без училища — и то гребет на полторы сотни больше. Что мне — взятки брать?

— Бери,— улыбнулась Клара Викторовна.

— После тебя,— отмахнулась Марьяна.— Свекровь, жадина, получку отбирает. Свекор пятнадцать тыщ, не считая пайка, приносит, и все равно с меня и Алешки за жратву и домрабу отстегивает. Кого-нибудь пригласишь — корми разговорами. Чаю для гостя — и то не выпросишь. Вчера Алешкина новая прибыла. Я ее из Ленинки сама за руку привела. Наврала, мол, Алешка зовет. Так даже не покормила. Представляешь, новый тип. Одета — не то, что мы с тобой — расфуфыр! — а ничего лишнего. В общем не простой орешек. Скромняга. Алешка ее закадрил на Новый год у Крапивникова.

— Того поля ягода?..

— Что — того поля?.. — рассердилась Марьяна.— Я тоже того поля?..

— Прости,— сказала Клара Викторовна.— Я не хотела... Честное слово, я уже забыла...

— Я тоже,— усмехнулась Марьяна.— Так вот она не того поля. С ней Жорочка даже расписался. Только — увы и ах! — брак — не психолечебница и Жорочку не вылечил. И через три месяца дал ей лысенький красавец от ворот...

— Бедная,— Клара Викторовна вздохнула и чокнулась с подругой.

— И тут мой ненаглядный супруг разлетелся. Представляешь, не обычный подзаход, а большое чувство, возвышенные антимионии. Думаю, по кабакам ее таскает. Гонорары приносит куцые.

— Жена всегда узнает последней,— хихикнула Клара Викторовна, умолчав, что час назад встретила Алешу Сеничкина возле ресторана.

— Это — смотря какая жена. Дура — та последней,— нахмурилась Марьяна и взяла у Клары Викторовны вторую сигарету.

— К вам можно посадить двух товарищей? — Над ними склонился официант. Все столики уже были заняты, в дверях толпились страждущие, а ресторанный зал стал дымным и тесным.

— Нельзя. Мы мужей ждем,— сказала Марьяна, не поворачивая головы.

Молодой официант что-то пробурчал себе под нос.

— Стажироваться стажируйся, а хамить не хами,— добавила Марьяна достаточно громко.

— Здесь? — Клара Викторовна удивленно вскинула близорукие глаза.

— А не все равно, где учиться не бить тарелок?.. Дура — та узнает последней, а не хочешь в соломенных вдовах бегать, следи в оба. Эх, пошла бы на философский, давно бы докторскую написала.

— Ты?

— А кто? Ты что, думаешь, философы, они особенные? Типичные олухи. Только умеют, что цитат отовсюду надергать, а приглядишься,— так обычные павлины. Распустят хвосты: «Я — философ, я — элита» — и цитатами махать. Все на один фасон. Только что у моего морда симпатичная и язык без костей. Зато амбиции: мамочки! Этот — не понял, тот — не вскрыл, третий — искажил, Мальтус (он с Мальтуса начал)... «английский мракобес выступил со своей человеконенавистнической теорией на рубеже XVIII и XIX веков. Его основная работа «Опыт о законе народонаселения» появилась...» и так далее. Вчера Борька издевался над ним, да и я сегодня с тобой душу отвожу, но дома — ни-ни. Стой по струнке. Изображай восторг, работай зеркало. «Ах, замечательно! Ну куда до тебя этим старым перечницам Юдину и Константинову?! Ты, Алешка, наша надежда...» И знаешь, что самое уморительное? Кафедра от Алешки без ума, даже Жорка Крапивников и тот его печатает. Но с Жорки что взять? Для него нет ничего святого. Печатает, но все равно за спиной Алешку на смех поднимает. Этого еще не хватало! — Марьяна вздрогнула, потому что уже привычное жужжание ресторанный зала разорвал барабанный грохот, на затемненной прежде эстраде зажегся свет, и пианист, взбивши набриолиненный кок, отчаянно залабал: «Я иду не по нашей земле», песню подхватила, загудев низким, надтреснутым голосом в микрофон, пожилая женщина в длинном, переламывающемся на полу платье.— Не поговоришь. Поехали к тебе или плясать хочешь? — спросила Марьяна.

— Ты что? У меня нога, кажется, распухает.

И тут же с шамкающим: «Разрешите пригласить!» — к Кларе Викторовне подскочил пьяный субъект с усталым, морщинистым лицом.

— Брысь! — зашипела Марьяна.

— Простите, я не вас... — любитель танцев попятился.

Это был Гришка Новосельнов. Он уже третий час томился в углу зала в компании абрикосочника Игната Трофимовича и квартирного маклера. Они нарочно выбрали неприметный ресторан, потому что Игнат не уважал такие глупости.

Деловая часть встречи закончилась. Все вспрыснули, об-

говорили, и Гришка ерзал в кресле. Хотелось чем-нибудь необычным отметить демобилизацию и грядущий обмен. Из двух неподалеку сидевших женщин ему куда больше нравилась пухлогубая красотка, но даже в большой пьяни он оставался реалистом. Поэтому при первых звуках танго, рассчитывая на верняк, подскочил не к красотке, а к ее подслеповатой подруге, и теперь обиженно терся у стола.

— У меня нога подвернулась,— пропищала Клара Викторовна. Она не хотела ни за что ни про что обижать ничем не провинившегося перед ней человека.

— Иди, пока трамваи ходят...— Марьяна пустила в Гришку дымком.— Я сказала — иди! — повторила зло и резко.

— Что, нервная?

— В другой раз не отпущу.

— Че-го?! — Новосельнов пьяно раззявил рот. Он не испугался этой шмары — ему было любопытно.— Слушай, не строй из себя лягашку,— сказал, уверенный, что красивая фря всего лишь неудавшаяся актерка.

— Интересно. А ну, садись,— Марьяна отодвинула справа от себя стул.— Садись, садись.

Гришка сел, без особого удовольствия.

— Так вот слушай. Если две симпатичные бабы пришли в зачуханный кабак, значит, у них разговор. Так же, как у тебя с твоими мордатками. Ты не ерзай, а слушай. Пока не сел, гуляй тихо.— А с теми...— она кивнула на абрикосочника и маклера,— совсем не гуляй. Угробят и передачи не принесут.

— Ты что, гадать подрядилась?

— Отгадывать.— Марьяне вдруг стало жаль незадачливого мужика и самой скучно.— Иди, желаю не скоро загреметь.

Гришка, стирая с круглого голого лица глупую ухмылку, побрел к своему столику.

— Зачем ты? — спросила Клара Викторовна.

— Нервы.

Снова ударили тарелки, залабал пианист.

— За день на таких насмотришься. Уйду в аспирантуру на шестьсот восемьдесят рэ. Буду какой-нибудь древней мурой заниматься. Римскими сервитутами. Я всегда любила учиться. Вон Алешкина новая горя не ведает, никому сроков не паяет, английского классика почитывает. А всякую муру-идейность для нее мой влюбленный антропос сочиняет. Ему — не привыкать. Он ее целый день студиозам мурлычет, а вечером для журналов перелопачивает. Ох, и устала я...

— Ты?

— Я самая. Вертись, крутись, поворачивайся. Вечно начеку. Надеюсь, выскочу за Алешку, отдохну. Вышло наоборот. Что ни день — выдумывай новенькое, как Шехерезада, — она невесело усмехнулась, вспомнив, как вчера в передней вминалась в мужа. — Устала. Хочется, чтобы кто-нибудь пожалел, поухаживал. Не так... — она кивнула на сидевшего с приятелями Гришку, — а чтобы одеялом накрыл, чай с печеньем в койку принес. Надоело быть сильной.

— Алешка разве слабый?

— Алеша — нарцисс. Алеше зеркало нужно — во всю стену, на всю жизнь. Чтобы вечно ахала: какой ты гениальный да какой смелый. И главное, вечно — начеку. Вчера аспирантку отшила. Отшила, а самой же ее жалко. Ну чего, глупышка, тянешься к такому оболтусу? Даже крикнуть хотелось: «Да бери его себе! Думаешь, радость великая?» Господи, нету больше мужчин.

— А Костя? — не вытерпела Клара Викторовна.

— Не знаю. Я его в полку не видела. Может, он там и хорош, а со мной — размазня. Нет, я не про койку. Это дело нехитрое.

— Хитрое, — твердо сказала Клара Викторовна.

— Ты, наверно, много об этом думаешь, ну и щитовидка дает о себе знать... Ты скоро в больницу ляжешь?

— Если решусь — на той неделе или через одну...

— Я к тебе ездить буду, — сказала Марьяна. Ей было неловко, что разговор зашел о ее бедах, а Кларке небось в ее одиночестве еще хуже.

— Тебе ведь некогда...

— Буду. И не думай, что я злая. Я просто закрученная. Дома — черт-те что, на работе — подследственные хамят втихую, начальники — в открытую. Прежде, до Алешки, приставали сплошь. Случалось, и не выдерживала... Знаешь, в кабинете... вспоминать противно. Теперь — вроде замужняя и должность немаленькая, все равно редкий не пристанет...

— Поэтому на армию переключилась? — Клара Викторовна все старалась вернуть разговор к Рашупкину. Подумать только — они встречались в ее комнате!..

— Кто про что, а вшивый про баню, — усмехнулась Марьяна. — Да ничего особенного. Обыкновенный пересып днем. Что ни говори, но, когда по тебе страдают, взбадривает. Свободней себя с мужем чувствуешь...

— Хороший левак?..

— Ну, необязательно... А в общем, в святые мы не годимся. И ты, Клерхен, тоже...

— Я на чужое не зарюсь...— обиделась Клара Викторовна.
— Ну-ну... Сочтемся. Казаться лучше всем хочется, да не всем удается.

Курчев пришел в себя лишь в воскресенье утром. Три дня температура не падала, он стонал, попеременно то матерясь, то зовя маму, хотя мать померла еще до войны.

Голова болела, как после долгой пьянки, и, как после пьянки, комната не стояла на месте — то вдруг суживалась и стены подступали к глазам, то, наоборот, отдалялись, и Курчев опять бредил.

— Замамкал,— ругался Секачев, но и он жалел Бориса.

Федька Павлов, как за маленьким, ходил за Курчевым, менял на лбу мокрое полотенце, поил из оловянной солдатской ложки, но Борис в полузабытьи даже не благодарил товарища.

— Как бы дуба не дал,— хмыкнул Морев, сидя с Федькой и Секачевым за преферансом.— Без четвертого играть придется.

— Сука ты,— разозлился Федька.

— От ангины дуба не дают. Отлежится,— рассудительно заметил Секачев.

И Курчев отлеживался. Когда температура ненадолго спадала, он вспоминал Алешку, разнос реферата, разговор с Ращупкиным и сжимался под своим синим тонким одеялом и двумя шинелями — своей и Федькиной — и чувствовал, что сейчас его защищает только одна ангина. Ему даже хотелось, чтобы температура не падала, хотя ангина и впрямь была страшная. Казалось, еще немного — нарывы кляпом заткнут горло и задохнешься. Горло надо было полоскать, но чуть Борис набирал в рот соленой воды и запрокидывал голову, все вокруг бешено кружилось и он, слабея, валился на подушку.

Так тянулось до воскресенья, когда градусник вдруг застрял на тридцати шести и шести, Курчеву захотелось жрать и разговаривать. Солнце обложило окна, наледь на них сверкала. Офицеры разъехались кто куда, и никого, кроме Федьки, в комнате не осталось. Курчев поглядел на его птичью голову со взъерошенной шевелюрой и улыбнулся:

— Борща охота.

Федька в незастегнутом кителе сидел за столом. Он оторвал голову от книги, взглянул на будильник (свои часы давно пропил), почесал в затылке и вылез из-за стола.

— Волхов,— крикнул он в коридор.— Пошли в камбуз. Пусть принесут лазаретному.

— Ладно,— послышался голос Волхова и следом стук

подкованных, грубых неофицерских сапог. По-видимому, парторг сам отправился запитываться.

— Доставят,— сказал Федька.— Смотри, как здорово у Толстого! Хоть наизусть учи! — и он с чувством прочел абзац из «Воскресенья».

— Раньше, что ли, не знал? — улыбнулся Курчев.— У нас в батарее многие это выучили.

— И как такое разрешают? — удивился Федька.

— Толстого не запретишь.

— А ты не того... от температуры? — Федька повертел пальцем у виска.— Живых запрещают, а мертвого и вовсе пара пустяков... Знаю, знаю. Срывание масок... Читал. Грамотный. Только все равно бы этого не печатал. Где маски срывает, оставлял, а это,— он ткнул пальцем в абзац,— заклеивал.

— Тогда бы уж точно обратили внимание.

— А запретить можно все. «Швейка» ведь запретили.

— Не запретили, просто давно не переиздают, а старого издания нигде нету...

— Ну как с рефератом? — спросил Федька.— Брат одобрил?

— Уехал он.

— Я поглядел,— кивнул Федька на курчевскую тумбочку.— Там конца нет, но в целом, куда гнешь, понятно. Пишешь ничего, но не для аспирантуры. Больно отвлеченно и цитаты не те. Другие надо. А ты из одного Толстого... А Толстой — что? Писатель,— с напускным презрением скривился Федька, словно только что не он радовался толстовскому абзацу.— У тебя же не про литературу, а про серьезное, и надо либо так написать, чтоб на стипендию зачислили, либо уж во всю дуть и не в тумбочку прятать. А у тебя — ни туда ни сюда. И туману напустил. Фурштатский солдат. Обозник. То в воздух пуляешь из-за него, то бумагу изводишь.

Курчев тихо и счастливо засмеялся. Было радостно, что и в жизни поступаешь, как на бумаге. Он об этом прежде не думал.

— Да нет, смешного мало,— тоже почему-то улыбнулся Федька.— Я не спорю: соображалка у тебя работает, только не оттуда начинаешь. Ну какой дурак начнет отсчет от бездельника и на бездельнике все общество построит?!

— Не о бездельнике разговор.

— Слабосильный все равно что бездельник. А кто взял палку, тот и начальник. Сам знаешь...

— И все-таки все валилось, когда слабосильный кончал вкалывать. Вон и их прошлый год из-за этого распустили.—

Борис махнул рукой на окно, выходящее в сторону стройбата и бывшего лагеря.

— Это не потому.

— Нет, по тому самому. Тебя еще не было. В прошлом ноябре, уже шкафы мои завезли, к монтажу подбирались, и вдруг — бах! — шкафы назад, лак-муар покарябили и стенку погнули. Оказывается — нате вам! — грунтовые воды вышли. Представляешь, температура в бункере строго постоянная. На десятую градуса — и уже режим ламп другой. А тут тебе вода в грунте. Ну, пригнали солдат с пневматическими молотками. Дыр-дыр — весь бетон исковыряли. Потом через антенный вывод воду выкачивали. И надолго ли? А все потому, что заключенные строили.

— Гражданские строят не лучше.

— Все ж таки... Нет, все на распоследнем слабосильнике держится. Из-за него рабский строй пал.

— И капитализм пришел?

— Нет, капитализм не из-за него. Капитализм из-за лихости не отсталых, а самых ловких и сильных. А в моем обознике какая лихость?

— Согласен, — кивнул Федька. — Только не верю, что из-за последнего засранца все меняется. А что у нас лагеря разогнали, причина другая. Политика. Кто-то кого-то подписать хочет.

— Так ведь все — политика.

— Нет, тут счеты. Раз Берию съели, так и лагеря его туда же.

— Лагеря потрясли раньше.

— То уголовные. А теперь и врагов народа потихоньку стали отпускать... Только не из-за того, что зэки плохо работают. И на обычном производстве груши околачивают...

Вошел посыльный с горкой оловянной посуды.

— Вам тоже принес, товарищ лейтенант, — объяснил он Федьке. — Буфетчица в город уехала.

— Ладно, погуляй пока, — сказал Павлов. Ему не хотелось прерывать разговор, но Курчев, приподнявшись, уже взял со стола миску с остывающим супом и стал жадно хлебать.

— Открытка вам, товарищ лейтенант, — вспомнил посыльный. Ему не хотелось на мороз, к тому же рассчитывал стрельнуть у офицеров курева. Махорка осточертела, а на папиросы не было денег. Солдаты ожидали марта, когда кончатся вычеты за заем и два месяца хоть подымишь по-человечески.

Он протянул Курчеву Ингину праздничную открытку с женщиной в косынке и большой восьмеркой.

Борис опустил миску на пол, схватил открытку, прочел раз, второй, третий — и тут же выучил наизусть.

— Хорошее? — спросил Федька, лениво ворочая ложкой.

— Да нет, так... — сказал Курчев и опять поглядел в открытку. — Второе сам съешь, — кивнул посыльному. — Больше не хочу, — крутнул по полу миску с недоеденным супом. У него и впрямь пропал аппетит.

Посыльный, не заставляя себя дважды просить, присел на Гришкину пустую койку, достал из левого сапога ложку с наколотыми инициалами и стал быстро работать перловую кашу с мясом. Повар не пожалел офицерам каши, особенно мяса. Посыльный это тотчас заметил.

— Папиросы есть? — спросил Борис Федьку, отрываясь от праздничной открытки. — Дай ему.

Федька отодвинул свою миску с почти нетронутым супом, достал смятую пачку «Прибоя» и, щелкнув по ней, пустил по столу. Посыльный вытащил две папиросы, оставив последнюю, сломанную.

— Здравствуйте, товарищи! — раздался голос откуда-то с потолка. Курчев остался лежать. Федька поднялся в распахнутом кителе, а посыльный вскочил и замер с миской в руках.

— Вольно, — брезгливо сказал Ращупкин. — Приятного аппетита.

— Шел, — прошипел Федька. Посыльный с мисками юркнул в дверь.

— Четвертый день не ест, — Федька мотнул головой на Курчева. — Так чтоб не пропадало...

— Ладно, — усмехнулся Ращупкин, садясь к печке. — Если б только это? А то у вас хлеб, а в хлеву, естественно, и свинство и панибратство. Фурункулы сходят?

— Не торопятся, товарищ подполковник, — ответил Федька и вышел на кухню. При начальстве кусок в горло не лез.

— Опомнились, Курчев? — спросил Ращупкин.

Борис не ответил, не поняв, к чему относится вопрос — к стрельбе или к ангине.

— Везет вам, лейтенант, а то бы взводным походили, — сказал Ращупкин.

Курчев сжался под шинелями, и открытка упала на пол. Он вытянул руку, пошарил по полу и засунул открытку под подушку.

— Выкрутились, Курчев, — повторил Ращупкин. Он видел, что лейтенанту не по себе, и ему было жаль его, но, как часто с ним случалось, говорил вовсе не то, что имел в виду, и обижал людей, которых хотел ободрить.

Нынче, в воскресенье, подполковник особенно томился: заняться было нечем. Почти весь личный состав под командой четырех офицеров и замполита Колпикова отправился в райцентр на просмотр фильма. Сидеть дома с женой было тошно. Главный инженер майор Чашин наверняка бабится со своей красавицей супругой; без дела и без зову вваливаться в чужой дом неловко. Пить после вчерашней субботней пьянки не хотелось. Да и с кем? Идти к докторше в отсутствие мужа тоже нехорошо.

Изводя себя самоанализом, Ращупкин с утра заперся в служебном кабинете, вытащил лист бумаги, разделил продольной чертой надвое и стал писать — справа достоинства Марьяны, слева — недостатки.

Константин Романович не жалел ни себя, ни лихой прокурорши, старался, сколь возможно, быть циничным, но ничего не вышло. Только растравил себя, даже голова разболелась.

Завонил телефон. Он ответил жене:

— Занят, Маша, занят. Погоди.

Но писать дальше не стал и сжег бумагу над пепельницей. Расплеваться с Марьяной было не просто, особенно в воскресенье. Но душа изнывала, хотелось с кем-нибудь поделиться, хоть не болью, а мыслями о несчастной любви и ее последствиях. Для такого разговора в полку годилась одна врачиха, и Ращупкин, надеясь встретить ее у захворавшего Курчева, побрел к его домику: если врачиха там и нет, все равно можно посидеть, потолковать о женщинах. Курчев знает эту гражданскую публику, все-таки закончил институт, и потом у него какие-то родичи то ли в ученом, то ли в чиновном мире.

Сидя сейчас у слабо нагретой печки, Ращупкин глядел на лейтенанта, и ему хотелось сказать:

«Не горюй, парень. Мне самому хреново», — но вместо этого снова спросил:

— Ну как? Осознали, Курчев?

Курчев по-прежнему молчал.

— Ладно, не мучайтесь. Лечат хоть вас хорошо? Ирина Леонидовна заходит?

— Заходит. Хорошая женщина.

— Очень, — обрадовался Ращупкин.

— Разрешите, товарищ полковник? — Федька влез в дверь и, не ожидая ответа, прошел мимо Ращупкина, сел за стол и раскрыл Толстого.

— Что там у вас начеркано? — спросил Ращупкин.

Он взял грязно-серый, похожий на учебник, том огоньковского издания и прочел вслух абзац, около которого стояли четыре восклицательных знака:

— «Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам».

Он прочел абзац четко, без всякого выражения, как штабной циркуляр, и устался на Федыку.

— Так. Понятно. И что вы хотели доказать, Павлов?

— Ничего,— ответил Федыка.

— Это о царской армии,— твердо, исключая всякую насмешку, сказал Ращупкин.

— Так точно, товарищ подполковник,— согласился Федыка.

— А вы себе черт-те чего вбили в голову. Намеки, понимаете ли... И нечего библиотечную книгу портить. Солдаты ее тоже читают.

— Это моя,— сказал Курчев.

— Так вы демонстрируете любовь к армии?

— К царской,— усмехнулся Курчев.— Я купил ее у букиниста. Там разное подчеркнуто.

— Стереть надо было,— сказал Ращупкин, понимая, что несет ерунду.

— Сотрите, младший лейтенант,— сказал Курчев.

— Слушаюсь,— отчеканил Федыка и перевернул страницу.

— У вас не соскучишься,— посуровел Ращупкин.

— Стараемся,— сказал Борис.

Он отлежал все бока. Хотелось есть, а в перспективе и выйти на двор, но, понятно, не при подполковнике; тот же неизвестно зачем сидел у печки: то ли собирался учить уму-разуму, то ли, как бывало прежде, толковать по душам.

— Беззаботно живете,— вздохнул Ращупкин. Любопытно было узнать, чем дышат эти никудышные офицеры — один с чирьями на шее, другой с ангиной в горле и еще черт-те чем за пазухой.

Впрочем, Павлов Ращупкина не тревожил. Конченный тип, вот-вот сопьется, и самое простое сплавить его куда подальше. Но все равно обидно, что живет на твоей территории сопляк, которому на тебя начхать. Пьет сам по себе, играет в карты сам по себе и — умри завтра Константин Романович — он даже не почешется. Для него Ращупкин не батя, никакой не пример и не указ. Вот сейчас уткнул худую морду в книгу, словно не он, Ращупкин, а Лев Толстой для него начальство. Правда, сегодня воскресенье. Но возьми даже не армию, а просто обще-

житие, студенческое хотя бы, и то, когда приходит в гости директор или декан, книгу откладывают. А младший лейтенант читал, даже не демонстративно (если бы так, сбить спесь — дело нехитрое), а так, словно подполковника вовсе в комнате не было. Ращупкин еле сдерживался, чтобы не накричать на нахала и не поднять по стойке «смирно». Но не за тем он сюда пришел. Сейчас ему хотелось узнать, как писал все тот же язвительный старик Толстой, чем люди живы. Даже вот такие, как этот с чириями, из которого армия не сделала человека (и уж, верно, не сделает!) и в котором осталась та сволочная «гражданка», которая, как ты ее ни ругаешь, все равно нет-нет да выскочит в тебе самом то тоской по московской юристке, то еще чем-то вроде воспоминания о директорской двери, за которой шли чудные разговоры. И хотя в 37-м юный Костя Ращупкин проник за ту дверь, и не гостем, а полномочным хозяином, тайна ушла из комнаты вместе с ее прежними обитателями.

Вот так же будет с этими двумя. Курчев сам удерет из полка. А младшего лейтенанта Павлова — пусть только чирии заживут — придется сплавить во ВНОС¹ или куда-нибудь еще как несоответствующего занимаемой должности.

И все равно Константин Романович чувствовал, что, как бы он ни избавился от этих типов, тайна их, их особость, отрывающая их от прочих офицеров полка, уйдет вместе с ними, а он так и останется с нерешенной загадкой. А все неясное, недорасследованное угнетало его и мучило.

Константин Романович не был злым человеком. Он не любил наказывать подчиненных, тем более издеваться над ними. Ему важно было не подчинение, а лишь сама возможность такого подчинения. Но точно так же, как он не любил унижать подчиненных, он не терпел в них независимости. Свобода — это пожалуйста! В рамках устава ты свободен. Сорок минут личного времени у солдата всегда есть. Восемь часов сна — тоже. Обмундирование, питание — все должно быть как положено. И офицер тоже свободен, когда не занят. Офицер осознанно и необходимо свободен. А эти двое еще чего-то лишнего желают себе ухватить — и вот сейчас один прячет под подушку любовную открытку, а другой демонстративно уткнулся в роман беспартийного писателя.

Но и он сам, Ращупкин, при своем росте 192 сантиметра, тоже не очень умещался в короткой формуле необходимости, а также на двух с половиной страничках (с 27-й по середку 29-й) устава внутренней службы (глава 3-я «Обязанности

¹ Войска наблюдения, обнаружения, связи.

должностных лиц», параграфы 64—66). Ему еще многого хотелось сверх: сверх устава и сверх жены, сверх штатного расписания и сверх мечты об Академии генштаба. Он чувствовал, что в свои тридцать два года еще не закоsnел и кроме ясных и необходимых материальных достатков ему еще нужно что-то непознаваемое, неясное, вроде стихов или философии, что-то не очень уважаемое, даже скорей презираемое среди военных. Но оно необходимо ему, Константину Романовичу, чтобы не чувствовать себя ниже штатских, особенно острословов, вроде Крапивникова, Бороздыки и мужа Марьяны, Сеничкина.

Да, он хотел власти. Но не простой армейской, субординационной, а власти сложной, где подчинение не только и не столько физическое, сколько духовное, основано на интеллекте. Поэтому-то Ращупкину нравилось, глядя на портрет Сталина, о котором он еще год назад ничего не мог сказать лишнего, отпустить нынче в присутствии кое-кого из офицеров несколько неопределенных фраз, говорящих о независимости его мысли, а также о том, что командир столь особого и особенного полка может еще много чего сказать, но покамест воздерживается, и не из страха, а оттого, что офицеры не подготовлены и не поймут его.

— Да, беззаботность... Слишком беззаботно живете,— повторил Константин Романович.— А женщина у вас, Павлов, есть?

Федька вздрогнул и злобно полоснул глазами Курчева: не проболтался ли про сестру? Но Курчев, поймав Федькин взгляд, сам ответил:

— Они ему остолбенели, товарищ подполковник.

— Так не бывает,— довольный, что разговор все-таки вышел на нужную линию, благодушно улыбнулся Ращупкин.— Женщины надоест не могут.

— Как взяться,— ответил Борис. Разговор начинал занимать и его.

— Излишествовали, что ли? — Подполковник уставился на Федьку, пытаясь оторвать его от книги.

— По-всякому,— ответил Федька, толком не зная, как говорить с Ращупкиным, и одновременно не желая, чтобы за него отвечал Курчев.

— Ну и напрасно,— не удержался от поучений подполковник.— Женщина — великая сила.

— В колхозе? — работая наивного, спросил Федька.

— И в армии тоже,— не позволил себя сбить Ращупкин.—

Женщина — даже если она не участвует в работе, по-вашему, по-бывшему химическому, Павлов, в реакции, то все равно ускоряет ее как катализатор. Стимулирует, короче.

— Да, их только пусти,— откликнулся Федька.— И ускорят и без чего-то оставят.

— Без часов, например? — спросил Ращупкин, который, конечно, слышал, что Федька обменял свою новую ручную «Победу» на шесть поллитровок, то есть отдал за треть цены.

— Что часы? Часы — мура... — Федька даже не обиделся.— Последней свободы жалко.

— Чего-чего? Свободы? А какая у вас, разрешите, Павлов, узнать, свобода? И на кой черт вам она? Что вы с ней делать собираетесь?

— А ничего. Свобода как раз на то, чтобы ничего не делать.

— Оригинальный взгляд. Новое в философии. Что до марксизма, то тут им и не пахнет. Но, по-моему, Курчев, в этом и здравого смысла нет?

— Нет, почему же? — Борис даже приподнялся на локтях.— Свобода, товарищ подполковник, это свобода. Это, знаете, как девственность. Либо она есть, либо ее нету. А если есть, можешь вполне свободно ничего не делать. Вот я как понимаю.

— Анархизм какой-то и вообще хрен знает что!.. — Ращупкин хотел разозлиться, но все же осадил себя.— Лучше бы уж вместо своей копеечной философии девок портили...

— А мы, товарищ подполковник, жениться не любим,— парировал Борис.

— Можно и не жениться. Вон Залетаев буфетчицу подцепил, а что-то не женится.

— Ну, это еще смотря как выпутается... — зевнул Федька.— А потом, чего Залетаеву жениться, он Зинку не портил.

— Нехорошо говорите, Павлов,— помрачнел Ращупкин.— Не по-офицерски, не по-мужски. Каша у вас в голове порядочная. Посмотрим, как скажет старший по званию.— Он повернулся к Борису.

— А ничего, товарищ подполковник. Женитьба, сами знаете, шаг серьезный. А жениться сюда, в полк, вообще последнее дело. Солдаты здешних женщин глазами обглаживают. Если меня не демобилизуют, холостым подохну.

— Холостым и взводным,— поправил Ращупкин.

— Ну и что! Переведу, то есть сублимирую половой потенциал в политико-моральный. Ать-два, левой, левой!..

— Не частить! — скомандовал Федька.

— Отставить,— засмеялся Борис.— Да нет, товарищ подполковник, армия — не для семейной жизни. Может, вам с женой повезло, а другие офицерши, вижу, томятся. Та же Ирина Леонидовна...

— Ну, вы это...— погрозил Ращупкин. Он вроде бы защищал врачуху, а на самом деле думал, с подковыркой или без сказал лейтенант, что ему повезло с женой.— Желторотые,— вздохнул он, чувствуя, что говорит вовсе не то. Если они желторотые, зачем с ними откровенничать? Нет, разговор явно не вышел, а все оттого, что он не поставил себе четкой и ясной задачи: чего, собственно, ему нужно от этих нерадивых типов? Лучше бы с ходу им выложил: так, мол, и так, была у меня, ребята, женщина. Встречались с ней днем на одной квартире, выпивали и все такое... А тут она ни с того ни с сего закобенилась — и от ворот на сто восемьдесят.

Но не было на земле такого человека (кроме Клары Викторовны, да и то в большой пьяни), которому можно было в этом открыться. Не было у Ращупкина такого друга. Кругом были только подчиненные, а в корпусе и в Москве — начальники. И, мучаясь от одиночества, он сидел у слабо нагретой печки и не знал, кому нести свою печаль.

— А вы, Курчев, почему на этой монтажной не женитесь? Смотрите, прозевааете. Инженер свое ухажество прочно поставил, на все четыре колеса,— улыбнулся Ращупкин собственной шутке.— Девчонка красивая. Жалко, если отобьет.

— От судьбы не уйдешь,— сказал Борис, нисколько не удивляясь осведомленности Ращупкина. В полку, как на футбольном поле, все видно. К тому же командир полка не жаловал инженера Забродина, а с тех пор, как тот купил «Победу», чуть ли не возненавидел. Личный транспорт, с одной стороны, раскрепощал офицера и отвлекал его от служебных обязанностей, а с другой — возбуждал в других дух приобретательства. Уже с десятков офицеров, в том числе сквалыга Волхов, смотались в Москву на Перов рынок, где по воскресеньям записывали в очередь на «Москвича».

— У вас кто-нибудь еще есть? — спросил Ращупкин, вспомнив спрятанную под подушку открытку.

— Ага,— соврал Курчев.

— Значит, в Москве женитесь?

— Если отпустите.

— Да я вас лишнего дня не задержу. Только помните — никто вас сюда не звал. Сами напросились.

— Ошибка молодости.

— Хорошо, если последняя... Значит, план у вас — в аспи-

рантуру. На шестьсот рублей в месяц? Три года. Нет, не три, в три никто не укладывается. В тридцать лет станете кандидатом наук с окладом нашего техника-лейтенанта. Так?

— Примерно.

— Когда ж жениться?

— Одновременно.

— Невеста красивая? Карточки нет? — спросил Ращупкин Курчева.

— Нету. Не люблю, когда засматривают.

— И сюда не привезете?

— Нет.

— Он Вальки боится. Она кислотой окатить может, — подал голос Федька.

— Бросьте, Павлов, — рассердился Ращупкин, все еще надеясь на серьезный разговор. — Значит, в примачи пойдете?

— Как выйдет, — сказал Борис.

«Скоро ли Журавль испарится?» — думал он, а Ращупкин все сидел и сидел, и одна надежда была, что воротятся преферансисты. И в самом деле, как только Секачев с Моревым ввалились в финский домик, Ращупкин поднялся, пожелал Курчеву быстрого выздоровления и, пригнувшись, вышел.

— Чего заходил? — напуская важность, спросил Секачев.

— А ер его знает, — отозвался Федька.

— Чего печку проморгал? — накинулся на Федьку Морев. — Затухла, мать ее и твою...

— На, разожги, — Борис открыл тумбочку и достал третий экземпляр «Фурштатского солдата». — Тыфу ты, — удивился, — тощий. Вы что, на пульку употребляли? — Не хватало многих листов.

— Давай, давай, не жмись, раз очухался, — усмехнулся Морев.

— Берешь, так клади на место! — напустился Борис на Федьку.

— Я назад положил, — обиделся тот.

— Ты, что ли, брал? — Борис покосился на Мореву.

— Нужны мне твои бумажонки: вон у меня «Звездочки» навалом. Да не расстраивайся. Кто-нибудь взял на двор сходить.

— Сволочи, — нехорошо усмехнулся Борис.

Домашнего ареста еще оставалось трое суток и хотелось протянуть их на койке. Вдруг ответят из Кремля. Почему-то верилось, что Инга Рысакова в красном башлыке принесет ему счастье. Ведь на розыгрыши государственных займов ставят невинных младенцев в пионерских галстучках, и они вытаски-

вают номера из вертящихся барабанов. У них нет облигаций, им безразлично, кто выиграет. Наверно, и Инга так. Что ей Курчев? Она просто сунула письмо в окошечко. Никакой личной заинтересованности.

Он лежал на койке и глотал «Ярмарку тщеславия». Бекки Шарп была прелесть. Она обводила всех вокруг пальца и не больно смущалась, если ее тоже обжуливали. Конечно, она была прохвостка. Но, Бог мой! — энергии у нее было на троих!

Курчев читал целый воскресный вечер и все утро понедельника, до прихода Ирины Леонидовны.

— Не тревожьтесь,— сказал он.— Я уже вышел из пике.

— Дышите,— врачиха приложила холодный стетоскоп к его груди. Павлов деликатно ушел в заднюю комнату. Больше никого в домике не было.

— Вам лежать надо, Борис Кузьмич. И чтобы завтра ни на какие танцы.

Завтра было 23 февраля.

— Что вы? Я и без ангины еле ногами двигаю. Не беспокойтесь. Вылежу. У вас без меня дел хватает. Праздник.

— Ненавижу праздники,— вздохнула Ирина Леонидовна.

— Потом хуже?..

— Угу...

— А отсюда нельзя?..

— Не нам.

Она сидела на стуле возле кровати, полная, черноволосая, большеглазая, и Курчеву очень хотелось ее утешить, хотя бы за одно то, что она тут всем чужая, даже больше чужая, чем он.

— Да... Ваш муж не карьерист... Другой бы, ловкач какой-нибудь...

— Не надо,— врачиха опустила ресницы.

— Я не хотел...

— Я поняла. Спасибо, Борис Кузьмич. Вы только подольше полежите.

— Я же арестован.

Она поднялась, взяла с бывшей Гришкиной койки черное суконное с седоватым лисьим воротником пальто, накинула поверх чистого, явно не казенного, обтягивающего полную фигуру халата.

— Простудитесь,— сказал Борис.

Она покачала головой. Приткнувшись к окну, он смотрел, как она, опустив голову, идет по улице. Не по моде короткое, к тому же накинутае на плечи пальто открывало длинные худые ноги.

— Страдает,— присвистнул Федька, вылезая из секачевской комнатенки.

Курчев не ответил.

Он снова вспомнил, что кто-то рылся в его тумбочке, во рошил реферат, а это, если верить Алешке, пахло керосином.

Штатский трёп

Наутро, после встречи с Сеничкиным, Инга в библиотеку не пошла, а, выпив знаменитого кофею, вернулась в комнату и открыла курчевскую машинку. Но печатала она второй раз в жизни и, естественно, одним пальцем, поэтому дело не клеилось.

— Чья техника? — спросила дотошная Вава.

— Я уже говорила тебе: технического лейтенанта,— стараясь не раздражаться ответила Инга.

— Того, который про роль личности?..

— Именно.

Вава вздела очки и открыла папку. Вид у нее был обиженный, но непреклонный.

— Твой лейтенант не ахти какой грамотей, я нашла три ошибки,— проворчала она через четверть часа.

— Наверное, опечатки.

— Нет, именно ошибки. Я бы таких грамотеев к аспирантуре не подпускала.

— Не тревожься, он туда не собирается.

— И что же? Он похоронит себя в армии?

— Не знаю. Ему, кажется, всего двадцать шесть лет.

— Ты хочешь сказать, что ему рано себя хоронить, что он еще не кандидат туда?..

— Никуда, он, Вава, не кандидат. Если ты не возражаешь, я бы напечатала несколько страниц.

— Пожалуйста, пожалуйста... Слова больше от меня не услышишь...— надулась Вава, но вряд ли замолчала бы, если бы за стенкой не зазвучал третий концерт Рахманинова.

— За мои за грехи заповедны...— в такт фортепьяно замурлыкала она и вновь уткнулась в реферат.

«Неужели и я точно эта, точно эта, точно эта...— подумала Инга, незаметно увлекаясь материнской игрой. Но стучать на машинке в такт не удавалось.— Неужели и я вот такая, вот такая, вот такая... Буду тоже потом вот такая, вот такая... Господи!» — стряхнув наваждение музыки, Инга,

глотая слезы, выбежала в переднюю. Москвошвеевская выворотка ждала ее, как верная подруга. Инга кинулась к ней, но, вспомнив, что за меховыми ботинками надо возвращаться в комнату, опустилась в коридоре на сундук и расхлупалась.

— Ты чего? — спросила Ингу толстая, еще не старая соседка. Она вышла из кухни с шипящей сковородой. — Пусть ее играет. Пошли ко мне... Опять то самое... или переучилась? — Она вскинула на Ингу бровастое кукольное лицо и захлопнула дверь. — Пусть тренируется...

— Ей необходимо, — сказала Инга.

— Знаю. Нелегкий это хлеб. Не молодая с утра барабанить... Так чего у тебя, Ингушка?

— Сама не знаю. Нервы.

— Какие там нервы? Четвертака тебе нет, а нервы. Этот, в модном пальтишке, холостой?

— Женатый. — Инга покраснела: выходит, Полина видела ее с Алешей возле парадного, а она и не заметила?

— Садись, картошку рубай, — Полина сунула ей вилку. — А то хочешь: у меня сегодня отгул — по малой?.. — не дожидаясь ответа, она достала из буфета початую бутылку московской и две тонконогие рюмки. — То, что женатый, Бог с ним. Закусывай. Главное, из себя подходящий. А твой козел, прямо скажу — никуда. На что я, скоро старуха, и то бы с ним не легла.

— Оставь, — взмолилась Инга. Она не обижалась на соседку, но разговор ей был неприятен.

— А чего оставлять? Оставила его и правильно. Не один еще у тебя будет, хоть с виду легковатая. Да ладно, Бог даст, в тело войдешь. А что козла прогнала — молодец. Козел он и есть козел. А ты девка чистая, культурная из себя. У тебя мужиков пульмана будут. Этот, в пальтишке, детный?.. Ну, и не тушуйся. Хочешь, ключ оставлю? Да, да, — Полина повысила голос, потому что в дверь постучали. — Толкайте, не заперто. Доброе утро, Варвара Терентьевна! — под бравурные звуки фортепьяно приветствовала она старуху. — К нашему шалашу не желаете?

— Извините, — стоя в дверном проеме, буркнула Вава. — Тебя к телефону, Инга.

— Скажи, ушла.

— Как знаешь... Спивайся на здоровье.

— Да вы что?.. — возмутилась Полина, но Варвара Терентьевна уже закрыла дверь.

— Ох, Ингушка, и вредная она у тебя.

— Есть немного... Зато добрая.

— Знаю. Если б злая — об чем говорить? Со злой разговор короткий. Вся беда от добрых: не отвяжешься... Я тебе у подруги устрою. Тут она вам в дверь стучать будет.

— Мне не нужно...

— А как же тот, в модном пальтишке?

— Просто знакомый.

— Не приставал? Значит, порядочный. Тогда зачем редела? Нервы? Хочешь, в кино пойдем. Город какой-то...

— «Рим в одиннадцать часов». Наверно, хорошая картина. Пошла бы, да не могу. Зашиваюсь.

— Зашилась уже... Только что розовая, а тоща, как в годушку. На поправку тебя надо. Каникулы зимние были, а ты в городе...

— Это у студентов. У нас каникул нет.

— Тогда чего мучаешься? Ты ж на службу не ходишь. Езжай в дом отдыха и сиди. У нас в завкоме путевок этих — завались!

— Дорогие?

— Не дороже денег. Тебе на юг или под Москву?

— Куда-нибудь недалеко. Хоть на лыжах похожу.

«И вправду уеду! — обрадовалась Инга. — Дома — не работа, в библиотеке — Алеша и Бороздыка. Самое время — из Москвы сбежать».

— Хочешь в ...? — спросила Полина. — А хочешь по Павелецкой? И еще у нас есть один, только туда автобусом надо...

— Мне лучше, где поездом: по пятницам кафедра, — сказала Инга, загадав: а вдруг Полина достанет в ... где неподалеку служит Курчев!.. Не так уж ей хотелось его видеть, но, если окажется, что вечерами в доме отдыха смертная скука, неплохо иметь про запас хотя бы технического лейтенанта.

По субботам Георгий Ильич Крапивников в журнале не бывал, поэтому Инга, отпечатав на курчевской машинке короткую записку и приложив к первому экземпляру реферата забытый Бороздыкой импортный блокнот, смело отвезла их в редакцию. Сидевшая в пустом холле секретарша Серафима Львовна узнала Ингу и попыталась завязать с ней разговор. Уговаривала подождать: сегодня как будто обещали верстку, и Георгий Ильич обещал явиться с минуты на минуту. Инга еле от нее отвязалась: бедняге не терпелось выведать, как Инга переживает разрыв с Крапивниковым.

В эту субботу снег сверкал празднично. Впереди было ровно двадцать четыре дня лыж, покоя, ничегонеделья, а, если

ничего неделанье вдруг надоеет, можно захватить с собой толстых тетрадок в клетку и писать на них следующую главу (а эту — потом докарябаем!). Главное, будут сплошные лес, снег, тишина, никаких Сеничкиных и Бороздык, никакой Вавы, которая вчера ее совсем допекла:

— Ну, что у тебя общего с Полиной? Ты что, тоже хочешь путаться с кем попало?

— Она народ, а, по-моему, вышли мы все из народа или, во всяком случае, из народников...

Чтобы прекратить бесплодный спор, Инга ушла в материнскую комнату и объявила, что едет в дом отдыха. Мать сначала ничего не поняла. Пальцы у нее задрожали, она положила их на пюпитр.

— Да, да... Конечно же, девочка! Как мы раньше не додумались? Ты так устала! — и Татьяна Федоровна, закрыв инструмент, начала поспешно одеваться: хотела бежать в магазин за продуктами, забыв, что Инга уезжает не в голодную провинцию, а в подмосковный дом отдыха с трех-, а то и четырехразовой кормежкой.

В воскресенье Инга вышла из электрички в районном городке, куда была приписана воинская часть Курчева, и пошла с нетяжелым чемоданом и лыжами вдоль шоссе. До дома отдыха было всего два километра. Снег неподвижно лежал на елях, словно его приклеили к веткам. Машины по воскресной магистрали пролетали редко, к тому же дом отдыха стоял в глубине, метрах в трехстах от магистрали. Лес начинался от самой калитки, и ему не было конца. Дежурная сказала, что в одну сторону он тянется до Казани, а в другую — до Архангельска.

«Красота какая! И он еще жалуется!» — подумала Инга о техническом лейтенанте, который служит где-то здесь, не ценит ни снега, ни леса и изо всех сил рвется в Москву.

Первую неделю она только и делала, что ходила на лыжах да спала по два раза в день. В комнате кроме нее жили — восемнадцатилетняя миловидная девчонка с кирпичного завода и неопределенного возраста женщина — не то техник, не то инженер, костлявая и сухая, с невыразительным лицом и редкими волосами. Девчонка дружила с обитательницами других комнат и днем пропадала у них, а вечерами на танцах. Женщина либо читала, либо спала — и Инга была довольна своими соседками.

«Хорошо бы так жить, всегда, вечно, — утешала она себя. —

Никто тебе не нужен, и ты — никому. Спать, есть и с горок спускаться».

Горки были некрутые, зато лес абсолютно безлюдный — не то, что Сокольники и Измайлово. Но заблудиться было трудно — рядом гудело шоссе. В лесу уже появились знакомые деревья, и даже пни, запомнившиеся перелески, изученные спуски. Их было радостно встречать по утрам и видеть во сне.

— Деревья, деревья, деревья, — напевала Инга, идя легким шагом, словно на ногах не было лыж, а в руках — палок. — Деревья, деревья, дубы... — пробовала она что-то сочинять, но стихи не получались. Дубов, здесь, кстати, не было, деревья росли в основном хвойные. Только по краям неглубоких оврагов взапуски носились озябшие березки, а потом опять шли ели да ели, вперемешку с красноватыми чопорными (словно незамужними — так казалось Инге) соснами. Лес казался нескончаемым и покой тоже. Пугало только одно: вдруг в марте все растает, начнется тоска, слякоть, захочется в Москву, а в Москве — ничего хорошего.

Но в марте теплее не стало. Снег не таял. Даже нового немного подсыпало, и новый начал прилипать к лыжам. Нужно было идти к молодым людям на второй этаж просить лыжной мази другого номера, но не хотелось знакомиться с ними. Инга три дня провалялась в комнате — пыталась начать новую главу.

Так прошло полсрока. В доме отдыха все уже было не в новинку. И сидевшие в холле вокруг круглых столов прокуренные преферансисты, и унылый культурник, пожиратель сердец, высокий и ладный, с короткой стрижкой парень, который днем, в свободное от умственной работы время, чинил замки, пробки и вставлял разбитые стекла. Впрочем, к Инге он даже не подкатывался, очевидно понимая, что хлопот с ней не оберешься, а обломится или нет — кто ее знает.

Мужчин в доме отдыха было немного, и в основном пожилые или средних лет. Они забивали «козла» либо резались в карты, а вечерами появлялись в зале изрядно подвыпивши. Девчонки танцевали чаще всего друг с другом, а с горя тоже иногда выпивали и тогда, разгулявшись, пели:

Мой миленок меня бросил,
Я сказала только: да!
У меня таких хороших
До Берлина два ряда.

Или:

Раньше мы ходили в лес,
Не боялися волков.
Раньше был товарищ Сталин,
А теперь стал Маленков.

Вечерами Инга уходила в районный городок и с почты подолгу разговаривала с Москвой.

— Девочка, отдыхай и не тревожься,— успокаивала ее Татьяна Федоровна.— В городе грипп. В прошлую пятницу кафедры у вас не было и на этой неделе не будет.

Дни тянулись все медленнее и становилось тоскливо. Лыжные ботинки начали натирать. На одном отлипла стелька, в другом неожиданно выскочил гвоздь, и лыжи из удовольствия превратились в обязанность.

Сухошавая соседка уехала, и в комнату вселилась подруга девахи с кирпичного, побойчей ее и постарше. Стало шумно, пахивало водкой и мужчинами. Сперва соседки стеснялись и приводили парней по утрам, когда Инга уходила в лес, но потом осмелели и просили Ингу выйти прогуляться на полчаса. Она уходила с тетрадкой в холл, но там ей мешали преферансисты. Один, даже не очень пожилой, с лицом старшего бухгалтера, пытался обучить ее премудрой игре, но она никак не могла понять, что значит иметь шесть бубен или пик, когда на руках всего четыре бубны или пики.

Курчев провалялся больше недели, прихватив два дня сверх ареста, да еще три дня отпуска по просьбе врачихи ему подкинул Рашупкин, и к концу болезни одно за другим пришло два письма, одно от мачехи и одно в фирменном конверте, но не из Кремля.

Мачеха писала:

«Боря, все наладилось очень отлично. Мы уже перевезлись. Михал Михалыч достал замечательную вещь — мебель: буфет и шкаф, вместе собранные. Пол отциклевали. Скоро справим новоселье и вас позовем. (Неизвестно почему, она вдруг стала называть его на «вы». Возможно, это была ее манера писать письма, а, возможно, она прониклась к нему уважением как к будущему квартировладельцу.)

Боря, вам придется приехать хоть на пару деньков, чтобы оформить площадь и переписать жировку. Я вам тогда телеграмму пошлю. Попросите командиров, чтобы отпустили, а то всякое случается. Очень серьезно, Боря, попросите.

Мы вам оставляем шкаф, стол на кухне и другой в комнате и кровать с матрасом. Извините, что старое. С этим и жили. Только сейчас начали покупать новое.

Еще остались обои. Вы обклейте, если понравятся. Мой совет: кровать выбросите, а к матрасу (он еще годный; три года, как перетягивали) привинтите ножки. Михал Михалыч нарезал и шурупы к ним готовые. Счастливо вам, Боря, в новой жизни. Обязательно прошу: отпроситесь у начальников. А то людей завидующих много даже на нашу халабуду. Ходит слух (не знаю, врут или нет), года через два-три ломать ее будут. По Первой Мещанской уже ломают — магистраль будет на выставку. А взамен дают хорошие дома, так что не пропустите, Боря.

Привет вам от Михал Михалыча и Славки.

До свидания,

ваша Елизавета Никаноровна».

Второе письмо было напечатано на машинке, от руки были только подпись и номер домашнего телефона.

«Дорогой Борис Кузьмич! — прочел Курчев. — Инга передала мне Вашу работу. Хотелось бы переговорить. В журнале я каждый день после часу, кроме субботы. В субботу или в воскресенье звоните домой.

Зовут меня Крапивников Георгий Ильич. Рад буду покалякать. До скорого».

«То в год ни одного, а то в неделю три, и все важные», — подумал Курчев, но не почувствовал при этом никакой радости. Наоборот, стало еще тоскливей и горше от армейской безнадеги, от того, что сам себе не принадлежишь и даже не можешь съездить в Москву для важного разговора.

В первый вторник марта он наконец-то объявился в «овощехранилище». Тут по-прежнему шумели моторы, шушукались монтажницы и по-прежнему был уныло-ленив секретчик. Только инженер Забродин повеселел и, уже не обращая внимания на подковырки, постоянно крутился возле Вальки. Валька краснела и нерешительно улыбалась Борису. Но ему было уже не до нее. «Хоть вешайся на верхнем реле», — думал он, глядя на свой огромный черный шкаф, в котором Сонька вместе с еще одной девахой маркировала провода.

Снова, уже, наверное, в десятый раз, он вылез из-за стола и наведалься в аппаратную к Залетаеву. Телеграммы обычно передавали из райцентра по телефону и дежурный перепечатывал их на бланк. От мачехи ничего не было.

— Изведешься! Надо же так втрескаться! — засмеялся Залетаев, и Курчев не стал его разувирать.

За болезнь он как-то отдалился от офицеров, хотя и старался не думать о пропавших из реферата страницах, чтобы никого не подозревать. В аппаратной у Залетаева было так же тошно, как в своем отсеке, и он снова вернулся к себе.

— Лейтенанта Курчева в штаб! — раздался за спиной ломкий голос телеграфиста.

— Закукарекал,— засмеялась Сонька, высовываясь из шкафа.

— Один черт,— подумал Борис,— хоть здесь не томиться...

— Доигрался, Курчев,— сказал ему начштаба Сазонов.— В Москву тебя вызывают. Завтра к 10.00.

— В ...? — назвал Курчев московскую окраину.

— Ага. Ты писал туда?

— Вроде нет.

Он писал выше — в Совет Министров.

— Не темни. Кому писал?

— Корпусному.

— Это я в курсе. А еще?

— А еще кому? Сталину не напишешь.

— Сталину — да. Сталин бы тебя прижал. При нем порядок был.

— Это точно. Прошлый год порядку навалом было. У нас перед самой его смертью один технарь из военной приемки, перебравши, сцепился с кем-то на шоссе, а тут, на его счастье, маршал Василевский на личном лимузине мимо ехал и с ходу ему пятнадцать суток влепил. Так и гуляет с подарком от бывшего министра. Снять не может.

— Пусть рапорт подаст: снимут — дисциплина уже не та. Разгильдяй на разгильдяе сидит. Дерьмо, вроде тебя и этого, Павлова твоего, держат, а хороших людей списывают.

— Вот и я говорю. Разрешите идти?

— Иди.

В «овощехранилище» Курчев не вернулся. Было около двенадцати. Как раз крытая полуторка, свернув у штаба, подъехала к КПП, и он полез в кабину.

— Скажешь лейтенантам: в Москву уехал,— кинул он Черенкову, открывавшему ворота.

— Ясно,— ответил дневальный.

Машина — она шла в ближний поселок за школьниками — завезла Бориса на станцию. Поездом ему было удобнее: от Комсомольской площади до Ингиного переулкa — рукой подать.

— Она в доме отдыха,— ответил старушечий голос.— А вы не военный? Я сразу догадалась. Вам машинка нужна?

— Нет, что вы!

— Инга вернется в марте.

Из той же будки Курчев позвонил в журнал Крапивникову.

— На редколлегии,— ответили ему.— Позвоните завтра.

— Кругом шешнадцать! — вздохнул Курчев. Деваться было некуда. То есть кругом была Москва с миллионом соблазнов, начиная от кино и чуть позже — театра и кончая Ленинкой, рестораном или просто культзаходом к кому-нибудь из знакомых, хотя бы к Кларке Шустовой. Но Курчев настроился на встречу с Ингой, и ничто не соблазняло.

Он лениво прошел вдоль вокзала. У газетного киоска какой-то ободранный ханурик в очках читал толстый журнал в серо-голубой обложке; старик-киоскер ворчал на него, дескать, не читальня. Вокруг шумела вокальная Москва, лязгали трамваи, фырчали такси и автобусы, а тут один чудик читал, другой на него злился — и раздосадованному лейтенанту смотреть на эту комедь было почему-то приятно. Пахнуло, что ли, штатской юностью с томленьем в библиотеках.

Заглянув через плечо ханурика, Курчев увидел, что тот глотает стихи, и не успел удивиться этому, как задрипанный очкарик по рассеянности толкнул его, но не извинился, а наоборот, презрительно на него поглядел и снова уткнулся в журнал.

В полку Курчев считался чуть ли не штатским, но в городе в нем порой просыпался загодя оскорбленный на всех штатских армеец.

— Папаша, а мне такой можно? — спросил Курчев. Он заметил, что на прилавке больше грязно-голубых журналов не видно.

— Отдайте, гражданин,— важно сказал киоскер.— В читальне досмотрите.

— Пусть читает,— лениво протянул Курчев.

Очкарик в сомнении оторвался от журнала, беззащитно поглядел на офицера, но, очевидно, интерес к стихам перешили, и он снова уткнулся в страницу.

— Возьмите себе,— милостиво разрешил Курчев и сам же покраснел.

— Спасибо, я дома получаю.— Очкарик дернулся, как от пощечины, и возвратил журнал.

Курчев скатал его в трубку и сунул в карман шинели, но журнал там не умещался.

«Черт, и сумки не взял. В урну, что ли, кинуть? Пижон проклятый,— ругнул он себя.— Позвонить снова старушечки,

узнать, где этот дом отдыха? Может, успею сегодня съездить? Съездишь, как же,— передразнил себя и снова закрылся в автоматной будке.— Она с Алешкой в Питер умоталась. А дом отдыха — это для домашних».

Он набрал номер Сеничкиных.

— Да,— отозвался голос министра.— Борис? Далеко? Дуй сюда. Пообедаем вместе.

— Сейчас буду,— обрадовался Курчев и кинулся к такси.

— Давай поухаживаю,— сказал министр, стаскивая с племянника шинель.— Что, тоже купил?

— Чего? — не понял Борис. Он улыбался, глядя на дядю Васю. Дядя высился в коридоре, огромный, без пиджака, в одном жилете, похожий на цивилизованного купчину или американского заматеревшего боксера, оставившего ринг. За ворот свежей рубахи была заправлена накрахмаленная салфетка.

— Прасковья Прокофьевна, тащи еще прибор,— крикнул дядя Вася.— Тетя Оля на совещании, так мы с тобой по-холостяцки,— он подмигнул племяннику и достал из буфета бутылку армянского коньяка.

Гостиная вся светилась, будто солнце било в нее не из окна, а со всех четырех стен. Шелковая спина дядькиного жилета сверкала, как выпуклое зеркало.

Горбатенькая домработница внесла тарелку с супом.

— Ни-ни, не убирай,— воспротивился министр, когда она хотела переложить на диван «Огонек», раскрытый на портрете Сталина, и третий номер «Нового мира» в картонной обложке, который (Курчев помнил) стоил на два рубля дороже.

— Вон, гляди. Видел? — дядя Вася взял «Огонек».

— Неизвестный снимок,— сказал Курчев. На Сталине не было погон, хотя фотография была явно последних лет.

— Неизвестный?.. Зато самый что ни на есть похожий. Такой и был. А все известные — намалеваны, ретуши на них больше, чем снимка.

— Часто его видели?

— Часто не часто, а приходилось. Ты вспомни, год назад что было? А теперь — всего один портрет.

— Так сегодня только второе.

Курчеву хотелось есть. Суп стыл в тарелке, а дядька, воодушевленный фотографией, все не разливал коньяк.

— И пятого не будет. Вот снимок, стихи — и все. Есть постановление — одни рождения отмечать.

— Да, я слышал.

— А чего слышать? В газетах было. Стихи прочел?

— Какие?

— Журнал купил, а стихи не читал. Спереди они. Сейчас покажу. Вот выпьем только. Ни-ни, в память не чокаются! — Василий Митрофанович отвел рюмку.

— Так ведь еще только второе.

— Все равно. По нему можно отмечать всю неделю. Вот, послушай. Или голодный? Так ты ешь, а я тебе главное. Где оно? Я вроде подчеркивал.

Дядя Вася пошарил на столе, искал очки, но не нашел и кликнул домработницу. Она принесла, но слабые. Тогда, держа журнал на отлете, он стал громко, но запинаясь, читать как в ЦПШ (так шутя сам же называл церковноприходскую школу):

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.

— Понимаешь, Борька, а?! Да нет. Тебе не понять. Ты сирота...— Он запустил свободную руку в негустую шевелюру племянника.— Вот это стихи! Не то, что контрика — как его фамилия — запамятовал. Алешка с Марьяшкой увлекаются.

— Гумилев.

— Верно. По кронштадскому мятежу припух.

— После, дядя Вася.

— Не спорь, по кронштадскому... Вот еще слушай:

И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возраст входишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец — наставник твой и друг...
Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.

— Здорово, правда?

— Угу,— кивнул Курчев, наклоня тарелку от себя, как учила Клара Викторовна.

— А ты говоришь!.. Давайте, Прасковья Прокофьевна, второе. Еще по одной примем?

Горбатенькая внесла шипящую, сверкающую, как чайник, сковородку. Министру наложила жаркого с верхом, а лейтенанту деликатно, чуть прикрыв донышко тарелки.

— Чего жидитесь? — Василий Митрофанович сдвинул брови.— Солдата накормить не можете?

— Алексей Васильевич и Марьяна Сергевна не кушали...

— Клади все. Еще сочинишь. Подумаешь, пища. Голод на Волге, да?

— Мне больше не надо.— Курчев отодвинул тарелку. Он обрадовался, что Алешка в Москве и дом отдыха не камуфляж.

— Ничего, не красней.— Министр снова погладил его.— Весь уют нам испортила, Прокофьевна.

— А мне чего? Я, как велено,— ухмыльнулась горбатенькая и вывалила лейтенанту в тарелку всю сковороду.

— А, мать ее, бляху кривую,— пустил ей вслед министр.— Сбила меня. Придется дожать бутылку. Как полагаешь?

— Я-то всегда...— ухмыльнулся Курчев.— А как Ольга Витальевна?..

— Ну, ты это брось,— подмигнул Василий Митрофанович.— Это бабка твоя, царствие ей небесное, все пела, что я подкаблучник. А я просто уважаю тетю Олю. Уважаю и люблю. И обижать ее ни к чему. Люблю и уважаю,— повторил министр с вызовом.— А ты — нет. Но я тебя, Борис, все равно люблю. Ты мне родная кровь. Ты один да Надька... А Надька начала... Догадываешься?

— Нет,— солгал Борис. Он понял, что дядька не пьян, а напиток хочет, чтобы его пожалели.

— Да-да, племяш. Начала. Оленька ее накрыла. Ну, что будешь делать? Позор на мои седины! — он провел ладонью по вполне плешивой голове.— Как помер отец родной, все сикось-накось пошло.

— Так это же не связано...— сказал Борис. Он быстро справился с жарким и допивал компот.

— Не связано? Как же... Все в заёме, то есть, сбился... взаиме... Алешка из института придет, объяснит тебе по-ихнему. А я тебе по-нашему, по-старому, так скажу: пришла беда — отворяй ворота. Может, коллективом, руководством коллектива чего и сможем, но того порядка уже не будет.

Министр вылез из-за стола, пересел на диван, указал племяннику на место рядом с собой.

В коридоре раздался звонок, в комнату вошла горбатенькая и сказала, что вернулся шофер.

— Пусть ждет,— отмахнулся Василий Митрофанович.— А, все равно!..— Он посмотрел на красивые импортные часы на широком белого металла браслете.— Скажите, пусть едет один. У меня что-то с давлением.

— Я здесь,— ответил из коридора высокий голос.

— Хорошо. Скажи, Вадим Михалыч, Крючкину, что с давлением у Сеничкина непорядок. А завтра подавай обыкновенно.

— Ясно.

— Вам плохо? — спросил Борис.

— Да нет. Это я так... Чего на полчаса ехать, груши околачивать? Мы теперь ночами не работаем. Забота об людях, — усмехнулся дядя Вася, видимо кого-то передразнивая.

— Так ведь сейчас лучше, чем при нем, — не удержался Борис.

— Кому лучше, а делу — вред. Вон я тебя давно не видел. — Он обнял племянника. — И на дело плюнул. Пусть до завтра ждет. И другой так, и третий... Нет никого над нами. До шести вечера сидим, а там — шабаш. Иди домой ящик глядеть... — он кивнул на покрытый черной бархатной накидкой большой телевизор. — Шесть часов пробьет — наверху пусто. Чувствуешь? Все равно, как если бы Господь Бог на небе в четверть седьмого пошабашил и айда вселенная до утра без хозяина.

— Похоже, — усмехнулся Курчев. Он хотел спросить, придумал дядька сравнение сам или от кого-то услышал, но не решился.

— Если б год назад, вернее, полтора, работали только до вечера, тебе б меня сейчас не видать. А дознались бы, что мы родичи, тебе бы лейтенанта не приклеили.

— Так тухло было?

— Ага. Сталин меня спас. В четверть третьего утра...

— Надо же, — только и сказал Курчев, боясь расспросами спугнуть разговорившегося родича.

— Спас, — повторил тот. — Синоптики, бляхи, подвели. В позапрошлом году, помнишь, авиационный парад переносили. Это из-за меня. Натерпелся я тогда, Борис. Назначили праздник. Меня само собой не спросили. Я своим говорю, чтобы погода была. А они, сволочи, отвечают: «Не будет погоды, Василий Митрофанович. Не будет — и все». Ну, что тут делать?! Я вашему теперешнему министру: «Не будет погоды, товарищ заместитель Председателя». А он матом: «Я тебя так и переэтак, Сеничкин. Цыц, мол, и смолкни». Ну, я молчу. А в самый парад полил дождь. Я, Борис, честное слово, думал застрелиться. Тут еще ваш козел бородатый, маршал обозный, по вертушке мне хвост накручивает: «Я тебя, Сеничкин, в дым... Я тебя перетебя...» Отвечаю: «Слушаюсь. Будет сделано, товарищ заместитель Председателя». А ведь предупреждал его, дурака, что чистого неба не будет, но про это ни-ни, не заикаюсь. Дальше — хуже. Маленков звонит. Голос, как стук в дверь, когда ночью приходят: «Мы вам доверили, товарищ Сеничкин, ответственное дело, а вы подвели партию и народ». Без мата, но лучше бы покрыл четырехэтажным. «Как с вами поступить, товарищ Сеничкин? Можно ли доверять вашей партийной

совести?» Что тут скажешь? Сажу один в своем кабинете, как в Бутырках. Домой не иду, хоть и воскресенье. Тетя Оля звонит. Я ей: «После, милая, после». Чувствую, что-то еще будет. И не подвела нюхалка. В третьем часу звонок. Поскребышев: «С вами будет говорить товарищ Сталин». И знаешь — выручил. «Мы вам доверяем, товарищ Сеничкин», — так и сказал. «Парад переносим на неделю. Но вы уж нас не подведите». «Будет сделано», — отвечаю. Как на магнитофоне, вот здесь записалось, — министр постучал пальцами по жилету слева. — Больше ничего не сказал. Ну, я неделю, можно сказать, не жил. Но, верно, Бог есть. 24-го числа было полное солнце. Вот оно как. А не будь самого, меня бы еще до ночи взяли да под белы руки и увезли. Век ему не забуду, хоть его и нету.

Раздался звонок, пришла тетка и устроила Курчеву разнос за то, что подбил Василия Митрофановича на выпивку.

— У него давление. Ему нельзя. Ты, кажется, знаешь, а все равно мимо бутылки...

— Три рюмки, только три, Оленька, — сопел министр.

Курчев рассчитывал переночевать у Сеничкиных, но разозлился на министершу, потому, не дождавшись Алешки с Марьяной, схватил журнал и выскочил на улицу.

Начинало темнеть, и надо было убить время. Заваливаться раньше одиннадцати в офицерское общежитие («коробку») смысла не было. Могли, не разобравшись, упечь куда-нибудь в наряд, а, разобравшись, попросту выставить. «Коробка» предназначалась для только что выпущенных, ожидавших назначения офицеров. После одиннадцати жизнь в ней замирала. Караульные у ворот пропусков не спрашивали, а на офицерском этаже в одном из кубриков всегда пустовали койки. Важно было явиться не чересчур бухим, чтобы не обчистили. В «коробке» вечно воровали, хотя офицеры все время менялись.

Не завел опорных мест, ругнул себя Борис.

Год назад во время курчевского военпредства техники-лейтенанты шарашили по всей Москве и по окрестностям. Многие заимели кучу адресов. Некоторые даже женились. А Курчев, как в студенческие годы, торчал больше в читальнях, и знакомых женщин, кроме Клары Викторовны, у него не появилось.

В конце концов, не придумав ничего лучшего, он спустился к зоопарку. Напротив него, в кинотеатре «Баррикады», шел итальянский фильм «Рим в одиннадцать часов», и хвост стоял не слишком длинный. Курчев купил билет на восьмичасовой

сеанс, но времени еще оставалось вагон, и он снова позвонил Инге.

На этот раз трубку снял мужчина. Ясно было, что это не муж, а отец или сосед, но Курчев растерялся, повесил трубку и набрал домашний номер Крапивникова.

— Где вы? — раздался веселый голос. — Давайте одна нога здесь, другая там. Собралась славная компания. Да, захватите, пожалуйста, горячего. Две бутылки, больше не стоит. Лучше всего коньяку, а к нему лимонов. Тогда не нужно закуски.

— Ясно-понятно! — ответил радостный Курчев и, забыв про «Рим в одиннадцать часов», бросился в магазин.

Через четверть часа с двумя бутылками грузинского коньяка и четырьмя лимонами, которые топырили карманы и без того тесной шинели, он постучал в крапивниковскую дверь.

— А! Принесли?!

Лысый человек в роговых очках выхватил из его рук журнал.

— Входите, входите!

Из полутемного коридора Курчев попал в комнату, немногим светлее. То ли плохое освещение, то ли старая мебель и пожелтевший печной кафель придавали ей запущенный вид; однако холодное оружие, висевшее на ковре вдоль одной стены, наделяли ее тайной. Борису тут понравилось больше, чем у чистоплотных Сеничкиных. Ему никто не предложил раздеться, он смущенно вытащил из карманов бутылки и лимоны.

— Выставии юношу, Юочка, — програссировала очень симпатичная средней молодости женщина. Она сидела с ногами на длинной тахте; тахту покрывал спущенный со стены ковер. Хотя в комнате было холодновато, женщина прижималась щекой к широкому лезвию меча. Симпатичную женщину обнимал чернявый мужчина. Он был то ли пьян, то ли нагл, но обнимал ее так, словно в комнате они были одни. Женщина, видимо, не придавала этому никакого значения, но Курчева это озадачило: про реферат при таких не поговоришь...

В комнате был еще один крупный лысый мужик, он понимающе улыбался лейтенанту; дескать, не тушуйся. Лысый сидел в углу у печки и, несмотря на то, что был в свитере, очевидно, мерз.

— Молодец, Борис Кузьмич, — пел меж тем хозяин. Он открыл журнал, вышел на середину комнаты под висячую лампу и собрался, так же как министр, читать поэму.

— Оставь, — бросил с тахты чернявый, которого Курчев мысленно обозвал жуком.

— Хватит с нас, Юочка, сейвиистов, — медленно и капризно протянула женщина, не отрывая щеки от меча.

— Лучше выпьем, и я пойду,— сказал мужчина в свитере.
— Глупцы! — не унимался хозяин.— Тут не сервизизм, а бунт. Вот, глядите:

Да, это было наше счастье,
Что жил он с нами на земле.

— Спасибо,— откликнулась женщина.

— Хорошо, хоть несчастье помогло,— вздохнул чернявый, не снимая пятерни с груди грассирующей женщины.

— Будет вам! — сказал мужик в свитере.

— А что! Юрка прав! — раздался приятный голос, и в комнате появился худощавый, очкастый человек, которого Курчев встретил днем на Комсомольской площади.

«И он же ожидал в Докучаевом! — осенило Бориса при виде поднятого воротника рваного демисезонного пальто и опущенных меховых ушей шапки.— Они тут все Ингу знают, она ведь, наверно, здесь жила»,— подумал Курчев, по-новому оглядывая комнату.

— Юрка прав,— повторил Бороздыка: он не узнал лейтенанта или притворился, что не узнает.— Это действительно выпад. Влетело же в прошлом году Симонову, когда он у себя в газете заявил, что задача нашей литературы воспеть Сталина, как некогда — Ленина! За то и погорел...

— Не слушайте их,— сказал мужик в свитере, подходя к Борису.— Я читал ваш опус. Вы умнее их.

— Да, да, простите, я зарапортовался. Вот сюда, пожалуйста... В коридоре случаются экспроприации,— засуетился хозяин: улыбка у него была какая-то обезьянья.

«На Радека похож»,— подумал Курчев, сбрасывая шинель на красного дерева невысокий комод, где вповалку лежали телогрейка, два мужских пальто и женская шубка из буроватого меха.

— Там еще про коллективизацию есть,— сказал Бороздыка. Он выхватил у Крапивникова журнал и красивым голосом с надрывом запел:

Суровый год судьбы народной —
Страны Великой перелом —
Был нашей молодости сходной
Неповторимым Октябрем
Ее войной и голодухой,
Порывом, верой и мечтой,
Ее испытанного духа
Победой. Памятью святой
Ночей и дней весны тридцатой,
Тогдашних песен и речей,
Тревог и дум отцовской хаты,
Дорог далеких и путей;

Просторов юга и Сибири
В разливе полном тысяч рек —
Всего, что стыло в этом мире,
Чем наш в веках отмечен век...

— Темно,— сказал мужик в свитере.

— У него отец раскулачен. Он ведь про ссылку пишет.

— Тем боее темно,— сказала женщина. Она оттолкнула чернявого мужчину и спустила ноги на пол.— Хоодно у вас, Юочка.— Она подошла к старому, тоже красного дерева, буфету и достала желтые, как печные изразцы, крохотные кофейные чашки.— Не хочу, Ига, с'ушать этой адости.

— Вправду, Ига, надоело,— сказал чернявый и тут же переключился на Курчева: — Лейтенант, вы пятого марта плакали?

— Шестого,— уточнил Бороздыка, теперь уже с интересом приглядываясь к Борису.

— Плакал,— ответил Борис.— Мне в очереди новые хромачи добела ободрали. Теперь вот в чем хожу,— и он поднял свой милицейский сапог.

— «К стыду народа своего вождь умер собственною смертью»,— неожиданно продекламировал мужик в свитере.

— Вот это стихи,— сказала женщина, расставляя чашечки на ломберном столике.

— Стихи слабые, смысл великий,— ответил мужик в свитере, открыл бутылку, разлил по чашечкам коньяк, но чокнулся с одним Борисом.

— Рад, что познакомился. Счастливо.

Он подошел к комоду, вытащил из-под курчевской шинели потрепанный ватник и ушел.

— Не обращайтесь внимания,— улыбнулся хозяин.— Он слегка со странностями, но художник великий!

— А картины поглядеть можно?

— Он не 'юбит показывать. Пока свет'о пишет, а п'и эктичестве его касок не азгьядите.

— Единственный образованный художник,— сказал Бороздыка.

— Что ж, пока мы воевали, он Гегеля читал,— отозвался чернявый.

— Юочка тоже читай. Один ты, Сейж, темный.— Женщина возвратилась с кофейной чашечкой на тахту и теперь сама обняла мужчину.

— Вот, рекомендую. Супруги. Восемь лет вместе, а обнимаются только в гостях,— сказал Крапивников.— А это Ига Бороздыка. Кандидат наук. Прошу любить и так далее.

— Вас я сегодня видел,— не удержался Курчев.
— Возможно,— высокомерно кивнул Игорь Александрович.
— Внешность запоминающаяся,— зевнул чернявый.
— Заткнись,— дернулся Бороздыка.
— Будет вам. Офицей что подумает. Аз'ии бы еще.
— Алкоголичка на мою голову,— вздохнул чернявый и налил во все пять чашек.

— За вас, Борис Кузьмич,— поклонился Крапивников.— Дай вам Бог счастья и свободы. Чего куксишься, Ига? Тебе не понравился реферат?

— Понравился,— промычал Игорь Александрович.— Но вообще-то...

— Если критикуешь, не пей,— сказал чернявый.— А мне понравился, и я еще налью.— Он пододвинул к тахте ломберный столик.

— Не спешите: товарищ прокурора придет, ему оставьте,— улыбнулся хозяин.

— Тогда, наоборот, поспешим. Ваше здоровье, лейтенант. А доцент, если хочет, пусть сам приносит.

— Ты несправедлив, Серж,— сказал хозяин.— Товарищ прокурора никогда не скупится.

— Вы об Алешке? — спросил Курчев.

— О нем,— кивнул Бороздыка.— Сейчас вы скажете, что Марьяна Сергеевна следователь.

— Брось. К чему детали? — отмахнулся Крапивников.

— Это из «Воскресенья». Я знаю,— сказал Борис.

— Опасный чеовек,— засмеялась женщина.— Тойко, пожалуйста, нас не азобачайте.

— Пустяки.— Крапивников актерски размахивал руками.— Алеша наш друг и товарищ. Наш, а не какого-то прокурора. И ты, Ига, не ревнуй. Борис Кузьмич, ему понравился ваш опус. Правда, Ига?

— Я уже сказал. Во всяком случае, больше, чем писанина доцента.

— Тогда напечатайте,— сказал Борис.

— Где? — засмеялся Крапивников.— Укажи мне такую обитель?! Не надейтесь, Борис Кузьмич. Вам на роду написано не печататься.

— Вы меня утешили.

— Это в самом деле так,— кивнул Бороздыка.— Вам, лейтенант, публиковаться не светит. Вот вашему кузену...

— Не ревнуй. Я же просил...— повторил Крапивников.

— Это что... про Ингу? — спросил чернявый.

— А ты о ком думай? Это о ней, об очаоватейной Инге:

У Юы — амуы, у Иги — веиги,— продекламировала женщина.
Все засмеялись.

— Вы правы,— сказал Крапивников,— но только насчет вериг. Ига женится.

— На Инге? Вот счастливчик! — вздохнул чернявый, но Крапивников тут же внес ясность:

— С Ингой Антоновной я еще сам, грешник, не развелся. А Ига женится на очаровательном существе, представительнице братского татарского народа Зареме Хабибулиной.

— Моодесь! — воскликнула гостья.

— Татарское иго в миниатюре,— буркнул ее муж.

— Поосторожней,— вспыхнул Бороздыка.

— Пайдон, пайдон, как сказала бы моя жена,— засмеялся чернявый.— А Инга, выходит, свободна. Или товарищ прокурора?..

— Вы как об обмене жилплощади,— не выдержал Курчев, но все же постарался придать голосу максимум безразличия.

— О, кругом сплошные высокие чувства! — деланно воскликнул чернявый.— Лейтенант, выходит, соискатель.

— Кони вороные нам не ко двору,— сказал Борис.

— Ысаки, Ысаковы,— засмеялась гостья.

— Бросьте, в конце концов, она моя жена,— сказал Крапивников.

— Тебе бы, Юрка, держать гарем, а евнухом для учета — Игу,— сказал чернявый.

— Заткнись или выйдем в коридор,— вскипел Бороздыка.

— Пожаейте его, Игочка!

Курчеву стало жалко Бороздыку, такого тощего, взъерошенного.

— Однако доцента нету,— миротворчески вмешался Крапивников.— Откупоривай вторую, Серж. Вы, лейтенант, не возражаете? Впрочем, он обязательно принесет. Явится с мадам. Они разводятся.

— Шутка? — не понял Борис.

— К сожалению, нет.

— Давай мы тоже азведемся,— сказала гостья.

— Если хочешь,— ответил муж, и Курчев понял, что у них тоже не ладится.

— У вас тут, как в нарсуде,— сказал он, чувствуя, что в легком подпитии переходит пределы, отведенные человеку, впервые очутившемуся в чужой компании.

— Да,— подхватил хозяин,— суд не суд, но что-то вроде церкви. Остается в попы постричься.

— А что? — сказал чернявый. — Она падает на колени. «Я другому отдана и буду век с ним мыкаться», а Юрка гладит ее и приговаривает: «Крепись, дочь моя».

— Перестань, — крикнул Бороздыка. — Как ты смеешь надругиваться...

— Над святыней? Знаю. Читал. Достоевский на Тверском бульваре.

— Да, Достоевский.

— Успокойся, — перебил Крапивников.

— А почему? Пгодойжайте, — сказала женщина. — Подойжайте, Ига. Объясните, почему Сейжу нейзя угать Татьяну Аину?

— Бросьте, — сказал Крапивников.

— Потому что Пушкин — наша гордость и единственное наше спасение, — ответил Игорь Александрович.

— Я думал — Булгарин, — не выдержал Крапивников. Курчев не понял, супруги, видимо, тоже.

— Сейж тоже усский, — сказала женщина.

— Только по матери, — уточнил чернявый. — Это, кажется, для них недостаточно.

— Для кого — для «них»? — спросил Курчев. Ему не ответили.

— Больше тебе, Юрка, ничего не скажу, — покраснел Бороздыка: он обиделся за Булгарина, хотя и сочинил о нем пока лишь одну фразу. — Да, Пушкин — наше спасение. — Он обернулся к супругам.

— От инородцев? — спросил Серж. Теперь его голос звучал серьезно.

— Не только. От развала, от гнилья. От всего.

— И от Запада? — спросил Крапивников, который тоже посерьезнел.

— Да! Да! От Запада и от Востока!

— А как же «друг степей калмык»? — спросил Курчев, раздосадованный, что ему не отвечают.

— С калмыками все ясно, — отмахнулся Серж.

— С калмыками был интересный эпизод. Кстати, это и к Пушкину относится, — сказал Крапивников. — Когда было полтора года? В сорок девятом? Мне рассказывали, 6 июня высланный в места отдаленные весь калмыцкий народ, как один человек, на работу не вышел, а потянулся Бог знает за сколько километров в район, где имелось радио. Шли толпой, прямо как цыгане. Но в отличие от цыган пешком. Знали, юбилей, и без «Памятника» не обойдется. И все гадали, скажет или нет? Вся нация замерла... А он на финне оборвал...

— Калмыки воевали против,— сказал Бороздыка.

— А ты — за?.. Да и не все против. Многих после войны в Берлине в «столыпины» запикивали. Так с орденами и ехали.— Чернявый опрокинул последнюю порцию коньяка.— Пойдем, Танька, больше уже ничего не будет. И доцент ничего не принесет, поскольку не явится.

Вот тут-то и ввалились Сеничкины.

— Салют!

— Привет!

— Дай облобызаю,— галантно обнял Крапивников Марьяну и поцеловал в губы.

— Давно не чмокались, Юрочка,— усмехнулась та.— Здравствуй, Танька. Мы разводимся.

— В добрый час.

— А ты как здесь? — спросил Сеничкин Бориса.— Нечего тебе тут делать. Написал, что я велел?

— Здравствуй, Боренька! — оттолкнув мужа, Марьяна кинулась на шею лейтенанту.— Мы с ним разводимся!

Курчева она тоже поцеловала, и он, хоть и сам выпил, услышал запах спиртного. Но ему все равно были приятны ее пухлые, упругие, а теперь еще и холодные, с мартовского мороза, губы.

— Бросьте лизаться,— сказал доцент.— Не дразни солдата. Ему надо в казарму.

— Я в городе ночью,— огрызнулся Борис.

— Выпивки не принесли? У нас кончилась,— сказал Крапивников.

— Мы, Юрочка, с банкета. Я хотела стащить бутылку, но бывший супруг не позволил.

— Не смешно,— сказал Сеничкин.

— Кто защищался? — ревниво спросил Бороздыка.

— Витька Поздеев.

— Хриstopродавец.

— Ну, вы слишком. Немного есть, но на полного Искарриота не тянет,— улыбнулся Сеничкин.

— Точно, Искарриот,— засмеялась Марьяна.— Зря бутылку не утащили. А то целых три часа: Чернышевский, Чернышевский и еще этот, как его, Варфоломей?..

— Зайцев,— подсказал Бороздыка.— Тоже сволочь.

— Ну, зачем же так? — улыбнулся Крапивников.— Иго-руша сегодня перебрал. Борис Кузьмич многовато принес.

— Гуляет армия,— буркнул Сеничкин.— Ты что, демобилизоваться раздумал? Почему не пишешь? Я же велел.

— Он уже написал, и весьма толково,— сказал Крапивников.

— Это? Про обозника? Лучше бы, как Витька, про Чернышевского, раз языков не выучил.

— Ненавижу Чернышевского,— вмешался Бороздыка.

— Почему же? Примечательная личность,— возразил хозяин.

— Никогда не читала,— влезла в разговор Марьяна.— Помню только, что чем-то от него веет.

— Духом кассовой бойбы.

— Христопродавец,— повторил Бороздыка.

— Какая тебя сегодня муха укусила? — удивился хозяин.— Славянофилы, Ига, хорошие люди, но и западники не хуже.

— Нищие духом!

— Да, «Дон Кихот» бый написан в Суздае.

— Ига, сбавьте пены или найдите себе женщину, а то ваша озабоченность из всех дыр лезет,— не выдержала Марьяна. Она на дух не переносила Бороздыку.

— Уже нашел. Повернулся, так сказать, к востоку,— усмехнулся чернявый Серж.

— Я бы поговорил с тобой,— насупился Бороздыка, вытащил из кучи сваленных пальто свое обтерханное и, повернувшись к Курчеву, повелительно спросил:

— Идете, лейтенант?

— Иду.— От неожиданности Курчев тоже взял шинель.

— Куда ты? — обняла его Марьяна.— В свою Тьмутаракань?

— Да нет. Я сегодня в «коробке». Свекруха твоя меня шуганула.

— Денег попросил? — усмехнулась Марьяна.— Не надейся. Это министр так... расчувствовался.

— Не язви,— сказал Сеничкин.

— Нет, не денег... Просто мы выпили по поводу смерти вождя — как-никак послезавтра годовщина.

— Каждый за свое? — спросили разом Татьяна и Крапивников.

— Примерно.

Курчеву не хотелось ругать дядьку, к тому же он торопился в «коробку». Дело шло к одиннадцати.

— Заходите завтра,— сказал Крапивников.— Сегодня у меня шумно.

— Завтра — вряд ли. Завтра у меня решается...

— Что решается? — спросил Сеничкин. Он примостился у печки, где прежде сидел художник.

— Судьба. Я написал Маленкову.

— Тогда понятно,— вздохнул доцент; он вспомнил, как ждал Ингу у Кутафьей башни.

— Чего тебе, Алешенька, понятно? — не удержалась Марьяна. — Ты просто ему завидуешь. Знаете? — Она развела руками, словно бы приглашая всех участвовать в изобличении мужа. — Смешно, но бывший мой супруг завидует Борьке. Правда, Алешенька?

— Завидую, завидую...

— Не хочешь спорить, думаешь — я дура. Но все и так видят: у Борьки — слог, у Борьки свои соображения. А у тебя одни цитаты и связки между ними дубовые. Дуборез ты, Лешенька.

— Ампула четвертое: Марьяна Сергеевна в роли государственного обвинителя, — раздраженно сказал Сеничкин. — Идем, — сказал он Борису. — Мать небось давно спит.

— Он у меня переночует, — властно сказал Бороздыка, словно ему поручено было оберегать Курчева.

— Пойдемте, — кивнул Борис. — А ты, Алешка, не разводишь. Видишь, какая она красивая.

— Не беги, Борька, дай поцелую, — крикнула Марьяна, но Бороздыка уже вытащил Курчева в коридор.

К ночи опять завернул холод, и, несмотря на выпитое, Борис мерз в узкой шинелишке. Бороздыка тоже дрожал в своем пальтеце, и поначалу они молчали.

«Надо было в «коробку». Чего я поперся за ним? — думал Борис. — Небось какая-нибудь халупа. Не приткнешься».

— Может, подъедем? — предложил он.

— Дойдем.

— До вокзалов? — удивился Борис.

— Почему — вокзалов? Ближе.

— Я вас там сегодня видел.

— Это я от женщины шел.

— Однако, поздно, — пошутил Борис.

— Так уж вышло, — скромно засмеялся Бороздыка. — Но сегодня у меня ночь свободная. Заварим кофейку, поговорим о серьезном.

По поводу кофе у Курчева не было определенного мнения. Он помнил, что кофе по-турецки заказывают в кабаках в самом конце программы, но можно обойтись мороженым или глянсе.

— У Юрки милый дом, но компании стали отвратительные, — сказал Бороздыка. — Как вам понравилась эта кривляка? А муж — прямо жук на палочке. Новоиспеченный гений. Пробивной и дошлый, хотя пока ни славы ни денег. Все накануне. Но скоро будет праздник на его проспекте.

- Талантлив?
- Нет. Прозападно-еврейский вариант. Сейчас для них самое время. Космополиты снова полезли.
- Вы серьезно?
- Вполне. Русскому человеку сейчас очень плохо.
- Чем? Я думал, евреям плохо. У нас после училища их в самые дыры распихали, а под Москву — никого.
- Невелика беда! А русскому человеку уже тридцать семь лет плохо. Со станции Дно, где государь отрекся.
- Так ведь он немец был.
- Ерунда. Бульварщины, дорогой мой, начитались. Какой там немец? Разнесчастный русский человек.
- Чудно! А как же «тюрьма народов»?
- Никак. Не было тюрьмы. Была держава. В чем-то даже прекрасная. С реформы 61-го просто великолепная. Гласный суд. Земство. И на тебе!.. Чернышевский к топору!.. А евреи и всякое польское отребье — за бомбы. Кстати, Ингин двоюродный дедушка тоже вложил лепту. В Освободителя метнул.
- Так вы и поляков не любите? — не утерпев, перебил его вопросом Курчев.
- Ранодушен, — отмахнулся Бороздыка.
- А я поначалу думал, вы поляк или еврей. У вас фамилия чудная. Да и вид ненашенский.
- Я потомственный дворянин.
- «Пойди проверь», — подумал Борис.
- Мне один приятель говорил, — сказал вслух, вспоминая последний разговор с Гришкой, — что всех дворян в расход пустили или выслали.
- Было такое. Но в основном в Петербурге. А я вот уцелел, зачем — сам не знаю.
- Кокетливая фраза требовала немедленного опровержения, но Борис, пропустив ее мимо ушей, спросил:
- А почему все-таки русским плохо?
- Они шли вверх по бульвару. Несмотря на худобу, Бороздыка задышался.
- Растлили их. Видели кривляку? Из чудесной семьи, а за кого вышла? За жука-прохиндея. Заразилась его цинизмом и сама насмехается: «Дон Кихот» бый написан в Суздае». При чем тут «Дон Кихот»? Изгадили страну изнутри и снаружи. Крым хохлам отдают...
- Да ерунда это — там же нет границ...
- Не в границах, лейтенант, счастье. Границы нынче ничего не значат. Евреи, те вообще нация без границ. В любую дырку влезут. Прав был Федор Михайлович, защищая черту оседлости.

— Просто Достоевский никого не любил,— сказал Курчев.— И поляков, и немцев с французами — в общем весь Запад. По-моему, просто боялся.

— Кого? — вскрикнул Бороздыка.— Кого русскому человеку бояться? Русский человек — носитель истины, а истина бесстрашна и бессмертна.

— Спорьте, сколько хотите, но Достоевский боялся Запада. И поляков боялся. Сколько восстаний они тогда поднимали! Но почему невзлюбил евреев, этого не знаю. Может быть, за то, что Христа распяли. Но Христос сам был евреем, так что там так на так выходило...

— У вас, лейтенант, в голове каша. Каша и каша, и еще раз она самая. Достоевский никого не боялся. Он лишь не хотел, чтобы нечистый дух Запада, дух стяжательства, скопидомства, немецкого бюргерства, французской скаредности, английского высокомерия и еврейского прохиндейства растлил чистое русское сердце. Русская душа была призвана спасти Европу. Русский народ богоносец, а его развратили, испоганили. Нам сюда,— Бороздыка свернул с бульвара и, перейдя трамвайную линию, потащил Курчева в проулок.— Достоевский страшился, что народ забудет о своем предназначении. Так оно и случилось.

Борис заметил, что чем дальше они отходили от крапивниковского квартала, тем больше важничал его спутник, а в этом глухом, недоступном ветру проулке в голосе Бороздыки даже зазвучало презрительное, как у экзаменатора, добродушие.

Они свернули в подворотню большой шестизэтажной коробки тридцатых годов. Курчеву казалось, что Бороздыка должен ютиться в какой-нибудь деревянной халабуде. Но дом, хоть и обшарпанный, был на порядок выше крапивниковского.

«Авось клопов не будет»,— обрадовался Борис.

— Шестой этаж. Лифт не предусмотрен,— не теряя важности, оповестил Бороздыка.

— Достоевский писатель охранительный,— сказал Курчев, услышав тяжкое пыхтение хозяина.

В подъезде стояла тьма кромешная. Бороздыка шел на полмарша вперед.

— Помните детский стишок «Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн. Были три друга-товарища взяты фашистами в плен»? — спросил Борис. Молодой, хотя и заматерелый, он подымался, чуть ли не пританцовывая.— Так вот, первого стали допрашивать, молчал, второй молчал, а «третьего стали допрашивать, третий язык развязал. «Не о чем нам разговаривать»,— он перед смертью сказал». То же и Достоевский.

О чем ему было говорить с Западом, когда там в конце прошлого века были электрические доилки, а коровники чище наших госпиталей? Что о нем говорить, когда у нас под Москвой, где я служу, прошлой осенью колхозницы выкопали картошку, а председатель повез ее на базар и всю пропил? Потому и мечтал Достоевский о железном занавесе. Не для всех, конечно. Себе он разрешал в западную рулетку баловаться и женину русскую тальму бургерам закладывать.

Курчев нарочно злил Бороздыку: сам он Достоевского читал с восторгом, вместо лекций сидел в читалках, отламывая в кармане втихую по малому куску хлеба. Весь Достоевский (марксовского издания) был проглочен именно так, и потому сросся с кисловатым запахом черняшки и легкой изжогой.

— Не кощунствуйте! — прошипел Бороздыка, звякая ключом.— Сволочной замок...

Дверь все-таки открылась, и хозяин, схватив Курчева за руку и ступая на носках, протащил через темный, видимо заставленный сундуками и шкафами коридор.

Комната в свете настольной лампы без абажура была именно такой, как и представлял себе ее Курчев: грязной, пыльной и полной книг; вместо дивана тут стояла раскладушка со скомканной постелью. Письменный стол занимали чайник, сковорода и подстаканник, книги же заполняли стеллажи, два стула, подоконник и еще одна стопка, перевязанная то ли для букиниста, то ли только что купленная, громоздилась у самых дверей.

— Располагайтесь. Давайте шинель. Что еще осталось в нас русского, кроме таких ночных бдений?

— Ну, это как раз не русское — спорить полночь-заполночь,— сердито сказал Борис.— То есть русское, но оно от разночинцев пошло, от Белинского. А дворяне, как я понимаю, по ночам жженку пили,— поддел он хозяина, понимая, что выпивки тот не держит.

— Я вам кофе сварю,— сказал Бороздыка.— Ваш реферат меня заинтересовал, хотя вы бесконечно невежественны. Обижаться нечего. Ваш кузен тоже необразован. Но вы ищите, и я это ценю.

— Спасибо.

— Вы ищите, но вы не найдете. Что значит последний человек? В сталинской формулировке (помните?) и то больше духовности, чем в вашем реферате. Отрицание религиозности порой есть выражение скрытой духовности. Ваше же отрицание — просто нуль. Мистика — высшее достижение человечества. Высшее, лейтенант.

Бороздыка достал из ящика письменного стола банку с кофе, но она оказалась пустой. Тогда он, сев на раскладушку, сказал печально и важно:

— Если вам непременно нужно выпить, можно раздобыть у таксистов.

— Не надо. Мне с утра к начальству.

— Кончился кофе. А то бы я вам дал зерен пожевать. Отбивает запах,— усмехнулся Бороздыка.— Так вот и живем...— Он обвел рукой комнату.— Зато не служим, и, главное, никому не кланяемся. За свободу надо платить, молодой человек.

— Разумеется. А вы свободны?

— Да. Что-что, а свобода у меня совершенно моя, как сказал бы Федор Михайлович. Вот этого я ни на что не променяю. Ни на красивую мебель, ни на красивую женщину для мебели.

«Это он про Ингу»,— подумал Курчев, чувствуя, что любопытный разговор все-таки состоится.

— Я свободен, хотя и загнан. Я свободен, но я как кладбище. В этом столе...— он показал на сковороду,— и вот здесь,— он осторожно похлопал себя по лбу,— столько похоронено, столько начато и не завершено, что хватило бы на три Оксфорда и две Сорбонны.

— Почему так?— лениво спросил Курчев: ему хотелось, чтобы разговор повернулся к реферату или к таинственной Инге.

— Почему? Лейтенант, вы не младенец. Сами понимаете, что сейчас ничего не опубликуешь. Все перекрыто. Даже пробовать нечего.

— А вы пробовали?

— Нет. Я выше этого. Просить, умолять, к тому же корезить свои мысли,— нет уж, увольте.

— Дайте почитать,— сказал Борис.

— Не могу. Я пишу для себя. Я не тщеславен.

— Но мне вправду интересно.

— Перетоскуете,— отрезал Игорь Александрович.— Я, повторяю, не тщеславен. Чужое мнение меня не интересует. Раз нельзя публиковаться и просвещать народ, нечего и писать. Что толку, лейтенант, от вашего реферата, если его не напечатают и дальше Крапивникова его и показывать небезопасно?

— Вроде так,— кивнул Курчев и вдруг, вспомнив, что часть третьего экземпляра куда-то исчезла, сказал с вызовом:— Но пока я не написал, откуда мне знать, можно это печатать или нельзя? Знаете, как в армии, «откуда ты знаешь, что приказ невыполним, если ты не пытался его выполнить»?

— Софистика. Софистика, демагогия и чепуха. Читайте лучше Леонтьева, Бердяева, и никакая аспирантура вам не понадобится. И оставайтесь в армии. Шинель вас прикроет. На хлеб зарабатывать вам не надо. А мысли ваши всегда при вас. Маршировать их никто не заставит.

— Как будто оно так,— кивнул Курчев.— Только офицер из меня, как из дерьма ракета, так что я демобилизуюсь. Жилье мне светит. Недалеко отсюда.

— Женитесь?

— Нет. А вы?

— Видимо, к тому идет. Не хочется, конечно. Но, с другой стороны, удивительное существо. Такой самоотверженности больше не встретишь.

— Простая русская душа,— с невинным видом поддакнул Курчев, вспомнив, что у Крапивникова невесту называли «татарским игом».

— Что значит — русская?! — взвился Игорь Александрович.— Я говорю о духе, а полового шовинизма во мне нет. И, кроме того, если хотите, татары спасли Россию.

— Вот как! — удивился Курчев. Он приткнулся у письменного стола, и его правую щеку припекала полуторасотсвечовая, лишенная абажура лампа.

— Да, они самые. Если бы не татары, мы бы превратились в безъязыких белорусов. Нас бы онемечили германские ордена. А татар мы растворили в себе. Собственно, иго и не было игом. Церкви трудились. Татары не вмешивались в наши дела. А посмотрите, что сделали немцы с Литвой и Белой Русью? Это же немые народы. Ни культуры, ни истории...

— Белорусы здорово партизанили. Да и литовцы тоже. Недаром их столько в Сибири очутилось...

— Вы снова, лейтенант, не о том. Вы слишком прямолинейны.

— Возможно. Только и война дело прямолинейное. Выходит, татары нас от немцев защитили. А почему мы сами от татар не защищались? Нас ведь больше было. Где тогда наша церковь была?

— Татары помогли сохранить русский дух. Через тернии к звездам. Слышали?

— Да. А со звезд нас стащили шестидесятники? Так я вас понял?

— Приблизительно. Через муки ига мы обрели национальную идею. Мы были духовнее татар. Татары нам не были страшны. А немцы...

— Были духовнее нас,— подсказал Курчев.

— Не спешите, молодой человек. Новгород не уступал Ганзе.

— Оттого-то его наши цари и жгли? — спросил Курчев. — Но где мне с вами спорить? Вон вы сколько прочли! — и он обвел рукой стеллажи и книги на полу и подоконнике. — А я всего-то и помню, что стишок Алексея Толстого «надели шаровары, поехали на Русь». Только что это за дух и что за идея, если они произросли из рабства?

— Междоусобицы всюду были.

— Всюду-то всюду, но у нас этого добра был перебор. Князья монголам нас прокакали. Потому я бы на месте дворян заткнулся и скрывал свое происхождение. Если кто и погубил Россию, так только они. И в давние века и в наш — особенно.

— Лейтенант, я готов делать скидку на комплексы, но все-таки нельзя давать им волю. Дворяне были единственным светом в русской тьме. Дворяне, а не купцы. Спросите детей. Все они хотят быть д'Артаньянами, Атосами. Все поклоняются королям и князьям — по Вальтеру Скотту, а не по Гайдару. Жажда благородства — первая потребность невинной души. Вы сами небось мечтали оказаться знатного рода.

— Нет,— соврал Борис.— Гайдара и Павлика Морозова я не чту, но и дворянство для меня — пшик...

— Что же для вас не пшик?

— Не знаю. Не стеснялся бы, сказал — истина. Но истина не может быть целью. Истина изначальна.

— Ничего, ничего, лейтенант,— подбодрил Бороздыка.— Кое-чего вы все-таки достигли. Вы мне нравитесь. Если человек ощущает свою бездуховность, значит, он не совсем бездуховен. Вы молодец.

— А если импотент ощущает свою импотентность, он уже не совсем импотент? — спросил Курчев и сам же рассмеялся.

— Вот мы и подошли к женщинам,— обрадовался Бороздыка и хихикнул.

— О них вам лучше с кем-нибудь другим поговорить. У меня с ними полное собрание неудач. Как говорят в нашем полку, набор колунов на шее.

— С Ингой — тоже?.. — не удержался Бороздыка.

— Нет. Я ее только раз и видел,— смешался Курчев и от смущения ляпнул: — А вот Крапивников был бы лихим попом...

— И кокнули бы его, как в стихке. Помните?

На заборе про актрис

Интересно пишут

— Ну-ка, батя, становись,

Прочитай афишу!

— Чудно,— усмехнулся Курчев.— Прямо как в цыганском хоре:

Эх, раз, еще раз,
Почитай афишу .—

пропел он хрипловатым от коньяка голосом.

— Ничего себе смех!.. Или приходилось?..— спросил Бороздыка.

— Что? — не понял Курчев, но тут до него дошло.— Нет, я — никого... Только однажды саданул в воздух,— прекратить самосуд.

— Значит, против расстрелов? Что ж, и на том спасибо. А знаете, кто этот подлый стишок сочинил? Уткин.

— Впервые слышу.

— Был такой. И знаете, как он кончил,— прибарахлился в Румынии, самолет не выдержал груза, и все расшиблись. Человек известной нации. «Почитай афишу», вот и дочитались. Поголовная грамотность. Все испохаблено!..

— Им тоже досталось,— сказал Курчев.— Прошлый год — дело врачей!..

— Что ж, я не за месть. Но ведь отчасти и поделом,— ответил Бороздыка.— Что они творили в России? Расправляться с ними, конечно, не следует — надо просто выслать всех на Иордан, пусть греются там на солнышке. «Почитай афишу!» Вы только вдумайтесь, лейтенант! Мерзавец Троицкий носился со своей черной матросней, пускал в расход направо и налево...

— Вы всерьез? Я думал, пускали в расход только в тридцать седьмом.

— Тридцать седьмой — это отголоски, эхо. Восстановление справедливости неправедными средствами. Те, кто поднял большевистскую секиру, через двадцать лет от нее погибли... Сталин хотел восстановить Россию, да поздно спохватился. Но, что мог, он сделал: выпустил священников, которые афиш не дочитали; армии честь вернул. Ведь есть же разница между погонами с просветом и без?.. Или вы сразу стали офицером?

— Не сразу, но разницы тоже нет,— солгал Борис.

Бороздыка все-таки нащупал его больное место. За день до производства в лейтенанты Курчев самовольно нацепил офицерские погоны, отправился в Питер и на Невском, закадрив шикарную девицу, завалился с ней в полуподвальный кабак. Погоны, несколько квадратных сантиметров белых ниток, сразу расширили его возможности.

Но сейчас, когда он думал лишь о демобилизации, вспоми-

нать о том первом загуле было стыдно, и он сменил тему:

— У вас что, многие так думают? — спросил он Бороздыку.

— Вопрос ваш не офицерский, а скорее полицейский... Но я отвечу. Группы у нас нет, но есть общее чувство и общая идея. Она овладевает всеми честными людьми. Собственно, она всегда жила в их душах, но ее глушила ложно понятая стыдливость.

— Понятно,— Курчев поднялся.— Извините, что спать вам не дал.

— Ничего. Я очень рад.

Перейдя Садовое кольцо, Борис прошел Докучаевым переулком, мимо Ингиного дома, к вокзалам. В зале ожидания было суматошно и дымновато, но он, перекусив у стойки, все-таки сумел подремать тут еще часа четыре.

В начале восьмого, протерев чистым, только что выпавшим снежком лицо, Курчев поднялся вверх от площади к Переяславке. В окнах Лизаветиной комнаты свет не горел. Возможно, за окнами вовсе никого не было, потому что через голые без занавесок стекла проглядывалась потолочная балка, которую Лизаветин муж Михал Михалыч несколько раз (впрочем, всегда в подпитии) грозился подрубить, чтоб обвалилась крыша, и тогда бы наверняка дали жилье. К счастью, выпивал Михал Михалыч редко и неосновательно.

Курчев потоптался под окнами, но будить соседку не решил. Да и к чему было раньше времени заваливаться в квартиру, вспугивать удачу. Озябнув на утреннем ветру, он отправился на далекую военную окраину.

Штабные амбиции

Подполковник Затирухин, ладный, выбритый, щеголеватый,— фамилия никак ему не соответствовала — принял Курчева сразу, был вежлив, но все-таки любопытствовал, почему лейтенанта, минуя командующего армией, вызывают прямо на набережную, в штаб их войск.

— Писали куда-нибудь? — спросил подполковник, отглаживая длинными пальцами с аккуратными ногтями страницы папки. Но Курчев смекнул, что папка вынута для вида, и не стушевался:

— Писал, товарищ подполковник, Председателю Совета Министров. Мне зарез: невеста пропадает, а ехать в полк не может — аспирантка.

— Так.— Подполковник качнул красивой русой головой.— Так. Что ж, удастся демобилизоваться — ваше счастье. Не удастся — вам не позавидуешь. Есть, лейтенант, порядок, и перепрыгивать, особенно через голову генералов, не положено.

Курчев козырнул и, сияя, поехал на набережную. Он ни за что бы не поверил, что дело так быстро закрутится. Вчера начштаба Сазонов поминал только окраину, а нынче уже выплыла набережная!

Невыспанность сняло, как головную боль похмелья после кружки огуречного рассола. Ингу стоило б расцеловать да и Новосельнова за совет — тоже, хотя последнее вызывало меньше восторга.

— С Гришкой я бы выпил,— усмехнулся Борис, не желая обижать уехавшего друга.— Главное, выскочил!..— шептал он на задней площадке пустого трамвая. Трамвай дребезжал, как консервная банка на хвосте щенка, словно тоже радовался курчевской удаче.

— Самое главное, я выскочил отсюда, где держат ни на что не годных. Набережная — другое дело,— повторял Курчев.— Ничего ты не вылез. Заткнись. Не колготись,— тут же обрывал себя.

Трамвай несся по окраине. Зима заметно слабела. Снег, хоть и выпал ночью, сейчас, в десять утра, вид имел явно не свежий. Несмотря на ветер и серое небо, на мостовой подтаивало.

— Весна,— смеялся Борис.— Господи, весна! Весна без конца и без края. Откуда это? Какая разница?!. Пламенный привет, сэр Ращупкин, адью, подпоручики и микромайоры. Хорошо бы узнать, где этот чертов дом отдыха?.. А вдруг не уволят?! А вдруг — полигон?!

Аккуратный красивый подполковник Затирухин по-прежнему сидел за столом и разглаживал бумаги, хотя трамвай с лейтенантом уже въехал в город и еле полз вдоль рынка.

— Но должно же хоть раз пофартить,— слезливо, будто молился, прошептал Курчев, прогоняя, как наваждение, русоволосого подполковника.

К зданию на набережной Курчев прибыл лишь к одиннадцати. С полчаса его мурыжили в бюро пропусков, но наконец голос в трубке, назвавший себя майором Поликановым, сказал:

— Хорошо, подымайтесь. Авось до перерыва успеем.

Курчев взбежал на седьмой этаж. В коридоре, возле майорской комнаты, сидело несколько золотопогонных капитанов. У одного, наголо бритого, подрагивала на кителе Золотая Звезда Героя, и Курчев понял, что до обеда его не примут. Капитаны явно ожидали назначений, робели и разговор вели неинтересный.

— Где тут галльон? — стараясь придать бодрость голосу, спросил один. — Курить охота.

— Потерпишь, — отозвался второй.

— А вы, ребята, не дрейфьте, — сказал Герой Советского Союза. Лицо у него было хитроватое, но дерзкое. — Чего улыбаешься, технарь? — подмигнул он Курчеву. — Дальше Кушки не пошлют.

— Я назад прошусь, на гражданку, — ответил Борис.

Все повернулись к Борису.

— Неужели силком держат? — удивился Герой.

— Ага. У нас не увольняют.

— А это где у вас?

— У него узнайте, — ткнул Борис в майорскую дверь.

Дверь открылась, тучноватый майор прошел в конец коридора. Курчев привстал, но майор кивнул ему, мол, не вскакивай, здесь тебе не училище.

— Не тушуйся, — сказал Герой.

— А я не тушуюсь, — ответил Курчев.

— Я бы тебя, разгильдяя, сразу бы выгнал. На дух не выношу таких, — сказал один из капитанов.

— Жаль, что увольнялка у вас не выросла, — ответил Курчев.

Капитаны засмеялись.

— Ты какой-то чокнутый, — сказал Герой. — Случаем не оттуда, ну, не из этого, особого, сам не знаю, как это зовут, ну, не от...? — Он назвал фамилию генерала.

— Угу.

— Ну и как там? — спросил Герой. — Нас всех вроде туда направляют... — В его голосе послышалось уважение.

— Обыкновенно. Через день на ремень, через два на кухню.

Тучный майор, возвращаясь назад по коридору, неодобрительно поглядел на столпившихся вокруг техника строевых капитанов.

— Пока груши околачивают, а потом — не бей лежачего. — Борис не заметил тучного майора. — Ну, надбавку платят, чтоб не болтали очень. Печки дымят. Дрова пили сам — солдат не дают. Военларек — дерьмо... Ну, это, правда, как где... Хотя вообще — все на один фасон. Техника на первом месте.

— Чего ж когти рвешь?

— Душа болит, домой хочется. А вот вам будет хорошо, — улыбнулся Курчев Герою. — Выше ЗБЗ¹ ни у кого в полку нет. У бати — «Звездочка», и то случайно. А такой... — он кивнул на Золотую Звезду, — я во всем ПВО не видел.

— Курчев кто тут? — раздался за спиной голос, и в дверном проеме вырос второй майор, рыжеватый и щуплый.

Клара Викторовна за две недели после катка ни на сантиметр не приблизилась к скальпелю эндокринолога. Первые дни она еще звонила в клинику, справлялась насчет очереди, но, определив, что та движется достаточно быстро и час неминуем, перестала звонить, впала в хандру, валялась на кушетке и читала немецкое издание «Тысячи и одной ночи». Восточные сказки отвлекали Клару Викторовну от ее неопределенного, хотя и по всем статьям неблагоприятного состояния. Хотя вообще-то Клара Викторовна предпочитала Генриха или уж, на крайний случай, Томаса Манна. Но сейчас эти авторы не давали «забыться и заснуть», а ей только того и хотелось. Каждая их страница возвращала к не радовавшей ее жизни и, расставив немецких классиков по полкам, Клара Викторовна решила покамест к ним не прикасаться.

Она просыпалась часа за два до рассвета, зажигала свет, принималась за сказки, потом лениво завтракала бутербродом или холодной котлетой и, полуумытая и нечесаная, в халате или псевдовосточных шелковых шароварах, валилась опять на постель и читала, читала запойно.

Курчев позвонил ей в первом часу. Голос у него был такой мрачный, что она даже удивилась. Но и мрачный лейтенант мог внести некоторое разнообразие в ее жизнь, и Клара Викторовна радостно крикнула в трубку:

— Заходи, заходи, лучший друг. Я по тебе соскучилась.

— Сейчас буду, — буркнул он.

Она кинулась причесываться, прибирать в комнате. Том сказок убрала в шкаф для посуды, на кушетку бросила «Доктора Фаустуса». Но не потому, что притворялась или стыдилась: просто ей не хотелось выпячивать свое дурное настроение.

— Что с тобой, лучший друг? — спросила Клара Викторовна, удивляясь, почему это лейтенант не обнял ее и не поцеловал, хотя она бросилась к нему в дверях не шею.

¹ «За боевые заслуги» — медаль.

— Амба, Кларка. Хана мне — хоть топись.

«Вот все они, и он, и Рашупкин, идут ко мне, когда им плохо», — с грустью подумала Клара Викторовна, но природная доброта тут же победила, и Клара Викторовна потащила лейтенанта на кушетку, усадила рядом, погладила по двухдневной щетине и стала успокаивать, как малыша, точно так же, как две недели назад успокаивала подполковника.

— Ну что ты, лучший друг, что у тебя случилось?

— Все дерьмо, — повторил Курчев, отмякая.

Полчаса назад майор Поликанов ввел его в кабинет, сел за стол и, уставясь на него необычайно светлыми без ресниц глазами, спросил:

— Чего ты там агитировал?

Сидевший за вторым столом майор с интересом поднял голову.

— Вы где служите? — спросил майор Поликанов. — Что за политинформация в коридоре? Вы знаете этих людей? Вам поручено было с ними беседовать? Что за разболтанность? Разгильдяйство. Поглядите на себя, лейтенант. Разве так должен выглядеть офицер? Дай ему зеркало, — попросил майор Поликанов тучного сослуживца.

Тот вытащил из ящика большое — и откуда оно тут взялось? — прямоугольное зеркало.

— Возьмите, — брезгливо сказал майор Поликанов.

Курчев положил зеркало на край стола.

— У меня экзема, — соврал он.

— А сифона у вас нет?

— Был, но вылечили, — огрызнулся Борис.

— Ну так вот, полечитесь еще. До двух часов, — усмехнулся майор. — Понюхаем пока вас. Где его дело? — Он повернулся к напарнику. — Затирухин почесался или нет?

— Погляди у себя. Вчера чего-то присылали, — откликнулся тучный, и по его тону Курчев понял, что между зданиями на окраине и на набережной глухая вражда.

— В два часа возвращайтесь. Пропуск будет, — буркнул рыжий майор, ныряя с головой в открытую тумбу стола.

— Слушаюсь, — Курчев поднялся и, больше обычного сутулясь, вразвалку вышел из комнаты.

— Ну как? — спросил Герой: от любопытства он даже поднялся перед лейтенантом.

— Хана, — мотнул головой Борис; он решил, что вызов на два часа грозит не только отказом в демобилизации.

Перетянувшись в гардеробе портупеей, он выскочил на холодную мартовскую набережную и вдруг решил позвонить Шустовой. Не почему-нибудь, а потому, что другого случая увидеть ее не будет. Вдобавок набережную пронизывал ветер, а до Клары Викторовны проходными дворами было четверть часа ходу.

Но теперь, сидя с ней рядом на кушетке, Борис едва ли не жалел, что завалился сюда. Псевдовосточные шаровары вместе с такой же блузкой не столько прятали, сколько обещающе обнажали полузабытые Курчевым прелести Клары Викторовны. Сама она была мила, даже нежна, гладила лейтенанта по щеке и прижималась грудью к его плечу.

«Эх, не надо было мне сюда...» — злился Борис, а сам между тем уже впивался в отдающие табаком и лимоном губы Клары Викторовны, а его руки уже высвобождали из-под псевдовосточного шелка ее большие груди и бедра.

— Ну, ну, полегче, лучший друг, — неестественно хихикнула Клара Викторовна, то ли сопротивляясь, то ли раззадоривая лейтенанта.

Его раздражал ее резковатый визгливый голос, но он уже пересек ту черту, когда еще можно заставить себя отсесть на край кушетки.

«Полгода — не пустяк, — плыло в размякшем, вялом мозгу: после Клары Викторовны женщин у него не было. — Черт... Сейчас опять сорвусь. И зачем я к ней пришел? Надо бы скинуть сапоги. Все-таки я подонок... Нельзя так».

Ему было не по себе, оттого что голова хоть и вяло, но работала, жила отдельно от тела. Голова думала о своем, меж тем как тело все переместилось в низ живота, желая полного и быстрого исхода.

«По-собачьи. Ну и подонок ты, — ползло в голове. — Подонок... Инге звонил... Влюбленный. Подонок. Надо бы раздеться. В два — к майору Поликанову».

— Ну, ну, лучший друг, — задыхалась Клара Викторовна. — Ну, опять торопишься, — уже не хихикала, а недобро шептала ему в ухо.

Навалясь на нее почти всем пятипудовым весом, Курчев закрыл глаза, чтобы не видеть сероватое, в черных точечках, такое богатое и такое нелюбимое, но сейчас позарез нужное ему тело.

— Ну, ну, — хрипела женщина, позабыв прошлогодние мучения и надеясь, вдруг на этот раз повезет. — Ну, лучший друг, — она больно укусила его выше расстегнутого ворота. Теперь, когда они совсем слились, Курчева забило, и, как ему

казалось, било долго, дольше, чем всегда; он надеялся, что и Кларе Викторовне посчастливится больше, чем на юге. Но тут в нем что-то рухнуло, и он повалился рядом с ней, усталый, тяжелый и беспомощный, как после часового марш-броска в противогазах. Сквозь смеженные веки он видел, как недовольно, точь-в-точь капризная девчонка, дернулась большая, крепко сбитая женщина и, вскочив с кушетки, бросилась в коридор. Видимо, в квартире никого не было.

— Подонок,— сказал Курчев вслух.— Подонок. Не надо было сюда идти. Померз бы у парапета или в столовку сбежал.

Отогнув рукав кителя, он взглянул на круглую «Победу». Было три минуты второго.

— Не по-людски это. Не надо было,— пробормотал он печально, прислушиваясь к плеску воды, проникавшему из коридора через незахлопнутую дверь.— Влипнуть боится.— Он встал с кушетки и выглянул в коридор.

Квартира была небольшая. В коридоре была еще одна, наглухо закрытая, видимо соседская, дверь, распахнутая дверь в кухню, да еще две узкие полудвери, видимо от служб, за одной из которых бурно текла вода.

Он постучал. Вода все лилась. Он вновь постучал и обнаружил, что дверь не заперта. Клара Викторовна стояла под душем. Ее прежде сероватое тело белело в полутьме душевой, освещенной лишь узким тусклым оконцем. Ванны тут не было; под душем на полу лежала большая решетка.

— Промокнешь, лучший друг,— сказала женщина. Голос ее сквозь шум воды казался усталым, но не раздраженным. Она стояла спиной к двери.— Ты что? — она обернулась, услышав стук сбрасываемых сапог.— Ты что, лучший друг?

— Завидно,— усмехнулся он и, подавляя остатки стыда, быстро разделся.

— Ты ополоумел,— засмеялась Клара Викторовна, когда он встал за ее спиной.— Щекотно. Часыними, чижик.

Он стащил с руки уже намокшие часы и бросил в раструб сапога.

— Щекотно,— повторила женщина. Он обнял ее сзади, ласково, без желанья. В серой тьме душевой тело ее казалось лучше, да и Курчев не присматривался к нему, блаженно стоя под широкими струями воды, смывавшей и невыспанность, и провал с демобилизацией, и конфуз на кушетке.

«Как лошади»,— пронеслось в мозгу сравнение, но в нем не было ни стыда, ни скабрёза. Он стоял за спиной женщины, приникая к ней, вжимаясь в нее, и желание хоть и росло, но росло медленно, плавно, без толчков, и пока что жалости и ласковости было в нем больше всего.

— Лучший друг, лучший...— шептала женщина, водя его рукой по своей груди, животу, бедрам, везде-везде, нежно распаяя его и грубо себя.

Под льющейся водой тело ее казалось непривычно радостным, в нем не было ни обиды, ни раздраженности, а только нежность и истовость. Курчев это чувствовал грудью, животом, низом живота, по-прежнему стоя сзади женщины, которая, не выпуская его руки, склонялась к стене, пока не оперлась на трубу, что поднималась от кранов к горловине душа.

Так Борис ее и взял, бережно и ласково, все еще испытывая больше жалости, чем страсти, и по-прежнему недоумевая, почему она так счастлива. А она была счастлива, вздрагивала, вскрикивала и замирала в шуме льющейся воды и необыкновенно нежна потом, когда, переборов истому, вытирала его, как ребенка, огромным, махровым, по-видимому, немецким, полотенцем.

«Банная идиллия»,— застыдился Курчев. Но ощущение скромного довольства не покинуло его, когда в полной выкладке, в шинели, перетянутой офицерским ремнем, он прощался с женщиной в дверях. Соседей все еще не было, и Клара Викторовна больно целовала его в заросшее двухдневной бородой лицо.

— Приходи, лучший друг. Как открутишься, сразу приходи.

— Хорошо,— кивнул Курчев, не уверенный, что удастся открутиться.

Он сбежал по лестнице. Ветер возле ее дома дул не так сильно, как на набережной, и Курчев пошел не торопясь. Он все равно уже опоздал. Ноги шли в сторону набережной, а голова думала о Кларе Викторовне и о биологии — что ту, что другую он никак не мог растолковать.

«Вот она, жалость. Жалость и нежность. Силой того не добьешься. Да и сила не так чтоб велика, а жалость города берет...— рассуждал он, шурясь от ветра.— Ну, города не города, а все-таки ей было хорошо. А мне? А мне так... Конечно, хорошо, потому что и ей, вернее из-за нее... Тьфу, запутаешься! Главное, не с кем про это потолковать. Гришка уехал. А может, толковать про такое не надо. Не поймут. Еще раз так

удастся — втюришься, и тебе конец... Ты тоже хорош. Не поговорил с ней — ей же в больницу ложиться. Придется возвращаться, хоть и страшно, и стыдно. Все не то... Вдруг еще полюбишь — и прощай все. И рефераты. И Инга».

«Об аспирантке раньше надо было думать,— перебил он себя.— Да, с Ингой ничего не выйдет. Теперь зарюют меня у Ращупкина на двадцать пять лет, и амба, Борис Кузьмич. Вот и остается жалость — религия рабов»,— он свернул в длинную тихую улицу — тут ветер шумел только вдоль первых домов. Навстречу часто попадались офицеры, и Курчев механически отмахивал замерзшей ладонью; вблизи набережной надевать рваные перчатки не стоило.

«А что, раб и есть раб,— спорил он с кем-то невидимым, морщась от холода.— Раб не обязательно хам. Я не выбирал рабства. Так без меня вышло. Да и не фокус быть вольным на свободе. Ты вон свободным будь, когда давят со всех сторон. Ничего плохого нет в жалости. Ты пожалеешь, тебя пожалеют. Можно жениться на Кларке и потащить ее в часть. Только обхохочут ее. Чертова биология. Не могу запросто относиться к этой штуковине. Переспшишь днем, тянет жениться на всю жизнь. Да и добро бы по любви, а то совесть проклятая заставляет».

— На всех не переженишься,— сказал он, пробираясь между полуразрушенных барачков к набережной Москвы-реки. Снова задул холодный ветер, и, уже не размышляя о жалости, Курчев заспешил вдоль парапета к зданию, где должна была определиться его судьба.

Он опоздал на сорок минут, и в коридоре из четырех капитанов сидели только двое.

— Тебя уже вызывали,— сказали они разом.

Курчев кивнул и, не постучавшись, открыл дверь. В комнате прибавилось народу. За третьим столом восседал крохотный, очень моложавый подполковник, а сбоку от него — Герой Советского Союза. У тучного майора сидел второй капитан, и лишь рыжий Поликанов был свободен и держал перед собой стоймя журнал «Советский воин», как в вагоне метро, когда не желаешь уступить место женщине.

— Начальство задерживается... Позже не мог? — спросил он сердито, будто только ради Курчева и сидел в этой комнате.

— Виноват,— сказал Борис и, не ожидая приглашения, сел.

— Значит, сами четвертый? — раздался за спиной лейтенанта голос крохотного подполковника. — Жена и двое дочек? Старшая, 1939 года рождения, Наталья Федоровна?

— Так точно, — ответил Герой.

— Погодите, товарищ капитан, тут что-то не так... — подполковник шелестнул страницей. — Сами вы Игнатий Сергеевич? Накладка?

— Нет, все правильно, — глухо и, видимо, краснея ответил Герой, и Курчев с трудом удержался, чтобы не обернуться. — Я на вдове женился.

— Понятно, — подполковник, чувствуя, что к ним прислушиваются, сбавил голос.

Майор Поликанов, тоже заинтересовавшись, подмигнул Курчеву: мол, вдова не промах — какого парня подцепила, и выбрал из лежащих на столе папок розовато-серую, курчевскую.

— Так, Курчев, Борис Кузьмич, — прочел он с некоторой даже торжественностью и, будто священнодействуя, раскрыл папку. Из белого бумажного кармашка высунулась фотография размером 9×12. Тесный казенный китель, в котором снимались по очереди курсанты всех четырех взводов, вкуче с четырехмесячными усами, отдавали чем-то прошловековым, гусарским. Курчев, который никогда в жизни не был хорош и сегодня менее всего походил на армейского ухаря, поневоле залюбовался фотографией. Майор, поймав его взгляд, затолкнул снимок в кармашек.

— Показуха, а? — он снова подмигнул, намекая, что между лейтенантом и фотоснимком нету ничего общего. После обеда майор слегка подобрел.

«Может, вроде меня, к какой-нибудь знакомой сбегал», — подумал Борис.

— Чего опоздал? У бабы был? — словно подслушав лейтенанта, спросил Поликанов.

— Ага.

— Вот еще потаскун на мою голову, — пробурчал майор и начал негромко читать личное дело техника-лейтенанта Курчева Бориса Кузьмича. Вопросов в анкете было много, и вопросы были длинные, зато ответы удивительно немногословные. Только пункт «образование» на минуту задержал глаза майора.

— Да, не соответствует, — вздохнул Поликанов. — На гражданке ты академик, а у нас — курам на смех.

— Так точно.

— Не участвовал, не находился, не привлекался, не имею,

не имею, не имею,— медленно читал майор выведенные четкой тушью ответы.— Холост,— наконец дошел он до семейного положения. А пишете — женат.

— Никак нет,— усмехнулся Борис.— Только собираюсь.

— Или ошибся? — майор пролистнул дело. К нижней обложке папки было подколото курчевское письмо в Совет Министров.

— Вот,— майор отцепил два листка послания, и Курчев пожалел, что не нацепил в коридоре очков. На первой странице наискось, размашисто и уверенно, была определена толстым синим карандашом его судьба, а как определена, он по близорукости не видел.

— Сиди, сиди. Это не для тебя,— майор, заметив потуги лейтенанта, положил страницу текстом вниз.— Да, не женат,— проглядел он вторую.— Собираешься. У нее был?

Борис кивнул.

— И чего тебя на образованных потянуло? Бабам от образования один вред. Это у Затирухина с академиями носят, технических набрали и нос дерут,— хмуро пробурчал Поликанов, и Курчев понял, что у самого майора с образованием худо, и (что для Курчева было куда важней) тут, на набережной, завидуют их армии, ее особому статусу, побаиваются, и, когда бы могли, с охотой насолили ее командованию.

— Образование — это хрен без палочки,— повторил майор.

— Я им и говорю,— кивнул Курчев,— а они держат... У меня ж всего курсы, а техника там... сами знаете.— Невинным взглядом он проглядел на Поликанова, понимая, что тот «овощехранилища» во сне не видел.

— Слышал, знаю,— отмахнулся майор.— Показуха одна. Показуха и сплошные разгильдяи, вроде тебя.— Он провел по своей гладковыбритой щеке. То ли его раздражала небритость Курчева, то ли у него плохо росла борода.

— Предложено с вами разобраться,— наконец сказал он.— Предложено,— повторил, и у Курчева сжалось сердце от тоски и унижения.

Этот щуплый, ничтожный армейский чиновник лениво проглядит разные байки в тощем военном журнальчике, попытается решить кроссворд, зевнет и, как ему на душу ляжет, так и определит твою судьбу. И все. Будь ты разгениальный или раздерьмовый, будь ты злой или добрый, холостой или женатый, русский или татарин, молодой или старый — все одно. Как этому рыжему и щуплому пожелается, так и будет. Жаловаться некуда, писать некуда. Год назад был Сталин. Был Сталин, и как Сталин хотел, так и было. Сталин менял, кого вздумается,

сажал, пускал в расход, возвращал из лагерей, снова сажал, выселял целые республики — и все считалось правильным, потому что это делал Сталин. Никто не кочевряжился. Все соглашались и аплодировали. Год, как Сталина нету, стали армию распускать, налог селу скостили, в Корее замирились, все вроде идет не хуже, чем при вожде. Даже бумаги втрое быстрее ходят. А сидят вместо Сталина такие вот щуплые и рыжие.

«Напоить его, что ли? — соображал Борис, глядя на майора. — А как? Гришка бы придумал. А я — тюфяк...» — и от бессилья и зависимости от этого плюгавенького человечка он, вместо того чтобы подольститься к майору, затравленно глядел на него.

— Ну и разобрались? — спросил, не разжимая челюстей.

— Разберемся. Не ерпенься. У меня все. Можете быть свободны.

Курчев поднялся, понимая, что дело его швах. Но оттого, что терять было нечего, напоследок спросил уже без всякого страха:

— А подполковнику Затирухину что доложить? Товарищ подполковник велел держать его в курсе: он сказал, если вы меня не уволите, он меня со света сживет.

— Можешь послать своего Затирухина, — усмехнулся майор, и Курчев тотчас просиял. — Спросит, скажи, без него решат. А сам позванивай. Почта когда еще до вас дойдет, а я тебе по проводу скажу, подписано или нет. Бывай. Счастливо, — и, привстав, майор протянул руку не помнившему себя от счастья лейтенанту.

Ожидая Курчева и добродушно поругивая начальство, которое для каких-то своих глупостей задерживало его, Клара Викторовна убралась в комнате, приделась, надушилась, подкрасила губы, ресницы и устроилась в кресле. Настроение у нее было совсем вокзальное — казалось, подойдет сейчас счастливый поезд, и она помчится на нем Бог знает куда, да и не важно куда, просто ей будет хорошо и весело.

Курчев не звонил, но Клара Викторовна сидела в кресле чинно и строго, словно была не в своей комнатенке, а в огромном зале ожидания, и на нее глядели тысячи мужских и женских глаз и пытались догадаться, кто она такая, куда едет и кого ждет. А она сидела в кресле (собственно, это было кресло-кровать), нарядная и таинственная, равнодушная к любопыт-

ным взглядам бесчисленных мужчин и пронзительно завистливым и оценивающим женщин.

Она сняла с полки томик Томаса Манна (нельзя же при всех читать арабские сказки!). Это были «Признания авантюриста Феликса Круля» — самый легкий из манновских романов. Кстати, конец до сих пор не дописан, хотя, кажется, старику Манну уже под восемьдесят. Сегодня эта книга подходила к ее игровому настроению.

Молоденький лифтер уже стучался в номер жены фабриканта унитазов, назревал самый волнующий эпизод романа, и тут в коридоре прозвенел звонок.

Клара Викторовна медленно и спокойно, словно и в самом деле находилась в зале огромного вокзала, положила раскрытый томик Манна на подлокотник кресла-кровати и строгой, подчеркнутой высокими каблуками походкой вышла в коридор.

Ходят женщины разные,
Как изящны их талии...—

все-таки не выдержала она роли и пропела, возясь с английским замком.

— Это я,— сказала Марьяна.— Извини. Пятиалтынного не нашлось. Если выгонишь, мне хоть в петлю лезть.

В руке у нее был клетчатый чемодан.

— Что? — Округлив глаза, Клара Викторовна уставилась на подругу.

«Ох, некстати,— подумала она.— Не хотелось бы, чтобы они тут встретились. Нам сегодня не надо никого третьего...»

— Снимай свою белку,— сказала она Марьяне, стараясь не показывать огорчения.— Смотри-ка, неплохо носится.— Она погладила буро-сероватый мех.

— Скорей я сношусь, чем она. Бр-рр, холодно,— Марьяна поежилась и, войдя в комнату, повалилась в кресло. Томик Манна упал на пол, примяв страницы.— Извини. Что это? Ни бельмеса я по-гитлеровски. А, про официанта? Помню. Распаллет.

— Оставь,— улынулась Клара Викторовна.— Что у тебя стряслось?

— От Алешки ушла. Да, да. Взяла и ушла. У тебя пожи-ву недельку. Это ведь раздвигается? — она хлопнула по креслу.

— А через неделю вернешься? — Клара Викторовна все еще пыталась придать разговору шуточный тон.

— Не волнуйся. За неделю что-нибудь приищу. Осенью

пойду в аспирантуру, авось общежитие дадут. Или Сеничкины расщедрятся, что-нибудь выделят. Все-таки я у них пропи-сана.

— Ключнуть хочешь? — спросила Клара Викторовна, все еще надеясь, что подруга отогреется и уйдет. Лейтенанту уже пора было возвращаться.

— Хочу, — кивнула Марьяна. — А ты сегодня нарядная, расфуфыр! Ух... А ну повернись. Какая-то, черт возьми, особенная. Случилось что?

— Да нет, так, — зарделась Клара Викторовна.

— Ну, говори. Вижу, что распирает сказать...

— Нет, ничего. Ровным счетом ничего.

Она достала из немецкого шкафа-буфета заткнутую пробкой початую бутылку коньяка, рюмки, блюдца, сухарницу с печеньем и маленькое блюдо с нарезанными дольками лимона.

Ходят женщины разные,
Как прекрасны их талии, —

напевала она, расхаживая по тесной комнате на высоких каб-луках.

Так прекрасны их ноги,
Цвет лица и так далее... —

улыбаясь, подтянула Марьяна.

И с эпохи язычества —
Чудеса мироздания.
В них первична материя
И вторично сознание.

И такое создание
Вам закатит истерику,
Если дать ей сознание
И не дать ей матерю.

— Нет. Честное слово, ты сегодня на себя не похожа. Каблуки. На бал, что ли, пригласили? Сто лет на танцах не была, — вздохнула Марьяна. — Ну не темни. Хочешь меня напоить и выгнать на западный манер? Не старайся. Все равно останусь. У меня дела — швах.

— У всех у вас дела — швах, — сказала Клара Викторовна. — Все вы приходите и плачетесь, а посмотришь на вас — все прямо кровь с молоком. В доноры вас гнать надо. «Амба. Швах», — передразнила она Марьяну, а заодно и лейтенанта, который Бог знает куда запропастился.

— Не кладут в больницу?

— Положат. Успеется... Что у тебя с Алешей?

— Ну и не ложись, раз такая красивая,— пропустила вопрос Марьяна.— Выпьем, Кларка, за твое счастье и мой швах. Честное слово, швах.

Она поставила рюмку на блюдце.

— Ты куда опаздываешь или ждешь кого?

— Не знаю. Еще не знаю...

— Ну, тогда я погреюсь и куда-нибудь подамся. А это у тебя серьезно?

— Не знаю. Пока это хорошо.

— Ого. Рада за тебя, Кларка, хоть режешь меня без ножа. И Борька что-то не получает свою халупу, а то я бы у него пожила.

— Борька? Лейтенант? — покраснела Клара Викторовна.

— Он,— кивнула Марьяна.— Мне ведь с ним не спать. А халупа все равно пустая стоит. Мачеха с семейством уже выехала.

— Я и не знала, что он москвич.

— Москвич и вообще «неплох на вид». Жалко, что у тебя с ним не вышло... Вчера его у Крапивникова видела. Ничего, вписался.

— Я его не ругаю,— повеселела Клара Викторовна.— Просто чижик еще. Воспитывать было некогда. Вот если снова москвичом станет, тогда...— Она допила рюмку и облизнула губы.

— Бог в помощь,— усмехнулась Марьяна.— Мы теперь с ним друзья по несчастью. Он, бродяга, в Алешкину пассиву втрескался.

В дверь позвонили.

«Ошибаешься, голубушка»,— с торжеством подумала Клара Викторовна, выходя в коридор.

Но это был не Курчев, а разносчица телеграмм.

«НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ СЛУЖБУ ИЗВИНИ ОБНИМАЮ БОРИС» — напечатано было на бланке. Отправлена телеграмма была час назад из подмосковного городка.

— Можешь оставаться, Марьяшка,— сказала Клара Викторовна, возвращаясь в комнату за рублем для разносчицы.— Он не придет.

— Соболезную. А кто он? — спросила Марьяна и бесцеремонно развернула сложенный вчетверо бланк.— Смотри, к ней поехал! — засмеялась она.

— К кому к ней?

— К Алешкиной пассии. Она от любовных печалей скрылась в доме отдыха.

— Всегда ты что-нибудь насочинишь.

— Да нет. Разведка доложила точно. Бедная девочка. Она ходит на лыжах там, а мой обалдуй-супруг сохнет здесь.

— Все ты знаешь, во все лезешь,— недовольно протянула Клара Викторовна.— Зачем же ты за ним следишь, если от него уходишь? Надоели, Марьяшка, твои фокусы. Всех оклеветашь, сама разнюнишься, а окажется, что все — одни пустяки.

— Как сказать. Для меня не пустяки. Мне вот так...— Она резанула ладонью выше груди.— Мне вот так все обрыдло. И я не люблю Алешку, и он меня. И никого я не ругаю. А если тебе жаль этого кресла, так и скажи,— и она по-девчоночьи подпрыгнула на нем.

— Я про другое,— сморщилась Клара Викторовна.— Я про лучшего друга. Он сегодня заходил и, знаешь, был совсем другой.

— Сегодня Левочка был нежен, как писала в дневнике Софья Андреевна,— усмехнулась Марьяна.— Нет, Кларка. Не втрескался он в эту аспирантку. Они и виделись-то всего раз. Это мой дурак в нее врезался, да так, что даже не спит с ней. А Борька здесь ни при чем. Это, кажется, его адрес. У Кости Ращупкина такой же. Ладно, ты только Борьку мне не испорти,— сказала Марьяна.

Счастливый, взмокший Курчев выскочил на набережную, где его тут же остановил артиллерийский полковник. Он сначала выговаривал Курчеву за незастегнутую шинель, потом перешел к нечищеным пуговицам и небритости. Борис молча стоял на ветру, матеря полковника, а тот пилил его, как теща.

«А впрочем, спасибо старому хрычу,— решил про себя Курчев.— Второй раз буду аккуратней». И, бухнув:— Слушаюсь,— быстро пошел вдоль парапета к метро. «Глядеть надо, не то еще загремишь напоследок. Теперь улицу переходи только по шапечкам».

Он вышел на Комсомольской площади и неожиданно для себя решил зайти к мачехе в контору, благо она была в полукилометре, сбоку от путей.

— Елизавета Никаноровна, к вам лейтенант! — раздался девчачий крик, когда смущенный Курчев спросил, где можно отыскать инженера Скатерщикову.

Мачеха вышла из тесной комнаты в холодный полутемный

коридор, где между титаном и огнетушителем стоял ее великовозрастный, небритый пасынок.

— Я и не узнала,— сощурилась она не иначе, как от смущения, потому что близорукостью, сколько помнил Борис, не страдала. Даже в полутьме коридора мачеха выглядела на свои без малого сорок, никак не меньше, хотя за собой следила: губы были намазаны, а обесцвеченные пергидролом волосы старательно завиты. Но накинутое на плечи пальтишко с меховым подкотик воротником было не первого срока носки, да и валенки с галошами никак не украшали бывшего техника Лизку, которую лет пятнадцать назад Борькина бабка называла не иначе, как «бляха» или «фря». Но даже бабка, воскресни она и взгляни сейчас на бывшую «фрю», измотанную семьей и запуганную работой, поняла бы, что та давно забыла прошлые подвиги и мечтает понравиться одному Михал Михалычу, только и это ей не удается.

— Я телеграмму пошлю,— сказала мачеха,— а если сразу не отпустят, не страшно. Я замок навешу, а ключ — вот он.— Мачеха отцепила от кожаной держки самый большой и уродливый ключ.— Увольняться из армии будешь? — наконец она оставила в покое безличные обороты и назвала пасынка на «ты».

— Ага.

— Ой, не надо бы. Служи уж, где служишь. В партию так и не вступил?

— Нет.

— Вступай. Если опять характеристика понадобится, я напишу. Может, пригодится.

— Спасибо,— сказал, тронутый, Борис.— Если нужно будет, обязательно попрошу. В тот раз мне больше никто не дал.

— Теперь дадут. Ты вон какой... положительный... Только бриться надо.

Курчев попрощался с мачехой и вышел на станционный двор.

«Все пока гладко,— сказал он самому себе.— Только бы на патруль не напороться. А то тоже с бритьем пристанут».

На дачной платформе было безлюдно. Он влез в электричку и сел у окна. Мысли были легкие. Почти пушистые. Они пьянили и усыпляли. Курчев не заметил, как электричка отошла от перрона, а когда открыл глаза, в вагоне уже никого не было.

Сразу за вокзалом стояла почта с переговорным пунктом,

где ефрейтор Гордеев покупал Курчеву талоны. Очнись Борис раньше, он, возможно, столкнулся бы с Ингой. Она только что вышла из почтового отделения с лыжами, прошла до шоссе и побежала вдоль обочины в другую от полка сторону.

Курчев решил было заказать Москву, но врать ему не хотелось, и он отбил Кларе Викторовне телеграмму.

Мне ведь и правда пора в полк, оправдывался перед собой, выйдя на шоссе. Машин было немного, но на военку ни одна не сворачивала. Проголодавшись и озябнув, Борис вернулся на почту и попросил телефонистку соединить его с полком.

— «Ядро»? Черенкова дай. Ты, Черенков?

— Я, товарищ лейтенант,— почему-то обрадовался дневальный.— Письмо вам тут есть. Из Ленинграда.

— Хлебная машина вернулась?

Полк через день отправлял фургон на хлебозавод.

— Нет. Сегодня позже вышла. Дождетесь.

Чтоб лишнего не ждать на шоссе, Курчев зашел в столовую, вечерами та превращалась в ресторан. Как раз наступил пере-сменок; в углу зала уже сидело несколько танкистов, и Курчев обрадовался, что не успел снять шинель. Встречи с чужим родом войск в лучшем случае оканчивались неприятным «толковищем».

— Двести грамм и два бутерброда,— сказал Борис, подходя к буфету.

Криворотая буфетчица, будто почуяв курчевское нетерпение, тут же протянула ему стакан и кинула на блюде два куска хлеба с балыком.

— Технарь, дуй сюда,— раздался голос.

— Некогда,— не оборачиваясь, сказал Борис и пальцем показал буфетчице на опорожненный стакан. Стоило потянуть время: вдруг появится кто-нибудь из их полка. Впрочем, так и так все могло кончиться гауптвахтой по-крупному.

— Мандражирует,— засмеялся за спиной тот же низкий хамоватый уже пьяный голос.

— Трухает. Заправляется,— поддакнул второй голос, пожиже.

— Да что с него, очкарика, возьмешь? — протянул третий, порассудительней.

И правда, что с меня взять, с очкарика? Нечего мне тут делать — сматываться надо... По мне давно гражданка плачет... Он стащил очки с носа и тут же вспомнил, как давным-давно в приазовской степи, когда их батарея шла походной колонной,

вдруг вырулил со стороны моря и повис над дорогой маленький пассажирский самолет. Комбат понарошку скомандовал: «По штурмовику» — но Курчев беспомощно мигал в окуляр, потому что засунул очешник в «сидор», а тот трясся где-то позади на «студебеккере» взвода управления. В тот день Борис был с позором переведен из наводчиков в старшие телефонисты, но сегодня, наоборот, очки его выручили.

Курчев вышел из ресторана и чуть не налетел на маленького Секачева, который степенно вылезал из большой хлебной машины.

— Ты? — удивился Секачев.

— Поворачивай. Там «комбайнеры».

— Много?

— На тебя хватит.

— А на тебя?

— А мне это теперь ни к чему, — твердо сказал Борис.

— Ладно. Лезь в кузов. Не упрей только. Горячие, — сказал Секачев.

Курчев обошел полуторку, дверь распахнулась, из нее высунулась рука в брезентовой рукавице.

— Залезайте, товарищ лейтенант, — раздался голос почтальона Гордеева.

Борис неловко вскарабкался в кислотовато-теплую ржаную темноту машины. Гордеев и двое солдат, привалясь спинами к горячим буханкам, жевали хлеб с луком.

— Хотите, товарищ лейтенант? — спросил почтальон.

— Нет, — ответил Курчев. Он знал, что хлеб и лук не казенные. Их совали солдатам сердобольные женщины хлебозавода. Но после дня пехоты ему не хотелось разговаривать с ефрейтором. Он забрался в свободный от буханок угол и попытался вздремнуть. Однако сильно трясло, в щели било холодом, и Курчев успокаивал себя, что, слава Богу, скоро поворот, через восемь километров опять поворот, а там КПП, письмо от Гришки, натопленная комната и сон до развода.

Солдаты, не обращая внимания на лейтенанта, лежали на буханках, все равно как на сене, разве что подбирали под шинели смазанные соляркой сапоги.

Через час распаренный от еды и чая Курчев уже забылся под одеялом, Ваньке же Секачеву не спалось. Был март. Надо было серьезно садиться за учебники, но все что-то мешало: сегодня погнали не в очередь с хлебной машиной, вчера пристегнули к нему пятерых гавриков из зимнего набора, чтоб обучал их электричеству и радиотехнике.

Дармоедов до хрена. Вот один храпит. Толкнуть его, что ли?! Но вылезать из постели и топтать босиком по грязному полу было неохота. Ванька еще долго думал о своей жизни, о дурне отце, который так глупо влип с кожей, о танкистах, с которыми вечно задирался в районном городке.

«Нет, этот год не проханже...» — решил он про академию и тоже заснул.

Финский домик, понемногу выстывая, наполнялся дружным храпом и потным запахом молодых мужских тел, очень похожим на запах солдатской казармы, но все-таки не таким откровенным, потому что койки здесь были в один этаж и стояли пореже.

Часть третья

ГОРОД

Жилье

Вечером восьмого марта в доме отдыха устраивали бал, и он прошел бы как обычные танцы, но дом отдыха неожиданно заполнили танковые офицеры и артиллерийские техники. Проходя по коридору в умывальную, Инга увидела, как четверо танкистов о чем-то сердито спорили с двумя техниками. Инга немного выпила: ухажеры кирпичниц принесли в комнату водку, а уклониться не удалось. После двух полных стопок она развеселилась — все равно жизнь пропадает!

— Господа, чего не поделили? — спросила Инга офицеров, сама себе удивляясь. — Идите в зал.

— С вами — всегда пожалуйста, — мрачно ответил красивый техник.

Когда минут через десять Инга возвращалась обратно, танкистов как ветром сдуло, а у второго техника, маленького и лысого, под глазом оплывал фонарь.

— Сначала было слово... — улыбнулась Инга, но офицеры не поняли.

Она весь вечер танцевала с ними, однако оба были мрачны: красавец, очевидно, от природы, а лысый — от синяка и связанных с ним переживаний.

Наконец низкорослый техник разошелся — стал вертеться бойчее и крепче сжимать Ингу, отчего ее разбирал смех.

«Маленький пыхтелкин», — думала она.

Красавец ей нравился ничуть не больше, и все же она согласилась пройти с ними два километра до ресторана.

В ресторан уже не пускали, и офицеры поплелись за ней в дом отдыха. Мороз прибавил, Инга жалела лейтенантов и гнала их домой, в полк. С полкилометра они кочевряжились, но потом остановили грузовик и полезли в кузов.

После восьмого марта отдыхающие ходили с большими головами, опухшие. Денег ни у кого не было. Прострадав два дня, ухажеры кирпичниц перехватили у Инги полусотенную на опохмелку, но пить с ними она отказалась и, надев лыжи, побежала на почту. Было морозно, лыжи чересчур скользили. Оставалось

всего пять дней — и ей стало жаль так бездарно загубленное время.

«А что? Позвоню ему. Кстати, и Теккерей привезет. Тут в библиотеке нету».

Телефонная девушка вскинула голову и неодобрительно поглядела на Ингу, когда та возникла с лыжами у ее окошечка.

— Это через «Ядро» надо, — буркнула она, услышав номер части. — Без денег, — отмахнулась от Ингиной трешки. — Сейчас соединю. Страдаешь?

— Есть немного, — улыбнулась Инга.

— На, говори, — телефонистка просунула в окошко нагретую трубку.

— Простите, это «Ядро»?

— Ну, «Ядро». А тебе чего? — лениво ответил грубый голос.

— Лейтенанта Курчева, пожалуйста.

— Какого еще лейтенанта? Нет у нас лейтенантов. Курчева? Курчев имеется, а по телефону лейтенантов не бывает. — В трубке замолчали, потом тот же голос, но словно издалека спросил: — Курчева там нету? — и ответил вежливее: — Сейчас переклучим.

Опять что-то защелкало, и бравый голос пропел:

— Дневальный Черенков слушает.

— Курчева можно? — опасно повторила Инга.

— Опоздали, гражданочка, Курчев сегодня в отпуск отбыл.

— Куда? — не удержалась аспирантка.

— А вот это он вам сказать должен. Мы не в курсе, — засмеялся Черенков и добавил потише, видимо кому-то объясняя: — Фря какая-то страдает. Лейтенант ей колун повесил.

Инга вернула трубку в окошко.

— Переживаешь? — спросила телефонистка.

— Не очень. Это несерьезно.

Это действительно было несерьезно, и Инга огорчилась только, выйдя из городка, где ветер дул ей в лицо.

На другой день в обед пришло письмо от матери:

«Девочка, дорогая!

Не знаю, огорчу тебя или обрадую — раньше тревожить не хотелось: ты бы кинулась нас провожать, а ездить туда-сюда — не отдых. Так вот, Ингушка, мы с папой завтра уезжаем в Кисловодск. Все — твоя Полина. Дай ей Бог здоровья. Достала две путевки — заметь, не курсовки, а самые настоящие путевки. Нам дадут отдельную комнату, и отец наконец-то по-настоящему отдохнет и подлечится. Сколько пришлось его уламывать! Но в конце концов он согласился и, представь, в деканате легко нашли ему замену на март и начало апреля, а в августе он отрабтает в приемной комиссии.

Я только немного тревожусь о тебе и еще беспокоит Вава. По-моему, у нее нелады с сердечно-сосудистой. Но ведь ее не расспросишь, вернее, она не ответит. Что поделаешь — возраст! И все-таки она герой: ведь ей восемьдесят четыре, а мне порой кажется, что она моложе меня. Но что-то последние дни она чаще нет-нет да и прикорнет с книжкой, а читать не читает. Ты, когда вернешься, не очень ее дразни. Впрочем, ты у меня умная, чуткая, и я это напоминаю тебе так, больше по старушечьей манере поучать. Будь здорова и не кукуйся.

Крепко тебя целую. Мама.

P.S. Отец еще в институте, а то бы приписал несколько строк. Он по тебе скучает».

Перечтя еще раз письмо, Инга собрала чемодан, завещала соседкам четыре ужина, три завтрака, три обеда и с легким сердцем пошла на станцию. Никто ее не провожал.

«Не пришлось я тут, — подумала она, усаживаясь в пустом вагоне. — И там я тоже не ко двору. Ну и ладно, ну и прекрасно. Хорошо бы еще Вава куда-нибудь уехала. Мне одной всего лучше. Не нужно ничего — ни диссертации, ни этих болтунов, ни этого в страшных сапогах... Колун повесил», — вспомнила она и рассмеялась.

— Давно надо было уехать, — сказала она громко, потому что вагон был все еще пуст.

Под ногами тепло и ласково, как огромная кошка, заурчал мотор, электричка на четверть наполнилась людьми, качнулась и поплыла в Москву. В отпотевшем окошке среди желтоватосерого снега замелькали редкие полужнакомые названия платформ, которые поезд проскакивал с изюбриным ревом, словно сожалея, что не может здесь зазимовать навсегда.

«Спешить ему некуда, — думала Инга, отчего-то торопясь в ту самую Москву, из которой — всего три недели назад — бежала без оглядки. — Переберусь в большую комнату. Буду вставать, когда вздумается... Нет, буду вставать рано и писать по восемь страниц в день. Алеше звонить не буду. И к телефону подходить не буду. Ну, если только случайно...» — улыбнулась и тут же прикусила губу, потому что напротив сели двое солдат, и они могли понять ее улыбку как заигрывание.

Теперь поезд бежал среди густых елей.

«С Алешей — все. Я себя проверила и поняла: все. Да-да — все! — начала Инга сердиться на себя. — Рецидивы могут быть. Но три недели я о нем не вспоминала. Почти...»

Однако, несмотря на нерешенность отношений с доцентом, Москва манила, притягивала, и за три остановки Инга прошла с лыжами и чемоданом в тамбур.

В Москве на Комсомольской таяло, но на Домниковке и в Докучаевом снег держался. Весна уже пришла, но пока пряталась, словно непрописанная квартирантка. Перекладывая чемодан и лыжи из руки в руку, Инга торопливо поднималась по переулку.

Дома было пусто и тихо. Вава сидела за шахматной доской, держа на отлете пухлую брошюрку. «Ботвинник — Смыслов» — прочла Инга на коричневой в клетку обложке.

— Готовишься? — спросила она, подходя к Ваве сбоку и осторожно целуя ее голубовато-седую прядь.

— Зачем примчалась? — спросила старуха, отодвигая плечом племянницу.

— Готовишься? Где тут кто? — Инга кивнула на доску, густо заставленную облезлыми фигурками.

— Не вздумай уверять меня, что тебе интересно.

— Я что, такая тупая?

— Нет. Но это не для молодых. Это забава перед вечностью, — и старуха сердито смешала фигурки.

— Они еще не старые. — Инга взяла брошюру.

— Они — нет... А я — почти что мертвая... — Старуха качнула головой, пытаясь сбить нахлынувшую дрожь.

— Ты? Ты у нас воительница.

Но Вава за три последние недели явно сдала.

«Это у них бывает, — подумала Инга. — Я и то часто ужасно выгляжу».

— Ну как, выиграет твой Смыслов? — спросила Инга. — Ты меня подучи немного. Я с тобой ходить буду.

Она поняла, что отъезд отца, тоже любителя прескучной деревянной игры, для Вавы был ударом. Вава три года ждала этого ничтожного, никому не нужного матча. Прошлый раз, когда состязались Ботвинник и этот, ну, с обычной еврейской фамилией, Вава не пропустила ни одной игры. Ужасно волновалась за (теперь Инга вспомнила) Бронштейна, считая, что он шалопай, но шахматист удивительный. Вся шипела, горела и жила полной жизнью.

У старухи не было денег. Пенсию в двести рублей (меньше стипендии первокурсника), несмотря на протесты матери, Вава вносила в общий котел. На прошлый матч билеты покупал ей Ингин отец...

— Не беспокойся. Тошка обо мне позаботился, — прошамкала Вава.

— А для меня не купил?

— Не ханжи, девочка. Я не рассыплюсь.

— Я не о тебе, а о себе. Шахматы становятся формой обще-

ственного сознания. В них одних сейчас полная демократия и свобода выбора. Я правильно говорю?

— Приблизительно. Только не воображай, что ты оригинальна. Еще Алехин писал, что шахматы расцветают там, где задавлена мысль.

— Вот видишь. Так что быть мне твоей верной личардой.

— Других дел нет? Без тебя телефон не умолкал.

— Кафедра?

— К сожалению, мужчины.

— А...— скривилась Инга.— Что ж, надо быть вежливой. Она подошла к круглому столику и набрала номер Бороздыки.

— Игорь? Это Инга. Да, вернулась. Прекрасно. А что в ваших палестинах? Так-то и ничего?..— Уныло-величественный голос Бороздыки удивил ее.— У вас что — зубы болят? Ига, я вас тысячу лет не видела. Представляете, тысячу лет одних лыж и леса. Если вы не чересчур заняты Булгариним, выскакивайте на полчаса. Или подняться к вам?

«Я,— подумала Инга,— навязываюсь».

— Минут через сорок,— ответил Бороздыка, не теряя торжественности.— Подходите к магазину радио, проводите меня к центру. Сегодня я впопыхах.

— Замечательно. Радиوماгазин мне исключительно подходит.

— А говорят, ничего нового,— сказала она, кладя трубку.— Ига — и впопыхах! Это же нечто небывалое!

— Это что — тот, стрекулист? — спросила Вава.

Прошлой осенью Бороздыка часто обедал у Рысаковых, занимая старших литературными сплетнями. Поначалу он всех очаровал, потом к нему привыкли, заметили его болтливость и несущественность, и вскоре он прекратил ходить в Докучаев. Рысаковы облегченно вздохнули, однако со временем, втайне друг от друга, стали по нему скучать. Игорь Александрович был как-никак, а развлечением в их улиточном быту.

— Почему стрекулист? — спросила Инга.— Разве он прыга? Хотя не без того...— Она достала из шкафа махровое полотенце.— Ну и что? Все равно я по нему соскучилась, а если не по нему, то по новостям.

— Не простудись,— буркнула Вава.

Через полчаса, замотав по-крестьянски голову шерстяным платком, Инга перебежала набитое машинами Садовое кольцо, напевая:

Было немного неловко, что «стрекулист и стрюцкий», которого ты не уважаешь, так тебе необходим. Но даже эта неловкость тонула в общем водовороте радости от того, что вот она, Москва, и все в ней новое, и вот он, первый вечер, с гудящими машинами, неоновой темнотой и ожиданием самого-самого постуденчески неожиданного.

«Если бы Иги не было, его пришлось бы изобрести», — усмехнулась Инга.

Возле радиомагазина редкими кучками подрагивали озябшие спекулянты, предлагая какие-то мудреные конденсаторы, лампы и дроссели.

— У меня нету телевизора, — отвечала Инга. Здесь был деловой народ, с ней не заигрывали.

«Эти штуки, наверно, по части лейтенанта, но, по-моему, он ими интересуется не больше меня», — подумала Инга и повела плечами, но не от холода, а, наоборот, оттого, что ей вдруг стало легко и тепло.

Бороздыка подошел в длинном рваном пальто и в ушанке со спущенными ушами.

«Вид у него совсем запущенный, — подумала Инга. — Или я успела от него отвыкнуть? До чего же он удобный экземпляр. По сравнению с ним ты всегда в форме, сама сосредоточенность и работоспособность».

— Как ваш Булгарин? — спросила она, пожимая Бороздыке рукав выше локтя и беря его под руку. — Листа четыре готово?

— Булгарин подождет. Есть дела поважней.

— Любопытно, и что именно?

— Русская культура. Мы решили спасти ее.

— От кого?

— От всех. От марксидов в первую голову и от Запада — во вторую.

— Вот оно что? А как же мне теперь быть с Теккереем?

— Так и быть. На Теккеря, по-моему, никто не посягает. Нынче время космополитизма. Открывают прозападный журнал «Иностранная литература».

— Интернациональная?

— Нет, слава Богу, иностранная. Но все равно — окно в Европу. Дорога на Запад. А что нам от Запада?

— Кофточки.

— На вас хороши и наши. Либо вы освежили, либо вас красит эта шаль.

— Спасибо. Но западные платки не хуже. Если честно, Ига, меня Восток не привлекает. Даже в киплингковском исполнении.

— Вас растлили.

— Еще раз спасибо.

— Не за что. Вас растлили, а вы этого не замечаете. Что же до Востока, он никогда не был опасен России. Восток — это необозримые просторы, предназначенные для русского размаха. Только русские способны заселять безлюдные пространства.

— Американцы конечно же этого не умеют — где им.

— Американцы выжигали прерии. Только русские способны оживить тайгу и тундру. Янки выстроили цивилизованный крематорий.

— Очень интересно, — сказала Инга. — Интересно и своеобразно. Вам надо поскорее это записать. «Господи, какая скучища!..» — подумала она.

— Это не только записано, — самодовольно сказал Бороздыка. — Мы уже кое-что делаем...

— Слово и дело?

— Не придирайтесь. Над страной надругались инородцы. Где величие России? В храмах запустение. В Новгороде и Пскове...

— Там были немцы.

— А Ростов Великий кто раскомиссарил?

— Вы говорите о вещах важных и существенных, но я мало что о них знаю, — смутилась Инга. — Мы еще к этому вернемся. Расскажите, что нового вообще.

— Понятия не имею. Я весь в наших делах и никого не вижу.

— Даже моего супруга?

— Супруг по шею в текучке. Журнал, и только журнал.

— А дамы?

— Не знаю. Меня он в свои дела не поверяет.

— А ваши дела его не волнуют?

— Нет, он книжник, — хмыкнул Игорь Александрович.

«Господи, из него ничего не вытянешь, — подумала Инга. — Совсем ошалел или куражится?»

— Вы не слышали, Юрка прочел реферат? Я вам говорила, один лейтенант технической службы написал кое-что о роли личности.

— Я сам его прочел и даже сгубил полночи на беседу с этим фендриком. Не бездарен, но в голове полная сумятица. Никакой ориентировки. Изобретает деревянный велосипед.

— А где он сейчас, не знаете? — отважилась Инга.

— Мы с ним два часа назад расстались. Он отправился к министерским родичам.

Инга почувствовала, что сейчас покраснеет. Но Бороздыка не смотрел на нее. Он шел, горделиво вскинув голову, глядя сквозь очки на ненавистную (прежде горячо любимую!) Москву. Сегодня Инга была ему почти безразлична.

— А как ваш великолепный доцент? — осмелела она.

— Лучше, чем я ожидал. Прозревает. От него тут жена уходила, страдание, знаете ли, облагораживает...

— Вот как!.. — Инга от неожиданности зарделась, и тут уж Бороздыка повернулся к ней.

— Неужели не слышали? — спросил он, отлично знавший, что его сообщение взбудоражит Ингу.

— Откуда, Ига? Я была в Тьмутаракани. Снег и сосны. Знаете, солнце, воздух и вода...

«Господи, я теряю лицо, — мучилась Инга. — Вот тебе и Алексей Васильевич! Вот тебе и забыла-зачеркнула! Значит, мадам его бросила? Нравная мадам. Нет, это удивительно! Взяла и бросила. Бедный Алеша. Но уйти от мужа — это все-таки благородно. Возвышенно и благородно уйти от мужа, если муж тебя не любит. Я ведь ушла... А хорошо бы встретиться с мадам Фирсановой. Теперь ведь она Фирсанова? Здравствуйте, Марьяна Сергеевна. Или она Марианна, как Франция? Францию называют Марианной, а Париж — Лютецией. Кажется, так. Значит, она бросила Алешу. Я ей позвоню и приглашу в кафе... Брось! Что за глупости?! — тут же перебила себя. — Но, главное, он свободен. Почему же не звонит? Нет, звонит. Вава ведь сказала: обрывали телефон. Надо проститься с Игой на углу и сразу на троллейбус. Может быть, он сейчас набирает мой номер. Господи, какая тупость была торчать в доме отдыха! Три недели ухлопала впустую. Три недели. Мне скоро двадцать четыре года. Я уже дама на возраст... Но какова Марьяна?! Взяла и ушла. Решилась. Наверно, собрала чемодан. А куда ушла? Она ведь, наверно, у них прописана. Он оставил ее без жилья? Нет, наверно, это он ушел. Он ловко... то есть не ловко, а умело... даже не умело... ну, словом, толково все объяснил Марьяне, и она поняла. Алеша помог ей бросить его так, чтобы не страдала ее гордость. А она, несмотря на профессию, оказалась разумной женщиной. Боже мой, у меня к ней почти сестринское чувство. Хоть у меня и не было сестры...»

— А куда делась мадам Фирсанова? — спросила Инга.

— Поначалу ушла к подруге.

«...Ах, все-таки ушла. Впрочем, Сеничкины чего-нибудь придумают. Хотя люди явно черствые. С лейтенантом они тоже как-то не так поступили. Но они-то они, а не Алеша...»

— Вы с этой подругой, возможно, и не знакомы,— сказал Игорь Александрович.— Некая Клара Шустова. Она бывала с Марьяной у Юрки. Переводчица, кажется, с немецкого. Уезжала в советскую зону. Впрочем, погодите. В прошлом году она здесь появлялась. Ездил с Сеничкиными и лейтенантом, кажется, в Гудауты или еще куда-то... Видите, как все перепутано.

— Ужасно,— кивнула Инга.— Новостей хоть отбавляй, а вы, Игорушка, жадничали.

— Ну что это за новости...

«...Да, действительно, все ужасно перепутано,— подумала Инга.— А лейтенант, оказывается, не промах. Но что-то я об этом слышала. Шустова? Что-то с разводом. Муж моложе и лейтенант тоже, значит, моложе... Что-то говорили на Новом годе. Чем-то она больна. Я тогда подумала, как все это от меня далеко: кто-то болен, а я весела и здорова и рассталась со старым мужем. Какое счастье, что мы оказались не нужны друг другу, что ему вообще женщины не нужны. То есть нужны, но ненадолго»,— поправилась она.

— Ига, я вас тут покину и побегу домой, а то у меня Вава одна.

— Что ж, привет Варваре Терентьевне, маман и Антону Николаевичу.

— Спасибо. Они у меня в Кисловодске. А вы кланяйтесь доценту,— созорничала Инга, зная, что Алеша сейчас ей звонит.

— Передам,— ухмыльнулся Бороздыка.— Он звал меня в субботу к прокурорским предкам.

— Ах, вот как?..— сказала Инга, твердо решив никогда не рыдать у Бороздыки на груди.

— Я вам не досказал. Вчера доцент явился к Шустовой, забрал чемодан и супругу и увез за город. Понимаете, в таких случаях как: либо последняя попытка, либо сызнова медовый месяц.

— Понимаю, как не понять. Счастливого уик-энда, Ига. Привет Марьяне Сергеевне! — и, выдернув руку из-под руки Бороздыки, Инга перебежала улицу и вскочила в троллейбус.

«Сволочь! Ведь нарочно, нарочно!.. С оттяжкой, как гестаповец. Дрянь,— думала она.— Как тащится троллейбус. Я не выдержу. Гад. С оттяжкой... Так медленно, медленно, как пружину, оттягивал, чтобы ударила побольнее. И еще этот троллейбус еле тащится... Иге повезло. Не живи он на пятом этаже, я бы ему все стекла выбила,— подумала она, сворачивая со Сретенки в переулок.— Брось,— одернула себя.— Чего ты хочешь? Они муж и жена. Жена уходит, муж бежит за ней и возвращает... Твой муж тебя не возвратил. Его из Кашенко не

выпустили. Но кому это интересно?.. Ты своему мужу была не нужна, а она своему нужна. Последняя попытка... Медовый месяц... Гад ползучий! Иностранцы, величие России. В храмах запустение... Показала бы тебе запустение... Ну, ну, держись,— она пыталась взять себя в руки.— Не распускайся. И не завидуй, если кто-то кого-то бросил, а кто-то кого-то догнал и воротил! Тебе ни до кого нету дела. Иди домой. У тебя есть машинка и печатай свою работу. Печатай главу, пока не отняли машинку. У тебя все отняли. Молодость, любовь, любимого и оставили только машинку... Как красиво! — снова перебила себя.— Как красиво! Ты еще зареви, что предки тебя бросили и развлекаются в Кисловодске.— Она как раз проходила мимо дома Бороздыки, в окно которого минуту назад собиралась запустить булыжником.— Любовь? Любимого?.. Ничего у тебя не было и нету. Ты нищая... Любимого?! Тебе дали его напрокат. Как машинку фирмы «Гермес-бэби». Дали, потому что был не нужен. На подержание. Тоже слово. От корня подержанный. Все мы подержанные. Как говорят, «бэу», бывшие в употреблении. Вы, Инга Антоновна, тоже «бэу». Точнее, недобэу. Недоупотребили вас, вот вы и мечетесь. Вам угодно смазливому доцента? А ему вас не угодно. Ему нужны дом и жена и на стороне высокая любовь без постели. Он сытый мужчина. Ему нужна бесплотная красота. Возвышенная. А я не хочу возвышенной. Я хочу самого грубого, самого живого. Я надерусь и бери меня все равно кто. Я закрою глаза и бери, кто хочет, меня, потому что я надерусь».

Покачиваясь, будто пьяная, она перешла уже пустеющее Садовое кольцо и свернула со Спасской в свой Докучаев. Какой же он был сейчас тихий, печальный и безрадостный. Казалось, в него никогда не заглядывала весна. Но именно такой он был ей по душе и по мерке, словно он и она были сотворены одновременно.

Инга хлопнула дверью парадного и поднялась по темной, старой лестнице. Вава лежала на своей кушетке, примостив шахматную доску на круглый материнский табурет.

— Тебе два раза звонили. Один и тот же голос,— сказала она, даже не пытаясь подняться.

Телеграмму от Елизаветы передали по телефону в среду вечером. Курчев прямо в «овощехранилище» написал рапорт и протянул майору Чашину. Тот оторвался от соседнего осциллографа и покачал головой.

— Ну вот. Только я вас похвалить хотел, а вы — в отпуск. Сейчас не сезон.

— Квартира горит, товарищ майор.

— Залетаев,— крикнул Чашин.— Пошлите солдата в штаб, а то лейтенант вибрирует — развертка вон куда полезла! — Он кивнул на осциллограф Бориса, где импульсы прыгали, как в пляске святого Витта.— Идите, Курчев. Все равно с этой минуты из вас работник, как... в общем замнем для ясности.

— Слушаюсь. Идешь? — спросил Курчев появившегося в отсеке летчика.

— Иду. Сам передам рапорт,— сказал Залетаев и вышел вслед за Борисом.

По бетонке гулял холодный ветер, но даже сейчас, в темноте, чувствовалось, что с зимой — все, что она демобилизована и лишь последние дни качает свои права, как сверхсрочник, с которым не продлили договора.

— Федька без тебя пропадет,— сказал Залетаев.

— Выкрутится,— отмахнулся Борис. Ему не хотелось думать о печальном. Только бы Ращупкин подписал!..

— Пропадет,— повторил летчик.— Ты ему вели на технику жать. Комиссуют — на завод устроится.

— Скажу... Только бы Журавль подписал...

— Подпишет. Чашин ему нахваливал тебя в обед: мол, Курчева прямо подменили, сидит в бункере, не разгибаясь.

— А Журавль что?

— Ничего. Совесть, сказал, замучила... Напоследок хочет оправдаться... Это он стрельбу твою помнит.

— Тогда не подпишет...

— Да нет, подмахнет. Нужен ты ему? Все равно ведь удерешь. Квартира светит?

— Вроде бы...

— Адрес дашь? — машинально спросил летчик.

— Переяславка, сорок один, квартира четыре,— тоже машинально ответил Курчев. Он думал об аспирантуре.

Первые дни после похода на набережную он пробовал возиться с новым рефератом. Но уже со второй фразы его начинал грызть стыд. Большие серые глаза аспирантки больше не смотрели в его душу. Он сутулился над тетрадью, не чувствуя на затылке ее дыхания. Инга перестала ему сниться. «Мимолетное виденье»,— вздохнул он, бросил тетрадь в чемодан, решив заняться импульсной техникой.

Ращупкин больно о себе понимал, считая, что Курчева гложет совесть. Просто от осциллографов был пусть малый, но все же какой-то толк. Насобачившись на настройке, можно было податься на завод или, если Гришка не обманет, в телеателье. Из реферата же выжать ничего не удавалось, и от

этого хотелось колдовать у приборов среди офицеров и штабских, отпавать сопротивления, спорить, ругать громоздкие узлы и придумывать какую-нибудь полезную чепуховину, короче, вертеться среди понимающих людей и хоть с пятого на десятое кое-чего кумекать.

Курчев готов был жить такой жизнью еще дней пятьдесят, пока в Москве совсем не потеплеет. У него было лишь легкое пальто, а щеголять в короткой и тесной шинели поверх гражданского платья на девятый год после войны уж вовсе глупо.

Теперь, когда с демобилизацией двинулось, Курчев повеселел и вновь стал простым, компанейским парнем. Как тонкий колбасный довесок, он лепился к кругу, словно боялся, что его, чего доброго, мимоходом съедят или обронят. Никогда ему еще не было в армии так легко.

В понедельник перед обедом были офицерские стрельбы; из своего нагана выпуска 1898 года Курчев выбил сорок три из пятидесяти и оказался в полку вторым. Ращупкин, стрелявший из ТТ, отчаянно мазал.

— Что у вас за наган? — сердито спросил он Бориса.

— Тот самый, — улыбнулся Курчев, намекая на стрельбу в день пехоты.

А сейчас, после телеграммы, его начало мотать, как в качку, и подходя к штабу, он снова стал обыкновенным Курчевым, «чумой», как окрестил его Секачев.

Только что сменился суточный наряд: из кабинета Ращупкина вышли два младших лейтенанта, оба с наганами, один с красной повязкой.

— Разрешите, товарищ подполковник, — Залетаев толкнул дверь. — К фину иди, — сказал он Курчеву, возвратившись через минуту.

— А к Журавлю?

— На хрен ты ему сдался?

Тут же распахнулась дверь, в ней воздвигся огромный Ращупкин в шинели и шапке. Залетаев посторонился и козырнул, а Курчев, не выдержав расправившей его радости, выдохнул:

— Спасибо, товарищ подполковник.

— В армии, лейтенант, младшие по званию не благодарят, — презрительно, будто сплевывая, бросил на ходу Ращупкин.

Вечер обошелся без бутылки, поскольку военторг Лешка, прихватив Федьку Павлова сопровождающим, отбыл в Москву, а летчик ушел к буфетчице. Борис решил было задать храпака (благо, в соседней комнатке сладко посапывал Секачев), но по-

чувствовал, что не уснет, и, нервно помешав угли в топке, не надевая шинели, выскочил к монтажницам.

Ветер гулял всюду — фонарь у забора раскачивался, как взбесившийся маятник.

«Это бегство, и нечего себя обманывать, — думал Курчев. — Ты бежишь — тебе неохота бороться за общее благо. И справедливость ты видал в гробу и в тапочках. А пальба вверх? — перебил себя, скользя накатанной ледяной дорожкой, по которой утром со смехом съезжали монтажницы. — Пальба тут ни при чем. Просто ты не хотел, чтобы почтальону били морду. А вообще-то тебе на всех наплевать. Ты лентяй и этот, как его... в общем — себялюбец. Я хочу объяснить мир, — снова перебил он себя. — Я хочу объяснить, что к чему, где свобода, а где необходимость. Не строй из себя ученого!.. Да, ученого! Дело ученого объяснить что к чему, так, чтобы все поняли. А неуча — переделать? Нет. Если неуч начнет переделывать, то опять двадцать пять, все начнется сначала, как мочало. И вообще не придирайся к слову. Задача ученого, чтобы не было неучей. Вот так, — обрадовался, будто впрямь нашел ответ, если не на все, то хотя бы на один вечный вопрос. — И многих ты обучил?» — не унимался в нем второй саркастический Курчев. Тот всегда выбирал неподходящее время, чтоб мотать душу и нервы.

— Сколько мог, столько смог, и не приставай, — буркнул Борис, вытирая в сенях ноги.

В проходной комнате три младших огневика и пятеро монтажниц пили чай с круглыми черными коржиками.

— Не запылится! — Сонька-перестарка оторвала окрашенные губы от блюдца. Она сидела на койке рядом с только что сменившимся с дежурства младшим лейтенантом и, похоже, имела на него виды. Второй «микромайор» сидел на койке рядом с длинной, сухой, очень некрасивой инженершей Томилиной и говорил с ней о децибелах. Он окончил краткосрочные шестимесячные курсы, куда принимали с восьмью классами, и, по-видимому, весьма смутно представлял себе даже логарифмы. Но сегодня крепко поддал и, сам не зная зачем, при этом обижаясь, хотел выяснить, как измерить грохот орудий.

Замученная инженерша не чаяла отцепиться от пьяного, однако покорно чертила на бумажке не нужные ни ему, ни ей цифры и графики.

— Можно, Александра Фадеевна? — спросил Курчев, садясь на ее койку. — Децибелы — по-английски блохи. А при женщинах о блохах не говорят, — подмигнул он огневику.

— Борис шутит, — сказала инженерша.

— Шути, знаешь, где, — обиделся огневик.

— Знаю. А ты не выпендривайся. На фиг тебе децибелы?

— Борис,— шепнула инженерша.

— Потолкуем, может? — спросил огневик.

— Вот, всегда он так. Придет, настроение всем испортит...— сказала Сонька.— Чего ты в нем, Валюха, нашла? Харя да лысына.

— Точно,— засмеялся сидевший рядом с Валькой третий младший лейтенант, маленький кучерявый владелец «Москвича-401», прозванный в полку крохобором. На машину ушли все его суточные, подъемные, все жалованье за прошлый год и за полгода следующих, и младший лейтенант вечно стрелял рубли и трешки, не пил своей водки, не курил своих сигарет, не покупал ни мыла, ни пасты, с охотой ходил в наряд, потому что дежурный по части снимал в столовой пробу, и вечно норовил пожрать на стороне. Вот и сейчас он увлеченно грыз черный ржаной пряник.

Руки у крохобора были чернее пряника. Он только числился по огневому объекту, а, по сути, заправлял всем полковым автохозяйством. Ращупкин пробивал ему эту должность, но у младшего лейтенанта было плоховато с образованием: он ушел шоферить, не окончив школы.

— Вот именно — харя,— обрадовался огневик, интересовавшийся децибелами.

— Значит, раздумал толковать? — спросил Борис.

— Иди гуляй, пока трамваи ходят,— протрезвел любознательный огневик. Он ходил в любимцах у Ращупкина, драка с Курчевым была ему ни к чему.

— Как хочешь... Я завтра в отпуск, вдруг не вернусь?..— усмехнулся Борис.— И не узнаю, кто такие децибелы. Я вас, Александра Фадеевна, три раза спрашивал и все вон из головы. Видно, умом не дорос.

Бориса все-таки смутило, что, несмотря на общую скуку, никто не услышал его слов об отпуске. Валька глядела мимо него. Возможно, ждала инженера Забродина; тот после обеда уехал в Москву вставлять золотые коронки (видно, готовился к свадьбе).

«Посижу малость и смоюсь,— решил Борис.— Красивого прощания не выходит. Бог с ними. Жалко только инженершу. Нет, и Вальку тоже жалко. Вальку-инженершу»,— улыбнулся он.

— Чего лыбишься? — огрызнулась Сонька.

— Ничего. Проститься пришел,— повторил Курчев и встал. Никто его не удерживал. Он выскочил на мороз и пожалел, что не накинул шинели: не хватало новой ангины.

Теперь спать, спать и спать. А завтра — айда и аля-улю! Защитника угнетенных из тебя не вышло.

У пехотных света не было. В большой комнате печка прогрела, и заслонка была прикрыта. Федька и летчик еще не вернулись.

Утром Борис не поднялся со всеми, хотя не спал и слышал, как кряхтел Секачев, чертыхался Морев и жаловался на паскуду головную боль Володька Залетаев. Федька Павлов — Ращупкин временно сунул его взводным, то есть на место, обещанное ранее Курчеву, — хотя вернулся с военторговской машиной за полночь, ушел ни свет ни заря.

— Вот и все, — вздохнул Борис. Он связал ремнями постель и вытащил из-под голый койки большой желтый, купленный еще в Питере на первое офицерское жалованье чемодан, где лежали тома Теккерера и Толстого. — Смахивает на дезертирство, — сказал он громко.

Солнце уже поднялось над штабом и било прямо в глаза, отчего Курчеву казалось, что из окон всех финских домиков глядят, как он плетется со своим барахлишком.

«Чхать», — решил Курчев, но тут увидел, как у штабного крыльца Ращупкин влезает в светло-серую «Победу».

«Чего это он в Москву собрался? Впрочем, мне-то что? Я в отпуск», — и Курчев прошел в ворота, которые распахнул перед «Победой» Черенков.

— В отпуск, товарищ лейтенант? — спросил вечный дневальный.

— Так точно.

Впереди еще маячили серые цепочки офицеров, бредущих к «овощехранилищу». Курчев спустился в балку, надеясь, что Ращупкин быстро проедет. Идти по вытоптанной петляющей тропинке с узлом и чемоданом было неловко. Иглы впились в матрас. Курчев то и дело останавливался, менял руки, но, когда он выбрался на бетонку, офицеры уже зашли за проволоку, а серая автомашина, все равно как сторожевая собака, ждала на обочине.

— Садитесь, Курчев, — сказал Ращупкин. — Глядеть на вас стыдно.

— Ничего. Дойду.

— Садитесь.

Шофер Ишков распахнул изнутри заднюю дверцу. Курчев, стыдясь казенного в полоску матраса, пихнул его в ноги, а желтый чемодан поставил на обтянутое суровым полотном сиденье.

— Значит, все, лейтенант? — не оборачиваясь, спросил под-

полковник.— Затирухин сказал, бумаги ваши ушли. Я сегодня проверю. Позвоните завтра в полк.

— Слушаюсь.

— Слушаться теперь поздно. Думаю, отпуска на оформление хватит. Приедете, получите выходное — и вы вольная птица. Как с аспирантурой?

— Рано еще говорить...— Борису не хотелось врать напоследок.

— Устроится. У вас все устроится. Повезло вам, что на меня напали.

— Повезло.

— Вообще бы стоило сочинить вам такую характеристику, чтобы вы не то что аспирантуры — двух окладов и года за звание не увидели. Ну, да ладно.

— У автобуса высади,— сказал Курчев водителю.

— Ничего. До дому довезем. Как, Ишков, довезем?

— Довезем, Константин Романович, квартиру посмотрим.— Шофер ослабилась в зеркале.

— Чего смотреть? Хибара.

— Поглядим,— усмехнулся Ращупкин.

«Вот еще гости на мою голову»,— подумал Курчев.

— Значит, это я вам организовал жилье? — спросил подполковник.

— Так точно. Только благодарить мне вас неположено.

— Ничего. В Москве — положено. Гебен зи мир айн шлюс-сель?

— О, я, я, натюрлих! Вот он,— засмеялся Курчев и полез за ключом во внутренний карман кителя.

— Хорошо. Потом покажете. Может быть, я шучу. В общем вы везучий, Борис Кузьмич. Жилье в Москве — это священная мечта каждого гражданина СССР.

«А он — ничего»,— подумал Курчев и сказал:

— У меня вам не понравится. Мебель еще от отца, какую в войну не успели сжечь...

— Мне без ночевой,— улыбнулся подполковник.— Новосельнов пишет?

— Пишет, в Москву перебирается.

— Бойтесь его, лейтенант,— посерьезнел подполковник.— По нему решетка плачет. Не помри Иосиф Виссарионович, за милую душу сидел бы. О дизелях слышали?

— Нет.

— Он тоже вроде вас — везучий.

«Да и ты не из несчастных»,— подумал Курчев.

— А все ж вы, лейтенант, маху дали. Надо было в партию

подать, в аспирантуре когда еще вступите. Кажется, в учебных заведениях теперь прием ограничен или вовсе закрыт. Через три года, когда подойдет распределение, локти кусать будете.

— Так точно.

— Или вы вообще вступать не хотите?

— Теперь до двадцати восьми в комсомоле можно,— подал голос Сережка Ишков.

«Они твою биографию назубок знают...— подумал Курчев.— Перебивают со скуки всем кости».

Москва катилась навстречу окраинами, притормаживая на перекрестках, серая и будничная, вовсе не похожая на ту, субботнюю, что Борис наблюдал из автобуса. Впрочем, теперь она стала своя, возможно, даже по гроб, а свое всегда, если не хуже, то обычной. Солнце где-то затерялось. В городе было суетливо и пасмурно.

— Показывайте куда,— сказал Ращупкин.

«Лучше б самому добираться,— подумал Курчев.— А то как под конвоем. Интересно, что у него за женщина? Хотя мне-то какой интерес? И куда деться? Разве что в баню сбегать...»

«Победа» развернулась на перекрестке и ловко въехала в подворотню, куда, сколько помнил Курчев, до войны автомобили вползать не рисковали.

— Возьмите у лейтенанта вещи,— сказал Ращупкин Ишкову и пошел вслед за Курчевым по неровному, похожему на воронку, мощеному двору. Квартира помещалась в правом крыле дома. Входная дверь была незаметна. Курчев не навещался сюда больше года, но в сенях ничего не переменилось.

— Здравствуйте,— приветствовала его единственная соседка Степанида — то ли вахтерша, то ли уборщица при Елизаветиной конторе.— Ой, офицерья сколько!

— Третий солдат,— уточнил Курчев и полез в китель за ключом. Замок почти амбарный, весом что-нибудь в килограмм, был хорошо смазан и открылся сразу.

— Ничего,— сказал Ращупкин,— оглядывая комнату.— Транспорт, правда, ни к чему.

Как раз к остановке подошел троллейбус и закрыл собой все левое окно и полрамы правого...

— Похлопотать надо. Может, перенесут,— усмехнулся Борис.

Елизавета оставила отцовскую мебель и застелила новой клеенкой обеденный стол, на который выставила три тарелки, две кастрюли, сковородку, чугунный утюг, черную покоробившуюся тарелку громкоговорителя и старый, еще купленный матерью облезлый патефон с кучей таких же старых пластинок.

Особенно Курчева обрадовала большая с выщербленными краями и зеленым на боку трактором фаянсовая чашка. В детстве он из нее хлебал молоко.

На кровати лежали стопкой газеты и рядом с десяток рулонов обоев: длинных и толстых — для стен, и два тонких и коротких — потолочных.

— Кнопки есть? — спросил Ращупкин, глядя с неодобрением на голые окна.

— Были, кажется, — Курчев полез в полевую сумку.

— Распорядитесь. Я сейчас вернусь, — сказал подполковник и, пригнувшись, вышел из комнаты.

— Звонить пошел, — усмехнулся Ишков, ожидая, что лейтенант откликнется. Но Курчев, занятый маскировкой, промолчал. — Да, фатерка так себе, — вздохнул Ишков.

— Ты что — в машине пока загораешь? — спросил, не обращившись, Курчев.

— Я не мерзну, — буркнул шофер.

При посторонних комната явно проигрывала. Особенно мешал троллейбус. Прикнопливая газеты к ветхим, изъеденным древоточцем рамам, Курчев совсем близко видел скучные лица пассажиров; одна молоденькая девчонка, наверное школьница, высунула ему язык. Наконец троллейбус отошел, и Борис разглядел на другой стороне улицы автоматную будку и наполовину высунувшегося из нее Ращупкина.

Константин Романович говорил с Марьяной, та сегодня была с ним мила, даже нежна, но никак не могла встретиться — выезжала с минуты на минуту на следствие. На самом деле она собиралась с мужем к своим родителям за город на последний уик-энд или на второй медовый месяц, то есть закрывать брак или начинать его сначала — так они решили с Алешей.

— С радостью бы, Костенька, но не могу... Никак не могу, — щебетала она в трубку. Ей и впрямь хотелось встретиться с Ращупкиным. Она почти наверняка знала, что из попытки склеить брак ничего не выйдет. Но нужно было ехать, чтобы потом не терзаться: мол, не сделала всего, что могла...

Прикнопливая последнюю газету, Курчев глядел из потемневшей комнаты на переходившего улицу подполковника. Даже без очков было ясно, что тому сегодня не обломилось.

— Поехали, Ишков, — сказал Ращупкин, входя в сени. —

Будем считать, что я пошутил. Желая, лейтенант, удачи и надеюсь на вашу скромность.

— Этого вы могли бы не говорить,— ответил Курчев.

Ишков, ловко развернувшись в тесной воронке двора, поставил машину мордой к подворотне.

— До скорого,— кивнул Ращупкин, захлопывая дверцу.

— Проводили? — спросила Степанида, выходя из своей клетушки. Курчев сквозь дверную щель увидел узкую кровать с горкой подушек и образ с маленькой елочной свечкой.

— Идемте, покажу ваше,— сказала соседка.

Через четверть часа, сбегав через дорогу, Курчев принес бутылку водки, портвейна, полкило колбасы, буханку хлеба, две пачки пельменей и приступил к налаживанию отношений. От водки Степанида отказалась, для вина принесла две своих рюмки, а пельмени осудила, как баловство, объяснив, что мясо «дешевше» и «кастрюли вам с верхом на три дня будет — тут тебе и первое, и второе. В сенях сейчас холодно. Только крышку перевернуть и камнем надавить от кошек, а мышей нету».

— Жить тут можно. С Лизаветой ладили и с вами будем,— болтала она, накладывая на хлеб тонкие круги колбасы.— Жену у вас нет?

— Нет.

— Ну, ваше дело молодое, какая, может, и подвернется. Вам уже тридцать есть?

— Будет,— помрачнел Борис.

Чуть позже, убрав колбасу и водку в шкаф, а пельмени в холодные сенцы, он, перетянувшись ремнем, спустился по Переяславке к вокзалам, оттуда переулками дошел до городской комендатуры, набитой младшими офицерами всех родов и званий. Полчаса обыкновенно уходило на регистрацию отпускного билета. Правда, сейчас еще выдавали пропуска в Мавзолей.

Заняв очередь, он вышел на улицу к автомату, но старуха ответила, что Инга еще под Москвой.

Прислонясь в коридоре к подоконнику, два старших летных лейтенанта и один с погонами общевойскового спорили, кто сейчас главный. Летчики утверждали, что Маленков, а общевойсковик стоял за Ворошилова.

— А ты как, лейтенант? — спросил один из летунов.

— Мне без разницы! — отшутился Борис.— Свято место, сам знаешь, пусто не бывает...

— Не скажи,— отозвался второй летун.— Личность тоже кое-что значит.

— Ворошилов посолдней будет,— сказал пехотный офицер.

— Да не о Ворошилове разговор, — поморщился летчик. — Вот лейтенант говорит, кого назначат, тот и главный. Нет, тут не как в армии. Тут показать себя надо.

— Ворошилов еще в гражданскую показывал.

— В Отечественную надо, — снова поморщился летчик.

— Ну, и ваш в Отечественную ничего такого не сделал, — обиделся пехотинец.

— В Отечественную — Жуков, — тихо сказал, будто подумал вслух, стоявший за Курчевым капитан — артиллерист.

— Не о нашем брате военном речь, — теперь уже поморщился общевоисковик.

— Да вы что, ребята, чудные, что ли? Или беспартийные? — не выдержал Курчев. — Кто руководящая сила?..

— Да, оно-то так, — ответил общевоисковик, — только перепутано все. Без пол-литры не разберешься. Стойте, я покурю пойду.

— Без пол-литры — факт, — снова согласился Борис и вспомнил, что у него в пустом платяном шкафу осталась нетронутая «банка» и в сенях пельмени. — «Пригласить их, что ли, напоследок? Да нет. Не трави себя. Уходя уходи — так, что ли, говорят англичане?»

С ощущением, что первый день пошел коту под хвост, он достоял очередь, отметил документы и поднялся по потемневшей улице до скверика у Красных Ворот. Там, в нужнике, построенном на манер бункера, он снял с шинели погоны и с шапки звезду.

«Теперь все», — улыбнулся Борис и, чтобы по оплошке не козырять, сунул руки в карманы шинели. Так ходить он за четыре неполных года начисто отвык, зато руки не мерзли, да и спешить было некуда. В первом же попавшемся хозмаге он купил молоток, разводной ключ, гвозди, шурупы с гайками, маленькую одноручную пилу и три пачки клея. Клей был для обоев с примесью какого-то порошка от клопов.

Теперь с покупками не козырять было легко. Он шел тихой Переяславкой, запоминая, где что — тут газеты наклеивают, тут пообедать можно, там на углу — прачечная. Аптеки не было, но хворать он не собирался.

Дома он вскипятил на газу чайник и, найдя в кухонном столе большую банку из-под сельди, развел клей. Переодевшись в хлопчатобумажную робу, Курчев сдвинул в угол стол, и на чистом, почти белом, лишь кое-где испачканном сапогами Ращупкина и Ишкова полу стал намазывать газеты и клеить поверх старых обоев. Работа шла споро. Потолок был низкий, и Борис доставал с табурета до верха стены. Пустой фанерный шкаф

легко сдвинулся с места, но оттуда, распахнув узкую створку, выпала бутылка водки и осталась цела лишь потому, что плюхнулась на узел с постелью. В шкафу что-то еще глухо стукнуло, и, открыв большую дверцу, Борис чуть не прослезился. Там лежали четыре ножки от табурета с продетыми болтами и перевернутыми на болты гайками.

«Да я бы в жизнь так не просверлил! — подумал он. — Голова садовая, сверла-то нету».

Он нагнулся к кровати матрасу. У углов его тоже были заботливо просверлены отверстия.

— Вот, черт, забота об людях! — вздохнул Курчев, чувствуя, что на глаза и впрямь наворачиваются слезы. — И кто они мне? А? Нет, я вправду везучий.

Он разобрал кровать, вынес в сенцы раму с сеткой и когда-то никелированные спинки. Перевернув матрас пружинами вверх, он собрался было прикрутить к нему ножки, но, решив, что они несколько длинны, уложил их в ряд на табурёте и отпилил ножовкой добрую треть.

— А подметать — двигать буду, — сказал Борис. Зато с низкого матраса обклеенная газетами комната казалась просторней и выше.

«Жалко, обновить не с кем, — сказал себе, словно был занятый ходок. — Но, ей-богу, здорово! А что до стен, то без обоев даже лучше — читай — не хочу!»

Он быстро доклеил газеты, распаковал тюк с постелью и впервые в жизни уснул праведным хозяйским сном.

— Умаялись? — спросила соседка, когда на другое утро в бриджах и нижней рубаше он вышел в кухню к рукомойнику. — Пельмени будете? Я трясла, стучат. Только разве это для мужчины питание? Вам супу надо. Завтра с утрачка на рынок пойду. Денег дадите — мясу вам куплю. Лизавете я завсегда покупала.

— Спасибо, — Курчев обрадовался: тут не армия, и можно благодарить. Соседка была невысокая, коренастая, с морщинистым, удивительно неприметным лицом. Вчера он сидел с ней бок о бок, но сегодня, столкнусь он с ней на улице или в троллейбусе, наверняка бы ее не узнал.

— А отца моего не помните? — неожиданно для себя спросил он, чувствуя, что симпатия к Степаниде дошла до высшей отметки. Ему хотелось спросить еще вчера, но за портвейном было неловко, потому что налаживание соседских контактов это одно, а отец для него был теперь чем-то высшим, мешать одно с другим не хотелось.

— Нет, не помню,— замкнулась она.— Я тут с войны. Как похоронка прибыла, помню, это при мне.

— Он приезжал. Его не сразу разбомбило,— все еще надеялся Борис.— Кучерявый такой.

— Нет, не помню,— повторила соседка и отвернулась, видимо не желая чего-то договаривать. Может быть, помнила других путейцев, ночевавших у Елизаветы. Но Курчева это не касалось. Его занимал один отец. Отец еще потому был тайной, что Борька помнил его плохо, много хуже, чем разговоры о нем, поэтому расспрашивал об отце осторожно, словно дотрагивался до еле зажившей раны. Страх всегда пересиливал любопытство: а вдруг отец и в самом деле, как твердила бабка,— пустельга и выпивоха.

«Эх ты, Иван не помнящий родства»,— усмехнулся Курчев, возвращаясь в комнату.

Соседка вошла следом.

— Обклеились? Надо было старые содрать.

— Плотно висели.

— Ну, и мостили бы поверх. Покажите обои.

Курчев снял со шкафа рулон.

— С конторы Михалыч унес. У нас такие ж. Для жилья не годится. Вы б какие в цветочку взяли. На Мещанке бывают.

— Сойдут.

Ворованные с тонкими светло-синими полосами обои ему нравились. Но тут же он решил, что обклеит комнату белыми потолочными и позовет лысого художника; вдруг тот что-нибудь изобразит на них тушью или красками.

— А такие на Мещанке есть? — спросил Борис, разворачивая рулон поменьше.

— Навалом. Только этих вам за глаза хватит. А за в цветочку сходите. Клеить пока все одно нельзя. Не просохли,— и она для верности провела рукой по газетам.

«Теперь не отвяжется,— подумал Курчев.— Не умеешь ты с людьми. Или отстраняешь их или запанибрата... Вот и мучаешься».

Он достал из чемодана две общих тетради и сел к столу набрасывать проклятый реферат. Но фразы не вытанцовывались,— ни отпуск, ни собственное жилье не помогали. И промучившись два часа, он вдруг стал писать о лейтенанте Мореве.

«ЧТО ТАКОЕ БОЛОТО?» —

вывел Борис вверх страницы. «Эх, малявки нет»,— вздохнул он и тут же начал обрывать слова и не ставить на обрывах точек:

«У реки есть цель. Река течет и попробуй не пусти ее к мо-

рю. У горы тоже есть цель или назначение. Гора желает сохранить себя. Скажем, не обвалиться. Правда, геологи полагают, что горы самообразовались. Честно говоря, я в это не верю, но ведь в обозримый человеческий период горы не образовывались. Иначе бы не искали американцы на Арарате остатки Ноевой посудыны.

Лес, говорят, движется со скоростью (ускорением?!) два метра в год. Представьте вымерший город или брошенный город, на который стеной идет лес».

За окном остановился троллейбус и прикрыл собой без того затемненные газетами окна.

«На марлю придется разориться»,— подумал Курчев, не поднимая головы.

«Вымер город или опустел. Стали трамваи, троллейбус застрял под окном, а лес прет стеной и посылает подземный десант пробивать асфальт и с неба десант воздушный... Вот картина, а? — писал он, не замечая, что разговаривает с самим собой.— У всего сущего есть цель. Только у болота ее нету.

Болото не может существовать для производства торфа. Болото уже было, когда торф никому еще не был нужен. Болото не может существовать для охоты. Если на болоте водится дичь, это дело дичи, а не болота. У болота какое-то иное назначение, какая-то своя необходимость.

Болото — это единство всего негодного. Именно — единство. На Хитровом рынке единства не было. Была свалка отбросов. А болото — это единство. И река заболачивается, и земля разжижается. Но болото не есть среднее между водой и сушей.

Болото нечто иное. Это собранная вместе масса с очень сложной и в то же время естественной организацией. В болоте есть свобода и неподвижность. Болото — это экспансия неподвижности. Оно ничего не хочет, но все получает. При всей своей вязкости оно необычайно прочно. (Я говорю не о прочности на морозе. На морозе болото все выдержит, как выдержит земля.)»

«Нет, не клеится,— подумал Курчев.— Мороз, болото. Подморазивай болото. Нет, не то».

Он пошел в кухню вскипятить чайник и заодно побрился.

«Не с того конца берешь. Слишком на красоту тянет. Решил писать о Мореве, а полез в образы. Масса, болота. Ну их в болото. Малявка будет — засяду». — Он вынул из шинельного кармана и с неохотой водрузил на место погоны и эмалевую звезду. Потом оделся, надраил у чистильщика сапоги и поехал в журнал к Крапивникову.

Георгий Ильич торопился разбросать дела, снять корректорские вопросы по верстке, проглядеть несколько статей: не хотелось тащить их домой. Осень и зима из-за всевозможных шатаний, шараханий, откатов и новых прогрессивных веяний оказались тяжелыми. Георгий Ильич вымотался, изнервничался и с нетерпением ждал среды — дня, когда сядет в поезд Москва — Симферополь и забудет этот трижды проклятый журнал, который только пьет кровь и не приносит ни радости ни славы. Статьи писали в основном идиоты, за них приходилось все переписывать. А если попадались умники, с этими хлопот было еще больше, потому что умников надо было доводить до уровня полудиотов, и они фордыбачили, цеплялись если не за идеи, то хотя бы за фразы, злились на Крапивникова — словно это ему нужно.

Крапивников сам статей не сочинял, разве если вылетали какие-нибудь нужные материалы или надо срочно отгрохать передовую. Тогда он садился и писал, как надо, не хуже и не лучше, а именно то, что можно тотчас запускать в машину.

В отличие от сидящего сейчас напротив него Бороздыки, Георгий Ильич махнул на себя рукой, понимая, что жизнь кончена и остались только женщины, которых он беззаветно любил, как-то сразу всех, никого не выделяя. Его редкие женитьбы были просто огрехами, производственным, что ли, браком. Впрочем, с бывшими женами Крапивников умудрялся сохранять самые милые и теплые отношения.

Сейчас Георгий Ильич торопился покончить с редакционным завалом, надеясь, что завтра, в субботу, его в журнал не вызовут, в понедельник он возьмет библиотечный день, во вторник явится с шампанским и шоколадным набором, сделает общий привет, и жизнь наконец станет прекрасной. Конечно, март — еще не сезон, но в таком курортном центре, как Ялта, и в марте цветут кое-какие розы. В предвкушении очаровательного романа он быстро просматривал верстку, снимал корректорские кресты и вымарывал раздражившие главного редактора или его заместителя абзацы. Работать из-за раздерганности он умел лишь в спешке и в шуме, и ноющий под ухом Бороздыка ему не мешал.

— Братья Киреевские, — бормотал Бороздыка. — Ты понимаешь, святее и чище людей не было...

— Да, конечно, — кивнул Крапивников, правя статью о 300-летию воссоединения Украины с Россией. — Не припомню, кто святее, — и машинально приподнялся в кресле, потому что в комнату вошла секретарша Серафима Львовна.

— К вам армейский товарищ. Уверяет, что на две минуты.

Входите,— крикнула она в приемную, где переминался Курчев, на этот раз в начищенных сапогах.

— А, лейтенант,— вышел из-за стола Крапивников.

— Привет, Курчев.— Бороздыка кивнул, не поднимаясь со стула.

— Извините, я на полслова.— Борис покраснел, входя в тесную, выгороженную из большой приемной комнатенку, где уместились только письменный стол с двумя стульями да крохотный столик с большим приемником «Рига-10».

— Садитесь,— Крапивников с элегантностью ресторанного метра сдвинул рукописи с края стола в центр, освобождая место для лейтенанта. Больше посадить пришедшего было некуда.— Что-нибудь принесли?

— Нет. У меня практическая просьба: бумагу в Ленинку, в третий научный...

— Ради Бога! — засмеялся Крапивников и тем же ловким движением отправил рукописи назад, на край стола. На освободившееся пространство он взгромоздил портативную машинку «Москва», и на типографском бланке напечатал короткое прошение.

— Курчев, Борис Кузьмич? Я не ошибся? — Он протянул бланк под неодобрительным взглядом Бороздыки.— Прихлопните у Серафимы Львовны. Надолго в Москву?

— Возможно, насовсем.

— Тогда заходите. Только не позже среды.

— Спасибо,— кивнул Курчев.

— Я тоже пойду.— Бороздыка поднялся. В большой комнате он взял у лейтенанта бланк и положил перед секретаршей.

— Этого достаточно? — женщина с сомнением посмотрела на текст и достала печать.

— Я от себя кое-кому замолвлю,— заважничал Бороздыка и увел лейтенанта из редакции.

— Такси! — Он поднял у подъезда руку, подвез лейтенанта до улицы Калинина и лично расплатился с водителем.

— Не робейте, у меня тут связи.— Бороздыка кивнул на величественное здание Ленинки.

— Спасибо,— сказал Борис.

Но билет ему выдали тотчас, связи не понадобились.

— Вот и вы приобщились к науке,— усмехнулся Игорь Александрович, намекая, что хоть лейтенант и обосновался в привилегированном зале, дистанция между ним и кандидатом наук Бороздыкой от этого ничуть не уменьшилась.

— Спасибо,— повторил Борис, надеясь, что Игорь Александрович застрянет в библиотеке, но тот вышел вместе с ним.

— Я к брату,— сказал Борис.

— Он уехал сегодня утром за город с прокуроршей. Попытка примирения. Пойдем ко мне.

— Чемодан забрать надо. Я вроде демобилизуюсь.

— А вот это зря. Армии нужны образованные люди. Там вы абсолютно на месте. А что вы штатский? Нуль! Неужели при вашем образе мыслей вы подадите в аспирантуру?

— Еще не решил.

— Не играйте с собой в прятки. Вам, русскому человеку, в армии самое место.

— Мне? — удивился Курчев.

— Вам. Ваша судьба темно служить в далеком полку. Вы умны, не тщеславны, вы крепь России.

— Спасибо, но, увы, это не так.

— Так-так,— воодушевился Игорь Александрович.— К Жорке несколько лет назад захаживал артиллерист, майор, потом, кажется, подполковник. Красавец детина. Косая сажень в плечах. Росту — на двоих достанет. А уже порченный, с тухлинкой. На московских арестованных заглядывался. Пижон, голосом своим любитесь. А когда молчит, ну, прямо Георгий Победоносец. Забыл фамилию. Рагозин, Рогаткин?..

— Может, Ращупкин? — неожиданно спросил Курчев.

— Вот-вот. Вы знакомы?

— Встречался.

«Ничего себе кино,— подумал Борис.— Вон куда Журавль затесался! Недоставало только, чтобы он в мою фатеру привел Ингу. А что? Вполне возможно! Он звонил из автомата — ему не обломилось, а Инги как раз нет в Москве. Хотя нет... У нее доцент...»

— Чудно,— сказал он Бороздыке.— Вот уж не думал, что Ращупкин вхож к вашим. По-моему, полная несовместимость.

— Безусловно. Фанфарон. Но кого только у Жорки не бывает?! Ращупкин ваш, кажется, через немку, учительницу свою, проник. Да вы ее знаете. Алексей Васильевич говорил, вы на юг вместе ездили.

— Через Клару Викторовну? Ого! — обрадовался Борис.— Прямо как в игре — тепло-горячо-жарко...

— Лохшваге? — Бороздыка скорчил рожу.

— Нет,— отмахнулся Курчев. Он случайно знал это жаргонное слово.— Нет, общих женщин у нас не было. Просто чудно, что он оказался так близко.

— Большой ходок?

— Там, где он, не расходишься.

«Бедная Кларка,— подумал Борис, поднимаясь с Борозды-

кой по бывшей Поварской. — Так вот он, праздник тела?! Н-да... Крыть нечем».

Было немного не по себе. Зато кончились все сложности с Кларой Викторовной.

«Звонить ей не буду, — решил Борис. — А она при чем? — тут же перебил себя. — Она ж не знала, что Журавль будет моим полком командовать?»

— Ваш брат метко окрестил вашего Ращупкина: Голиаф. В смысле — такой большой и такой ненужный, — сказал Бороздыка.

— Чья бы корова... — не удержался Курчев.

— Что, вы с ним не в ладах? А мне, признаться, последнее время ваш кузен стал нравиться. Разумеется, в нем много наносного. Но внутри незамутненное, абсолютно русское нутро.

— Я так далеко не опускался, — съязвил Борис. Но Бороздыка его не слушал.

— Я и сам этого не ожидал. Человек занимается Западом, и вдруг такие исконно русские мысли и склад ума. И даже — трудно поверить — начатки религиозного мировоззрения.

— Он что, сам в этом признался? — вздрогнул Курчев.

— В чем? Просто мы проговорили несколько вечеров, и оказалось, что этот с виду англоман, мимошник, весь в поисках, в смятении, но в то же время с чувством дороги...

— Это у него от семейных неурядиц. Помните, Толстой сказал, что в несчастливых семьях пробуждается либерализм.

— А соборность тоже от неурядиц? Я вам, лейтенант, еще в прошлый разговор объяснял, что вы духовно недоразвиты. Вы ползете, а нужен полет. В вашем кузене есть чувство соборности.

— Сами догадались или он рассказал?

— Такие вещи не рассказывают. Это или есть или нет. В Алексее Васильевиче есть.

— В Греции все есть. Мне сюда, — Борис кивнул на дом Сеничкиных.

— А мне дальше, — сказал Бороздыка. — Звоните. И запомните, на выпады я не отвечаю. По сути, мы с вами единоверцы.

«Ну, наплел, — вздохнул Курчев. Минувя лифт, он поднялся по узкой, вполне чистой лестнице. — Темно служи в полку. Тоже нашел Николая Ростова. И Ращупкин — хорош! Счастье еще, что у него не с Ингой... А тебе какая разница?» — перебил себя.

— Разница, — сказал громко и позвонил в дверь.

Дядька стоя допивал компот, сплевывая косточки в блюдце, которое держала пред ним Ольга Витальевна.

— Опоздал, брат. Раньше бы, — подмигнул он племяннику.

— Уже поздно, Вася. Торопись,— сказала Ольга Витальевна, подала мужу пиджак и вытянула у него из-за ворота салфетку.

— Я на минуту, штатское забрать,— объяснил Борис.— Елизавета выехала.

— Ух ты, поздравляю! — Министр положил руку на плечо племянника, но тетка тут же ее сняла и сунула в рукав синего драпового пальто.

— Ну что ты, Вася, как маленький? Борис еще придет.

— Приду. Я в отпуске.— Курчев прошел в кладовку за чемоданом и, вернувшись, спросил уже выходящего министра: — Подкинете?

— Давай,— сказал дядька, но Ольга Витальевна была, как всегда, начеку:

— Поезжай, Вася. А мне надо побеседовать с Борисом. Раздевайся, Борис.

Курчев с неохотой снял шинель — он чувствовал себя, как в деканате после долгого прогула.

«Полтора таксишных червонца не дала сэкономить. Может, шеф бы еще у магазина на Мещанке постоял». Идея потолочных обоев с намалеванными на них абстракциями не оставляла Курчева.

— Садись,— сказала тетка, проводя его в гостиную.— Нет, погоди. Лучше сюда,— и она увела его в соседнюю с ванной спальню, где он еще ни разу не был: уходя или уезжая, Ольга Витальевна непременно ее запирала.

«Золото у нее там или крест из алмазов?» — гадал когда-то Борис.

Спальня выходила во двор, но из-за двух больших окон была необыкновенно светлой. В ней стояли две кровати, большое трюмо и кресло.

— Садись.— Тетка толкнула его, как первоклашку, в кресло и повернула ключ в замке.

«С чего это она? — подумал Борис.— Неужели хочет выдать гульдены, понятно, споловинив? Черт с ней. Половина больше нуля».

— Ты знаком с некоей Рысаковой? — вдруг спросила тетка.

— Нет,— не краснея, ответил Курчев, глядя в ее напудренное нестарое лицо.— А кто она такая?

— Пожалуйста, не притворяйся. Ты ее видел у нас, даже провожал домой. Аспирантка Инга Рысакова.

— Ингу помню, а Рысакова нет. Я не знал, что она Рысакова.

— Да. Рысакова, если не поменяла фамилии. Ее бывший

муж печатает Алешу у себя в журнале. Что ты можешь о ней сказать?

— Ничего. Красивая девушка.

— Девушка? Ничего себе девушка... Мужа отбивает.

— Василия Митрофановича?

— Не паясничай! Ты что, злить меня собрался? Алешу. Алешу у Марьяны из-под носа уводит. Пойми меня, Боря. Между нами большой любви нет, но дядю Васю ты любишь, и Алеша тебе как брат. Пойми, рушится семья. Ты видишь: это не простая семья. Ты знаешь то, чего никто не знает. Надька — и та не догадывается, а ты в курсе, — она приглушила голос, хотя ее дочери не было дома. — Пойми, Боря. Все это мне далось, — она сделала охватывающий жест, намекая не только на квартиру, — непросто. Ты маленький был. Ты нашей жизни не видел. Не помнишь, какая я была и каким был Вася. Васька-плотник, вот кто он был. Загульный плотник. Вроде... Ну, чего там...

«Это она про отца», — подумал Борис.

— Ты не знаешь, чего мне стоило поднять Васю. А Алешу? Алеше двадцати восьми нет и уже доцент. Жареный петух Алешу не клевал. А теперь пристаёт: кто мой отец да что мой отец? Да расскажи про деда. Иконы, видите ли, ему нужны. Собрать задумал. А тут вчера перед отъездом (слава Богу, уломала уехать за город с Марьянкой, авось помирятся!..), вчера перед отъездом такое сказал, что я капли пила: «Я, мать, еще, может быть, верну свою настоящую фамилию». Понимаешь?

— Сильно забирает!

— Представляешь, каково Васе? Ведь Вася ему отец. Ну, согласна, Сретенский звучит красивей. Но ведь я сама уже давно Сеничкина — и ничего. Заслуженная учительница. А Сретенских где теперь сыщешь?..

— Не расстраивайтесь. Это он больше для фасону.

— Думаешь?

— Факт. Что он, пойдет в отдел кадров или в райком и скажет: мол, так и так, обманывал вас и партию? Никакой я не сын в ранге министра — отец мой посажен еще когда, а мать — вообще дочь расстрелянного? Черта лысого скажет. Может, сейчас уже не посадят, но доцента отберут и из партии вытурят. Очень он им нужен без ранга министра...

— Ну, ты это, положим... — заикнулась тетка. — Так ты думаешь, не пойдет?

— Нет. Кишка тонка.

— Пожалуйста, без этих твоих словечек. Тут тебе не казарма.

— Извините, говорю, как умею. — Он поднялся.

— Боря, держи себя. Я с тобой как с родным. Нехорошо пользоваться чужой беспомощностью.

— Бросьте, Ольга Витальевна! Все это чепуха, нечего волноваться.

— А эта Инга Рысакова, она что — тоже славянофилка?

— Не думаю.

— Пожалуй, ты прав. Она Теккереем занимается, а он англичанин.

— У вас хорошая информация.

— А ты как себе представлял? — Тетка не услышала насмешки. — Но какова Марьяшка? Я ожидала сцен, а она тихо уложила чемодан (едва твой не взяла — он ей больше понравился) и ушла к подруге. Скажите пожалуйста! Ни за что бы не поверила! Гордость! А где, интересно, была ее гордость, когда Алеша ее знать не хотел, когда я его сосватала со Светланой Филипченко? Где была ее гордость, когда она, незваная, явилась на Новый год на чужую правительственную дачу?

— Я, кажется, понял, — засмеялся Курчев.

— Что ты понял?

«Ох, чуть не проболтался, — спохватился он. — Ну, теперь все ясно. Марьяшка шьется с Журавлем. И как мне раньше в голову не пришло?»

— Что ты понял? — повторила тетка. — Что тут вообще можно понять?

— Ничего. У нее была гордость, но Марьяшка ее подавляла, а теперь ей надоело ее подавлять.

— Умник. Подавляла, перестала. Я всегда догадывалась, что это за особа, и предвидела все ее похождения. Но уж если расписался с такой, то держись. И что Алешка нашел в аспирантке? Гладильная доска!

— А вам что — киоск с пивом нужен?

— Ох, ох! Значит, и ты влюбился? Ну что ж, потягайся с Алешей.

— Спасибо.

— Ты понимаешь: о нашем разговоре — никому...

— Не понимаю.

Он повернул ключ в замке, надел в коридоре шинель.

— Не сердись, Боря. У нас сейчас нет денег, — сказала Ольга Витальевна.

Он козырнул ей и поднял чемодан.

— Пожалей такую, а она на тебя ушат дерьма выльет, — бормотал, спускаясь по лестнице. — И все равно жалко. И еще смешно: тетке скоро пятьдесят, а ни одной близкой подруги. Всю жизнь — прячься и таись. Меня в советчики зовет, хотя

какой из меня советчик? А самой на меня плевать: в грош не ставит. «Денег у нас нет сейчас, Боря...» Будто я просил. Съедят они Ингу. А Алешка, гусь лапчатый, фрайер. Вот бы кому я с удовольствием врезал. И вправду жареный петух его не клевал.

Он вышел из подъезда и влез в автоматную будку. Старуха сказала, что Инга вернулась, но выскочила куда-то на полчаса.

Тогда он схватил на стоянке такси, доехал до хозмага на Мещанке и купил десять рулонов потолочных обоев.

— Погоди минутку,— кинул он шоферу и снова позвонил. Прошло двадцать восемь минут, но Инга еще не вернулась.

Он влез в такси, открыл чемодан — уложить в него хоть часть рулонов. Не хотелось обижать соседку. Костюм и рубашка оказались скомканными. Видно, Марьяна и впрямь освободила от них его чемодан.

Он вылез из такси и медленно побрел мимо своих окон, занавешенных изнутри газетами. Степаниды дома не было, но в полутемных сенцах на лавке, поигрывая от скуки облезлыми никелированными шишечками с кровати, сидела Валька-монтажница.

— Ты как здесь? — спросил он, доставая с притолоки ключ от коридора.

— Мог бы повежливей.

— Давно ждешь? — уже помягче спросил Курчев, надеясь, что Степанида ушла до Валькиного появления.

— Недавно,— сказала девушка, вольной походкой вошла за ним в коридор и, напевая, ждала, пока он снимет со своей двери замок.

На свету

Алексей Васильевич и Марьяна ожидали, что из их попытки ничего не выйдет. Но ни он, ни она не думали, что настолько надоели друг другу.

Распаковав чемоданы и выкурив из комнаты Марьянину сестру Женьку, восемнадцатилетнюю избалованную девчонку, студентку второго курса, предпочитавшую тратить каждый день по три часа на дорогу, лишь бы не жить в общежитии, они заперли дверь и сели играть в карты. Карты были маленькие, пасьянсные, а игра называлась «безик». Играли в нее двумя колодами, начиная от семерок.

«За два года так осточертеть!» — думал Алексей Васильевич, глядя в развернутые веером карты.— Квинта,— сказал вслух.

— Какая квинта, когда у тебя взятки нет? — усмехнулась Марьяна.— Нет уж, фигушки. Давай на деньги и всерьез. Хоть навар будет.

— Давай,— кивнул Алексей Васильевич.

Но игра все равно не ладилась.

«За два года... Нет, будем точными, за два года и восемь месяцев... — размышлял он, снося всяческую мелочь и придерживая бубновых валетов, которые в парах с пиковыми дамами назывались «безиком» и приносили сразу пятьсот очков.— Красивая баба. Губы вон какие и сама хоть куда, а никак... Ну просто ничего... — косился Алексей Васильевич на узкую девичью тахту, на которой им предстояло провести минимум три ночи.— Хорошо бы Бороздыка не подвел и прибыл в субботу. Все не так тошно будет. Раскладушку ему поставим».

— Сорок,— сказала Марьяна, открывая пикового короля с дамой.— Зря надеялся.

— А я не надеялся.

— Не надеялся — нечего и начинать.

— Я про карты... — покраснел Алексей Васильевич.

— А я про все...

Кон был доигран, и Марьяна записала за мужем два рубля с мелочью.

«Если бы у нас была квартира, — размышлял Алексей Васильевич, сдавая карты для второй игры, — тогда все просто. Берешь чемоданы и уходишь. Или она возвращается к себе. А так — чересчур жлобски получается. Приткнуться ей некуда, у Шустовой — это не жизнь. Та на нерве. И вообще, сколько можно жить у подружки? А мать и под страхом смерти не разменяет квартиры. К тому же ее, кажется, и менять нельзя. Конечно, взять чемодан и уйти — красиво. Правда, если берешь свой чемодан, а не Борькин», — усмехнулся он.

— Чему смеетесь, Алексей Васильевич? Пусть квартирные дела вас не заботят. Я у Борьки поживу, — сказала Марьяна.

— Его демобилизуют.

— Улита едет...

«Не женщина, а рентген, — подумал Алексей Васильевич.— Похоже, это у нее профессиональное. Но деться-то ей все равно некуда. С мамыши станется выписать ее. Впрочем, нет. Мать не глупа. Марьяшка может полезть в бутылку. В конце концов что тут такого страшного? Все разводятся. Детей у нас нет. Кому какое дело? Жалко, конечно, что рушится семья. Святошь бра-

ка. Но, с другой стороны, что это за брак? С Ингой мы повенчаемся».

— Восемьдесят,— Марьяна открыла четверых бородатых королей.

— Везет,— усмехнулся Алексей Васильевич.— Впрочем, у тебя их было больше.

— Все мои. И твоя тоже здесь,— Марьяна показала на пухленькую бубновую даму, ничуть не похожую на Ингу.

— Она — червонная.

— Ах, да. Я забыла. Моя сводная сестра.

— Могла бы не напоминать...

— Ох, простите, Алексей Васильевич. Простите. Вечно вам наступаю на мозоли, оскорбляю святые чувства. Но, к сожалению, мы с Ингой Антоновной сестры. Не сводные, не единоутробные, а одно...

— Хорошо, хорошо, если тебе так нравится... Никто тебе не отказывает в остроумии. Только от него чересчур разит милицейским участком.

— Ну и что? Я из участка. Ты меня там нашел...

— Это ты меня нашла.

— Договорились: мы нашли друг друга. Твоя милиция тебя подстерегла. Чего ты хочешь? Я милицейская шлюха, а ты розовый философ, доцент, влюбленный в мисс Седли? Так? Ничего у тебя не выйдет, Алешенька. Борька на ней женится. Она для Борьки.

— Ради Бога...

— Какое благородство! Какое человеколюбие! Родон Кроули, джентльмен от мальтузианства... Простите, от антимальтузианства. Или нет, я уже заговариваюсь. Новоиспеченный славянофил Алексей Сретенский уходит от порочной жены. Голубица, гляди! Во втором браке надевают фату?

«Черт знает, что такое,— снова усмехнулся Сеничкин.— Рентген, чем не рентген!»

— Еще три сорок припиши. Может быть, я сниму себе комнату. Три сорок и два двадцать — пять шестьдесят. Мало. Даже на день не снимешь. Плохо проигрываешь, Алешенька.

— Квартира — это твой козырь. Но каждый раз козырять — неблагоприятно.

— Простите и не казните. Я поселюсь здесь.

— Женька будет счастлива. Я бы мог тебе помочь что-нибудь подыскать...

— Отступное? Родон Кроули предлагает Ребекке отступного? Извините, ваше преосвященство, дворяне взятки не берут.

— Ты дворянка? Ну, уморила!

- А ты думал как? Про станцию Фирсановку слышал?
- Родовое поместье?
- Бог его знает. Может, родовое, а может, наших предков там пороли. Надо отца спросить.
- Всегда у нас так,— вздохнул Алексей Васильевич, радуясь переходу от препирательств к постороннему разговору.— Родства не помним. На предков плюем. Ты смеешься, а может, ты действительно благородной фамилии?
- А чего в ней благородного? Я ее за пятнадцать рублей сменила. И тебе плевать на мою благородную фамилию, да и на свою — тоже.
- Я ее верну.
- Ох, испугал! Ты мамочку пугай, я не больно испугаюсь.
- Ничего ты не понимаешь. Думаешь, донкихотство? Ничего подобно! Я не Дон Кихот.
- Разумеется. Тут я с вами согласна целиком и полностью. «В наш век, когда все дороги ведут...»
- Замолчи!
- Ого...
- Ну, прости. Нет, ты просто невозможна. Да, вчера было «в наш век», а завтра, вернее, послезавтра или послепослезавтра уже не будет «в наш век». Другой будет век. Ты же умная баба.
- Благодарю.
- Не за что. Ты — умная, Марьянка, и должна понять: все движется.
- Диалектика.
- Хотя бы,— поморщился Алексей Васильевич.— Эксперимент не вышел. Отец родной усек и, когда приперло, вспомнил и Ивана Грозного, и Донского, и Синод открыл...
- Понимаю...
- Чего ж ты ерепенишься? Государство есть государство и без этих, ну в общем — балок... (он хотел сказать по Бороздыке — крепей, но забыл слово) не обойдется. Если балка — дрянь, менять надо, а то все рухнет.
- И нужны благородные фамилии?
- Они тоже. Якобинского дворянства не выросло. В 37-м перемололи и вообще победоносиковы скурвились.
- Что-то ты больно осмелел...
- Это с тобой...
- А вдруг я донесу? Лучше Инге своей травы, а я слышать этого не слыхала. Мне это ни к чему. Еще играть будешь?
- Давай,— насупился Сеничкин.
- Ты пойми,— сказал он спустя две партии, в них ему по-

везло, и он отыграл половину проигранного.— Идеи — это материальная сила. Идеи — те же опоры и одновременно рельсы, направляющие, трамплины, если хочешь... Нельзя все сводить к снижению цен.

— Давно, кстати, не было...

— Налог крестьянам споловинили. Зато теперь народ накормим.

— Ой ли?

— Не кривляйся. Еда еще не все. Мы люди, а людям нужен Град!

— Прибереги это для Инги. Я тупая. Какой там Град, если на головах друг у друга живем, трех метров на душу не набирается...

— Китеж-Град. Библию читать надо.

— В Библии Китежа нет. Если уж слушаешь Бороздыку, так хоть запоминай, откуда что. И вообще прибереги все это для мисс Седли. Ты из неблагородных, и она тебе под пару будет.

— Она настоящая.

— Как же! Родственник ее бомбу в царя кидал?

— Кидал.

— Тихвинский был мещанин. Дворянством там и не пахло.

— Все равно. В истории он есть. Его помнят.

— А чего помнить? Кучера убил и всех своих выдал.

— Брось...

— Что бросать? Сходу раскололся и всех назвал. Почитай, если не веришь.

— Мне неинтересно. И вообще дочь за отца...

— Это уж точно. А за двоюродного дедушку тем более... Только тут хвастаться нечем. А то история! Остался!.. А царя-освободителя, кстати, тебе не жалко?

Сеничкин, который еще не обсуждал с Бороздыкой деяний Александра II, благообразно промолчал.

«Разумеется, я кое-что пропустил,— сказал он самому себе.— Всего объять невозможно. Игорь Александрович болтун, но в начитанности ему не откажешь. И все-таки всей сути он не ухватывает, потому что не политик. Всякая мораль должна опираться на политику. Вопрос о власти выше вопросов морали. Морально все, что на пользу. Но вот с мамашей я зря ссорился. Все равно не поймет и отцу расскажет. Да нет, пожалуйста, не расскажет... И все равно не стоило ее расстраивать. Пристала: «Помиришь с Марьянкой, помиришь. Представляешь, как расстроится Василий Митрофанович». Вечно она со своим Василием Митрофановичем!..»

— Прошла весна, настало лето. Спасибо Васеньке за это,—

вдруг выпалил он вслух, подражая материнскому голосу.

— Бесчувственный ты,— сказала Марьяна.— Все толкуешь о родовитости, кто какого роду, а родную мать в грош не ценишь. Тебе уж ее ругать не за что. Если женщина ради сына пошла на мезальянс, она — героиня, не хуже Жанны д'Арк.

— Не кривляйся.

— А что? — «гробик ребенку и ужин отцу», — протянула Марьяна и показала ему язык.— Жалко мне тебя, Алешка. Только не изображай смертельную обиду. И с мисс Седли ты наплачешься, и с Игиными идеями насидишься. Не спорь. Все кончится большими сухарями и адвокатами!..

— Много ты понимаешь!

— Да уж, немало. Я же не говорю, что всего, о чем поет Бородыка, не будет. Может, и будет. Может, произведут капремонт, заменят несущие и перекрасят фасад. Только малярам и архитекторам не позавидуешь. Вспомни Барму и Постника.

— Не каркай!..

— А ты не высывайся. Кто опередит свое время, тот не доживет до следующего...

— Тебе бы лекции читать!..

— А что? И буду! И статьи писать буду, и монографии! Все у меня, Алешенька, будет, а у тебя будет небо в клеточку, как говорят в нашей милиции. Эх ты, товарищ прокурора! Десять лет науку долбишь, а ни черта не понял. Музыку заказывает тот, кто платит, а танцует со мной тот, кто меня ужинает.

— Сейчас все иначе.

— Что иначе? Все именно так. И плотник Вася объегорит философа Сретенского.

— Отца академик съест.

— Не спорю. Может быть, академик и герой скovyрнет плотника, но этому мореплавателю тоже не пофартит. Потому молчи в тряпочку.

Так они и проспорили, покуда не вернулись с завода Марьянины родители и не позвали их обедать. У Фирсановых Алексей Васильевич всегда чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь из-за неладов с женой он и вовсе был не в себе; поэтому много пил и острил, большей частью неудачно, и, что с ним никогда не случалось, рассказал при теще и Женьке пару сомнительных анекдотов.

«Разошелся», — думала Марьяна, отчасти радуясь, что заботы о пьяном муже помогут ей избежать объяснений с матерью, ошеломленной их внезапным приездом.

Ей стало грустно и зябко, и хотя Алешка, даже подвыпив-

ший, не был ей неприятен, все равно его нежные и деликатные пассы не побороли ее тоски.

Утром они проснулись поздно, слонялись по пустой квартире, сходили в поселковый кинотеатр, где шел трофейный фильм из собрания Геринга, потом разгуливали по платформе, с нетерпением, словно любимого родственника, ожидая Бороздыку.

— Не рад? — спросила девушка Валя, снимая синее суконное пальто с цигейковым воротником. То ли от неожиданности, то ли надеясь, что она тут же уйдет, Курчев не помог ей раздеться и не предложил сесть. Теперь она стояла перед ним в зеленой вязаной кофте, в черной юбке и красных ботинках с желтыми облезлыми каблуками, и по его лицу поползла невеселая ухмылка. Девушка, не поняв ее, чтобы скрыть смущение, сказала:

— Воспитанный, называется! Разве гостей так встречают?

— Садись,— сказал Курчев и сам скинул шинель.— Ремонт, видишь. Не до гостеприимства.

— Незванный гость хуже татарина? Да? — робко спросила девушка — она не знала, как себя держать. Вся ее храбрость ушла на то, чтобы явиться по этому, с трудом выманенному у Залетаева адресу. Но теперь, сидя в оклеенной газетами комнате, она, хоть и делала вид, что ей все нипочем, отчаянно трусила.

— При чем тут татары? Я, может, сам татарин,— улыбнулся Курчев. Несмотря на нелепый наряд, девушка ему нравилась. Он боялся себя и хотел побыстрее спровадить ее. Степанида нынче отгуливала ночное дежурство и могла явиться с минуты на минуту.

— Иди врать. Какой ты татарин. Ты на татарина не похож.

— А фамилия? А плешь?

— Фамилия у тебя от курченка. И потом татары не плешивые. У них борода плохо растет, а волосы густые. Плешь у тебя от старости.

— Спасибо.

— Не за что. Вон ты какой — слепой, лысый, толстый. Китель расставлять пора.

— Угу. Чего еще?

— А ничего... Плохая у тебя комната. Обстановка — людям показать совестно. Москвич, называется. Интеллигенция!

— Угу,— повторил Борис, понимая, что за руганью последуют слезы, а за слезами жалость и непредсказуемые действия. «Слепой, лысый, толстый» его не уязвили, девушка ему по-

прежнему нравилась. Но нравилась не настолько, чтобы броситься на нее, очертя голову, и загубить жизнь и себе и ей. Он понимал, зачем она пришла. Это была последняя попытка, чтобы потом не казниться. Инженер Забродин был красивый, не лысый и не слепой, но чего-то, видно, в нем недоставало, если девушка сбежала в эту оклеенную газетами комнатенку.

— Ты меня извини. У меня клей сохнет,— соврал Курчев и вышел на кухню поставить чайник на газ.

«Может, Степанида уже вернулась,— подумал он и постучал в комнату соседки.— Познакомлю их, она живо выкурит Вальку».

— Извини,— повторил, возвращаясь в комнату и отодвигая стол к стене, чтобы можно было развернуть на полу обои.

-- Давай помогу,— сказала девушка.

— Измажешься.

— А ты гимнастерку одолжи,— и, не дожидаясь Курчева, откинула крышку чемодана, вытащила из-под толстовских томиков хлопчатобумажную гимнастерку, отцепила от нее почерневшие серебряные погоны с вовсе черными скрещенными пушками.

— Отвернись.

— Нет,— Курчев следил за ней с интересом и думал, что теперь ее даже соседка не выкурит.

— Ну и смотри на здоровье,— покраснела девушка. Сняла кофту. Раздетая, она не выглядела худощавой, и прикрытая новой голубой комбинацией грудь казалась крепче и больше.

— Впечатляет,— улыбнулся Курчев.

— Ты старый.— Девушка всунула голову в гимнастерку.— Коротка. Брюки возьму,— сказала она, оглядывая свою черную длинную юбку, высовывавшуюся из-под хэбэшной гимнастерки.

— Халат возить надо,— бросил Курчев и пошел за чайником.

Девушка, не снимая красных ботинок, натянула бриджи, потом сняла юбку и повесила вместе с кофтой в шкаф. Бриджи были ей широки, и она, заправив в них гимнастерку, перепоясалась брючным ремнем.

— Чем не Швейк? — подмигнула она Курчеву.

В бриджах и в гимнастерке монтажница понравилась ему еще больше.

«Влип ты, парень»,— сказал он себе, а вслух добавил дрогнувшим голосом:

— Английский новобранец.

Девушка работала легко и быстро: прихлопывала узкие бе-

лые полосы обоев к стене, продевала их под электрическую проводку, выстригала ножницами дырки для роликов.

— Получается? — спросила, когда первая стена от двери до окна была оклеена. — Только зря ты белые выбрал. Вон те с полоской, — кивнула она на рулоны в шкафу, — лучше.

— Темно здесь, — сказал он с тревогой.

— Ничего не темно. Тюль повесишь, снаружи не видно, а свету не мешает.

«Совсем влип», — снова подумал Борис. Ему нравилось, как легко и споро она работает. Он не поспевал намазывать полосы.

— Сдвигай мебель. Здесь короткие надо. — Девушка присела на корточки, оклеивая простенки и за трубами парового отопления. Штаны на ней пузырились, но она все равно была стройная и ладная, и оттого, что они работали вместе, как-то сразу стала ему близкой. Он понимал, что пропал, но даже был не прочь пропасть.

— Вторая готова! — крикнула она, подражая артиллерийским командам.

— Шальная, — сказал Курчев, отодвигая к двери шкаф.

— Ты что — недоволен?

— Я-то что? Вот обрадуется ли Забродин?

— Высохнет, газету видно будет, — задумчиво сказала девушка, глядя на обклеенную стену.

«Поссорились они, что ли?» — гадал Курчев.

— Устала? — спросил он, когда, откинув локтем выбившуюся из-под заколки прядь, Валька спрыгнула с табурета.

— Нет. Потолок обклеивать будешь?

— Надо бы. — Он поглядел на пожелтевший потолок, торчащую темную балку. Однако на его ручных часах уже начало десятого.

— Уйду, не бойся, — сказала девушка и развернула на полу следующий рулон. — Стола жалко второго нет, а с табуретки низко. В сенях стоит скамейка. Принеси.

Он принес скамейку, и девушка, сдвинув стол к двери, уложив скамью одним концом на стол, другим на подоконник, стала, слегка покачиваясь, как гимнастка по канату, ходить по скамье, прихлопывая узкие полосы бумаги к потолку и балке.

— Вот и вся любовь! — Девушка спрыгнула на пол и поклонилась, точно канатная плясунья.

— Сколько с меня? — улыбнулся он.

— С нищих не берем. А эти не нужны? — Она показала на рулоны на верху шкафа. — У Забродина поклею.

— Забирай.

— Обрадовался? — посмотрела на него девушка. — Отвернись.

Он послушно отвернулся, чувствуя, что сам себе противен.
— Мыло дай и воды. Над банкой польешь, а то там соседи.
— Никого нет.
— Придут, а тебе стыдно. Как потом приведешь свою интеллигентную?

— Никого у меня нет.
— Ври больше. Я все про тебя знаю. Лей помаленьку.
— Правда, никого,— сказал Курчев, наклоня чайник.
— Значит, получил поворот от ворот. Старый ты, Борька...
— Лысый, слепой, толстый...
— Так точно,— усмехнулась девушка, намыливая руки.
Теперь, в кофте и юбке, она уже не казалась такой близкой, и он шутил с ней свободней. Но неловкость все-таки оставалась.

— Я пойду. Не провожай.

Курчев засуетился, подал ей пальто, натянул шинель на измазанную клеем гимнастерку.

— Форточку не открывай. Или задохнешься?

Неловкость не прошла даже на улице.

— Не провожай,— повторила девушка, вырвала у Курчева связку обоев и впрыгнула в подошедший троллейбус.— Прощай, Борька. Попрощались,— крикнула она через гармошку двери, кинула рулон на заднее сиденье, протянула кондукторше мелочь и выпрыгнула на следующей остановке, оставив обои в троллейбусе.

На продутой ветром ночной Переяславке она дала волю слезам. Ревела, не понимая, почему ревет, и, если бы ее спросили, чего ей надо от лейтенанта, она бы не ответила. Не так уж ей хотелось за него замуж, а без загса она бы у него не заночевала. И Севка Забродин куда красивей, к тому ж инженер. Правда, и Курчев не такой уж никудышный, но вот обклеил с ней комнату, а выпить не предложил, хотя бутылка у него была: когда двигал гардероб, булькало.

Дурень, думала она, спускаясь в метро. Идиот. Порядочный, называется.

Она знала, что в среду вечером он пришел в девчачий домик прощаться ради нее, но виду не подала, а вот теперь сама к нему приехала, а он задрал нос, величался.

Вот ведь козел, вспомнила, как он глядел на нее, когда она просовывала руки в гимнастерку. Или комбинашка красивая? Нет, решила, на меня глядел. Ну и козел, повторяла, поднимаясь из метро по эскалатору и потом в загородном автобусе, который подвез ее к заводскому общежитию. Летчик говорил, у него образованная есть, а у тебя, дура, только техникум, сказала

себе, накрывшись одеялом, и тихо заплакала: они с Забродным уже подали заявление, через три дня распишутся, а замужем какая учеба. Может сразу родиться ребенок, и ей никогда уже не стать аспиранткой.

В эту ночь Курчеву приснился Сталин. Сон был смутный, и Сталин виделся как-то смутно. Снилось, что Сталин принимает его под землей, в бомбоубежище, где стены, как в «овощехранилище», из бетона. Сталин с ним ласков. Он без погон в светло-коричневом кителе, а вокруг какие-то люди, видимо члены Политбюро. Но он на них не обращает никакого внимания и разговаривает только с Курчевым.

Курчеву не по себе. Он не знает, как называть Сталина: товарищ генералиссимус или Иосиф Виссарионович, потому что на Сталине нет погон, а сам лейтенант в форме, но китель на нем мятый-премятый. Сталин, правда, не обращает на китель внимания.

В бункере душно. Курчеву очень хочется, чтобы все это было сном, и он старается себе доказать, что Сталин умер: недавно ведь была годовщина. Но Сталин запросто с ним разговаривает, даже подставляет лейтенанту щеку, вроде бы для того, чтобы тот поцеловал, но Борис в смущении лишь пожимает вождю руку. Ему, конечно, приятно, что Сталин с ним накоротке. Но в то же время он боится, что вдруг все переменится и Сталин разгневется.

Курчев с радостью спрятался бы за спины членов Политбюро, а еще бы лучше — выскочил без шинели на мороз и побежал на свидание с Ингой.

(На дворе ведь действительно мороз, соображает Борис. Ведь это встреча Нового года. А в бункере она потому, что окна закупорены из-за обоев.)

А Сталин по-прежнему ласков с ним. Наливает себе и лейтенанту вина в бокал. Они чокаются. Но вино почему-то сладковатое, хотя Курчев слышал, что Сталин, как все грузины, любит сухое.

И тут к столу подходит особист Зубихин. Совершенно непонятно, как сюда проник полковой опер. Ведь охрана никого не пропускает. Сталин поворачивается к Зубихину, сердито на него глядит: чего, мол, пришел? Но потом смягчается и тоже наливает ему вина, правда, не в бокал, а в солдатскую кружку. Зубихин пьет и морщится, словно это не вино, а самогонка.

— Вы с ним не пейте, товарищ Сталин,— вдруг говорит Зубихин.

Робости в особисте никакой, словно он говорит не со Сталиным, даже не с корпусным «смершем», а с мелкой сошкой.— Он реферат написал.

— Ну и что? — спрашивает Сталин и по-прежнему добродушно улыбается Курчеву.— У нас рефераты писать никому не запрещается.— В его голосе проскальзывает грузинский акцент, и Курчеву уже чудится подвох, хотя Сталин все еще улыбается и даже кладет Курчеву руку на плечо, на грязный погон. Курчев не знает, как быть. Душит тесный воротник кителя, но при Сталине не расстегнешься.

— Реферат нехороший, Иосиф Виссарионович,— говорит Зубихин.— Совсем не наш реферат. Какого-то обозника выкопал и развел вокруг него рассуждения, будто обозник — пуп земли.

— А ты что хотел, чтобы все вокруг меня было? — с хитринкой спрашивает Сталин, но смотрит не на особиста, а на Курчева. И Курчеву опять не по себе, и страшно, что Зубихину Сталин тыкает, а с ним на «вы».— Обозник тоже человек, Зубихин,— говорит Сталин, и вдруг лейтенант с ужасом замечает, что на Зубихине нет погон и он одет в «сталинку», как Берия и Маленков.— Обозник или фурштатский солдат тоже человек, простой русский воин, и без него мы бы не выиграли войну. Правильно, лейтенант? — подмигивает Сталин Курчеву, а того уже бьет мелкая дрожь.

— Да ничего там такого нет...— со страхом говорит Курчев.— Я вам сейчас принесу,— бормочет он и готов бежать из бункера на мороз в надежде никогда сюда не возвратиться.

— Не надо,— говорит Зубихин.— Я все основное переписал.

И он начинает читать из середины реферата:

«Надо, чтобы каждый человек разделил тетрадную страницу пополам, и слева писал, в чем он свободен, а справа — что мешает его свободе, и, поверьте, эта тетрадка будет интересней самого замечательного романа. А если потом изобретут машину, а, вероятно, ее уже изобрели (потому что изобретена же машина, решающая задачу о точке встречи!), и если вложат все данные из всех разграфленных тетрадок, взятых от всего человечества, в эту новую машину, то будет решена задача об идеальном обществе, где все по возможности свободны».

— А что, интересно,— говорит Сталин.— Но ведь это не ваша мысль? — Он поворачивается к лейтенанту.— Это все переписано из Толстого.

— Так точно,— отвечает Курчев, даже не обидевшись, что ему высочайше отказано в приоритете.

— Толстой великий писатель, и у него можно переписывать,— говорит Сталин и грозно смотрит на Зубихина.

— Нет,— отвечает особист, который, собственно, не особист, а, по-видимому, член Политбюро или, как теперь называется, Президиума, потому что на нем тужурка без погон.— Нет, Курчев,— повторяет Зубихин.— Толстой этого не сочинял и не выдавал военной тайны о точке встречи. При Толстом не было точки встречи.

— Но точка встречи есть в учебнике,— мямлит Курчев.

— А учебник-то военный,— не уступает Зубихин.

— Ничего, мы разберемся,— говорит Сталин и становится жутко похожим на плакат под названием: «И засуху одолеем!..», где он с карандашом в руке склонился над картой Советского Союза с лесозащитными полосами.— Идите, лейтенант,— говорит Сталин Курчеву и на этот раз не подставляет щеки.

Курчев поворачивается и ныряет в узкий длинный коридор — сначала идет, потом бежит, потом несется как на последней дистанции кросса, без сил падает на бетонный мокрый пол... и просыпается на топчане.

В комнате нечем дышать. Курчев встает с постели и лишь последним усилием воли удерживает себя от того, чтобы распахнуть окна. Но дышать все-таки нечем. Он подходит к шкафу, открывает дверку и вытаскивает из поллитровки пробку. Водка в шкафу согрелась, и он, морщась, глотает раз-другой. Сидя среди ночи на топчане, Курчев, отгоняя мысли о Зубихине, думает об Инге.

И хотя лишь начало пятого, он достает из чемодана чистую пару белья и вторые, синие, не такие потертые бриджи. Был бы апрель,— вздыхает он, думая, насколько лучше себя чувствовал бы в венгерском костюме, легком пальто и черных полуботинках.— Не страдай. Так тоже сойдет,— и он влезает в шинель и перекрещивается ремнем. Интересно, покорежила она малявку? — улыбается Борис, потому что на самом деле ему приятно, что Инга стучит на его машинке марки «Гермес-бэби», купленной каким-то чудом год назад в комиссионке на Колхозной.

Он навешивает замок и выходит через притихший дворик на улицу. На Переяславке темно. Но слева над крышами домов небо светлее, словно его, как стекло, протерли тряпкой. Оттуда же раздаются короткие гудки и частое шипение паровозов.

«Машинистов»,— улыбается Борис, вспоминая, что так его называли в детстве. И вдруг, как живого, видит пьяного отца в бабкином доме. Отец сидит за большим столом напротив шурина, инженера Сеничкина, и, запустив ладонь в густые вих-

ры (к нему-то как раз шла фамилия Курчев!), мотаает головой и доказывает дяде Васе:

— Я механик! Понимаешь, механик я. Я бы до войны (он говорит о первой империалистической) перчатки носил и на извозчике в депо ездил. Соображаешь? У меня бы дети в гимназию ходили...

— Сейчас не хуже,— хмуро отвечает дядя Вася, который с удовольствием выгнал бы из материнского дома некстати пожаловавшего свойственника.

— Хрен не хуже. У меня бы кухарка была и квартира в пять комнат.

— Не пей, Кузя,— просит мать.— Ну, прошу,— и тут же сникает, потому что отец повернулся к ней и в глазах у него одна злоба.— Прошу тебя, Кузенька,— стонет мать.

— Посадят тебя, Кузька,— говорит бабка.

Отец злобно глядит на тещу и молча наливает себе и дяде Василию.

— Иди сюда, Борис,— манит он сына.— В гимназию хочешь? — Сажает его на колени, гладит по голове, а когда выпивает стопку, прижимается щекой к Борькиному затылку, и даже сейчас, через семнадцать лет, Курчев чувствует его небритую щеку и запах портвейна, смешанный с запахом машинного масла, дыма и металла. В то лето отца за пьянство списали из паровозной бригады, и он слесарил в депо.

Хорошо, что рядом дорога, думает Курчев, спускаясь по спящей, почти черной улице. Ему хочется еще что-нибудь вспомнить об отце, но ничего больше не вспоминается, и сапоги, весело стуча подковками по очищенному от снега тротуару, тащат его в сторону от железной дороги, в горбатый Докучаев переулочек.

«Я не знаю, где ее окна,— думает Борис.— А может, она не спит и тарыхтит на малявке?.. Да что она, Сталин, что ли?» — улыбается он. Но, свернув с Переяславки на спящую Домниковку, он чувствует такую же неловкость, как три с лишним недели назад в доме Сеничкиных, когда Инга протянула ему свою тонкую длинную ладонь, а он испугался, что она учует, как у него взмокла спина. И он не входит в Докучаев переулочек, а идет дальше по Домниковке, пересекает еще довольно пустынное Садовое кольцо и оказывается в тихой, длинной, узкой, уютной улочке с высокими домами, в которых кое-где уже светятся окна.

Бани еще закрыты, и больше часу он бродит по просыпающимся бульварам, где на холоду спешат редкие прохожие в штатском, при встрече с которыми не надо тянуть руку к ушанке.

Горячая вода вместе с куском купленного в киоске банного мыла освободили душу и тело от неприятного сна, и, выйдя из мыльни в предбанник, Курчев чувствовал себя очищенным для великой любви, как прошедший санпропускник новобранец ощущает себя готовым для действительной службы.

Но когда он спустился в раздевалку, где уже ранние завсегдатаи пили, закусывая маленькими солеными сушками, свое первое пиво, и набрал номер телефона, недовольный старушечий голос ответил, что Инга только что ушла.

«Не вибрируй, ничего страшного,— сказал он себе, чувствуя, что его трясет, как малярика.— Третий научный! Забыл, что ли?»

Но билет остался в кармане хэбэшной гимнастерки, и пришлось ехать домой. В сенцах он едва не налетел на Степаниду. Она колдовала, нагнувшись над кадкой с капустой.

— Что ж пельмени? — спросила она, не разгибаясь.— Холоду уже нету. Пропадут.

— И правда. Сейчас поставлю.

— Сыпьте. Я вам мясу купила. Сварю, как кастрюлю опростаете.

Они поели за ее кухонным столом.

— Чтоб дома не пачкать,— сказала соседка, накладывая ему в тарелку пельменей и кислой капусты.— Поклеились? Погляжу.— Она поднялась и по-хозяйски пошла в его комнату.— Чудно. Как в больнице,— сказала, возвращаясь.— Ничего, телевизор купите — красиво будет.

«Еще чего»,— подумал Курчев, но вслух сказал:

— Куда мне? Я бедный.

— Бедный? Военный и бедный?

— Я последний месяц военный.

Он дал ей пятидесятирублевку.

— Много. Тут на семь кил хватит. Я запомню. Сегодня у сестры заночую, а в понедельник еще куплю.

Разговор с соседкой отвлек его и успокоил, и, войдя за шинелью в комнату, водки он себе уже не налил, а только застелил матрас синим одеялом.

В комнате было по-прежнему натоплено и жутко разило клеем. Курчев чуть приоткрыл форточку и наполовину завинтил разводным ключом кран парового отопления, который только сейчас попался ему на глаза.

«Ну, Бог в помощь»,— сказал он себе и поехал в Ленинку.

Раньше в библиотеках Курчев никогда не терялся. Они были его домом, даже больше, чем домом. Дома у него не было, и он просиживал почти все вечера в читальнях, если не набиралось

денег на кино или где-нибудь не прорезывалась выпивка. Во всех библиотеках, начиная от серпуховской и кончая общим залом Ленинки, обстановка была самая что ни на есть демократическая, никому и дела не было, блещут у тебя на заду штаны или манжеты бахромаются как скатерть. В читальнях царило равноправие, и, будь ты самый расподонок, тебе все равно обязаны были выдать книгу.

Больше всего Курчеву нравились Историчка и Тургеневка. Особенно Тургеневка, старый особнячок у Кировских ворот — тут можно было достать журналы 20-х годов; в них пестрели не замазанные тушью, полные таинственности имена расстрелянных врагов народа.

В Тургеневке было вольготно, но скученно — тут вечно приходилось опасаться, что кто-нибудь заглянет через плечо, чего, мол, читаешь.

В Историчке же, наоборот, было просторно, но журналы давали либо уж совсем дореволюционные, либо скупищу последних лет. Зато в курилке Исторички всегда торчал один любопытный субъект — худощавый лысоватый мужик лет тридцати, который знал абсолютно все, учился в Литературном институте, печатал театральные рецензии в «Вечерней Москве» и делал литзаписи передовиков труда в Профиздате.

Рецензии, не говоря уже о профиздатовских брошюрах, Курчеву не нравились, но говорить с этим плохо выбритым, неаккуратным, похожим на хорька субъектом было интересно, хотя глаза у него располагались у самых висков, словно он всегда настороже. Денег у хорька не было, и он постоянно стрелял у Курчева: до реформы в пределах червонца, а после — от рубля до трешницы — и никогда не возвращал. Курчев относился к таким поборам как к плате за учение и хорьку не отказывал, хотя получал лишь стипендию да изредка подрабатывал на разгрузке барж в Южном порту или вагонов на окружной дороге.

Хорек знал всех врагов народа по имени-отчеству, все их советские должности и даже тюрьмы, в которых они сидели при царе. Знал он также всех их женщин, жен и любовниц, и Курчев слушал его заворуженно, как начинающий футбольный болельщик старожила Восточной трибуны.

И все же хорек — на то и хорек! — чем-то отпугивал Курчева, и Курчев неделю-другую ошивался на хорах в Ленинке или торчал в районной читалке, но дольше выдерживал редко и возвращался в Историчку, снова слонялся с хорьком по этажам, пил с ним чай в буфете или дымил в знаменитой курилке.

Иногда к хорьку подходил рослый увалень с дряблым лицом

и бараньими глазами. Увалень говорил медленно и так длинно и округло, будто не знал, что существуют точки. Слушать его было скучно, а сам он слушал одного себя, хотя говорил всегда о несущественном, и при его появлении Борис уходил.

После весенней сессии увалень куда-то пропал, а Борис через год благополучно (хоть с кучей троек) сдал экзамены, и его загребли в армию.

Но в январе 54-го на премьере арбузовской пьесы, куда он пошел с Марьяной вместо загрипповавшего Алешки, Курчев, опять же в курилке, увидел того самого увальня, но увалень Курчева не узнал.

— В Историчке встречались, там был еще такой, помните? — Борис назвал имя-отчество хорька.

— Где он? — спросил увалень — он тоже повзрослел и уже не походил на того мешком схлыстнутого оболтуса из Исторички.

— Не знаю, — почему-то смутился Борис. — Я давно в армии.

— Ваше счастье, — сказал увалень. — Ничего, я его еще встречу. Небось по-прежнему в Историчку шастает.

— А может, он здесь? — спросил Курчев.

— Нет. Я глядел с балкона, — увалень ощерил сильно пордевшие челюсти и показал театральный бинокль. — Наверно, на генералке был. Ничего, он знает, что я вернулся. Пусть помандражирует.

В увальне появилась какая-то резкость и одновременно театральность, что-то блатняцкое — это к нему никак не шло, но, видно, уже насмерть прилипло. Костюм на нем был почти новый, но какой-то старомодный и явно тесный — и Курчев догадался, что увалень только что вернулся из лагеря.

— Я его найду, — повторил увалень и, скосив глаза на Марьяну, поднялся в зрительный зал.

— Кто это? — спросила Марьяна.

Курчев объяснил.

— На уголовника не похож. Наверно, из «фашистов». Их уже потихоньку выдергивают. Кого он ищет?

— Одного театрального писаку.

— Слышала про такого, — кивнула Марьяна, а через неделю огорошила Бориса: хорек оказался стукачом и пять лет назад посадил увальня. Теперь увалень ходит по знакомым и разоблачает хорька. И брошенная жена хорька свидетельствует, что ее муж был осведомителем, подписывал свои сообщения «Источник» и даже, кажется, показала увальню сбереженные ею черновики мужниных доносов.

Курчев толкнул дверь незнакомого еще святилища, и его охватила радость: в конце концов, что такое мятый китель и неказистые сапоги по сравнению со свободой? И он смело пошел по ковровой дорожке между зеленых столов с лампами, не стыдясь и не втягивая голову.

Конечно, в прошлогоднем феврале в еще новеньком обмундировании и в сияющих хромовых сапогах он гоголем ходил по общему залу среди молоденьких студенток и чувствовал — захоти он только и познакомится почти с любой — и оттого не знакомился ни с кем. Но в начале марта на похоронах Сталина ему за ночь так обработали хромачи, что к утру они походили на обложки древней книги. Китель, правда, не так быстро, но тоже вытерся, волос на темени за год поубавилось — и теперь Борис шел между научными зелеными столами как демобилизованный солдат между шеренг полковников и генералов. Инги нигде не было.

Он еще раз обошел все ряды, злясь, что забыл дома окуляры. Но он и без них знал, что Инги в читальне нет. Будь она здесь, он бы почувствовал это, еще не видя ее. Так у него случилось даже со случайными девчонками, а в Ингу — в зале он это понял — он влюбился окончательно.

Чтобы не слишком досаждать своим хождением склочным ученым, Курчев поднялся на хоры. Но здесь они были не такие, как в общей публичке. Тут тоже занимались, стоять и глядеть здесь не полагалось. И все-таки он успел заметить, что народу в зале негусто. Много свободных стульев, хотя на столах чуть не везде лежат книги и тетради. Кинув взгляд на часы, он понял, что подошло время обеда, и со всех ног кинулся из зала, мимо стойки для выдачи книг, вниз, в буфет, будто совершенно точно знал, что Инга там.

Она действительно сидела в буфете и, обжигая тонкие длинные пальцы, держала стакан с чаем. За три недели отдыха подстаканники куда-то исчезли.

Вот и уезжай, подумала она и вдруг увидела Курчева. Сейчас в дневном, хоть и неярком полуподвальном свете он показался ей шире и больше; лицо у него было доброе, застенчивое и счастливое.

— Здравствуйтесь, — она поднялась из-за стола, не допив чая и не успев ни удивиться, ни обрадоваться.

— Еле вас нашел, — пробурчал Курчев.

— И я вам звонила. Но мне сказали, что вас нет, а что я какая-то фря и вы мне навесили колун.

— Извините,— смешался Борис.— А вы, правда, звонили?

— Правда-правда,— сказала Инга, чувствуя, что в сумбурной застенчивости ей не перешеголять лейтенанта. Но все равно ей было весело и легко.— Вам нужна машинка? Она в порядке. Я всего две страницы перестучала. Что-то не печатается, хотя машинка замечательная.

— Да, неплохая. Но я вас не потому искал... Вы меня тогда с Кутафьей башней здорово выручили. Знаете, завертелось и вроде обещают. Я сейчас в отпуске.

— Вот как? Очень рада. Потому что сначала я ужасно трусила...

— Я помню, вы писали. А я прочел Теккеря, была куча впечатлений, но почерк у меня никудышный. Вы, наверно, ничего не разобрали.

— С трудом... вернее, почти ничего. Вчера тетка мне передала. Она ваше письмо куда-то по рассеянности сунула и в дом отдыха не отправила. Чего с нее возьмешь: старухе за восемьдесят. Выйдем. Здесь говорить неудобно.— А что значит — «колун повесить»? — спросила Инга уже на лестничной площадке. Она чувствовала, что самую чуточку кокетничает, потому что не хочет, чтобы разговор перешел на какую-то постороннюю, пусть и серьезную тему. Она еще не знала, для чего ей лейтенант, но ей хотелось говорить с ним свободно, дерзко, чтобы он тоже осмелел.

— Да так... Ничего особенного,— покраснел Курчев.— Не обращайтесь внимания. У нас и не такое услышишь, как говорил полковник из анекдота.

— Какого анекдота?

— Да так, одного... малоприличного.

— Анекдоты бывают либо остроумные, либо никакие.— Разговор буксовал, и Инге стало грустно.— Идемте, я верну вам машинку.

— Я подожду,— бормотал Курчев, идя за ней следом.— Работайте, я подожду.

— Не стоит. Подождите, я принесу книги,— сказала она и открыла дверь в зал.

Курчев стоял и не верил, что именно с ним, а не с кем-то вот тут разговаривала она, такая высокая, худая, почти нездешняя. Правда, однажды она уже сидела с ним в вокзальном ресторане. Но тогда, сто лет назад (а точнее — двадцать четыре дня), все было проще. Из любопытства или вежливости она приземлилась с ним, а он за столом рта не закрывал и почти не думал о ней. Тогда ему было легко, а теперь в нем была несвобода, и он чувствовал, что пугает и тяготит Ингу. Вот она и

торопится отвязаться от него, бросает посередине дня библиотеку — только бы он поскорее от нее отстал.

«А зачем же звонила?» — ухватился он за последнюю надежду и переиначил вопрос вслух; Инга уже вышла в предбанник с папкой и двумя зелеными, точно такими же, какие лежали у него в чемодане, томиками Теккерея.

— Сейчас объясню. Пожалуйста, сбросьте,— сказала она девушке на выдаче.— Мне было скучно. Я пошла в городок, девчонка-телефонистка велела звонить вам через «Ядро». Но вас уже не было.

— Вот не повезло! — подосадовал он.

— Почему? Вы меня нашли, а машинку я вам сейчас верну.

— Да я не про машинку. Если бы я знал, что вы рядом!

— И что тогда?..— Инга пожалала плечами, как бы отводя его бессмысленные сожаления.— К нам в дом отдыха приезжали два офицера вот с такими погонами,— осторожно, словно боясь запачкаться, она дотронулась до почерневшего серебра курчевского погона.— Одному подбили глаз.

— Это Секачев. И вы их видели? Один собой ничего.

— Видала и даже танцевала с ними. Они мне средне понравились.

— А второму, Мореву, вы показались,— вспыхнул Курчев: он вспомнил, как на другой день после 8 Марта Секачев повествовал в «овошехранилище»: «А ведь мне из-за тебя, историк, блямбу посадили. Сапоги, видишь, у тебя не те. Поехал бы третьим — хрен бы к нам привязались, а привязались, ты бы первым бы охлопотал. У тебя ряшка шире».— «А девушки хоть были стоящие?» — спросила Сонька-перестарка. «Нет. Одна фря тощая увязалась, но я ей до пупа».— «Ваньке «пиво-воды» подавай,— усмехнулся Морев.— Кадр был в порядке, только нам все равно бы не обломилось».

...— Жаль, я его плохо запомнила,— Инга почувствовала, что лейтенант готов ревновать ее к кому угодно.— Помню только, что танцует он совсем неплохо.

— А я вовсе не умею,— сказал Бюрис.

— Зато пишете хорошо. Еще что-нибудь сочинили?

— Да так... Ничего существенного.— Он взял у гардеробщика ее выворотку, удивившись, что за разговором даже не заметил, как они оказались на первом этаже.

— Наверно, потому, что машинки не было. Теперь у вас дело пойдет веселее,— улыбнулась Инга, но тут же помрачнела: — Вы меня тут случайно застали. Я теперь в Иностранку перебралась. Там народу меньше, зато по Теккерею больше шпаргалок.

«И Сеничкин меня там не найдет»,— добавила про себя, хотя отлично знала, что Сеничкин часто работает в Иностранке.

— Не повезло,— вздохнул Курчев, напяливая шинель.— Мне ваш бывший муж сюда билет сделал.

— Вы с ним подружились?

— Нет. Всего два раза виделись.

— Он хвалил ваш реферат?

— Не поймешь. Собственно, он ничего не сказал. Все собирался, но помешали.

— Всегда у него так. Не расстраивайтесь.— Она тронула Курчева за руку.— У него узкий круг интересов, а вы — не дама.

— Да вроде бы,— Борис смутился; он чувствовал, что Инга хочет его приободрить.— Там была одна женщина, картавая такая, симпатичная...— добавил он, чтобы поддержать разговор.

— Я их знаю,— нахмурилась Инга, и ее темные, гораздо темнее волос брови на мгновение сошлись.— Но я не люблю эту компанию.

— Там был еще художник...

— Художник как раз ничего. Хороший художник. И они все ничего. Просто я с ними раздружилась,— сказала она веселее.— Сейчас возвращу вам машинку, вы напишете проходимую работу, и ваш брат введет вас в историческую науку.

— Как барана,— огорчился Курчев, спускаясь вслед за Ингой в метро.

— Не надо. У меня есть,— сказала она, едва Борис кинулся к кассе.

Отогнув два билета, Инга протянула книжечку контролеру — и они оба вспомнили, что на этой же станции уже было точно так же, и одновременно улыбнулись пустячному, зато общему воспоминанию.

— Нет, не как барана,— сказала Инга.— Скромность вещь хорошая, но приbedняться зачем же? У вас все получится.

— А у вас?

— И у меня.— Она чувствовала себя сегодня гораздо старше этого смешного офицера, который где-то кем-то командует и вообще знает жизнь лучше ее, а с ней такой зажатый и глупый.— И у меня тоже,— повторила, беря его под руку.

Поезд, казалось Борису, несся как сумасшедший. Сейчас они вылезут из метро, дойдут до Докучаева, Инга вынесет машинку и скажет «гуд бай». Он не знал, как заинтересовать ее, понимая, что скучен ей, а что ей нравится его писанина —

так это ничего не значит. Разве женщину писаниной возьмешь?

Стоя рядом с Ингой в раскачивающемся вагоне, Курчев чувствовал ее руку в варежке и мечтал, чтобы поезд все летел и летел и никогда бы не притормаживал, потому что лучше уже не будет, хотя еще ничего не было.

Они вышли на «Комсомольской» и под мостом на небольшом фанерном стенде ему бросилось в глаза объявление «Загр. ф. Нач. 15 и 17 ч. Дети до 16 л. не допуск».

— Ну как? — вдруг расхрабрясь, кивнул Курчев на стенд.

— Впечатляет, — улынулась Инга. — Наверно, какая-нибудь мура, а мимо не пройдешь.

— Может, попробуем? — он почувствовал, что в шутовском необязательном тоне ему держаться куда легче.

— Давайте, — сказала Инга. — Это в следующем переулке. Я иногда туда бегаю. Сейчас вынесу вам машинку и пойдем.

— Я возьму билеты и двину вам навстречу по вашей стороне, — сказал Курчев, стараясь не обижаться, что она не зовет его в дом. Прощание отодвигалось на два часа и раньше времени сердиться не стоило.

— Хорошо. У меня тетка прихварывает и вообще кавардак. Предки на курорте, я еще толком не приборала, — покраснела Инга, потому что убраться она убралась, но приглашать лейтенанта к себе ей не хотелось.

— У меня тоже разгардаш: я обои клеил, — сказал Борис и покраснел, вспомнив, что обои он клеил не один.

— Вы квартиру получили? Что ж молчите? Теперь вы жених с жильем. Поздравляю. Я скоро.

В темноте

Поднимаясь по своему переулку, Инга была вовсе не так весела, как Борис, подбегавший к третьеразрядному фабричному клубу.

Везет же, думала она. Мужчина с квартирой. А у Алексея Васильевича ничего, кроме жены и четырехкомнатного палатца. Впрочем, у Г. И. Крапивникова тоже было жилье... — И она вспомнила, как в антракте скучной пьесы Георгий Ильич подошел к ней с глубокомысленно-серьезным, исключаящим всякую возможность отказа лицом и потребовал номер телефона. Маленький, лысенький, на вид абсолютно ничтожный, он лишь рассмешил ее, и номер телефона она назвала только, чтобы он поскорее отстал.

Но уже через неделю она почувствовала, что дня не может прожить без Крапивникова и крапивниковского окружения — всех этих великих, но непризнанных поэтов, художников, безработных актеров, журналистов, историков, без их полупьяной веселой болтовни, без последних, самых свежих анекдотов и непроверенных новостей, без вольных разговоров, прерываемых в самый опасный момент магическим словом «пресикак», которое чаще всех произносил Георгий Ильич, вдохновитель, глава кружка или общества.

Не то чтобы Инга до знакомства с Крапивниковым жила скучновато. Вовсе нет. Среди ее однокурсников и студентов постарше всегда хватало умных, начитанных острословов. Они и смешили ее, и иронии им было не занимать, и серьезные разговоры они вести умели. Но ближе к выпуску и к аспирантуре, куда все они нацелились, Инга все с большей тоской замечала, что эти критически мыслящие личности прямо на ее глазах распадались. Днем говорили одно, вечером — другое; провожая ее домой, измывались над тем, что без всякого смущения провозглашали с изрядным пафосом с факультетской трибуны. Разумеется, без какого-то минимума-минимума общественной активности об аспирантуре и мечтать было нечего. Но горько было, что на нее уходило три четверти их времени и уж совсем противно было глядеть, как даже самые способные из них таскали за профессорами шубы и стулья.

— Тебе что? У тебя аспирантура в кармане! — сказал как-то Инге один из них. — Ты покоряешь старичков своей интеллигентностью и незащищенностью, вот они и сюсюкают: «Рысакова — мадонна!» А нам, грешным, без общественной работы — зарез.

У Крапивникова же никто стульев и шуб ни за кем не носил, все были веселы и раскованны.

Лишь после разрыва с мужем Инга догадалась, что и этим людям в редакциях, художественных советах и комиссиях, несмотря на сравнительно вольную жизнь на вольных хлебах, наверняка приходилось унижаться. Свобода их тоже была весьма ограничена.

Это семья у нас дикая, запуганная. Не то что вслух говорить, думать о существующих порядках боялись. Вот и потянуло меня на крапивниковское вольнодумство, как бабочку на свечу... — сокрушалась Инга.

Но ведь с Георгием Ильичем ей в самом деле было любопытно. Никаких искушений типа «Бойтесь меня. Я океан» он к ней не применял. Правда, однажды прочел стихи Эхнатона, объясняя, что они ему привиделись во сне, и, стало быть, он духовный

двойник египетского владыки, мистический супруг Нефертити. Но Инга лишь пожала плечами, и Крапивников вернулся к медленному и церемонному ухаживанию, больше смахивающему на интеллектуальную дружбу. Так продолжалось несколько месяцев, она тем временем привыкла к его уродству, перестала его замечать. И так незаметно для себя вышла за Георгия Ильича замуж.

Но сейчас ей было неловко перед отцом, матерью и Вавой, что вот он, старенький, лысенький урод, а поматросил ее и бросил. И еще стыдно перед знакомыми, которые после этого стали поглядывать на нее свысока. Впрочем, что обращать внимание на них?

Однако было все-таки что-то в Крапивникове, если он сумел целых полгода дурить ей голову, и она в сумбуре плелась за ним, как девчонка в сказке про Крысолова. Да, что-то в нем было. В 53-м, таком богатом событиями году, он, журнальный работник, взрослый, неглупый, эрудированный человек, казалось, жил вовсе не новостями, а ей одной, Ингой Антоновной Рысаковой. Он был сама галантность, услужливость, каждое ее шуточное желание было для него законом, он был влюблен в нее как старый учитель в десятиклассницу, и трогателен, как юноша, ухаживающий за великосветской дамой. И когда она осталась у него впервые и потом, до загса и несколько месяцев после загса, на его широкой тахте под скрещенными ятаганами, кремневыми пистолетами и прочими воинскими древностями он, Крапивников, был чудо из чудес, он читал ее, как книгу, все в ней понимал, чувствовал, чего она хочет в любую минуту, был нежен, нетребователен, внимателен, он переворачивал и выворачивал ее, но всегда только так, как она желала, словно она ему это подсказывала. Словом, она была несказанно счастлива с ним целых четыре месяца, но потом в нем вдруг разом что-то оборвалось, и однажды он не пришел ночевать, потом взял в журнале командировку и уехал с какой-то дамой в Ленинград, а Инга перебралась домой, сначала ненадолго, потом наподольше, а там уже и насовсем.

Далеко не сразу она поняла, что с ним творилось, что означала его формула: движение — все, цель — ничто. Он был просто сексуальный маньяк, человек, получающий радость не от близости, а от игры в близость. Он был, как Кин из анекдота, в котором английская королева просит Кина изобразить ей сначала Цезаря, потом Александра Македонского, потом, скажем, Наполеона, и он спит с ней то как Цезарь, то как Македонский, то как Наполеон, но когда королева просит его остаться Кином, Кин пасует, потому что он импотент.

Так и для Георгия Ильича четыре месяца служения были пределом. Он нуждался для вдохновения в новом предмете, новом допинге, вот почему театр одного актера Г. И. Крапивникова и уехал на гастроли.

Инга его поняла, а значит, и простила, но он стал ей мерзок, и спать с ним она не смогла бы.

«А с Алешей? — спросила себя. — Алеше этого не надо. Он меня любит бесплотно. Я для него худющая плоскогрудая богиня. А для удовольствий у него следовательша, и он уехал с ней за город ремонтировать прохудившиеся контакты... Почему все они меня любят за душу, даже за лицо, как сюсюкающие профессора, но никто меня не хочет всю?! Вот и лейтенант глядит как на ангела небесного. Что-то во мне неправильно. Но что? В тридцатых годах мой тип был в моде, правда, не у нас, а на гнилом Западе. Тип... Мода... Все-таки я женщина, а не обложка журнала», — она рванула на себя дверь парадного и поднялась по лестнице.

— Что так рано? — спросила Вава. Она, похоже, оклема-лась, сидела за столом в родительской комнате и решала кроссворд в пожелтевшем «Огоньке».

— Возвращаю печатный станок, — отрезала Инга. Вчера вечером она явочным порядком оккупировала большую родительскую комнату и теперь сердилась на Ваву за непрошеное вторжение. — Вернусь поздно. Не жди, — сказала, доставая из-под письменного отцовского стола железную коробку.

— Пустилась во все тяжкие? — буркнула тетка, не поднимая синева-той седой головы.

— Пожалуй. Только вряд ли удастся... Гуд бай, ма тант.

— Не торопись. Мне недолго заедать твой век, совсем недолго.

— В таком случае я скоро вернусь. Гуд лак! — сказала Инга, но, передумав, подошла к тетке и чмокнула ее в веснушчатое прореженное темя.

Лейтенант уже ждал ее у подъезда — не иначе как неся на крыльях.

— Вот, пожалуйста, — протянула она машинку. — А реферат забыла. Правда, у меня только второй экземпляр. Первый я передала Георгию Ильичу. Он вам вернул?

— Нет. Наверное, пустил по знакомым.

— Вот это зря, — нахмурилась Инга. — Боюсь, как бы я не принесла вам неприятностей.

— У меня еще третий экземпляр был, но офицеры на пулюку

растасили,— сказал Курчев, и тут же ему вспомнился сегодняшний сон, и хотя он шел под руку с любимой женщиной, ему стало не по себе.— Обойдется,— повторил он без особой бодрости.

— Давайте сюда, так ближе...— Инга, не доходя до угла, свернула в подворотню.— Обожаю проходнушки. Будем надеяться, обойдется. Вам бы надо быть поосторожнее, пока вы не демобилизовались.

— Слышали, как доцент меня распекал?

— Нет,— она мотнула головой.— Что распекал, слышала, а как — нет. Сплошная глушилка, как «Голос Америки»,— сказала она без улыбки и неизвестно почему, ведь лейтенант ее ни о чем не спрашивал, добавила: — Я его с тех пор не видела,— и тут же спохватилась, что встречалась с Алешей на другой день в ресторане при катке.

Курчев молча дошел с ней до клуба, неказистого, грязного одноэтажного барака, раскрыл обитую драным войлоком дверь, в заплеванном коридоре протянул контролерше билеты, и вдруг очутился в светлом, чистом, с новыми креслами и новым экраном зале, таком просторном, что даже непонятно было, как он уместился в тесном бараке.

— Оптический обман,— сказала Инга и помрачнела, вспомнив, что месяц назад привела сюда Сеничкина, и он удивился точно так же, как лейтенант.

Фильм начался без журнала, и Курчев вновь обнаружил, что забыл очки. Лента была американская, видимо довоенная, с Эрролом Флинном в главной роли. С предпоследнего ряда Курчев титров не различал. Он шурился и с трудом следил за интригой. Северяне бились насмерть с южанами. Флинн с друзьями бежал из тюрьмы и летел по пустыне в почтовом дилижансе. Напротив него сидела шпионка-южанка (Флинн был янки), плюгавая красotka с букольками, которая Флинну в подметки не годилась. Без очков Флинн казался Курчеву не таким длинноносым и очень смахивал на доцента.

— На Алешку похож,— вырвалось у Курчева.

— Нет,— Инга помотала головой. То ли ее всерьез забрала картина, то ли она радовалась английской речи.— Не отвлекайтесь,— и она тронула руку Курчева. Борис едва удержался, чтобы не погладить ее тонкую, длинную, освобожденную от варежки ладонь. Но он помнил наставления донжуанов: никогда не гладить женщинам рук, целовать прямо в губы.

Но об этом и речи быть не могло, и Курчев, косясь на Ингин

курносый с падающей челкой профиль, радовался, что через шинель и дубленую выворотку чувствует ее узкое, трепетное, такое беззащитное плечо.

Фильм, так же, как поезд метро, мчался с отчаянной спешкой. Шпионка влюбилась во Флинна, но это не помешало ей вывезти из северных штатов кучу золотого песка. Флинн погнался за ней, но его схватили южане. И тогда шпионка, кудрявенькая пергидролевая спирохета, помчалась к южному президенту молить, чтобы Флинна помиловали. Президент, несмотря на заслуги шпионки, артачился.

И вот уже построили солдат, забил барабан, и Флинн приготовился к смерти, как вдруг над городом раздался орудейный залп, и тут даже близорукий Курчев со своего предпоследнего ряда понял, что фильму конец: южане сдались северянам и подписали мир. Президент Линкольн наградил Флинна, и на прощание Флинн и шпионка слились в поцелуе.

— Ну как? — Инга поднялась, застегивала выворотку. Лицо ее при свете казалось смущенным.

— Ничего,— сказал Курчев, который весь фильм думал только о том, как бы задержать ее. Правда, у него оставался ее Теккерей, так что можно было повернуть разговор к нему. Впрочем, на худой конец, можно бы пригласить ее в ресторан. Но обидно сидеть в набитом субботнем зале, когда у тебя личная халабуда с окнами, завешанными газетами.

— Вам очки нужны. Вы все время шурились,— сказала Инга, выходя с Курчевым на заваленный чугунными чушками двор.

— Я их дома забыл.

— Ну вот,— она снова нахмурилась. Ее сердило, что он сегодня такой растяпа. В прошлый раз он был занятней, а нынче рядом с ней шел влюбленный антропос, наподобие Бороздыки. Сейчас в сумбуре чувств ей хотелось не поклонников, переживаний, сложностей, а простого и легкого общения: пусть лейтенант возьмет ее под руку и уведет к себе. Смерть как неохота возвращаться домой к Ваве или снова ехать в библиотеку, пусть даже и в Иностранку. Лучше остаться с этим чудачковатым офицером. Вот только зачем он так пожирает ее глазами. И почему он все молчит, а в тот раз рта не закрывал?

— А Теккерей вы мне возвратите? — расхрабрилась она. У нее было еще одно издание, но лейтенанту об этом знать не обязательно.

— Да-да, само собой!.. Я хотел вас пригласить к себе, я живу неподалеку, но у меня разгардаш...— смутился Курчев.

— Раз хотели, приглашайте. Обожаю смотреть чужие квар-

тиры,— сказала Инга, сама удивляясь своей отваге.— Тем более что мы соседи.

И тут Курчева словно прорвало. Теперь он болтал без передышку, чувствуя, что если остановится, то уже не заведется, как машина с испорченным стартером. Так бывает во сне, когда снится что-то хорошее и боишься его спугнуть, потому что потом оно рассыплется — не соберешь. В азарте он проглядел двух капитанов и одного подполковника, но те то ли из-за субботы, то ли из-за миловидности его спутницы, простили ему промах.

— Манкируете,— сказала Инга. Хотя лейтенант был ее первым армейским знакомым, она знала, что военным полагается козырять. Она уже настроилась идти к Курчеву, а если его будут при ней отчитывать, ей расхочется к нему идти.

— Ничего, тут рядом,— Курчев будто угадал ее мысли.— Только заскочим в магазин.

«Суп Степанида сварила,— соображал он,— но водку ей не предложишь».

Однако магазин на Переяславке был плохонький, сухого вина в нем не оказалось.

Инга, сторожа железную коробку, с досадой наблюдала, как лейтенант судорожно скупает продукты — колбасу, сыр, две банки консервов, капусту провансаль, пачку соли, сахара и две пачки пельменей.

Теперь уж его наверняка остановят, подумала она, но, к счастью, его дом был через дорогу, и они с лейтенантом благополучно проскочили в сени, где в нос шибануло сыростью и квашеной капустой.

Небогато, подумала Инга, осматриваясь в коридоре, освещенном лишь темным, видимо выходящим в подворотню окошком.

Лейтенант, с трудом удерживая пакеты и свертки, снимал с двери тяжелый замок.

— А у вас очень даже недурно! — сказала Инга, с опаской заглядывая в дверь.— Нет, правда, здорово!

Курчев опустил покупки на стол, снял с Инги выворотку. В комнате было темновато, хотя на левом окне край газеты оторвался.

Инга одиноко стояла в низкой комнате, не зная куда сесть, а рассматривать тут, кроме белых потолочных обоев, было нечего.

— Я мигом соображу...— забеспокоился Курчев.— Только заняты вас нечем. У меня лишь огоньковский Толстой, но вы его терпеть не можете.

— А патефон? — Инга кивнула на шкаф, откуда лейтенант доставал тарелки, вилки, нож, две оловянные ложки, солдатскую кружку и пожелтевшую фаянсовую чашку со шербатыми краями.

— Не знаю, исправен ли...— сказал Курчев и удивился, почему ему за три дня не пришло в голову опробовать довоенную машину.

Лет двадцать назад патефон был гордостью младшего Курчева. Весь двор стекался к их крыльцу, и подвыпивший отец заводил «Рио-риту», «Утомленное солнце», «Сашу» и дюжину других пластинок. Курчевы были не богаче, а из-за отцовских гулянок, пожалуй, даже беднее соседей, но мама Клава, учительша, как ее звали во дворе, не зная, чем угодить отцу, запродалась на лето в пионерский лагерь, чтобы подарить мужу патефон. Надеялась небось, что патефон удержит Кузьму Илларионовича дома. А впрочем, кто ее знает? Мать не так уж долго прожила после этой покупки, и без нее патефон крутили сначала ее муж с техником Лизкой, потом сама техник Лизка Бог знает с кем, ну а потом Михаил Михалыч, мужчина положительный, купил радиолу, а патефон воротился к наследнику прежнего владельца.

«Куда ни кинь — история!» — улыбнулся Курчев, вытаскивая музыкальный ящик.

— Тут еще куча пластинок, но все довоенные! Нет, стоп! Одна новая. Наверное, забыли...— Он повертел в руках маленький целлулоидный гибкий диск, на котором сладко улыбался зализанный мужчина.— Наверно, мура какая-нибудь.

Патефон был хорошо смазан, пружина не скрипела, однако от покарябанного края пластинки иголлка сразу перепрыгнула к центру и послышался дребезжащий голос:

Нам в Сингапуре и в Бомбее
Сиял небес лазурный цвет,
Но верьте мне, что голубее
Родных небес на свете нет.
И нет прекрасней и дороже,
Звучней родного языка,
И нет средь нас таких, кто может
Забуть родные берега.

— Родные берега,— повторила зачем-то иголлка, хотя и без того все было ясно.

Кто знает, как для моряка
Минута эта дорога,
Когда в туманном свете маяка
Вдали покажутся родные берега!

— Мура,— повторил Курчев, не раз слышавший эту песню в увольнении: под нее вертелись на огороженных танцплощадках моряки, отбивавшие у артиллерийских курсантов околопитерских невест.

— Ничего, кружиться можно,— сказала Инга, перебирая старые стертые, щербатые или треснутые диски.— А вообще очень интересно. Это ведь уже история!

— Все история! — согласился Курчев, вынося в сени водку. Даже моя фатера, подумал он, за три дня биографию набирает: сначала Ращупкин, потом Валька, а теперь...— Он открыл дверь в сени, достал из-за кадки кастрюлю с супом, поставил туда поллитровку. А теперь... Но объяснить, что же теперь, было трудно — он не находил слов... Теперь женщина, лучше которой для него нет, пришла к нему, вернее, не к нему, а в его комнатенку, и он уже готов был ревновать ее чуть ли не к жилью. И одновременно ему было стыдно за свою развалюху.

— Проголодались? — спросил, возвращаясь в комнату.

Инга уже сидела на покрытой армейским одеялом тахте.

— Нет. Я поела перед тем, как вы пришли.

— Ну когда это было? — Он подошел к окну и заново приколол оторванный край газеты. Занятый пустяшным делом, он выглядел куда уверенней, чем в библиотеке, в кино или на улице; Инга с любопытством следила за ним.

— Нет, не надо. Не терплю верхнего света. Так лучше,— сказала она, когда Курчев подошел к выключателю.

— Сейчас закипит,— сказал он, вываливая продукты на тарелки. Сыр пришлось поместить вместе с колбасой и провансалью. Посуды не хватало.

— Помочь вам? — спросила Инга.

— Нет, не надо. А то неинтересно будет. Я ведь первый раз в жизни хозяйничаю...

— Тогда, конечно...— Ей начинало здесь нравиться. Вот только хозяин был по-прежнему излишне суматошлив.

— Несут, несут! — словно во втором акте «Ревизора», закричал он, влетая в дверь с кастрюлей, и тут Инга загадала, что если он поставит кастрюлю на пол, собственно, больше ставить было некуда, то у Алеши с прокуроршей примирения не выйдет. Но лейтенант, лишь секунду помедлив, толкнул локтем мембрану патефона (взвизгнув, как собачонка, она покорно легла на место), придавил другим локтем патефонную крышку, взгромоздил на нее кастрюлю.

«Вот хитрюга!» — чуть не вскрикнула Инга и усмехнулась своему невезению и находчивости Курчева.

Он в последний раз вышел в сени за бутылкой, придвинул

стол к тахте, сощураясь, разлил водку в жестяную кружку и в фаянсовую и обе подвинул гостье.

— Вам какую — армейскую или эту? Я из нее когда-то пенки вылавливал.

— Жестяную. Терпеть не могу молока.

— А я люблю. Но водку пью чаще. Вот демобилизуюсь и вернусь к истокам. Ваше здоровье.

— Ваше! Пусть у вас все получится! — Инга чокнулась через стол. Звук получился странный, но она бодро выпила. — Нет, нет! Мне супу не надо, — замахала она рукой, когда лейтенант поднес полный половник к ее тарелке.

— Тогда одного мяса.

Ему нравилось, как она ест, пьет, чокается, сидит на его тахте в темной комнатенке, и он ловил себя на мысли, что никогда еще ему так не везло.

Бороздыка рассчитывал пробыть за городом хотя бы до понедельника. Как все не служащие люди, Игорь Александрович не любил воскресенья, особенно сейчас, когда у него образовалась невеста Зарема Хабибулина, она же — мать-одиночка. Дочь Заремы, озверев на шестидневке, носилась по комнате как заводная, и заявляться к Зареме в воскресенье было, по меньшей мере, неразумно. Однако торчать у себя в грязной с протекшим потолком конуре тоже было невесело, и Бороздыка предпочитал воскресенье проводить в гостях. Несмотря на духовность, он любил хорошо поесть и, невзирая на непримиримый антисемитизм, охотно наведывался в еврейские семьи, где еще не разучились кормить.

Правда, и Марьяну Сеничкину, хоть она и была чистокровной славянкой, Бороздыка тоже не переваривал. Однако перспектива подышать чистым воздухом была настолько соблазнительной, что при встрече он галантно поцеловал ей руку в разрез перчатки, за что был чмокнут куда-то возле уха.

Уже по дороге от станции к дому Фирсановых, хоть она и заняла всего несколько минут, Игорь Александрович чутьем неудачника определил, что примирение между супругами не состоялось, впрочем, его больше интересовало прославленное фирсановское хлебосольтво.

Но на лестничной площадке фирсановского дома они столкнулись с обрюзгшей немолодой женщиной в ватнике с облезлым лисьим воротником.

Кто эта дама и откуда она, было ясно и без вопросов, так же, как и то, что она Фирсановым не чужая. Возможно, он понял

это даже раньше Марьяны. Та поначалу оторопело вглядывалась в незваную гостью, словно что-то вспоминала, потом кинулась к ней, обняла и зарыдала, как решил Бороздыка, больше от стыда, чем радости.

Конечно же это была родственница, которую постарались забыть, а теперь ее надо было куда-то поместить, отогреть, собрать вещи и деньги на дорогу, и в эти часы семье было не до гостей. Сеничкин и Бороздыка оба с ходу поняли это и испарились на английский манер, не прощаясь.

— Извините, сэр,— сказал доцент в станционном буфете, протягивая Игорю Александровичу полстакана коньяку.— Что называется, картина Репина «Не ждали».

— Ничего. Бывает,— вальяжно сказал Бороздыка.

Сеничкин обрадовался, что удалось сбежать от Фирсановых. Ему не хотелось ни мириться, ни ссориться с Марьяной. Ее побег к Шустовой был шокингом, и тут хочешь не хочешь, а надо было что-то предпринять. Вот почему он поехал с женой за город. Но появление непредусмотренной родственницы было ему на руку: оно отвлекало внимание семьи от него и позволяло еще некоторое время ничего не делать.

При всей своей собранности и работоспособности Алексей Васильевич не любил принимать самостоятельных решений. Он верил в свою фортуна и считал, что она его вывезет. И до сих пор она действительно его вывозила. А что Марьяна фордыбачит и бесится, так все бабы такие. Взять хотя бы Ингу, с виду олененок, а тоже с вывертом. Он верил, что, если не суетиться, все само собой уладится. Кроме того, явление нелепой старухи давало компромат на Марьяну: при случае можно было бы подпустить шпильку по поводу Фирсановых, их человеколюбия и отзывчивости. Во всяком случае, будет чем порадовать Ольгу Витальевну: такой, можно сказать, козырь плывет ей в руки.

— Братья Киреевские,— меж тем бубнил в такт колесам электрички Бороздыка.

Человечишко много знает. Такого грех упустить, думал доцент.

— Сэр, если не пробьемся в кабак, можно будет выгрузиться у вас? — спросил он Бороздыку.— Мне страшно неудобно: сломал вам день.

— Пустяки. Посидим по-студенчески, как в прошлом веке, как в начале этого до великой катастрофы...

— Безусловно,— кивнул Сеничкин.

Они были неразлучны с самого пятого марта, годовщины смерти, когда, столкнувшись в редакции, завели разговор о покойнике; Сеничкин прошелся по поводу культа, как вдруг Бороздыка прервал его:

— Что ни говорите, а был собиратель. Восстановил империю. Единую и неделимую. И еще пол-Европы прибавил. Шутка ли?! Помните у Шульгина в «20-м»? Осуществил белую идею. До него раздавали, а он собрал. А что не русский, так и Романовы — швабы. А нынче — только год прошел — и уже Крым отдаем хохлам. Так недолго и все раздать, и Прибалтику, и еще Бог знает что...

— Ну, с Крымом это же просто формальность, — сказал Сеничкин.

— Не говорите. Сегодня формальность, а чем завтра обернется эта формальность, неизвестно. Как взяться. Конечно, деспот... Деспот, но реальный человек. Государственный муж. Какую державу после себя оставил.

И Бороздыка начал описывать красоты Львова, Вильнюса и Таллинна, городов, где никогда не был, и Рижского взморья, где никогда не отдыхал, и Сеничкин, объездивший за свои неполные двадцать восемь лет все курорты страны, зримо представил, что, не собери всего этого вождь, он был бы лишен этого, и Сталина ругать прекратил.

Всю неделю Бороздыка поражал Сеничкина подобными открытиями, и Сеничкин честно его поил, провожал, как девушку, до дому, получал из рук Бороздыки на ночь раритеты вроде шульгинских книжек и постепенно проникался бороздыкинскими идеями. Нет, он не собирался их осуществлять, но он верил, что со временем они осуществляются сами собой, и тогда он, как давний их сторонник, не будет аутсайдером. У себя на кафедре он на эти темы, понятно, не распространялся, в других местах тоже, если не считать того случая, когда он, рассердившись на мать, вспомнил про своего настоящего родителя и пригрозил матери, что возвратит родовую фамилию. Но это было неблагородно, а главное, некстати. Он ведь знал, что у отчима с президентством не вытанцовывается. Союзники финтят и прочат француза, в Совмине волынят и никак не могут решить, посылать ли В. М. Сеничкина на выборы или ему лучше сказать больным, а для проформы послать сеничкинского зама, а потом В. М. Сеничкина снять и назначить Героя. Герой знает английский и вообще сейчас в период надвигающегося международного потепления смотрится более, что ли, европейски.

Неудача отчима тоже как-то прибывала Сеничкина-младшего к Бороздыке: он словно предчувствовал, что от отца и его команды ждать уже нечего. Все, что могли, они уже дали, и теперь надо искать другие источники, вернее, ждать, когда эти источники сами откроются тебе. И он бы терпеливо ждал и

помалкивал, если не разлад с Марьяной. А тут не сдержался, наговорил лишнего матери и разоткровенничался с женой во время «безика».

Но больше он ни с кем не откровенничал. Жорке Крапивникову даже заикаться не стоило. Для Жорки не было ничего святого. Он мог и осмеять и, что еще хуже, пустить сплетню по Москве.

Но вот кому бы Сеничкин охотно открылся, так это Инге. Это стало бы их общей тайной и сблизило бы их. Он бросил бы эти платонические игры, а там... там, как ответил режиссер актрисе, спрашивавшей, когда он даст ей роль: поживем — увидим. Наперед заглядывать не стоило.

— Да, кстати, вами интересовалась мадемуазель Рыскова,— сказал Бороздыка, когда они с доцентом уселись у него на уголке письменного стола за бутылкой азербайджанского клоповника и сковородой с зажаренными в яйце кусками отдельной колбасы. Бороздыка рассчитывал на более изысканный стол и поэтому был язвителен.

— Ах, вот как! Значит, она вернулась,— невозмутимо ответил Сеничкин, чокнулся, выпил и вышел в коридор.

Игорь Александрович с обидой слушал, как Сеничкин будто у себя дома, набирает номер, и давнишняя ревность к доценту, подогретая плохим коньяком и скверным ужином, вновь колыхнулась в его впалой груди.

— Ингу Антоновну можно? — небрежно спросил Сеничкин, словно звонил к себе на кафедру.— Извините. Позвоню позже. В библиотеке, видимо,— сказал он, возвращаясь в комнату.

— В субботу? — Впрочем, она не еврейка,— хихикнул Бороздыка.— А может быть, она и не в библиотеке. В городе объявился технический лейтенант. Говорит, квартиру получил.

— Развалюху какую-то. Где-то за вокзалами. Вполне аварийное жилье. Так что вы говорили о братьях Киреевских?

Алексей Васильевич еще дважды позвонил Инге, второй раз уже около полуночи и решил, что она и впрямь может справлять Борькино новоселье. Но Борькиного адреса у него не было, да и был бы, Алексей Васильевич туда бы ни за что не пошел без приглашения. Знакомство Инги с Курчевым было ему неприятно, но он не ревновал к нему Ингу. Романа там никакого быть не могло; культпоход в Кутафью башню он относил к заботе о братьях наших меньших, армией униженных и оскорбленных. Однако Борька был родственник и через Борьку Инга могла раньше времени узнать кое-какие семейные подробности, которые Сеничкин предпочел бы изложить ей лично.

Он просидел у Бороздыки до часу, и сегодня тот ему порядком осточертел. Расстались они холодной обычного. Раритетов Алексей Васильевич уже не выпрашивал и, сбежав по темной узкой лестнице, перешел Садовое кольцо и сел в троллейбус, хотя его и тянуло свернуть в Спасскую, а оттуда в Докучаев — дожждаться загулявшую Ингу. Но не так был воспитан Сеничкин, чтобы дожидаться женщину наподобие несчастного Бороздыки. Он верил, что Инга и так от него не уйдет.

В комнате теперь стало темно, и троллейбусы уже не затеяли, а, наоборот, освещали ее своими зажженными окнами. Курчев сволок на кухню грязную посуду, но мыть ее не стал, боясь, что, пока он будет возиться, Инга соберется домой.

Однако, когда он вернулся из кухни, стол от тахты был отодвинут, а гостя, сбросив закрытые туфли на каучуке, сидела на тахте, обняв руками колени и накрыв ноги широкой юбкой. Лица ее в темноте он не видел, но чувствовал, что ей невесело.

— Расклеилась я у вас, — сказала она совсем тихо и зябко повела плечами. — Пластинки, жаль, совсем старые. Я вам другие принесу. Одну очень хорошую, — помедлила она, и Курчев обрадовался этому «принесу»: значит, придет еще... — Вот эту... — и она внезапно запела.

Это была английская песня, и Курчев не понял ни одного слова, кроме «грин», которое показалось ему созвучным с немецким «грюн» — зеленый. Он даже не был уверен, есть ли у Инги слух, но пела она истово, видимо вкладывая в песню что-то свое, и голос у нее от этого стал еще ниже. Он видел, что с ней что-то творится, что поет она неспроста, и песня относится вовсе не к нему, и даже поется, наверно, не для него.

В песне то и дело повторялись какие-то «гринфилдз». Почти в полной темноте обостренным слухом Борис понял, что «гринфилдз» — это то же, что по-немецки — грюнфельд, то есть зеленое поле или даже скорее — поля, но дело, похоже, было совсем не в них: Инга родилась не в селе, а в каких-нибудь шести переулках отсюда, так что скорее всего она пела о своей незадавшейся любви к Алешке. Но все равно Курчеву стало безумно жаль ее. Он уже готов был волочь сюда Алешку из Марьяниного загорода, лишь бы Инга не пела так иступленно, но она, допев последнее «гринфилдз» и медленно прошептав «энд ми уанс эгейн», неожиданно разрыдалась.

В сгустившемся за время песни сумраке Курчев уже не видел ее, только слышал ее прерывистые всхлипы и легкий сухой звук старой фанерной стенки платяного шкафа, до которого Инга дотрагивалась головой.

— Ну что ты? — не выдержал он, неожиданно для себя перейдя на «ты», и подошел к тахте.— Ты ведь красивая! — Он сел рядом, хотел утешить ее. Он не понимал истерик, боялся их и сейчас погладил Ингу по голове так же бескорыстно, как полтора месяца назад бедного Федьку Павлова, когда тот признался, что хотел жить со своей сестрой.— Ну, ну, успокойся...— повторил он, чувствуя, что бескорыстие в нем быстро идет на убыль и что плачущая по другому Инга страшно ему нужна и ему неохота отрывать от нее руки.— Ну, ну...— бормотал он, поворачивая ее за плечи к себе. Она по-прежнему прижималась лбом к стенке шкафа. И тогда он осторожно и крепко потянул ее сзади за волосы и поднял ей голову.

— Больно,— шепнула она, и он обрадовался: судя по голове, она перестала плакать.

— Ну, вот так...— Он повернул к себе ее лицо, прижал его к своему кителю и, забывая советы записных донжуанов, поцеловал сначала в нос, потом в брови и в закрытые мокрые глаза.

В комнате, как в погребу, было темно и тихо.

— Спасибо... Уже прошло...— шепнула Инга.

Тогда Курчев, хотя две минуты назад ему больше всего хотелось, чтобы она успокоилась, с сожалением разжал руки и, смиряясь, медленно провел ладонью по ее щеке, как будто ласково прощался со своей незадавшейся любовью. И тут Инга, сама не зная почему, вернее по тысяче самых разнородных причин,— по доброте, из признательности к чуткому Курчеву, из-за своей несостоявшейся любви к Алеше Сеничкину и обиды на него, из-за усталости, темноты и потому, что она уже не девчонка и ей не пристало морочить голову этому, пусть и малознакомому, но вроде неплохому человеку, словом, из-за всего вместе — мягко сжала руку Курчева и потерлась лбом, носом, губами о его ладонь.

Он вздрогнул, словно не поверил, потом медленно поднял ее голову и поцеловал в губы, потом еще и еще, уже не отпуская и не позволяя ей ни дышать, ни раздумывать, пока она вся, тонкая, худая, но в темноте огромная, больше комнаты, больше улицы, больше всего на свете, не зашевелилась, не изогнулась и словно бы поплыла в его руках.

Целовал он ее крепко, а гладил мягко и ласково, как бы давая ей последний шанс одуматься, но она не вырывалась из его рук, только изгибалась все быстрее и покорней, и тогда он осторожно, боясь растянуть, стал закатывать на ней свитер.

— Я сама,— шепнула она так тихо, что он скорей догадался, чем расслышал.

«Эх, Алексей Васильевич, как хорошо было бы без вас,— подумала Инга, увидев в библиотечной столовой смущенного лейтенанта.— Не будь вас, Алексей Васильевич, вот в кого бы я влюбилась. А что? Судя по реферату, с ним было бы интересно. Мыслей и свободы в нем больше, чем во мне и в вас, вместе взятых... И зачем вы, Алексей Васильевич, свалились на мою голову?!»

Ей нравилось, как неумело лейтенант накрывал на стол, как признался, что в первый раз принимает у себя женщину.

Никакой в нем показушности. И все понимает. Сел по другую сторону стола. Не ноет, как Бороздыка: полюбите... А что если я назло вам, Алексей Васильевич, сейчас напьюсь и отдамся ему, что тогда скажете? А что, думаете, слабó? И вовсе не слабó. Мне, если уж начистоту, даже уходить отсюда не хочется. Вот сейчас отодвину стол, решила она, когда лейтенант понес на кухню грязную посуду.

— Расклеилась я у вас,— сказала она, когда он вернулся.

Курчев, заметив отодвинутый стол, остановился посредине комнаты, и тут она неожиданно для себя запела свою любимую английскую песню «Зеленые поля», Бог весть почему в ее воображении связанную с Сеничкиным. Познакомились они зимой, встречались в основном в кафе и тихих ресторанах типа поплавков или вот этого, последнего, возле катка, и даже на лыжах ездили не за город, а поближе — в Сокольники.

Но Инга запела эту песню, и слезы начали наворачиваться на глаза, словно она и впрямь прощалась с Сеничкиным. Раньше она не задумывалась, хорошо ли поет, потому что вообще пела редко и только, когда мать и Вава уходили из дому: и голос и слух у нее были так себе. Но сейчас она чувствовала, что поет хорошо и что лейтенант, хоть и не учил английского, все равно понимает, о чем она и для чего поет.

Она уже допевала третий куплет и, подходя к его последней, самой любимой фразе «насинг ин зис уайд уорлд лефт фор ми ту си», вдруг поняла, что не уйдет из этой комнаты, просто не может уйти, потому что уйти отсюда, спев эту вовсе не относящуюся к хозяину песню,— это не по-человечески, не по-женски, так нельзя, так некрасиво, и вообще уходить уже поздно. Она попалась и должна остаться. И тогда, еще больше растягивая слова, словно отдаляя концовку, она допела четвертый, самый обнадеживающий куплет и разрыдалась.

Курчев сел рядом с ней, обнял, прижал ее голову к своему кителю, и, хотя она чувствовала, что он на пределе, в его руках не было настойчивости, и держал он ее так, словно каждую минуту готов отпустить и ни словом не напомнить потом об

этом вечере. И оттого она чувствовала, что вязнет еще сильнее, но это не было неприятно. Ей нравились руки этого чудака-офицера, большие, какие-то странно добрые, ненавязчивые и даже нельзя сказать, что неуклюжие. Нет, сейчас в темноте он был другой: смущение и робость исчезли, в нем чувствовалась сдержанная страсть, и ей и в самом деле не хотелось уходить отсюда не только потому, что это некрасиво, а просто так — не хотелось, и все тут.

— Спасибо... Уже прошло...— сказала она тихо, чтобы лейтенант не подумал, что она истеричка. Но он понял это так, что надо ее отпустить и печально провел ладонью по ее щеке. И тогда она обняла его и вот теперь лежала под его тонким одеялом, а лейтенант целовал ее в губы, но гладил все настойчивей. В темноте он казался более взрослым, и движения у него стали уверенней, а руки неторопливей и крепче. Он вмиг очутился рядом с ней, словно их там, в казарме, учили не подыматься, а ложиться по тревоге. Только стукнули об пол его огромные бесформенные сапоги, и вот он уже был тут весь, чужой, незнакомый, непохожий на прежнего, смущенного и робкого, и гладил ее, и она уже сама не хотела, чтобы он медлил.

Теперь они были совсем вместе, единым целым, целым в объятии и в движении, но она все еще чувствовала, что он скован, и тихо, одними губами без голоса шепнула:

— Сегодня можно,— и тут их закачало, и это было так, словно она любила его, длилось долго, кончилось одновременно для двоих, и она не успела вспомнить об Алексее Васильевиче.

Лейтенант вдруг стал тяжелым, но, словно сам это почувствовав, ласково обнял ее и повернулся на бок. Его пальцы гладили ее подбородок, шею, и, когда спустились к груди, она засмеялась и сказала:

— Не надо. Тут же ничего нет.

— Глупая,— выдохнул он первое после их близости слово. И его голос тоже показался ей другим.

Она подоткнула под себя одеяло, потому что по телу разливалась какая-то особая теплота и не хотелось, чтобы ее выдуло из-под одеяла. Она читала в английской книжке, что если спишь с нелюбимым человеком, то голова остается чистой и ясной, и сейчас, вспомнив об этом, решила, что автор все-таки напутал. Но может быть, тут виноваты темень и водка.

Ей было легко, свободно и спокойно и ужасно не хотелось вставать, одеваться и идти домой успокаивать растревоженную Ваву.

Но рано или поздно уйти все равно придется. Она понятия не имела, сколько сейчас времени, хотя слышала тиканье своих небольших квадратных часов и четкий, похожий на толчки сердца, стук курчевской круглой «Победы».

— А вот и есть,— сказал вдруг лейтенант и, отняв руку, поцеловал в грудь долго и больно, и тут она поняла, что теперь он уже торопится, словно боится, что она уйдет, торопится и торопит ее, и она, улыбнувшись, снова почувствовала себя взрослой и смелой, сама придвинулась к нему, начисто забыв про Сеничкина.

И опять они лежали молча, боясь расплескать — каждый свое.

«Что он думает? — гадала Инга. — Наверно, надо ему сказать, как мне с ним... Или он сам знает? Ночью, в темноте, в нем меньше комплексов. А все-таки страх как хочется узнать, что он обо мне думает! А вдруг он ничего и не думает? Просто рад, что я пришла, и боится, что уйду. Интересно, расскажет ли он об этом Алексею Васильевичу? Мужчины еще болтливей женщин. Ну и пусть!.. Мне сейчас хорошо, и завтра будет хорошо, а захочу — и послезавтра, а если я скажу ему, что я его люблю, он тут же на мне женится. Потому что он меня любит, иначе мне не было б с ним так хорошо... Или ему все равно с кем?.. — перебила она себя. — Ведь спал же он на юге с этой похожей на обезьянку конькобежицей. Конечно же это была она, — почему-то только сейчас догадалась Инга, вспоминая женщину в красной куртке, которая около ресторана разговаривала с Алешей через сугроб. — Нет, я не могу ему сказать, что люблю его, потому что это не так. Но мне хочется приходить сюда и не хочется никаких сложностей».

— Вы курите? — спросила она.

— Вообще-то да... — смутился он.

— Тогда дайте сигарету.

Но ей хотелось не курить, а взглянуть на часы. Лейтенант перёгнулся через нее и достал из кармана лежавших на полу бриджей пачку «Астры» и спички.

— Не знал, что ты куришь. — Он всунул ей в губы сигарету.

— Балуюсь, — улынулась она и при свете спички поглядела на круглый циферблат его «Победы». Было без чего-то одиннадцать.

Два красных огонька ничего не освещали. Курчев и Инга по-прежнему не видели друг друга. Он курил жадно, в

полную затяжку, и красный огонь почти на глазах подползал к его губам.

— Давай лучше выпьем. Там еще есть,— сказал он, доку- ривая.

— Давай,— она впервые сказала ему «ты».

Он отнял у нее сигарету, прыгнул с тахты, ощупью нашел на столе бутылку и кружку.

— Вот черт, чашки не найду. Ну ладно, буду из горла...— сказал он, садясь на матрас.

— Зачем? Лей себе, а мне оставь самую чуть. Мне скоро идти.

— Ну вот...— вздохнул он, услышался плеск водки о дно солдатской кружки. Он сделал два больших глотка и передал кружку ей.

— Секреты твои узнаю,— засмеялась она слишком звонко для темной и тихой комнаты.

— У меня их нет,— нахмурился он.

— У меня — тоже.

Она бодро выпила. После сигареты водка показалась приятной.

— У меня тоже никаких секретов. Просто обещала тетке, что скоро вернусь, и вот...— она помедлила, и Курчев, не видя ее, подумал, что она зябко поводит плечами, но она вместо этого потерлась лбом о его плечо и весело добавила:

— ...и вот осталась у тебя... Думаешь, хочется уходить?

Они вышли не сразу, и, если бы Сеничкин не сел в троллейбус, а постоял бы в Докучаевом, он увидел бы, как медленно, то и дело останавливаясь и целуясь, они поднимаются по горбатуму переулку.

— Ты же взрослая, что же не можешь переночевать у меня? — сказал Курчев, загораживая подъезд.— Ну оставь ей записку.

— Я завтра приду,— увещевала его Инга. Она устала, но ей было жаль лейтенанта да и расставаться тоже было жаль.

— Иди. Я тут буду ждать до утра,— сказал он.

— Что ж, попробуй,— она улыбнулась ему и вошла в подъезд.— Нет-нет, не заходи. Прошу тебя,— крикнула, взбе- гая по лестнице.

Ей стало весело. Она открыла квартиру и увидела полоску света из-под двери своей комнатенки. Впрочем, полоска тут же исчезла: Вава успокоилась, решила притвориться спящей.

Тихо насвистывая мелодию из американского фильма.

который они сегодня видели, Инга прошла в ванную, щелкнула выключателем, взяла с полки спички, чтобы зажечь газ, но отсыревшие спички не загорались. Тогда она вышла за спичками в кухню.

За окном кухни раскачивался фонарь, и, застыв с коробком в руке, Инга увидела на другой стороне переулка лейтенанта. Сунув руки в карманы шинели, он стоял, задрал голову вверх.

«Вот так да»,— подумала она, пошла в ванную, зажгла колонку, разделась и встала под горячую струю воды. Левая грудь чуть вспухла, но пятно от поцелуя было не очень заметно, потому что лейтенант впился в сосок.

— Вот и вас полюбили,— сказала Инга зацелованной груди, плечам, ногам, по которым била обжигающая вода.

Длинные ноги, маленькие груди, незаметный живот ей и раньше нравились, но все же полной веры в своей привлекательности у нее не было. Стоявший под фонарем лейтенант, сам того не зная, придавал ей уверенность.

«Неужели всю ночь будет стоять или все-таки уйдет?— думала она, растираясь длинной, похожей на батон, губкой.— Вот чудак. Или его научил караулить Бороздыка? Нет, Бороздыка, тот стоял, наверняка зная, что меня встретит».

Она закрыла горелку, завинтила кран.

Надо все-таки спуститься, сказать ему, чтоб не ждал, а то замерзнет. Но я же выстирала чулки!— спохватилась она, прошла в комнату и вынула другие, самые лучшие, надеванные лишь однажды на Новый год.

«Вава, со мной все в порядке. Не скучай, не расстраивайся. Вернусь завтра или послезавтра. Если предки позвонят, скажи: за городом. Лобзаю. Инга». Она прислонила листок к настольной лампе.

Закутала толстым платком голову, тихо отперла дверь и спустилась в переулок.

— Вот простужусь — тебе же совестно будет,— шепнула обнявшему ее лейтенанту.

Шахматы

Шахматный матч начинался в пять часов вечера, но Варвара Терентьевна заняла свое роскошное семнадцатирублевое кресло в девятом ряду за сорок минут до начала, едва открыли двери. Огромный зал имени Чайковского неспешно заполнялся. Старички, школьники, инвалиды с костылями, горбуны. Потом замелькали фотокорреспонденты с мигалками. На сцену под

большую чуть не трехэтажную шахматную доску выкатили юпитеры. Начало рябить в глазах; Варвара Терентьевна то и дело вздрагивала и морщилась.

В молодости Варя Рысакова, как все московские барышни, вечно бегала в Малый (позже во МХАТ) и на концерты, но сейчас, на девятом десятке, ее влекли только шахматы. Настенные зеркала консерватории и театров когда-то отражали стройную и гордую слушательницу Бестужевских курсов. И теперь сгорбленная, сморщенная и полулысая старуха боялась зеркал, помнивших ее во всем блеске ее девичьей прелести.

Зато шахматы ничего не помнили. Она играла в них с самого детства, но это было развлечение, вроде буриме или крокета. Идеологией шахматы стали недавно, и отстраненная от всех сторон жизни, кроме ненавистного домашнего хозяйства, Варвара Терентьевна упоенно увлеклась шахматами, как иные старухи внучатами или общественной работой.

К тому же шахматы были зрелищем демократичным. На них можно было ходить в затрапезе, потому что здесь ты не только зритель, но и как бы и соавтор. Здесь встречали не по одежке, а ей Варвара Терентьевна уже давно похвастаться не могла.

На прошлом матче Ботвинник — Бронштейн перед ней, восьмидесятилетней старухой, заискивали и маленький вспыльчивый медицинский генерал-майор, поклонник Ботвинника, и сухой, важный, чопорный патрон чемпиона мира, глава или заместитель главы какого-то энергетического министерства. Школьники, студенты, генералы, инвалиды и бедняги пенсионеры — тут все были равны, и Варвара Терентьевна была им всем своя и не пропустила ни одной из двадцати четырех партий этого сумасшедшего, душу и нервы выматывающего, изнурительного и прекрасного матча, так и не закончившегося победой ее любимца, чудака и шалопая Бронштейна.

Теперь она болела за Смыслова. Собственно, она бы болела и за черта, лишь бы он выиграл у Ботвинника. Ботвинника она не любила: и потому, что он представлял в шахматах все, что она не любила в жизни, и потому, что воплощал в ее представлении ненавистное ей время.

— Нувориш, — шипела она, когда разговор заходил о чемпионе. — Доктор наук, говорите? Знаем, как эти звания даются. Если ты доктор, нечего двигать пешки. Пешки надо двигать не докторам наук, а артистам вроде Алехина.

Три года старуха с нетерпением ждала нового матча и вдруг — нá тебе — эта квочка Танька повезла абсолютно здорового Тошку в Кисловодск, лишив его последней радости. Что ж, Варвара Терентьевна поволнуется за двоих.

Раздались аплодисменты, на сцене появился Ботвинник и почти тут же Смыслов. Варвара Терентьевна с удовольствием отметила, что чемпион сдал, посивел, и волосы у него на макушке слегка вытерлись. Да и как не сдать, подумала она. После прошлогодних безобразий только чурбан не поседел бы. На мгновение ей даже стало жаль Ботвинника. Смыслов ей тоже не понравился, показался рыхлым, будто набитым опилками. Как ему не стыдно! А еще, говорят, боксом занимается! На кого он похож! И всего ведь тридцать три года, как Христу. Неужто Спаситель таким был?

Высокий, какой-то мало запоминающийся президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) подошел к столику и склонился над часами. Смыслов — он играл белыми — уже сидел за столиком. Вновь вспыхнули юпитеры, защелкали мигалки. Президент нажал кнопку часов, Смыслов двинул королевскую пешку, и матч начался.

— Испанскую сыграет,— пискнул какой-то школьник.

— Ну да... Держи карман,— сказал его приятель.— Он открытых не любит.

Ботвинник сел за стол, подтянул отлично выглаженные брюки, погладил характерным жестом правой пятерни темя с уже намечающейся плешью и двинул королевскую пешку на полшага.

— Французская! — пронеслось по залу, и тут же вспыхнул матовый с черными буквами транспарант «Соблюдайте тишину».

Первые ходы были самыми обычными, но все равно Варвара Терентьевна испытывала блаженство. Последний месяц она, не признаваясь родным, чувствовала себя, как никогда, плохо и уже не верила, что доживет до матча, но вот дожилась. Особенно худо было ей в те два дня, когда Тошка и Танька уже уехали, а Инга еще не приехала. Но та, видно, учуяла, прискакала раньше времени, а теперь чего-то задурила. Три ночи не ночует дома.

Варвара Терентьевна ворчала лишь для видимости, понимая, что не права. Она хорошо помнила свою студенческую молодость. Тогда все было просто, родители жили в Тихвине, а квартирная хозяйка следила только, чтобы молодые люди, приходя в гости, вытирали ноги. Никакие старухи не заедали век молодым, потому что жилья было пропасть; даже москвичи и те, желая избежать надзора, отселялись от родителей.

Так что зря она пристаёт к Инге и сердится на нее. Бедняге скоро двадцать четыре, а жизнь не задалась. Лучшая ее пора досталась лысому прохвосту. Так что пусть бегаёт. Тошке и Таньке не доложу, думала Варвара Терентьевна, утопая в мягком кресле.

Сердце, перенесшее два удара (как сейчас говорят — инфаркта), пока еще не болело, разве что чуть отдавало в лопатку, хотя с утра было таким тяжелым, что Варвара Терентьевна боялась повернуться на бок и все горевала, что ни за что ни про что пропадут подаренные Тошкой билеты.

Нет, все шло хорошо. И Смыслов действовал солидно, не обострял игры, с самого начала позволял Ботвиннику лезть на рожон, если чемпионской душеньке того угодно. Впрочем, лезть на рожон, особенно черными, было рано, да и чемпион был не охотник до риска. На шестом ходу белые пожертвовали пешку, и по залу прокатился шепоток, но Варвара Терентьевна лишь хмыкнула. Шептались профаны. Такие жертвы часто делал Алехин еще до того, как победил Капабланку.

Ботвинник забрал пешку, и тут Смыслов то ли промедлил, то ли оробел, и Ботвинник напал на вторую. Ничего страшного в этом не было. Пешка защищалась, но, если играешь первую партию белыми, ее надо выигрывать, иначе не стать чемпионом, а к восьмому ходу игру уже вели черные.

Все это не на шутку разволновало Варвару Терентьевну. Она побрела из зала, чтобы купить в буфете сельтерской и принять сердечные пилюли. Но у прилавка стояла очередь, а в фойе продавали какой-то невероятно дорогой ромовый напиток, который надо было тянуть через соломинку; отдышавшись на скамеечке, Варвара Терентьевна утихомирила «мерцание» и, гордо предъявив капельдинерше билет, вернулась на свое место.

Ничего особенного за ее отсутствие не произошло, только Смыслов успел рокироваться, а Ботвинник вывел своего неугомонного слона через «форточку» и теперь давил на открытую рокировку белых. Впрочем, тут же начались размены, и скрытые за огромной доской демонстраторы убрали с нее коварного и ненавистного Варваре Терентьевне чемпионского слона. Игра была равной, но о победе претендента, к сожалению, пока не могло быть и речи.

В зале стало душно и шумно. Несмотря на очередь в буфете, он был битком набит, и, сжавшись в кресле, старуха, заговаривая знакомую боль, грустно смотрела на огромную доску.

Ботвинник ферзем стреножил коня Смылова, но Смыслов, ни минуты ни думая, увел короля, как бы предлагая коня в подарок. Зал довольно зашумел. Но Ботвинник не был таким простачком и троянского коня не принял. Варвара Терентьевна улыбнулась. Но сердце болело и мерцало. Уходить было жаль, но и умирать здесь, в партере, было бы неблагоприятно по отношению к зрителям и ко всему шахматному движению.

— Вам плохо? — спросил школьник, тот самый, который надеялся, что Ботвинник сыграет «испанскую».

— Немного... Вы не спуститесь ли в фойе и не позвоните моей внучке, чтобы она за мной пришла? — попросила его Варвара Терентьевна, написала на краешке шахматной программки шесть цифр и вынула из ветхого ридикюльчика два пятиалтынных.

Когда через четверть часа школьник вернулся, белые уже защищались.

— Никто не отвечает, — сказал он, возвращая монетки.

— Ничего. Уже прошло. Большое спасибо, — улыбнулась ему Варвара Терентьевна.

Действительно, рука перестала болеть, но жжение из-под лопатки переместилось куда-то ближе к середине груди. Казалось, что кто-то протирает это место горячей губкой.

Варвара Терентьевна снова могла следить за демонстрационной доской, где черные окончательно расковались, и выравнивать игру приходилось уже Смыслову, что он и сделал, разменяв на двадцать четвертом ходу ферзей.

Три недели Гришка Новосельнов, как сонная муха, ползал по Ленинграду, не зная, остаться дома или переехать в Москву. Жена, пуще всего боявшаяся Гришкиных дружков и поэтому ратовавшая за переезд, почему-то вдруг закобенилась. И вообще она не очень-то обрадовалась его возвращению. То ли отвыкла (впрочем, и Гришка отвык от нее), то ли у нее завелся хахаль. Насчет обмена она не мычала и не телилась, а требовала менять так на так — две в Питере на две в Москве, что было малореально. Теща же, та о переезде и вовсе слышать не хотела. Во всяком случае, требовала, чтобы ее сначала свезли на Волково кладбище. Словом, пока от демобилизации Гришке было мало навару. Пить в Питере Гришке было не с кем, и он валялся в постели до десяти, лениво вставал, слонялся по просвистанным ветрами промозглым ленинградским улицам, сидел в кино на дневных сеансах, без особой надежды приставал к десятиклассницам и студенткам.

А однажды опустился до того, что как какой-нибудь вахлак из Чухломы, забрел в Эрмитаж поглядеть на голых баб. Он стал сам себе противен, и от того куражу, что распирал Гришку в ресторане московского ЦПКиО, не осталось и следа.

— Разведусь, — грозил он по вечерам.

— Зубы вставь сначала, — посмеивалась жена, но и она поняла, что дальше тянуть с обменом нет смысла. Надо либо

переезжать, либо поскорей устраиваться на старую службу, а нет, так на новую; впрочем, через полгода и она станет старой, потому что лопуха-Гришку вмиг подведут под монастырь.

Московский маклер дважды звонил, интересовался, когда же Григорий Степанович пожалует в Белокаменную. Заходил к Гришке и обменщик, обладатель московской комнаты. (Он, впрочем, утверждал, что у него их целых три, потому что перегородил свою тридцатишестиметровую залу.)

— Район превосходный. Садовое кольцо — между площадью Восстания и Смоленской. Учтите — шума никакого, — убеждал владделец. — Окна — во двор да и сам дом в глубине. А сокровище помрет, — он осторожно кивнул на тещу, — сухую штукатурку сломаете, и вот вам Версаль.

— Не помрет, — хмуро отмахнулся Гришка, разливая водку. — Волково ей требуется.

— Крематорий культурней. Быстро и чисто.

— Слушай, Надежда, я съезжу погляжу, а то, может, он врет, — сказал Гришка жене, когда москвич откланялся.

— Тебе бы только деньги транжирить.

А через день пришла открытка от Курчева с московским адресом. Гришка позвонил в полк на КПП. Черенков узнал его и ответил, что лейтенант в отпуске. Квартирка, говорят, левая, но лейтенант в полк вряд ли вернется. Ему демобилизация светит.

Гришка купил плацкартный на понедельник, выклянчил у жены «командировочные» (свои два месячных оклада он надежно припрятал и о них не заикался), и во вторник утром проснулся в столице.

Комната обменщика действительно выходила окнами во двор, но была на шестом, последнем этаже, и крыша здорово протекала. В ремонт нужно было всадить не два, а все четыре офицерских оклада. Полдня Гришка препирался с москвичом (как оказалось — безработным кандидатом наук, прошедшим по конкурсу в ленинградский педвуз), пока тот не согласился с рассрочкой на год оплатить ремонт.

На радостях Гришка тяпнул и отправился на телеграф звонить жене. Она опять кочевряжилась, потому что прежде о ремонте речи не шло, о рассрочке и слышать не хотела. Гришка крыл ее трехэтажным; какие-то парни с коками строили ему через дверное стекло рожу, телефонистка пообещала позвать милицию. Гришка пулей вылетел из переговорной и рванул к Игнату.

Краска в парадном высохла, и на стенах уже было много чего понаписано. Надписи почему-то взбудрили Гришку — он без

трепета поднялся на третий этаж и требовательно нажал кнопку.

Через надежно обитую дверь звонок откликнулся еле-еле, словно бы висел в квартире напротив. Гришка тыкал в кнопку со всей силой, но дверь не открывалась. «А вдруг Игната посадили?» — подумал Гришка, не на шутку перепугался и уже хотел было бежать вниз. Но не найдя на Игнатовой двери ни сургуча, ни пломбы, он из автомата позвонил маклеру. Тот сказал, что Игнат Трофимович отбыл в Мацесту лечиться, вернется дней через двадцать, и пусть Григорий Степанович не вольтанит с обменом, а то вводят новые сверхограничения, и все может накрыться. Гришка поблагодарил, хотя понимал, что все это — лажа, прописка и без того донельзя урезана, и маклер просто-напросто хочет содрать с него и с кандидата по три куса.

Повеселевши, он остановил такси, купил по дороге горючего, кой-какой шамовки и поехал к Борису.

Но и здесь открыли не сразу. Он долго барабанил в дверь, на которой с трудом различалась выведенная мелом четверка. Наконец звякнул замок на дальней двери, потом на ближней, и Гришка в неярком свете молодой луны увидел пожилую тетку в шубейке, накинутаю на ночную рубаху.

— Дома, дома, — сонно пробурчала она, впуская Гришку. — Громче стучите. Спят небось.

Гришка — он то ли не обратил внимания на это «спят», то ли счел это формой вежливости, истово заколотил в закрытую дверь.

— Кто там? — раздался недовольный голос Курчева.

— Кто? Я, кто еще, ежовый корень! — рявкнул Новосельнов.

— А... — без особой радости промычал Курчев. — Погоди, оденусь.

— Да что я, баба? Открывай.

— Заткнись и жди, — злобно сказал Курчев, и Гришка сообразил, что тот не один.

И впрямь минут через пять, когда дверь открылась, он увидел за спиной уже одетого Курчева умопомрачительную девчонку, худенькую, но удивительно свежую и такую чистенькую, словно она спала с английским лордом, а не с технарем-неряхой.

Везет же дурням, подумал Гришка, понимая, что сегодня ночью ему придется покемарить на одном из трех вокзалов.

— Извини, — смутился он.

— Ничего... Разоблачайся, — сказал Курчев. — Есть хочешь или подождешь? Я скоро вернусь. Да раздевайся ты, — уже

прикрикнул он на Гришку, снял с гвоздя длинный, мехом вовнутрь тулуп, и подал своей красотке.

Стесняется меня, обиделся Гришка.

— Может, отметим? — спросил он, вытаскивая из-за пазухи бутылку петровской.— Между прочим, Новосельнов Григорий Степанович.— Он подошел к девушке.

— Инга,— сказала та.

Она сама историка стесняется, подумал Новосельнов. Небось втихаря к нему бегаёт, а я их застукал. Не по чину она ему. И не по морде. Он с сомнением еще раз всмотрелся в топорное лицо лейтенанта.

— Нет, спасибо. Лучше в другой раз. Я спешу.— Она покраснела и, не подав Гришке руки, вышла.

Гришка с сомнением глянул на курчевский матрас, наскоро прикрытый синим казенным одеялом, и подмигнул Борису. Но тот ничего не сказал, подняв свалившуюся на пол шинель, и выскочил вслед за гостьей.

Шел десятый час, а ходов до контроля оставалось тринадцать. Цейтнотом, столь частым в прошлом матче, и не пахло. Но Варвара Терентьевна теперь надеялась только на цейтнот и на относительную молодость Смыслова. Знатоки утверждали, что в эндшпиле Василий Васильевич считает безошибочно.

Жженье не то, чтобы прошло, но не мешало глядеть на доску.

Смыслов думал над ходом, и на его квадратных под огромной доской часах секундная стрелка прыгала как бешеная. Старыми дальноточными глазами Варвара Терентьевна следила уже не за доской, а за стрелкой, и, словно в такт стрелке, сердце колотилось в дрожащей груди.

Смыслов зачем-то двинул крайнюю ферзевую пешку. Ботвинник, погладив темя, забрал пешку, и дела белых стали вовсе плохи. Тогда Смыслов пошел ва-банк и стал меняться в центре. Чемпион с каждым ходом усиливался, но фигуры на доске редели, и партия уже катилась к ничьей. Это слово, сначала тихо, потом все громче и отчетливей, повторяли в партере; маленький, толстенький очкастый судья матча чех Опоченский нервно давил на своем столе кнопку, и транспорант «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ» замигал, как светофор в часы пик.

— Нет, не ничья, а дожмет,— сказал нервный медицинский генерал. Сегодня он был в штатском.

— Не говорите глупостей,— резко ответил старенький, бедно и ветхо одетый доктор Калашников. Он и на прошлом матче

говорил: «Доктор Калашников считает, что сейчас последует аш семь» или «доктор Калашников полагает, что тут ничего не произойдет».

— Однако давит,— послышалось откуда-то сзади, и действительно конь Ботвинника, как собака кошку, начал гонять по доске белого слона.

— Ничего, ничего. Сейчас пожмут руки,— сказал доктор Калашников.

Белая ладья, как хозяйка, вылезла из своего угла и напала на черного коня. И он ретировался, хотя свободно мог забрать еще одну белую пешку.

Бойтся, обрадовалась Варвара Терентьевна нерешительности Ботвинника.

— Ботинок бздо-бздо,— воскликнул школьник.

— Да, ничего тут не было, товарищи,— разгорячился медицинский генерал, он тоже сердился на своего кумира.

В партере замелькали маленькие карманные доски, поднялся шум, судья подошел к краю сцены и умоляюще замахал руками. Утихомирить публику не удалось, и партия, несмотря на грозные взоры Ботвинника, продолжалась при жужжании зала. Чемпион неодобрительно поворачивал голову к судье, но судья ничего не мог поделать.

Противники разменяли еще по паре пешек. Ботвинник дал зачем-то напоследок шах ладьей, и на огромной доске закачалась табличка «Партия отложена».

Смыслов остался на сцене записывать ход, а чемпион встал, подошел к судье, что-то ему сказал (похоже, снова пожаловался на шум в зале) и под жидкие аплодисменты ушел за кулисы.

Варвара Терентьевна мелким дрожащим почерком записала на программке позицию и, не дожидаясь, пока Смыслов оставит сцену, бочком вышла из зала. Она была недовольна претендентом. Все-таки он играл белыми и должен был выиграть. Она хотела, чтобы Смыслов победил при ее жизни.

Слишком много волнений. Это уже, Варвара, не для тебя, мысленно сказала она себе голосом своей матери, умершей в конце прошлого века.

В вестибюле ей снова стало нехорошо, и она присела на плюшевую скамеечку и, видимо, просидела на ней долго, потому что, когда она спустилась к выходу, на вешалке уже не осталось других пальто. Варвара Терентьевна, бормоча извинения, протянула гардиروبщице номерок, надела свою сплошь вытертую, еще нэповского времени котиковую шубку и забыла дать на чай.

Она словно куда-то провалилась, словно потеряла ощущение

ние времени и места. Ноги сами тащили ее от зала Чайковского к троллейбусной остановке, к передней площадке троллейбуса, к местам для детей и инвалидов. Она как будто забыла, куда едет, и, наверное, доехала бы до Курского, если бы ее не увидела знакомая из дома напротив и не вывела из троллейбуса.

— Что с вами? — спрашивала она Варвару Терентьевну, но та только неопределенно кивала и бормотала:

— Коля... Мама, Коля не виноват. Тетя, Коля не виноват. Знакомая довела старуху до самых дверей, но у Варвары Терентьевны не оказалось ключа, а искать его было бесполезно: у ветхой шубки не было карманов, а ридикюль, очевидно, старуха где-то посеяла.

Полина с недовольным видом открыла дверь, но, взглянув на Варвару Терентьевну, сразу поняла, что та не в себе — усадила ее на сундук, раздела и перенесла старуху на кушетку.

— Ничего, ничего... Сейчас Инга придет, — приговаривала Полина, но старуха поминала не Ингу, а какого-то Колю и сударя или государя.

Неужели помрет, с ужасом подумала Полина, хотя всю жизнь только и мечтала, чтобы эту вредную каргу прибрали черти. И где эта дура Инга шлендрает? Было уже начало двенадцатого.

— Кольенька! — истошно кричала старуха.

— Сейчас, сейчас, — отзывалась Полина.

«Кого это она зовет? Отца, что ли?» — недоумевала Полина, забывая, что отца старухи звали Терентий.

Но старуха звала да и скорей не звала, а просто вспоминала не родного брата Николеньку, а двоюродного Колю, которого уже семьдесят с лишком лет не было на свете. Тот Коля, чудной, прыщавый, некрасивый, казался ей, десятилетней девочке (а такой она себя сейчас ощущала), самым прекрасным человеком на земле. Каждый его приезд из Питера в Тихвин был для нее праздником, хотя взрослые сердились, что Колька в столице валяет дурака, и уж лучше бы пошел служить, раз связался Бог знает с кем, разгуливает в рваных, подвязанных бечевкой калошах, хозяйке за квартиру не платит, а на лекциях появляется реже, чем нигилист во храме.

Но тощенький (одни ребра!), Вареньке он казался удивительным и прекрасным, даже прыщи на его лице ей нравились, и голос у него был, как у трагического актера (тот самый голос, которым он выдал всю «Народную волю!»), и жидкие усишки казались Вареньке кавалергардскими. А про дурную, схваченную им в Питере болезнь, она, хоть и слышала, но ничего, естественно, не поняла.

Чтобы заинтересовать кузена, Варенька выучилась играть в эти смешные деревянные фигурки, и через семьдесят с лишком лет шахматы непостижимо соединились в памяти старухи с несчастным двоюродным братом, и нынче ей виделась плачущая мать и окаменевшая бедная тетка, мамаша террориста, и вся семья в день известия о Первом марта.

— Кончается, старая. Шарик за ролики зашли,— ворчала Полина, набирая в соседней комнате номер «Скорой».

— Черт, свалился на мою голову,— буркнул Курчев, когда они вышли с Ингой на Переяславку. К ночи мороз вернулся — весна отступила. Ледяной ветер, словно в отместку за стаявший за день снег, гулял по всей улице от Казанского вокзала до Рижского, и лейтенант обнял спутницу, стараясь заслонить ее.

— Нехорошо так, он твой друг,— шепнула Инга.

— Чтобы ему приехать, когда ты уходила.

— Мне он не очень понравился, но пусть поживет у тебя. А то мы совсем с ума сошли. Так нельзя. Нужна передышка...

— Что с тобой? — Курчев остановился посреди улицы.

— Ничего особенного. Просто мы зарвались. Не волнуйся. Все пройдет.

— А все-таки лучше бы он не приезжал. Когда ты рядом, все просто...

— Когда я рядом, ты ничего не делаешь. И я тоже. Так дальше нельзя. Тебе надо определяться, а мне писать диссертацию.

— А у меня в конюшне нельзя?

— При чем тут твоя конюшня? Мне твоя конюшня нравится. Просто сейчас лучше дома: душ и все такое...

— Угу.

— И не бойся. Никуда я не денусь. Но надо хоть иногда работать... А то все разлетится...

Ей хотелось объяснить лейтенанту, что за эти три дня она к нему ужасно привязалась, еще немного — и она забудет Алешу. Пусть лейтенант не обижается, что она не говорит ему, что его любит. Она ведь его уже почти любит. Еще немного — и она будет совсем его любить. Ведь вовсе не важно, как у них началось. Он ей уже почти родной и не только из-за того, что ей с ним хорошо. Ведь вот сейчас ей нельзя, а она все равно у него осталась бы, и если бы его беззубый приятель не разбудил их, они счастливо доспали бы до утра.

Только лейтенанту надо чем-нибудь заняться. Раз его демобилизовывают, ему прямой путь — в аспирантуру, а, значит,

нужно писать реферат. Не обязательно для Сеничкина. В Москве достаточно вузов. При его способностях реферат — максимум неделя работы. Нет, она знает, что он не лентяй. Просто сейчас для него все вращается вокруг нее. Но ведь он мужчина. А мужчине женщина не может заменить весь мир. А если так случается, потом женщине приходится жестоко расплачиваться за это.

Но все эти и десятки других соображений Инга вместила в короткое — «все разлетится», и Курчев вздрогнул и благодарно посмотрел на нее, словно услышал долгожданное признание в любви.

А ты еще мандражировал, дурило, сказал он себе.

Вчера, в понедельник, когда Инга ушла часа на четыре переодеться и заказывать книги в Иностранке, Курчев решил написать этот чертов реферат. Когда-то в институте на первом курсе он взялся прочесть доклад о досоциал-демократическом периоде русского рабочего движения. Вообще-то Курчеву хотелось заняться народолюбцами, но в те годы о них даже вскользь упоминать боялись.

В Тургеневке Курчев быстро раскопал статьи о главарях Северного русского рабочего союза — Халтурине и Обнорском, которых мысленно тут же окрестил Мининым и Пожарским. Но его больше заинтересовала заметка в одном из номеров «Каторги и ссылки» за 1924 год о деятеле того же союза Игнатии Бачине. В Якутии на поселении Бачин то ли из ревности, а может, из пролетарской ненависти задушил свою жену Елизавету Южакову, генеральскую дочь. А задушив ее, оставил в юрте их полуторагодовалую дочь, и та, рыдая, долго ползала по трупу матери.

Случай с Бачиным ошеломил первокурсника. Курчев как бы оглянулся вокруг себя и вдруг ощутил, что между интеллигентами и рабочими лежит нешуточная пропасть. Никакой интеллигент, даже задушив жену, не бросил бы в юрте ребенка. Какая-то в этих людях, которых давно окрестили гнилыми, есть стойкость (а может быть, даже слабость?!), но именно она не позволяет им опуститься. Наверное, эти их внутренние запреты больше всего и раздражают окружающих, мол, раз не хочешь замараться со всеми, значит, не свой. А раз не свой, стало быть, враг.

Наверное, поэтому, думал Курчев, рабочие, создав свой союз, не пускали в него интеллигентов. А возможно, еще и потому, что боялись: интеллигенты все в союзе перевернут по-своему... Да и сегодня тоже никакого доверия этой прослойке ни

вверху, ни внизу нет. И не изводят ее под корень лишь, наверное, потому, что иначе во всех наших бедах, недоделках и несовершенствах некого было бы винить. А так, пожалуйста, вот они, гнилые, ату их!..

Ничего себе гнилые, думал Курчев, вспоминая, что в конце прошлого века и в начале этого интеллигенты на допросах держались куда лучше рабочих. Опыт у них был, помогала традиция. Да и сломленный интеллигент уже как бы выпадал из интеллигенции. Рабочие же зачастую почти сразу во всем признавались и выдавали товарищей. Правда, Виктор Обнорский целый год отвечал следователям «сказать не желаю», но и тот после суда подал прошение на имя Лорис-Меликова, чего гнилые интеллигенты себе не могли позволить.

Что же до Степана Халтурина, личности, безусловно, незаурядной, то интеллигенты ничуть не виноваты; он сам, по своей воле, оставил мало что сделавший, скорее чисто символический Северный союз и занялся практическим бомбометанием.

Это уже был прямой выпад против «Краткого курса», и преподавательница тотчас прервала Курчева. Его счастье, что на доклад пришли всего три студентки, да и те слушали его без внимания, потому что, не теряя времени даром, передирали друг у друга конспекты по «Двум тактикам». Приди девчонок чуть больше, дело кончилось бы нешуточным скандалом — преподавательница стукнула бы в деканат, и Курчева, в лучшем варианте, выперли бы из института.

С тех пор он больше ни за какие доклады не брался, учился кое-как и по истории да и по другим дисциплинам не получал выше тройка.

И вот теперь, семь лет спустя, в мартовский понедельник, он решил снова засесть за Северный союз. Прежний доклад, правда, у него не сохранился. Курчев тогда отвез его к бабке в Серпухов, но через год бабка померла, дом продали, и тетка сожгла доклад вместе с барахлом, которое не удалось сбыть соседям. Впрочем, Курчев до сих пор помнил все цифры и даты, не говоря уже о фамилиях.

Поставив на стол машинку, он бодро отколошматил:

«Северный союз русских рабочих — организация и гибель».

Сейчас он решил, не упоминая о Бачине, написать об Обнорском. Обнорский все-таки нравился Курчеву. Он не лез в вожди, не завидовал образованным (сам жил за границей!), и мечты его, наверное, были такими же, как у Кузьмы Илларионовича, то есть тред-юнионистскими: белые перчатки, гимназия, извозчики. (Во всяком случае, так себе представлял Борис.)

Об Обнорском можно было написать, особенно о раскавав-

шемся Обнорском, выданным полицией другом и любовницей и ставшим «подаванцем» (так называли подавших прошение. От прошения Обнорского, кстати, не было никакого проку, потому что Александр II вскоре был убит, и Лорис-Меликова сместили). После приговора (10 лет каторги) Обнорский еще сорок лет топтал землю, искал золото по всей Восточной Сибири, работал на мельницах, в слесарных мастерских, но от революционной деятельности решительно отошел. «О чем он думал все эти сорок лет?» — вот что занимало Бориса.

— Бачин задушил Южакову. Она наверняка его не любила, — сказал вслух Борис, мрачно глядя на заголовок будущего реферата, высывавшегося из малявки. — Инга меня тоже не любит. Я ей, как водка, поэтому нам в темноте проще, чем на свету.

«Ну, хорошо, — начал он печатать. — Я напишу эту работу. — Каретка побежала влево, звякнул звонок, и Курчев передвинул рычаг. — И между строчек докажу, что рабочими владел комплекс неполноценности. Чего, казалось бы, хорошего в комплексе? Но он приводил в восторг интеллигенцию. Прямо-таки мазохизм какой-то!.. Совершенно непостижимая любовь к необразованным. Культ необразованности! Даже Толстой поклонялся темным, правда, не от станка, от сохи. Почему-то испокон века по сию пору считается, что наука развращает, что она хуже водки. Если ты не доучился и пошел в цех околачивать груши или забивать козла, то ты пуп земли, все насквозь видишь и на тебя надо равняться всем книгочечям. А если ты корпел десять классов и еще пять курсов, чему-то все же выучился и что-то все ж таки сечешь-понимаешь, то ты уже гнилой и обязан слушать тех, кто науки не осилил.

Предположим, каким-нибудь эзоповским Макаром я все это сумею выразить и на кафедре — не у Алешки, а в другом вузе — вымарают самое главное и (десять шансов из ста!) сочтут меня годным к аспирантуре. И всю жизнь я буду писать одно, но так, чтобы между строк выступало другое, а это, другое, будут вымарывать. Я стану городским идиотом или дурачком от истории. Писать то, что всем известно, апробировано, я не могу. Мне, как уленшигелевскому ослу, нужно, чтобы меня манил репейник. Нужно что-то, ради чего можно усадить себя за стол. История — не стихи и не проза, но и тут без личного, сокровенного интереса нельзя...

Или еще проще, — начал печатать он с нового абзаца. — История — тоже деятельность. А всякая деятельность в конечном счете имеет одну цель — власть. Все стремятся к власти, но только к разным ее формам. Есенин писал кабацкие стихи, кри-

чал, что ему на все начхать — и это тоже была жажда власти, и за Есениным пошли есенинцы.

И я, когда хочу написать что-то особое, не такое, как другие, я тоже — чего скрывать и наводить тень на плетень? — хочу, чтобы меня считали особенным, не таким, как все. И если произвести еще несколько логических выкладок, станет видно, что опять же речь идет о той же власти. И я, и тот парень, который вылезает с гитарой на крыльцо петь блатные песни, сходны меж собой. Предположим, я не рассчитываю на восторги, а засуну работу в чемодан, как скупой рыцарь свои дукаты в сундук. Ему достаточно одной мысли, что в любой день он может вытащить на свет Божий свои сокровища, и все падут ниц. (Хотя, конечно, и гитарист, и я, да и скупой рыцарь, мы просто любим эту работу — брэнчать на гитаре, складывать слова или копить дукаты.)

У меня в развалюхе две ночи спит женщина, которая пришла к мужчине не оттого, что его полюбила, а, наоборот, оттого, что не любит. И это не достоевщина. Весь фокус тут, что это не вымысел — реальность. Любит одного, а спит с другим. Мужчина, которого она любит, спит или пытается спать с нелюбимой женой, а та, в свою очередь, спит с командиром моего полка. И путаница эта не ради путаницы, а потому, что ни у кого нет сил навести порядок. «Все смешалось в доме Облонских».

Почему красивая, тонкая женщина так несчастна? Вот о чем надо писать, и это в тыщу раз нужнее Северного союза. Правда, с такой работой не зачислят на стипендию, зато через пятьдесят, тридцать или сто тридцать лет она будет важнее любого романа. Пойди поизучай-ка жизнь по «Анне Карениной»! Все недоказуемо. Скажут, вымысел. А если просто описать обстановку, факты, мою конюшню, тонкое армейское одеяло, под которым мы откровенничаем и без которого молчим — это все потом даст историку в тыщу раз больше, чем высокопарная Алешкина стряпня.

Почему Инга несчастна?

Одна женщина когда-то мне сказала: «В жизни я совершила два промаха. В первый раз вышла замуж за человека, не зная, какой он мужчина. Второй раз вышла замуж за мужчину, не зная, что он за человек».

— Это вроде не отсюда! — спохватился Курчев и, закрыв машинку, стал писать в тетради. Он не хотел, чтобы Инга прочла то, что он настроил — его почерк она не разбирала.

«Между мужчиной и человеком есть разница, и в разные столетия она была не одинаковой. А вот какова эта разница в

середине века в нашей отдельно взятой стране? И что нынче входит в понятие человек, а что — в мужчину? Карьера, удача, богатство — что это? — человеческое или мужское? И я для Инги как мужчина — гожусь, а как человек — пария? Будущего у меня нет. Еще спасибо за эту халабуду, а то замерзай в общежитии, устраивайся на завод или отправляйся в Тьмутаракань толкать школьникам абортированную историю. Вот о чем надо писать...»

...И вот сейчас на просвищенной голым мартовским холодом Переяславке Ингино «все разлетится» застало его врасплох. Курчев держал Ингу под руку, но был далеко от нее — в своей никудышной жизни.

Хорошо и беззаботно ходить во временных хахалях. Ночь прошла, и ладно. Главное, не ной о любви, не позволяй, чтобы тебя жалели. В такой игре свои подвохи и сложности, но здесь ты отвечаешь сам за себя.

Но если любимая женщина полюбит, надо быть последним идиотом, чтобы не оставить ее у себя на веки вечные. Тут уж нечего ссылаться на то, что не можешь писать так, как пишут все, что ты особенный... Это, пока ты один, можешь жить хоть на рубль в день, топтать рваными сапогами асфальт и презирать всех, кто живет иначе.

Любимая женщина — это реальность, объективная и до чертиков конкретная. Женщина не может ждать и не обязана из-за каких-то твоих особенных счетов с эпохой ходить в бумажных чулках, есть хлеб с маргарином и вообще жить собачьей жизнью городской сумасшедшей. У нее короткий век. Она не думает о бессмертии. Ее бессмертие в ежеминутном, и будь добр подай ей нечто человеческое немедленно!..

— Надеюсь, не будешь ждать? — сказала Инга, когда они подошли к ее подъезду.— До завтра. Только рано утром не звони — отосплюсь.— Она наскоро поцеловала Курчева в губы.

Странно... подумала она, взбегая по лестнице. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с какой-то другой незнакомой женщиной. Тело, несмотря на усталость и недосып, было легким и будто само собой взлетало на третий этаж. Нет, с этого чумичелы станется: до утра простоит,— подумала она и, спустившись на полмарша, посмотрела в окошко лестничной клетки. Лейтенанта под фонарем не было.

«Скорая» не торопилась, а старуха кричала, как новорожденная, которой не дают груди.

«Где это Инга запропала? — злилась Полина. — Что мне, больше ее надо? Уйду, и все. Эти гуляют по горам, дочка кому-то отпугивает, а мне отдувайся».

— Да не кричи ты, не кричи! — цыкнула из коридора на Варвару Терентьевну, зная, что та сейчас ничего не слышит.

— Позвоню-ка Ингушкиному козлу, — решила Полина и схватила толстую телефонную книгу. — Как его там? Злющая, помню, фамилия — Крапивников, что ли?

— Слушаю, — сказал Георгий Ильич. — Как же, как же! Отлично помню: Полина! Ну, не волнуйтесь, Инга где-нибудь задержалась. Сейчас обзвоню товарищей, и они ее отыщут. Детское время — без четверти двенадцать. Не волнуйтесь, сейчас ее доставим.

Он повесил трубку, радуясь, что так легко выкрутился. Конечно, старуха помрет. Ее страшный крик был слышен даже в трубке. Неплохая старуха. Весьма колоритная. Жаль, что помрет. Но что поделаешь? Завтра отходит поезд и, если сейчас помчаться к Рысаковым, можно расчувствоваться и, чего доброго, сдать билет. Один день еще бы черт с ним. Но похоронить человека у нас не так-то просто: куча справок, формальностей. «Нет-нет, как-нибудь другим разом», — пошутил Георгий Ильич и набрал номер Бороздыки.

— Слушай, Ига. Тут такая неприятность. Понимаешь, Ингина тетка умирает. Перейди через дорогу, взгляни. Понимаешь, там одни женщины. (Крапивников нарочно не сказал, что Инги нету дома, чтобы не пугать Игоря Александровича.) Естественно, боятся: смерть. Сходи, пожалуйста. Правда, живой ты ее, наверное, не застанешь. Я слышал сейчас старухин крик. Больше четверти часа ей не продержаться. Ну, молодец. А то, понимаешь, если я пойду, мне завтра не уехать: похороны и все такое. Не сердись. Отслужу. До свидания... Лобзаю.

Подкинуть ему, что ли, товарища прокурора? Легко уговорив Бороздыку, Георгий Ильич вдохновился и позвонил Сеничкину. Того тоже уламывать не пришлось. И, выдернув вилку телефона и приняв на всякий случай снотворное, Крапивников уснул тяжелым сном недовольного собой человека.

Алексей Васильевич уже три дня упорно названивал Инге.

— Нет. Нету. Не знаю, — сердито отвечала старуха.

Нет, она не у Борьки. Чепуха это, прикидывал доцент. Просто не хочет подходить к телефону. Должно быть, Ига донес, что

Марьянка уходила, а я кинулся мириться. И дернула меня не легкая откровенничать с этим треплом!

Алексей Васильевич не был ревнив, потому что просто не мог поверить, что женщина, которая ему нравится, может предпочесть ему кого-то другого, тем более никудышного Борьку.

И на звонок Крапивникова он откликнулся с готовностью.

Жорка в совершенстве владеет спихотехникой, думал Сеничкин, сбегая по лестнице и застегивая на ходу пальто. Марьяна еще не вернулась из загорода, родители спали, Надька, травмированная недавним абортom, безвылазно лежала в своей светелке.

Ему повезло: на стоянке сиротливо жались три сереньких «Победы». Доцент забрался в переднюю и на Спасской нагнал Бороздыку, который, выворачивая ноги, уныло плелся в Докучаев.

— Стоп, шеф.— Сеничкин сунул водителю червонец и выскочил из машины прямо перед оторопевшим Игорем Александровичем.

Они вошли в подъезд, где Алексей Васильевич никогда не был, поднялись по обшарпанной лестнице на третий этаж. Бороздыка привычно, словно он тут жил, крутанул звонок.

— Наконец-то! — сказали за дверью. Им открыла толстая женщина с когда-то, по-видимому, кукольным, а сейчас обрюзглым лицом. Она была в черном, тесном, облегавшем бока и груди халате, и показалась Сеничкину нестерпимо вульгарной.

— Ну как? — подпустив торжественности в голос, спросил Бороздыка.

— Никак. Только-только затихла. «Скорая» сделала укол и велела утром звать районного. А если чего, звонить в милицию... — ответила Полина.

— Ну, конечно, — вздохнул Бороздыка. — Что им человек?

— Им люди — тьфу. Хорошо хоть вы пришли. А то я тут одна — ни отойти, ничего... И страшно ведь, кричала, как резаная.

— А Инга где? — спросили в один голос мужчины.

— Шлендрает. Три ночи не ночевала. Тетка концы отдает, а эта хвост трубой. Погодите, взгляну, вдруг отошла...

— Положеньице, однако, — заметил Бороздыка, радуясь, что может позлить Сеничкина.

— Но Инга ведь не знает, — раздраженно ответил Сеничкин. Знай он, что Инги нет дома, он бы никогда не поддался на уговоры Крапивникова.

— Ингу зовет. Где ее возьмешь? — сказала, возвращаясь, Полина. — Может, зайдете?

— Пойдемте, сэр...— напыжившись, сказал Игорь Александрович.— Это смерть. Вам тоже взглянуть не помешает.

Старуха лежала на узкой тахте, глубоко уйдя в подушку, отчего чахлая подушка казалась огромным ночным чепчиком. Бороздыка, прежде видевший старуху только язвительной и бодрой, подумал, что она уже умерла. Но старуха сверкнула глазками и выдохнула:

— А, мое почтение...— Видимо, имя и отчество «стрекулиста» она все-таки забыла, но голос ее звучал с прежней насмешливостью.— А молодого человека не имею чести...— выговорила она четко, но головы не повернула.

— Я у вас не бывал,— смешался Синичкин.— Мне позволили...

— Ничего... Вы успели... Только зря беспокоились. Мне бы внучку...

— Придет. Она сейчас придет,— уговаривала старуху, как маленькую, Полина.— Вы бы поспали.

— Сейчас усну. Не торопите... Инге передайте, чтоб не терзалась. И Тошку с Танькой не вызывайте. Ничего этого не надо. Сразу в крематорий...— сказала старуха: видимо, она все давно обдумала.

— Хорошо,— еле слышно ответил Бороздыка.

Он подошел ближе всех к тахте. Хотя старуха его недолюбливала, но это было давным-давно, а сейчас наступил высокий час смерти старой бестужевки, русской интеллигентки. И ему было приятно, что он, отверженный, загнанный, а вот причастен к этой смерти, не боится ее, а блестящий доцент жметя к дверям и чувствует себя, как набедокуривший первоклашка в учительской.

«Они накипь. России они чужие,— думал Игорь Александрович о доценте и его компании.— Зря я на него убил неделю. Он боится смерти, а стало быть, и жизни».

— Хорошо, Варвара Терентьевна,— значительно сказал он, играя своим звучным голосом.

— Ингу... Ингу успокойте... Александрович...— с трудом выговорила старуха: она вспомнила лишь его отчество, но Бороздыке казалось, что последний час примирил умирающую с ним, и она назвала его по-простому, как крестьянка. Он гордо повернул голову и посмотрел на притулившегося у двери доцента. Тот, похоже, ощущал свою никчемность, потому что лицо у него казалось опрокинутым, и он подобострастно улыбался Бороздыке, будто просил у него подсказки.

То-то... Игорь Александрович удовлетворенно вскинул птичью головку. Но тут старуха вскрикнула, посерела, передер-

нулась, голова с редкими, будто подсиненными волосами подпрыгнула на подушке.

— Мама... Коля... Коленька... Сударь...— гортанно закричала она, и Бороздыка догадался, что старуха провалилась в прошлое, ничего вокруг не видит, ни его, Игоря Александровича, ни тем более доцента. И вдруг, словно та самая бомба, которая перевернула царскую карету и убила казака и возницу, взорвалась в ее чахлой ребристой груди, старуха уронила голову на смятую подушку, челюсть у нее отвисла, и острые глаза потускнели.

— Отходит,— шепнула Полина.

— Прекрасная смерть,— дрожащими губами выговорил Игорь Александрович, хотя ничего прекрасного в лице старой женщины не было.

— Наверное, нужен укол...— пролепетал доцент.

Полина и Бороздыка неодобрительно повернулись к нему; он вспыхнул и вышел в коридор.

— Где ты их берешь? — спросил Гришка, когда Курчев, просвистанный ветром, весь в раздраге от мыслей о будущей жизни, ввалился в конюшню.

— Сами приходят. Да выключи ты эту бодягу! — рассердился он и хлопнул крышкой патефона.

В ожидании хозяина гость без конца ставил Ингину пластинку и сейчас в такт надрывному мужскому пенью дирижировал вилкой с насаженным на нее куском любительской колбасы.

— А чего тогда держишь? Хреново гостей встречаешь.

— Ничего не хреново,— мрачно сказал Курчев, открыл шкаф и достал две чистых простыни и наволочку.— На вот, располагайся.

Он стащил с тахты свое белье и полосатый армейский матрас, оставив гостю подушку и синее одеяло.

— Стол освободи.

— Вместе поместились бы,— робко хмыкнул Гришка, перекладывая газету с едой на одеяло.

— С тобой нет,— сказал Курчев и толкнул стол в угол. Расставив крышку, он покрыл стол матрасом, бросил на него шинель.

— Может, отметим? — Гришка кивнул на непечатую бутылку петровской.

— Завтра. Поздно уже.

— А ты везунок,— сказал Гришка, развязывая галстук.— И чего они к тебе липнут? Рыло у тебя не больно, да и ухажер ты тот еще.

— А я не бегаю за ними,— сказал Курчев, влезая на стол.— Свет гасить?

— Сейчас. Чудно у тебя тут. Как в больнице. Других обоев не нашел?

— Были. Вальке Карпенко отдал.

— Ух ты! Приходила?

— Ага. Эти поклеила, а другие забрала. У Севки Забродина, говорит, ремонт будет.

— И ты ее отпустил? Олух. Да она, ставлю три сотни против червонца — за инженера не пойдет. Она по тебе сохнет. Или с ним за обоями приходила?

Курчев не ответил, погасил свет и накрылся шинелью.

— Дурень ты, Борька,— продолжал в темноте Новосельнов.— Эта, что сейчас ушла, высший класс, не спорю. Но она, парень, не для тебя. Побалуется с тобой и айда — за кого-нибудь своего выскочит. А тебе надо...

— Да заткнись ты, а не то подушку заберу,— прикрикнул на него Курчев.— А впрочем, хрен с тобой! Выпьем.

«Все равно не уснуть. Провалюсь только без толку. А так надеремся, просплю до двенадцати и позвоню Инге»,— подумал Борис, разливая на табурете водку.

— Давно бы так. А то строишь из себя девочку,— сказал Новосельнов.

Инга, обрадовавшись, что лейтенант не ждет ее под фонарем, вошла в квартиру и растерялась: в прихожей горел свет, дверь в ее комнату была прикрыта, а в родительскую распахнута; на сундуке лежали два пальто — рваное Бороздыки и спортивное Сеничкина.

«Почему он здесь?.. Или мне это мерещится?» — растерялась Инга, пристраивая оба пальто на вешалке.

В коридор, зевая, вышла Полина:

— Хоть в милицию второй раз звони. Пусть сыщут! — сказала она.— Это ты? — испуганно, как на привидение уставившись на Ингу.— Ой, девка, дура ты моя! — Полина обняла ее, неприятно пачкая Ингину щеку слезами и помадой.— Дура... Где ходила?.. Тетка-то померла. Погоди, не иди сразу,— она снова обняла пытавшуюся вырваться Ингу.

— Действительно, подождите,— тихо сказал Сеничкин. Он вышел в коридор и стал расстегивать Ингину выворотку.

Инга покорно села на сундук, опустила голову, злобно уставилась на выглянувшего из большой комнаты Бороздыку: «А этому что надо? Как ворон... Ворон...» — чуть не сказала

вслух. О смерти Вавы она старалась не думать; просто в ней накопились усталость, растерянность, недовольство собой, все это надо было немедленно выплеснуть, и Игорь Александрович явился прямо как по заказу.

— Ворон... Все унюхает,— шептала Инга, постукивая туфель по кованому сундуку. Бороздыка был ей так же омерзителен, как она сама.

«Надо встать, пройти в комнату. Позвонить по 06, дать телеграмму в Кисловодск. Надо «Скорую», нет уже не «Скорую», а что..? — морг, кажется... — крутилось у нее в мозгу. — А вдруг Вава не умерла?» — подумала Инга, и тут уже стала и вовсе ненавистна себе. Ее снова охватил тот стыдный, ужасный испуг, который не раз овладевал ею и раньше, и, наверно, еще чаще, чем ею, ее мать, Татьяной Федоровной. Она испугалась, что Вава умрет не сразу, а будет долго болеть или еще того хуже, с ней случится паралич, и тогда жизнь превратится в бесконечный кошмар.

— Ты только самую малость не поспела, на полчаса,— успокаивала Полина, не снимая рук с Ингиных плеч.

— Даже меньше,— сказал Бороздыка, который все еще ощущал себя причастным к этой высокой смерти.

— В сознании умерла,— бормотала Полина.

— Да, прекрасная смерть,— не замечая Ингиных злобных взглядов, повторял Игорь Александрович.— Всех вспомнила. Даже Освободителя и бомбометателя.

— Что за чепуха?! — Инга вскочила с сундука, пошла к двери.

— Да не ходи ты, испугаешься. Дай хоть глаза ей прикрою.

Сеничкин твердо и ласково держал Ингу под руку, пока круглая Полина ловко пролезала в чуть приоткрытую дверь и щелкала выключателем. Через минуту она позвала их.

Вава лежала, скрючившись, на тахте. Одна туфля валялась на полу. Рядом с ней сверкало Полинино зеркало.

— Я проверила. Чистое.— Полина подняла зеркало, видимо, не столько дорожа им, сколько опасаясь, чтобы оно не разбилось и не принесло новой беды.

— Прекрасная смерть,— повторил Бороздыка.— Велела не вызывать ваших родителей и хоронить в крематории.

Инга вздрогнула — она боялась мертвой и поэтому радовалась, что Сеничкин так крепко держит ее.

— Она просила, чтобы вы не расстраивались,— шепнул Сеничкин.— Все было очень быстро.

Инга чувствовала, что вот-вот заплачет, но слезы застряли и не выталкивались.

— Отпустите меня,— попросила она Сеничкина и высвободила свою руку.— Я сейчас...— она опустилась на край тахты, понимая, что должна дотронуться до мертвой, но она все еще боялась Ваву. Это была первая смерть в ее жизни, и она ничего еще не чувствовала, кроме ужаса и еще опустошенности от того, что вечный, затаенный страх перед Вавиным параличом уже никогда не посетит их семью.

«Бедная,— вдруг подумала о тетке.— Бедная. Никому никогда не была нужна. И мне тоже. Только меня мучила. А вот не захотела быть лишней. И даже умерла, когда меня не было...» — И вдруг теплое чувство благодарности к Ваве разлилось по телу, подтолкнуло застрявшее где-то у переносицы слезы, и Инга уже без страха прижалась к мертвой старухе и облегченно зарыдала.

— Бедная,— повторяла она спустя два часа в большой комнате. Бороздыка ушел, но Сеничкин остался в кресле ожидать утра и санитаров из морга.— Бедная,— повторила Инга, кутаясь в серый шерстяной платок.— Георгий Ильич, великий защитник женщин, декламировал: «А в детстве женщин мучат тети...» Так вот она меня не мучала. Ну, разве что чуть-чуть... А вообще старалась занять как можно меньше места, не наступить по неосторожности на любимую мозоль,— с легкостью, как всегда в таких случаях, обманывала свою память Инга.— Вам, наверное, скучно? Идите, Алеша, домой...

— Нет, не скучно. И никуда я не пойду,— в который раз повторил Сеничкин, стараясь намекнуть, что дома его никто не ждет и с Марьяной у него все кончено...

— Я лягу. И ты бы легла,— сказала Полина, входя уже с замотанной головой в большую комнату.— Вон человека замучаешь.

— Ничего. Я бы все равно не уснул,— откликнулся Сеничкин.

— Разбудишь, когда придут. Хотя и так услышу,— пробормотала Полина и вышла.

В квартире и, казалось, на всей земле стало необычайно тихо, словно все кругом замерло и только прислушивались к Ингиному монологу. Смерть и наступившая вслед за ней тишина обостряли ощущения, и Сеничкин, сам себе удивляясь, оглядывал комнату, все в ней подмечал и, казалось, понимал людей, которые тут жили. Он смотрел на Ингу, забравшуюся с ногами на тахту, и она была ему близка, как никогда, несмотря на то, что она три дня не ночевала дома; ему казалось, что про

нее он знает все, хотя сейчас она без остановки говорила про старуху, о которой, собственно, говорить было уже поздно. Сеничкин понимал, что она так много говорит о покойнице, потому что не хочет сказать, у кого она была трое суток. Ей надо выговориться, но так, чтобы ни в чем не признаться. Он видел, что кроме обычной зябкости в Инге сейчас еще какая-то раздранность, словно она огорчена не только смертью тетки, а и самой собой. Может быть, ей чудится в ее опоздании какой-то рок... Так всегда бывает, если делаешь что-то не то, а потом гложет раскаяние.

Сеничкину хотелось успокоить Ингу, может даже сесть рядом с ней, обнять за плечи, но он боялся показаться бестактным — и не только потому, что в соседней комнате лежала покойница: Инге надо было отойти от этих трех непонятных, сумасбродных дней. И Сеничкин оставался в кресле.

— Можно вас? — Полина снова приоткрыла дверь. Он прошел в маленькую комнату — старуху уже прикрыли простыней.

— Раму подтолкните. Не свалитесь только.

Первая рама, несмотря на кучу ваты, засунутой в щели, открылась сразу, но наружная то ли примерзла, то ли отсырела. Сеничкин уже начинал злиться, но тут вдруг рама взвизгнула, сдвинулась и распахнулась в серую, теперь уже безветренную ночь, где чернели лишь крыши сараев.

— Накиньте, — сказал Сеничкин, вернувшись в комнату с ее вывороткой.

— Вы... Мне тепло, — сказала Инга, кутаясь в платок.

«Что со мной? Схожу с ума? Как же так?.. Я непорядочная женщина?.. И с Вавой вела себя непорядочно и с собой, — думала Инга, чувствуя, что еще немного и она забьется в истерике. — Что я натворила с собой, с лейтенантом и не сегодня, так завтра натворю с Алешей?! Что мне делать? Живи Вава, она бы меня стерла в порошок».

Но ведь что-то делать надо...

— Накиньте, я вас очень прошу, — сказала она Сеничкину, оторвавшись от своих мыслей.

Он послушно накрылся вывороткой, но при этом все равно остался элегантным — казалось, москвошвеевская шубейка переняла покрой его английского пиджака.

«Надо что-то решать, — думала Инга. — Но что? Чего ты сама хочешь? — терзала она себя. — Ничего не хочу. Ничего не хочу, но придется лейтенанту написать письмо. Что-нибудь хотя бы внешне убедительное. Только бы он понял, что не надо сюда

звонить. Пока не надо. Несчастный парень... Очень хороший, но ужасно невезучий... Господи, неужели я такая дрянь?! Придется написать как-нибудь не резко, не обидно, но все-таки достаточно твердо, потому что нет сил отвечать на его бесчисленные «почему»... А вдруг никаких «почему» не будет. Он ведь порядочный человек, не то, что ты...»

За окном постепенно прорезывалось сизое мартовское утро, и Инга нетерпеливо ждала: вот сейчас можно будет загасить лампу, а потом явится врачиха, установит смерть, санитары на носилках унесут Ваву. Начнется спасительная беготня за справками, они купят гроб, закажут автобус; если вдруг повезет, кремацию назначат на послезавтра... А дальше зачем думать... Ни о чем не надо думать... Все это так ужасно, но ведь приход Алеши как судьба... И куда от этого денешься? Надо лишь, чтобы прошли три дня, ее срок, и заслонили собой те три дня на Переяславке в комнате с потолочными обоями. Но все это так ужасно...

Часть четвертая

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Кто куда

— А ну, спляши: письмо тебе! — Гришка толкнул Курчева. Борис поднял голову. В комнате, несмотря на газеты, было совсем светло.

— А черт! — Он провел ладонью по глазам, смахивая остатки сна.

Курчеву снилось, что его берут в историческую редакцию военного издательства. Заведующий редакцией полковник Филимонов узнает Курчева и напоминает ему, как тот четыре года назад в порядке пробной работы отредактировал рукопись самого полковника и написал на нее погромное заключение. И как полковник Филимонов (он предусмотрительно вынул из рукописи первый лист) с ехидством выслушивал Курчева. Тогда Курчева, разумеется, отшили, сославшись на его молодость и малый опыт.

Теперь во сне полковник Филимонов был приветлив и даже извинился перед Курчевым: мол, надо было предупредить его, что это была его собственная рукопись.

— Я видел на нее рецензию в журнале, — сказал во сне Курчев, который в училище читал все подряд.

— Ну, что ж, Борис Кузьмич, — улыбнулся во сне полковник. — Нет худа без добра. Я учел ваши замечания, а вы послужили в армии, и теперь опыта у вас хоть отбавляй. С удовольствием вас возьмем. Зайдите наискосок от лестницы в 319-ю комнату к начальнику кадров.

И вот Борис шествует в 319-ю комнату, но на ней почему-то вместо трех цифр два нуля. Он этому ничуть не удивляется, открывает дверь, видит кафельный пол, ящички с песком, но все равно обращается к какому-то штатскому, сидящему за колченогим конторским столом.

— Ясенько, — говорит штатский. — Значит, Курчев Борис Кузьмич. 1928 года. Русский. Город Москва.

— Москва, — кивает Борис, даже во сне радуясь, что отец записал его в столичном загсе, а не в заштатном Серпухове.

— Ну что ж, все годится, — говорит штатский и переходит

на «ты». — Давай, Курчев, партбилет и являйся завтра к десяти.

И тут оказывается, что у Курчева нет ни партбилета, ни даже комсомольского, потому что, демобилизовавшись, он оставил его в полку.

Письмо было без марки, в белом конверте. Адреса не было, только наискосок накарябано: «Лийтинанту» — через два «и».

— В дверях торчало. Соседка, наверно, из ящика вытащила, — сказал Новосельнов.

Письмо было от Инги; утром она упросила Полину снести записку на Переяславку: «Последний дом слева перед поворотом троллейбуса, а как войдешь в подворотню — дверь налево, крылечко разрушено и мелом на ветоши выведена четверка...» Полина в булочной вместо сдачи взяла конверт и, выпросив у кассирши ручку, набрызгала: «Лийтинанту».

«Борис! — прочел Курчев и вспомнил, что так Инга его называет второй раз и лишь на бумаге: здесь, в комнате, и раньше она как-то обходилась без имени. — У меня беда: умерла тетка. Она меня ждала, а я у тебя о ней забыла. Если бы не приехал твой товарищ, я бы, наверно, ее и мертвой не увидела... — Почерк был быстрый, некоторые слова не дописаны. — Не звони мне сейчас. Я в отчаянье, не знаю, что делать. Надо вызвать родителей, но она перед смертью просила их не тревожить. Я даже с ней не простилась... Теперь вся в замоте: похороны, справки... Ты мне не звони. Я потом сама тебе напишу или приду... (Слово «приду» было зачеркнуто и сверху написано снова)... и мы поговорим. Сейчас я просто разрываюсь. Извини. Я, наверное, все-таки вызову родителей либо поеду к ним. Это последняя родственница отца. Извини, я не в себе. Инга».

— Ну? — спросил Новосельнов.

— Что «ну»? — Курчев слез со стола, оделся. — Раскладушку сходи купи. Потом себе заберешь. А то на столе спят одни покойники. И еще вот что: отнимай у меня пятиалтынные. Увидишь: лезу в автомат, руки мне скручивай, и хрясть по морде.

— Будет сделано, — грустно кивнул Гришка. — Пуганул я ее?

— Нет, не то... — отмахнулся Курчев, напяливая шинель. — На вот тебе на рубль. — Он отсчитал семь пятиалтынных. — А эти три мне для другого нужны.

Но, перейдя улицу, он все-таки набрал Ингин номер и, оцепенев, слушал длинные, пронзительные, раздирающие душу гудки. Досчитав до семнадцати (потому что сегодня было сем-

надцатое, а, значит, они знакомы ровно четыре недели, Курчев выслушал еще три гудка, довел счет до двадцати четырех — Ингиного возраста — и с такой силой рванул рычаг, что из окошечка выскочили четыре монетки.

— Когда не надо... — разозлился Борис и позвонил Сеничкиным.

— Але,— раздался тонкий голос домработницы Проськи.— Это Боря? А Алексей Васильевич, Боря, не ночевали. Ольга Витальевна говорили, он у тебя.

— Счастливо,— буркнул Курчев и снова рванул рычаг. Ничего не выскочило.

Еще был этот... Бороздыка, вспомнил Борис, и набрал телефон, по которому ни разу не звонил, но который почему-то застрял в его хищной памяти.

— Спит, кажется,— ответил женский голос.— Сейчас постучу.

— Да. Это кто? — зевая спросил Игорь Александрович.— А, лейтенант! Здравия желаю или как там у вас приветствуют. Извините, я еще во власти Морфея. Ночь не спал. Тут напротив — переполох. У моей знакомой преставилась тетка, и мы с вашим братцем всю ночь не спали. Или вы в курсе? — судя по голосу Бороздыка вполне проснулся.

— Откуда?

— Так ведь это Ингина тетка умерла.

— А...

— Понимаете, старая женщина, друзей не осталось,— продолжал Бороздыка.— Некому гроб нести. Я и доцент, больше никого. Поможете? Давайте телефон. Я вам звякну, когда приходите.

— Нет у меня телефона.— Курчев чуть не рассмеялся его потугам.— Эту тетку я знать не знал, в глаза не видел, так что уж без меня...

— Нехорошо разговариваете, офицер. Смерть все-таки. Я вам говорил, что в вас не развито мистическое начало, а от этого и нравственное хромает.

— Что ж, может, вы и правы. Только всех не перехоронишь,— сгрубил Бороздыке Борис.— Я вам насчет моего реферата звоню. Он у вас?

— Нет. Я вернул его Жорке. Узнайте у него. Хотя он уже отбыл симферопольским скорым. Придется подождать. Позвоните мне, когда будете в настроении.

— Спасибо.— Курчев повесил трубку.— «Как же, дождешься!» — подумал он.

Улицы была пустой. У будки никого не было.

«И какого хрена я писал наверх? Служил бы себе темно в полку, не высывался. А теперь...— он хотел выдохнуть что-нибудь матерно-длинное.— Не для тебя это... И все не для тебя. Тебе, как яблоко,— надкусить дали... В перерыве. На перемене. А навсегда все — доцентам. Как там — «чтоб стать достойным доцента...»? И чего-то еще... Кого-то плодить. Нищих, что ли? Нет, не то... Инга — доценту. Валька — инженеру, а тебе — темно служи. Ну, и буду служить».

Тут он вспомнил, что мог еще в пятницу позвонить Ращупкину в полк, узнать, как с демобилизацией. Но то ли подсознательно забыл, то ли закрутился и не вспомнил. Теперь он набрал номер майора Поликанова.

— Здравия желаю, Курчев беспокоит,— сказал Борис, надеясь, вдруг отказано и тогда он оставит Гришке ключ, уедет к Ращупкину, отменит отпуск и гори все пропадом, начнет пить с офицерами, Федькой, которого он бросил в этой сволочной особой части, а ведь с того станется намылить ремень...

— Приветствую вас, Курчев. Приветствую и поздравляю: приказ подписан, бумаги ушли к Затирухину.

— Слушаюсь,— некстати брякнул Борис: и тут не пофартило.

— У-у-у,— всхлипывали частые гудки. Борис рванул рычаг, желая сломать аппарат, но тот, как видно, видал и не таких нервных, потому что не сломался, а отвалил ему еще три пятиалтынных.

Стукнув в сердцах дверь будки, Борис вошел в магазин и, приложив к пятнадцатикопеечным несколько смятых бумажек, купил бутылку водки и сигарет. Все-таки надо было отметить демобилизацию.

— Алеша, вам нужно выспаться,— сказала Инга.

Было одиннадцать вечера, они не расставались почти сутки. Покойницу увезли в восьмом часу утра, потом они ездили в загс, в морг на Пироговку, в похоронную контору на Смоленскую, где Алеше удалось уломать хамоватую бабу втиснуть Варвару Терентьевну куда-нибудь на завтра, и та записала автобус в морг на 17 часов, а кремацию на шесть с четвертью. Обедали они уже вечером в какой-то заштатной столовке, считавшейся после семи чем-то вроде кафе, но кормежка там была такая же отвратительная, как днем. Пить перед похоронами Сеничкин не считал возможным, к тому же денег было в обрез, а в крематории придется совать червонцы направо и налево и еще надо будет дать грузчикам.

Он проводил Ингу домой и поднялся с ней в квартиру. Он видел, что Инга валится с ног, и был в нерешительности. Домой идти не хотелось: отец с мамашей начнут приставать с расспросами. Не дай Бог, еще Марьяшка вернулась... Но завтра у него две лекции, и ему необходимо выспаться. Лучше всего было бы остаться у Инги. Раз тетку еще не похоронили, он мог бы лечь в другой комнате. Сложность была не в этом. Он вторые сутки не менял сорочку и чувствовал, что завтра будет выглядеть весьма средне, а ему, как представителю элиты, следует держать фасон перед студентами.

Вот если бы Инга предложила ему постирать рубаху (а задно и носки), он бы с радостью остался. Но она за короткое житье с Жоркой, по-видимому, не научилась ухаживать за мужем.

— Вам самой надо выспаться,— сказал Сеничкин в надежде, что она предложит ему остаться и тогда он попросит о рубашке. Собственно, какая это стирка — только освежить воротник и рукава.

— Не спится...— Она грустно покачала головой, как видно занятая своими мыслями и почувствовала, что она вот-вот заплачет.

— Идите,— сказала Инга,— вам надо идти. Вас ждут.

— Нет,— чересчур горячо запротестовал он.— Не ждут...

— Ждут,— повторила она.— Спасибо вам, прошу вас, идите.

Дома отчим гулял по квартире в отечественной пижаме.

— Пришел? — подмигнул он пасынку — и по его топорному лицу скользнула неожиданно застенчивая улыбка, словно это не пасынок провел ночь вне дома, а он. Впрочем, Алексей Васильевич уже привык к робости отчима.

— Обычный комплекс,— отвечал он, когда Марьяна говорила, что грозный государственный муж побаивается недавнего аспиранта.— Чувствует, что не свое место занял, понимает, кто он и кто я...

— Преувеличиваешь,— возражала Марьяна.— Комплексы — показатель интеллигентности. Был бы ты моим пащенком, я бы тебя придушила. А он шмутки тебе возит и боится обидеть, словно виноват, что ты не от него родился...

— Бог с ним,— отмахивался Алексей Васильевич.— Нашла тоже о чем спорить.

Но сегодня, поглядев на отчима, Алексей Васильевич вдруг подумал о его внешне удачной, а в сущности, совершенно нелепой жизни.

— Что, не клеится? — спросил отчим, входя в комнату вслед за пасынком. — Бабу свою не ищи. Опять чемодан сложила, хорошо хоть свой... — сказал он, прощупывая, можно ли вести разговор дальше.

— Не вытанцовывается, — ответил Алексей Васильевич.

Ободренный, министр крякнул и опустился на краешек дивана. Он действительно робел перед пасынком, верней, благоговел перед ним, хоть и понимал, что без него, Василия Митрофановича, Алешка ничего бы не достиг, даже офицером, как племянш Борька, вряд ли бы стал. А за его спиной набрал высоту и наберет еще большую. Незадача с Марьяной не раздражала отчима, а как бы, наоборот, указывала на слабинку в удачливом пасынке, тем самым приближала его к отчиму, которому нынче препаршиво.

Василий Митрофанович устал. Два года назад стоило решиться на главк. А теперь все. Месяц-два, и Герой его сменит. Решения еще нет, но оно висит в воздухе. Да и сил, а главное, охоты драться уже нет. Зря Оля продала дом на Оке. А то на пенсии (уж какую-никакую, а маленькой не положат) жил бы себе по полгода в Серпухове. Плотничал бы для себя или соседям помогал за так... А приперло — мог бы и за деньги. Нестарый еще. А без дома куда себя деть?

— Да, чемоданное пошло настроение, — вздохнул отчим, и Алексей Васильевич поморщился, но поспешно спросил:

— А твои дела как?

— Неплохо, а хвастать нечем. Силенки есть, а давление скачет.

— Значит, он возвращается?

— Похоже. Что ж, все верно. Это его хозяйство, а я вроде сторожа приглядывал, чтоб не растащили.

— Молодец, что не расстраиваешься, — вдруг с искренним сочувствием сказал Алексей Васильевич. «Неужели мамаша настучала ему, что я хочу переменить фамилию?» — подумал он, и ему стало неловко. Сейчас, когда отчима выпирали из управления, даже заикнуться об этом было некрасиво, тем более что и ляпнул он это больше в пику мамаше. — Что-нибудь тебе подберут, — попытался утешить он отчима. — Тосковать не будешь.

— Ясно, не буду. Но лучше бы по чистой. Дом бы, обратно, купил на реке.

— А что? Правильно! Полковники все так живут, а ты — полковник. Мама вот только не согласится. — Пасынок понял, что отчим сейчас бунтует против жены. Оттого, должно быть, и не спит, а слоняется по квартире.

— Не сердь ее,— сказал отчим.— Она вся извелась из-за Марьянки. Вы бы уж как-нибудь — хоть туда, хоть сюда. А то, как в МПС, сплошной транзит.

— Ты прав,— сказал пасынок.

— Я, понимаешь, к чему...— преодолевая смущение, продолжал отчим.— Если бы вы сразу... ну, в общем насовсем... то я бы напоследок ей какую-никакую комнатенку бы выбил. А то некрасиво на улицу гнать...

— Некрасиво,— согласился пасынок, и волна нежности к отчиму окутала его.— Я поговорю с ней.

— Мой тебе совет — прикинь еще раз. А то когда беда придет, без жены плохо...— и отчим взъерошил тяжелой плотницкой ладонью волосы пасынка.

Гроб опустили на каталку. Он оказался куда тяжелей, чем предполагал Бороздыка, хотя четверо мужчин, приехавших со следующим покойником, бросились им помогать.

— Родные и близкие могут проститься...— сказала женщина в черном халате.

Голос у нее безличный, как у диктора, подумал Бороздыка. Как у диктора, который объявляет: «А теперь переходите к водным процедурам».

Обрадовавшись точному сравнению, Игорь Александрович отвлекся от происходящего и задумался о своем огромном, но еще не осуществившемся таланте.

«Пожалуй, надо писать прозу,— решил он.— Прозу и только прозу. В ней больше духовности. А статьи, они, как крематорий: четкость линий, сжигание живого. То есть мертвого...» — поправился он.

Инга, опираясь на руку Сеничкина, подошла к Ваве и поспешно чмокнула мертвую в холодную проплешинку.

— Страшно здесь,— шепнул Бороздыка Полине.

— Нет, культурно. Нищие денег не стреляют.

— Из земли вышел, в землю уйдешь...— не унимался Игорь Александрович.

— Да ну вас,— шепнула Полина.

Инга с доцентом вышли из-за мраморного барьера.

Гроб начал опускаться, и вскоре черная гармошка прикрыла шахту.

— Ящик выпотрошат и назад в магазин,— сказал Бороздыка.

— Бросьте,— прикрикнул на него Сеничкин. Инга жалась к нему, он хотел ее защитить и быстро вывел из крематория.

— Только не оборачивайтесь, иначе увидите вознесение в виде дыма,— не унимался Бороздыка.

Обнаружив в себе недюжинный дар художника слова, Игорь Александрович словно бы отринул общепринятое, установленное испокон всеми религиями. Сейчас он ощущал свою избранность великого писателя, а она как раз в том, чтобы ни на кого не походить. Писатель, размышлял Бороздыка, выше морали. Морально все, что способствует писательству, то есть высшему проявлению духа. Достоевский убивал в душе своей не один десяток старух, пока в конце концов Раскольников не не пришел Алену Ивановну. И я тоже нашел свою старуху. Впрочем, она сама умерла, но смертью смерть поправ, и ее смерть открыла во мне художника.

Теперь ему казалось, что в его груди (как в печи, когда прочистят дымоход) весело играет пламя, трещат дрова, нужно только слегка помешать кочергой, и жар от его сочинений (каких он еще не знал...) согреет весь мир.

Впалая его грудь никак не походила на огромную печь крематория, но это ничуть не смущало Игоря Александровича.

— Пусть это некрасиво, но я с трудом выношу его. И Вава его не выносила,— сказала Инга довольно громко. Но Бороздыка шел сзади, поэтому он не услышал ее; он продолжал развивать идею о безнравственности утилитарных похорон.

— Это пахивает немецким аккуратизмом. Узаконенным Освенцимом. Все эти ясли, детские сады, тюрьмы — и вот крематорий. Люди препоручают своих близких казенным исполнителям.

— Неужели он потащится за нами? — спросила Инга.

— Сейчас мы его отошьем.— Сеничкин еще крепче сжал ее локоть.— Игорь, примите с Полиной влево,— сказал он.— Надо помянуть Варвару Терентьевну.

— Ну, что ж,— Бороздыка поплелся за доцентом. Полине он не мог объяснить, какого он масштаба прозаик и поэтому вяло тащил разговор: — Теперь уже кутьи не поешь. А ведь русский обряд поминок — это, Полина, веселие ясной и высокой души. Русский человек долго скорбеть не способен. И песни в конце застолья — это не забвение, а светлая дань усопшему. Умер хороший человек, и поминают его светло.

— Ну, это вы маханули... Помирают всякие, а поминают всех.— Полина с сомнением скосила глаза на Игоря Александровича.

В деревянном, выкрашенном охрой «Голубом Дунае» (так почему-то окрестили эти забегаловки) было грязно, накурено и тесно. Алексей Васильевич еле нашел на одном из круглых сто-

ликов место для четырех стаканов водки и восьми бутербродов с колбасой. Бороздыка индифферентно, словно он был не в пивной, а на Парнасе, стоял у стены, не обращая внимания на небожие заигрывания пьяных с Ингой и Полиной. Он был выше хаоса, в который погружается трудовая Москва в дни получек.

Мне нужна шапка Черномора, думал он. Я пришел сюда не судить, а описывать. Задача писателя точно передать все, как есть, и тогда описанная мною пивная станет бессмертной. Я увековечу и пьяницу в пенсне, которому стыдно, что он пьет, но не пить он уже не может, и инвалида у дверей, который протягивает всем «Вечерку» по рублю за номер, и дурака-доцента, который сейчас разобьет стаканы, вместо того, чтобы перенести их в два приема от стойки к столику. Всех их я увековечу, как Федор Михайлович Раскольникова и Мармеладова.

— Уроните,— сказала Полина, протискиваясь к стойке и принимая от Сеничкина бутерброды.

— Ну, пусть ей будет хорошо...— Алексей Васильевич поднял свой стакан, коснулся им Ингиного. Он забыл, что говорят в таких случаях.

— На поминках не чокаются,— взвизгнул Бороздыка, словно его полоснули бритвой.

— Да, нельзя,— согласилась Полина, но ей тоже надоел этот тощенький мужичка.

Все боронит, боронит, думала она. С того и пальтишко дрянное, что мелет языком, а все без толку...

— Ну, пусть земля ей будет пухом,— сказала она и смахнула слезу.

— Дымом,— не удержался Бороздыка.

— Хватит вам, Игорь,— рассердился Сеничкин, оставляя стакан.

— Пусть упражняется без нас,— сама удивляясь своей резкости, сказала Инга, тоже опустила нетронутый стакан и, схватив Сеничкина и Полину под руки, потащила их из пивной.

— Да что ты? Водки сколько осталось...— услышал Бороздыка Полинин возглас. Дверь пивной захлопнулась, Игорь Александрович остался при четырех непригубленных стаканах.

«Напьюсь»,— решил он, ощущая в себе невиданный подъем сил.

После первых ста пятидесяти он только мрачно созерцал всеобщее пьянство. Он еще не судил, а лишь старался все как следует запомнить, чтобы завтра на свежую голову перенести на плотную, мелованную, унесенную из журнала бумагу. Но для хлипкого Игоря Александровича даже разбавленная в шамане водка была слишком крепкой. Его тотчас развезло

И тогда он перенес на соседний столик стаканы и закуску, где собрался народ почище и моложе.

Дальше все шло, как во сне. Бороздыка кому-то предлагал бутерброды и водку, объясняя, что он писатель, сегодня утром закончил свою главную книгу, книгу всей своей жизни (причем самое интересное, что он и сам в это верил). Но когда кто-то усомнился в его словах, очевидно полагая, что писатели не ходят в драных пальто с оторванными карманами, Игорь Александрович стал задираться, апеллировать к другим столикам. И вот уже ему плеснули в лицо пивом, сбили с глаз очки, и, обруганный (благо, не избитый!), мигая, он понуро поплелся к стоянке такси.

Дома его начало рвать, он еле дотащился к телефону и вызвал Зарему. Поохав, она напоила Бороздыку молоком, и, успокоившись и расчувствовавшись, он облобызал ей руки и уснул сном перекапризничавшего ребенка. Но утром голова у него раскалывалась, и он не смог ничего записать.

Первая, так взволновавшая Варвару Терентьевну партия была во вторник отложена в равной ничейной позиции. Но в среду, на доигрывании, Смыслов ошибся и через пятнадцать ходов протянул Ботвиннику руку. Так что вряд ли бы бедная старуха пережила этот драматический матч.

В четверг, когда ее гроб спускали в печь, противники сделали двенадцать ходов, и Смыслов уже стоял на проигрыш. Курчев в венгерском костюме сидел на верхнем семирублевом ярусе и болел в отличие от Варвары Терентьевны за Ботвинника. Не то чтобы чемпион мира ему нравился больше претендента (с верхнего яруса он даже в очках плохо их различал), но ему в его безнадеге не хотелось никаких перемен. Раз есть чемпион, пусть остается. Шахматы сейчас были для него чем-то вроде водки, больше для забвения, чем для радости. Но имели перед ней то преимущество, что не подталкивали к телефону.

Курчев глядел на доску и многое понимал, но в голове после двух пьяных дней все еще звучала изготовленная из рентгеновской пленки пластинка, в которой он разобрал всего одно слово «гринфилдс».

Инга принесла пластинку в понедельник, но почему-то (видно, из деликатности) ни разу ее не прокрутила. Курчев хотел отправить ее заказной бандеролью, но все не решался. Уж очень это походило бы на SOS. Даже в безнадежности пьянки он знал: надо держаться. В конце концов, что случилось? Он любил женщину, а она его не любила. Только спала с ним.

Конечно, случай нечастый. И все равно не показывай, что письмо тебя огорошило. «Все разлетится...» Вот и разлетелось. Но держаться надо.

У него остались два тома Теккеря и эта грустная пластинка. Если Инга хочет, пусть присылает за ними Алешку. Но ведь она не придет. Не захочет, чтобы Алешка пронюхал про те три ночи. Иначе она позвала бы на похороны. Ведь сказал же Бороздыка: гроб некому нести.

«Но она обошлась без тебя на похоронах, обойдется и без Теккеря и пластинку достанет другую. Но до чего же хотелось набрать ее номер, чтобы она сказала: «Алло» — или: «да». Он никогда не говорил с ней по телефону. Можно ладонью прикрыть микрофон, зато услышать несколько слов. Сначала она бы выдохнула «да», надеясь, что это не ты, потом «слушаю», уже точно зная, что это ты. Потом... — тут он задумался: никак не мог выбрать между двумя вариантами — либо она назовет его по имени, либо сердито скажет: «Ну, как хотите». Впрочем, был еще один вариант: «нажмите кнопку». У многих автоматов красные или черные кнопки, если их не нажмешь, тебя не услышат».

Даже сейчас, на этой второй партии (уже явно профуканной смысловым, потому что Ботвинник с необычной для него смелостью, не заботясь о прикрытии короля, двигал все три пешки своего правого фланга), даже на этой, одной из самых нескучных партий, Курчев представлял под воображаемый аккомпанемент «гринфилдс», как он спустится в фойе и позвонит. Только опасение, что у нее сидит Алешка, сдерживало Бориса.

Сеничкин и впрямь у нее сидел. Выйдя с женщинами из пивной, он тут же остановил такси.

— На Спасскую, — сказал шоферу. — Только за Крымским тормознешь.

Выскочив из такси, он вернулся с большим желтым, смахивающим на чемодан портфелем, который обычно брал в короткие командировки. Сейчас портфель раздулся, потому что он засунул туда три рубахи, белье, пижаму, домашние туфли, импортную электрическую бритву, конспекты лекций — словом, все, что обычно брал при поездке в Ленинград или Горький.

— Извините, мне просто не хотелось с этим туда... — сказал он.

Полина сразу ушла к себе, а Инга и Сеничкин сели в большой комнате за стол и ощутили некую неловкость.

Вот и все, подумал Алексей Васильевич.

Так уже было с диссертацией. Три года писал, а потом пришла бумага: утвердили. И зачем было три года писать, если вот так в один день утвердили (даже, возможно, в одну минуту!). Писать и то было веселее, чем вертеть в руках коричневый диплом. Присвоили, и уже все. А что дальше?

Он глядел через стол на Ингу и чувствовал, что, хотя еще ничего не началось, все у них уже позади. Он получил Ингу. Мечта исполнилась. Он откроет портфель, достанет пижаму, а Инга вытащит из громоздкого старого шкафа свежее постельное белье. Все это, разумеется, замечательно и великолепно, но стремиться уже не к чему. И теперь, когда они будут вместе, она может разочароваться в нем. И он в ней... А где же великая мечта? Короткие на квартире Крапивникова и в других местах романы его не раздражали. Они были именно тем, чем надо, — не больше и не меньше. Как партия в теннис. Корт сдавали на два часа, и нужно было играть, не теряя драгоценного времени. Так же и с романами. Нужно было уложиться в срок и возвратить Жорке ключ. Чисто спортивное мероприятие.

Но женщина, сидевшая напротив него за покрытым старой скатертью столом, для спорта не годилась. Привезенный отчимом из Америки кожаный портфель выглядел здесь оскорбительно. Дома все было куда проще: он сказал предкам, что едет на несколько дней в Питер. И они, если и не поверили, виду не показали.

Здесь же щелкнуть замком портфеля и вытащить пижаму, это все равно, что поклясться у алтаря быть вместе в горе и радости, в болезни и смерти. И чтобы дать себе передышку, Алексей Васильевич опустил голову, будто каялся в смертном грехе и сказал:

— Инга, а я ведь не Сеничкин... Да, да...

Его прорвало, словно он пил в «Голубом Дунае» и его порцию не выхлестал Бороздыка. Инга растерянно его слушала; она все еще не знала, как ей быть. Ее и тянуло к нему и в то же время пугала его серьезность; месяц назад она была готова к легкомысленной связи с Сеничкиным. Но теперь что-то в ней самой переменялось. Словно Вава своей смертью открыла ей глаза: мол, жизнь такая штука, что ею не шутят. А может быть, это даже не Вава, а Курчев открыл ей на жизнь глаза. Скорее всего, Курчев, с которым она поступила так некрасиво. Но как бы то ни было, после смерти Вавы и после разрыва с Курчевым, ее отношения с Алешей могут быть только самыми серьезными. Эта серьезность пугала Ингу, хотя сам Алеша был в сто раз лучше, чем раньше, и не только потому, что эти хлопоты с похо-

ронами она без него просто не вытянула бы. Просто в эти два дня она увидела другого, не упоенного собой Сеничкина, собственно, оказывается, даже не Сеничкина — а Сретенского, человека с раной в душе; может быть, все эти атрибуты комильфотности, вся эта элитная мишура — были лишь способом скрывать эту рану? Наверное, так... Инга сердилась на себя, что занята самоанализом, что слушает вполслуха. Надо бы как-нибудь его приободрить, сказать, как она ему за все благодарна. Наверно, нужно обнять его, потому что он сейчас так непривычно для себя зажат, словно его тоже шарахнула смерть Вавы. (А может быть, не Вавина смерть, а то, что она на три дня пропадала?) Как бы там ни было, нужно пробиваться к Алеше самой, но для этого нет сил.

И тут вдруг ожил телефонный аппарат, раздался один звонок, второй, и, когда на третьем Инга, помрачнев, заставила себя подняться и снять трубку, в ней уже выл сплошной гудок.

Это Курчев, не справившись с собой, сбежал в вестибюль, набрал номер Инги, положив себе ждать четыре гудка, но услышав крик:

— Все! Сдается! — рванул рычаг.

Злясь на неуравновешенную стайку очкастых, тщедушных подростков, Борис поднялся на свой ярус, увидел, что партия продолжается, но Смыслов уже без ладьи, и хотя взамен у него конь и две пешки, эндшпиль для него безнадежен. Смысловский конь, стреноженный белым слоном, застрял на краю доски. Две белые ладьи, выстраиваясь по вертикали, вот-вот залезут в «обжорку» (то есть на седьмую горизонталь), где займутся пешкоедством, да и вообще шансов на успех у Смылова не больше, чем у самого Курчева. Пора Смыслову протягивать Ботвиннику руку, а Курчеву нечего бегать в фойе и набирать проклятый номер.

— Да, я знаю, я виноват, — говорил Сеничкин, и гордость светилась в его голубых с девическими ресницами глазах. — Но что я мог тогда поделать? Это теперь уже ясно: эксперимент с бесклассовым обществом и всеобщим благоденствием не вышел. Нужно возвращаться на круги своя. Мы не оценили (нет, не идеи! Роль идеи нам всегда была ясна). Мы не оценили русской соборности, которая выше идеи. Мы позволили чуждому хамству замутить все лучшее в нашем народе. Мы открыли двери чуждому, а свое решили припрятать, будто его надо стыдиться...

Зачем он позвонил, подумала Инга о Курчеве, хотя теперь

уже сосредоточенно слушала Сеничкина. Сам виноват, что позвонил, рассердилась она и как будто назло Курчеву села рядом с Алешей. Он стал ей еще ближе и от трусливого курчевского звонка, и еще оттого, что ему выпало такое тяжкое детство, и еще оттого, что он наконец взбунтовался против рабства, в котором ему так долго пришлось жить. Его мысли о своем и чужом казались ей недодуманными, но она понимала, что они поспешны, потому что вызваны раскаянием. И вернуть свою настоящую фамилию он решил, потому что хочет остаться с Ингой. Ведь его жене, выскочке-прокурорше, это вовсе не нужно, наоборот, это бы ей совсем не понравилось. И вот он здесь, он пришел к ней со своим полупрозранием и со своей бедой, а того, кто приходит с бедой, не выгоняют.

Последним ходом Ботвинник сдвоил ладьи по третьей вертикали, Смыслов мог напасть на них своим наконец-то развязанным конем, но вместо этого подал чемпиону руку. Счет стал 2:0. Курчев сбежал в раздевалку, взял у гардеробщицы свое легкое, как плащ, пальтишко и вышел на мартовский холод. Кепки у него не было. Он спустился в метро, отдал кассирше четыре пятиалтынных. Другой мелочи не осталось, а на гривенник не позвонишь. Если хватит сил не разменять на «Комсомольской» червонец, на сегодняшний вечер он спасен.

«Все-таки шахматы — не отвлечение, — думал он, держась за никелированный поручень новенького сверкающего вагона. — Завтра засяду в Ленинке. Это не выйдет, будто ее ищу: она сама сказала, что приземлится в Иностранке. А увижу — не подойду. Впрочем, ей сейчас не до библиотек...»

Он чувствовал, что никого так не ненавидит, как Алешку.

Первые ночи после Ингиного нездоровья само собой считались безопасными, но в эту Сеничкин смалодушествовал, остерегся; и хотя Инга ничего не сказала, он тут же почувствовал ее упрек.

Нехорошо, некрасиво, неблагодарно, думал он, ожидая, когда она вернется. В квартире было так тихо, что даже через две притворенные двери слышалось, как в ванной льется вода. Надо ей объяснить, она должна понять, что я рву со своим прошлым, а ребенок меня свяжет. Сейчас, когда все так зыбко, когда мне так необходима свобода, свобода времени и свобода маневра, ребенок для меня — кандалы.

— Сейчас это невозможно, — сказал он, когда Инга вернулась.

Она ничего не ответила, и он подумал, что теперь, когда они стали близки, она словно бы от него отдалилась; во всяком случае, разговаривает с ним куда меньше, чем в начале их знакомства, когда они гуляли по зимней Москве и потом отогревались в третьеразрядных ресторанах.

— Не сердись,— повторил он и прижал ее к себе, чувствуя, что она вся скована, будто под тонкой кожей на ней стальной панцирь.

«Нехорошо, трусливо,— снова подумал он.— Женщинам нужны дети, ведь у них нет высоких задач. И потом, что будет с Россией, если русские перестанут рожать? Ведь на окраинах беременеют без передыху. Но сейчас это никак невозможно. Ну просто никак».

Он обнял ее еще сильнее, и она податливо к нему прижалась, но все равно панцирь никуда не исчезал, даже как будто стал еще крепче, словно уже сросся с ней.

А ведь у нее мог быть от Борьки ребенок, вдруг подумал он с ужасом. Еще чуть-чуть — и испортили бы породу... Ну, нет, подбодрил он себя, с ним она о ребенке не думала. Ведь его она не любит. Это я сам не без помощи этого трепла Бороздыки толкнул ее к Борьке на матрас. На матрасе спит небось или на раскладушке, казарма-матушка...

Но утром, когда они пили кофе, Сеничкину уже решительно не хотелось ребенка.

«Да и ей ребенок не нужен»,— думал он, глядя в ее усталое, осунувшееся лицо.

— Я перекушу в институте, а ты сбегай на Ногина в кафе или перехвати в буфете. Я заскочу после шести. Не рано? — сказал он.

— Когда сможешь.

Он поспешно поцеловал ее и сбежал по лестнице, хотя мог бы и не торопиться. Лекции у него начинались около полудня, и этим утром он решил разыскать Курчева. Пусть прекратит звонить. Сеничкин не ревновал, но Борька раздражал его. Раздражал, как маляр в троллейбусе, о которого можно испачкаться. В четверг, после крематория, это он звонил. Нужно так его унижить, чтобы он обходил за три версты телефонные будки.

Сеничкин вышел к вокзалам и в первой же справочной сделал запрос на Курчева Бориса Кузьмича, 1928 года рождения, уроженца Москвы. Хотя киоскерша обещала управиться в четверть часа, ждать пришлось минут сорок. Чтобы не напороть-

ся случайно на Ингу,— она ездила в Иностранку на метро,— Сеничкин прошел дальше до «Красносельской», все время подогревая в себе раздражение на Курчева.

Сиротка, злился он, понимая, что «сиротка» здесь ни при чем. Просто у него самого с Ингой выходит не так, как мечта-лось, и надо на ком-то заземлить раздражение.

Он дважды опасно подобрался к справочному киоску и в самом деле чуть не столкнулся с Ингой. Он едва ее узнал. В незнакомом ему сером ратиновом пальто она шла, опустив голову, и не заметила шмыгнувшего за киоск Сеничкина.

«Уже весна...— вздохнул он, когда Инга скрылась в дверях нового вестибюля «Комсомольской».— Запарюсь я сегодня».— Он с неодобрением оглядел свое спортивное с меховым воротником пальто, которым зимой так гордился, и с неудовольствием подумал, что придется заехать к родителям.

— Вот, пожалуйста. Переяславка, 41, квартира 4,— сказала киоскерша.

Но Бориса дома не оказалось.

— В Ленинской библиотеке,— прошамкал мужик в грязных лиловых кальсонах и теплой фуфайке. Он лежал на защитного цвета раскладушке и, увидев Сеничкина, застеснялся. На полу у изголовья раскладушки желтела тарелка с окурками. Мужик читал том Толстого огоньковского издания.

— Передать чего? Я его днем увижу,— предложил он.

— Не трудитесь,— сказал Сеничкин.

Нет, нет. Здесь она не могла быть, подумал он. В таком хлеву, при этом лагернике...

И вдруг, оттого, что версия с Борькой провалилась, Сеничкина охватила непостижимая для него самого ревность к неизвестному счастливцу. Перебрав всех знакомых, он хотел уже мчаться в Иностранку к Инге, спросить ее напрямик, и только не по-мартовски жаркое солнце, напекавшее спину и плечи, охладило его. Он забежал домой, принял душ, переделся, вытащил из кладовки длинноватое по нынешней моде драповое пальто.

Нельзя так распускаться, подумал он, сворачивая в тихую улицу Воровского. У него оставалось больше часа, и он решил пройтись узкими арбатскими переулками. Допрашивать неблагородно. Захочет — сама расскажет. Он чувствовал, что Ингина загадочность подогревает его интерес к ней.

Биллиард

— Фрайер какой-то тебя спрашивал,— сказал Гришка Курчеву, спустившемуся в гардероб Ленинской библиотеки.— Пижончик. Не то что мы, грешные,— и он с неодобрением оглядел желтое клетчатое курчевское пальтишко.

— Алешка, наверно,— вздрогнул Курчев.

Он уже третий день сидел в читальном зале, несколько тревожась за венгерский костюм, особенно за брюки, которые так быстро вытираются о казенные стулья. Костюм, хотя стоил всего восемь сотен, был что надо, и Курчев чувствовал себя в нем независимо, не то, что в засаленном кителе.

Инга ни разу не видела его в штатском. Если она ненароком заскочит в третий научный, то-то удивится. Да и ему в этой венгерской паре будет с ней держаться проще.

Но стоило дурню Гришке брякнуть про пижонистого доцента, и Курчеву вдруг захотелось назад в зеленую шкуру, в угол, туда, где он вне игры и не должен состязаться с Алешкой.

— Пошли. На улице, скажу тебе, парилка. Я совсем спекся,— Новосельнов взял Курчева под руку и потащил из вестибюля.

Еще с вечера они уговорились поесть по-человечески в недорогом ресторане и потом спуститься в биллиардную.

Пить Курчеву не хотелось, да и киевская, обещанная Гришкой котлета тоже не сулила скрасить унылую полудемобилизованную жизнь, но уговор есть уговор.

Гришан привез его в припарковый, очень ему понравившийся ресторан, где месяц назад сидел с Игнатом и маклером. Нынче, жарким мартовским полднем, в ресторане было пусто и необычно светло. Они сели в глубине возле пустой эстрады.

Курчев пил нехотя, а Гришка сразу окосел, и мир опять стал для него веселым и многообещающим, и, появившись в зале какая-нибудь подходящая кадришка, он непременно бы к ней разлетелся. Но в зале среди редких посетителей не было ни одной женщины, и все нерастраченные чувства Гришка изливал на Курчева.

— Не трись, Борька. Пей. Я тебе пятнашек давать не буду. Севрюгенц что надо. Хочешь, еще закажу? Да ты ешь, а то тебя, как шмару, уговаривать надо. Люблю я тебя, Борька. И какого дьявола ты снюхался с ученой клизмой?!

— Ну-ну!

— Ладно. Понимаю. В рамочках. Держимся в рамочках... Придерживаемся рамочек,— пьянее, чем был на самом деле, повторял Гришка.— Высокие чувства. Потому нужно держаться

в рамочках. И ты, Борис Кузьмич, в ра... в ля... в лямочках... Ра-ля, до-ре-ми-фа-соль-ля-си, мы поедem на такси...

— Пшел, знаешь, куда...

— Знаю. Только непонятно, почему твоя фря тебе больше не дает. Я ее испугал? А знаешь, если не дает, то и не надо. Ты меня полюби. Я тебе тоже не дам. Результат один, а расстраиваться не придется.

— Кончай,— расхохотался Курчев.

— Люблю тебя, Борька. Это она к тому фрайеру ушла?

— Угу.

— Ну, тогда швах. Тогда одни шары гонять остается,— беззубо усмехнулся Гришка и подозвал официанта.

Но едва они спустились в подвал и взяли один из пустующих зеленых столов, Курчев услышал знакомый голос:

— Одиннадцатый, два борта — угол.

«Атас!» — хотел крикнуть Гришке, но было уже поздно.

— Этот приходил? — шепнул Курчев. Алешка стоял к ним спиной. Заказанный им шар в лузу не вошел, но его удар был на редкость элегантен.

Гришка кивнул.

— Во что они играют? — тихо спросил Курчев, который костяные шары видел только издали.

— Сейчас тебя научу. И ты его обштопаешь.

Отчитав две спаренные лекции, Сеничкин пришел в свое обычное бодрое состояние. Он любил свой голос так же, как любил свою фигуру, походку, свой удар ракеткой, как он любил все, что делал. Чтение лекций было таким же приятным занятием, как теннис, плавание, коньки или лыжи, давало легкую, чисто физическую усталость, после которой стоило выкурить хорошую сигарету, съесть что-нибудь небанальное и выпить холодного сухого вина или немного водки.

Поэтому Сеничкин в институтский буфет, как обещал Инге, не заглянул, а, перейдя Крымский мост, поднялся в облюбованный им еще со студенческих лет припарковый ресторан, заказал сухого вина, заливной осетрины, бифштекс без лука и съел все это в полном одиночестве.

«Любимая женщина — это прекрасно,— рассуждал он.— Но вот такой легкий холостяцкий перекусон возвращает независимость. Женщина, хоть на дворе и двадцатый век с его равноправием, не может заменить целый мир. Женщина — только одна из его составляющих. Одна составляющая, две составляющих, три... А мир — миллиард составляющих.— Сеничкин

любил масштабность.— Все-таки лучше держать их на дистанции,— думал он, наливая себе второй бокал вина. Когда они на дистанции, берешь водки и не тревожишься, что учуют запах. Но тогда ты ведешь ее в ресторан,— тут же перебил себя,— тогда ты за ней ухаживаешь, а сейчас ты от нее прячешься... Нет, не прячусь. Просто устал и привожу себя в норму. Нужно встряхнуться. Без загула, но по-мужски. Легкий обед и партия в бильярд».

Он расплатился, сбежал в подвал и начал играть в пирамиду с седым косопузым бильярдным жучком по прозвищу Маруся. Алексей Васильевич давно знал этого несчастного забулдыгу-еврея, в своей прежней жизни служившего в машинописном бюро, за что он и приобрел женскую кличку.

Играли они без форы, с условием: проигравший платит за стол. Других фрайеров в подвале не было, и Маруся согласился покатать шары за так.

Заказав одиннадцатого от двух бортов и не попав, Сеничкин обернулся и увидел Курчева и беззубого плешивого субъекта, который, хотя и напялил на свое грязное белье пиджак и брюки, не стал выглядеть приличней.

— Салют! Вот не думал встретить! Я к тебе заходил.

Курчев в ответ что-то буркнул и пустил на своем столе шар с цифрой 12. То ли от злости, то ли от того, что не успел прицелиться, шар с неожиданно мягким стуком влетел в лузу.

— Ничего,— сказал Сеничкин, не достаивая Гришку даже легким кивком.— Доиграю, сразимся.

«Дуэль? — подумал Борис.— Он увел женщину, а я отыгрываюсь на зеленом сукне? Не хватало еще, как Орлов Потемкину, запустить ему шаром в глаз. Или это враки графа Салиаса?»

— Я готов,— сказал доцент и доиграл партию.

— А я нет,— вспылил Курчев.— Видишь, с человеком играю.

— Борька, я поеду,— сказал Новосельнов,— и ты не заигрывайся. Два червонца плачены — час двадцать играй, больше не надо. А то обдерут.

Сеничкин растерялся, а Гришка, по-стариковски шаркая, двинулся к выходу.

— Что за старпер? — спросил Сеничкин Курчева.

— Так, офицер. Командир полка,— усмехнулся Борис и сильным ударом разбил шары, чего делать никак не стоило.

— Вот никогда бы не поверил! Десятого прямо.— Доцент ударил и промахнулся.— Русский офицер. Полковник. А белье как у обозника. Я зайти постеснялся, в дверях стоял. Лежит и хоть бы хны. Ты бы видел его кальсоны!

Я видел. Этого — туда.— Курчев показал в воздухе кием на красноватый четырнадцатый и на дальнюю левую лузу, но тоже промазал.

— Здесь стол строже,— сказал Сеничкин, невольно поддаваясь игре и подбадривая противника, хотя еще утром испытывал к нему одну злобу.— Семерку от двух бортов.

Он пустил шар, и тот, закружившись, ударился о короткий борт, потом о длинный и медленно, степенно покатился в лузу. Теперь Сеничкин даже жалел Борьку, который, пыхтя, наваливался на стол, ударял топорно и уже пустил полосатый шарбиток за борт и в лузу. Они не покрутились вокруг стола и пяти минут, а счет уже был минус десять на плюс пятьдесят два.

— Не сжимай кий так, будто боишься, что вырву,— улыбнулся Сеничкин.— Пальцы расставь и отпускаяй легко. Пусть скользит. А ты его толкаешь, как посуху. Получается колхозный удар.

— А я и есть колхозник,— отрезал Курчев, ударил по двойке, забил ее в дальнюю лузу и тут вспомнил, что не сделал заказа.

— Ничего. Считается,— свеликодушничал Сеничкин, вытаскивая шар и ставя его на нижнюю пустую полку.— Что злой? Не демобилизовали?

— Наоборот. Девятого в середину на себя.

— Понял. Это называется дуплетом. Ого! Раскочегарился! — Он достал из средней лузы шар и поставил рядом с двойкой.— Не будешь злиться, шары сами пойдут.

— А я не злюсь.— Курчев обошел стол. Бить больше было нечего. Все шары, кроме битка, прижались к бортам.

— Без заказа,— пустил он полосатого в ближайший из шаров и посмотрел на доцента.— Чего заходил?

— Соскучился,— улыбнулся Сеничкин. Он больше не испытывал неприязни к Борьке. Парень как парень. Одет чистенько, хоть и нескладно: полосатая рубашка при полосатом костюме. Хорошо хоть без галстука. Галстука этому пентюху ни в жизнь бы не подобрать. Но все-таки он свой, хоть и не родная кровь, а все же родич, свидетель твоих успехов и незадач.

— Смешно! Ведь мы с тобой впервые играем,— сказал он.

— Угу,— кивнул Курчев, не поддаваясь.— Мамаша твоя тебя костерила. Говорит, вроде ты креститься хочешь. Я-то думал, ты крещеный.— Курчев прицелился в самый крупный, пятнадцатый.

— Ты не понял,— сказал доцент. Ему не хотелось портить отличный день. Время приближалось к пяти. Пора закругляться, выигрывать и ехать в Иностранку.

— Фамилию, сказала, назад меняешь... Так пыхтела, что я ничего не понял. И меня заодно обругала, будто я вас с Марьянкой развожу.

— Не обращай внимания.— Сеничкин положил пятнадцатый в лузу, но при этом, откатившись от борта, в средней лузе очутился и полосатый биток.— Не говори под руку.— Он усмехнулся и стер один из крестов над своей полкой.— Или дразнишь, чтобы мазал?

— Где нам, сиротинушкам? — усмехнулся Курчев, при этом сам покраснел и вогнал в краску доцента.

— Слушай, я давно хотел тебя спросить, чего это ты меня не любишь? Завидуешь? — сказал Сеничкин.— Так ведь у самого голова на плечах. Захочешь — всего добьешься. Вон демобилизовался...

— Кончай, ни к чему... — промычал Курчев, чувствуя, что у него побагровели не только лицо и шея, но и весь он красный, как партизан гражданской войны.

Хоть бы про Ингу сейчас спросил, подумал с надеждой. Тогда не заметит.

— Завидовать мне тебе не в чем, хоть ты и элита и еще доцент по марксизму, а заодно и православию, — брякнул Курчев, не подымая головы.

— Легче на поворотах.— Сеничкин прислонил кий к бильярду.

— Или вру? А ты играй, не трепыхайся. А то мне чикаться некогда.

— Тебе кто о православии сказал? — Сеничкин нахмурился и неловко ударил по шару.

— Твоя мать, а еще Бороздыка. Тот прямо распелся: в вашем кузене, мол, чувство пути. Я думал, он про карьеру, а он про церковь. Ты что, ему тоже напел, что фамилию меняешь? Вытаскивай... — Курчев кивнул на пятнадцатый, который за разговором все-таки положил в угол.

— Зубы заговариваешь, вот и падают, — Сеничкин достал шар.— А все же ты бы сбавил голос.

— Боишься? — спросил Курчев и стал охотиться за чертовой дюжиной, самым крупным из оставшихся шаров.

Теперь они больше переругивались, чем играли. Сеничкин дважды промазал, а Курчев забил четверку с шестеркой и счет почти выравнялся.

— Боишься? — снова спросил Борис.— Чего ж тогда ты раскудахтался: Сретенский, Сретенский!.. Хрена бы ты защитился Сретенским. Или у вас диалектика такая: когда надо, я Сеничкин, а когда Сеничкина по шее, мы уже не Сеничкины, а долгополое дворянство?

— Чего разбушевался? Сводишь счеты из-за Инги? — спросил Сеничкин, как раз когда Курчев меньше всего ожидал. Но был его удар, и, долго метив по недаввавшемуся тринадцатому, Курчев наконец положил его в лузу, поднял голову и сказал:

— Из-за Инги?.. Да я и видел-то ее всего раз! А что с ней? Мамаша твоя меня тоже трясла: знаю ли я какую-то Рысакову? Я говорю: Ингу видел, а Рысакову — нет.

— Заливай,— сказал доцент, но в голосе его не слышалось уверенности.— Небось заглядываешься на нее?

— Заглядывался бы, да негде. Бороздыка, правда, меня звал на свидание в крематорий, но я воздержался. А ты вправду переметнулся от Мальтуса? — переменял Курчев тему, чувствуя, что долгого разговора об Инге ему не выдержать.

— Нет... Это сложнее.

— А все же?

— Слышал стихи?

Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать...

— И что же, ты плачешь? — ухмыльнулся Курчев.

— Не плачу. Но запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут.

— А ты, значит, сходишь?

Игра продолжалась вяло. Курчев перегнал Сеничкина, но забитые шары уже не радовали: разговор забирал его все больше.

— А как же с марксизмом, который выстрадала Россия? — спросил он, чувствуя, что доцент запутался.

— Марксизм нам принесли извне. Причем не русские. Марксизм великая штука, но его изобрели интеллигенты. Что ж, Россия его действительно выстрадала, но не всякое страдание плодотворно.— Сеничкин снисходительно улыбнулся и, не дождавшись одобрения противника, пустил полосатый шар в одиноко стоявшие пять очков, которые и вошли в лузу, но не упали, а только качнулись в ней несколько раз, однако, когда Курчев собрался их добить, исчезли в сетке прежде удара.— Интеллигенции пороку не выдумать,— с удовольствием слушал себя доцент.— Интеллигенция не должна отрываться: без народа она ничто. А марксизм был западным изделием. Мы через него прошли, мы им переболели, как в детстве крупом, и теперь

видим, что у нас другая дорога. В общем, и Сталин, хоть он и не гений,— Сеничкин убавил голос,— это почувствовал...

— Вот как?

— Да, мы отпугнули от себя народ,— продолжал Сеничкин, глядя на стол. Там осталось два шара, и важно было забить последний. По очкам уже никто выиграть не мог.

— Кто это мы? Интеллигенция? — спросил Курчев.

— Нет, не интеллигенция, а элита. Общество не может не быть не элитарным. Дом крепок лишь тогда, когда балка идет снизу доверху.

— Темно говоришь.— Курчев чуть не промазал, но полосатый шар, оттолкнувшись от борта, все же коснулся «тройки».

— Единство верха и низа может быть только национальным,— слушал себя доцент.— Иначе бюрократия, чиновничество, коррупция и так далее. Русский народ выдержал не счесть сколько влияний и нашествий, и поэтому вправе осознать себя именно как народ, как нация.

— Это понятно. Но при чем тут элита? И чем плоха интеллигенция?

— Ну, во-первых, элита — это мистические избранные. Это лучшее меньшинство народа. Квинтэссенция. Малое, вобравшее в себя целое!

— Ну, да... меньший шар, в котором спрятан больший.

— Прибереги свое остроумие, ты просто завидуешь.

— А чего завидовать? Я лейтенант, а ты только младший лейтенант. Значит, я больше элита, чем ты. А вот с интеллигентностью как раз наоборот: у тебя два диплома, а у меня один, да и тот неважнецкий.

— У тебя каша в голове. Элитарность до революции давалась по праву рождения. Но теперь она определяется уже не рождением и не образованием, а внутренним чувством пути, чувством избранничества. Понятно?

— Ага. Только одно неясно. Месяц назад ты стоял на почве марксизма и поносил мой реферат. И тогда у тебя было все впереди, а у меня ни черта, потому что ты партийный, а я нет и так далее... Теперь ты стоишь за православие, самодержавие, народность или что-то в этом роде, ты против марксизма, и опять ты элита, а у меня, как у латыша... ни... кола, одна душа.

— У тебя квартира. Не прибедняйся.

— Хорошо, квартира. А больше — ни шиша. Через две с половиной недели я получу свои выходные три тысячи и под зад коленкой. Чудак, считал, демобилизуюсь, не пропаду, все-таки какая-никакая, а интеллигенция. А тут выходит — интеллигенцию побоку. Нужна элита. И зачем только я слал проше-

ние Маленкову? Служил бы себе тихо. Дослужился бы до Ращупкина и стал бы элитой. Или тоже нет?

— Какого Ращупкина? — удивился Сеничкин. — Длинного такого?

— Ага, — усмехнулся Курчев, но тут же вспомнил, что теперь Ращупкин Алешке безразличен. И снова злоба опалила курчевское лицо. Сеничкин с жалостью глядел на него.

— Видишь ли, Борис, — сказал он на английский манер. — Вся беда как раз в том, что ты интеллигент. Знаешь: «Прекрасные люди крестьяне и прекрасные люди философы. Вся беда от полуобразованности». Это, к твоему сведению, сказал Монтень. Так вот, твоя полуобразованность заставляет тебя ерничать, подзуживать, роптать против действительного и разумного. Ты прав. Мне было хорошо раньше, мне неплохо сейчас, мне будет отлично и завтра. Мир не стоит на месте. Все течет и видоизменяется. И я на гребне первой волны. Мир прекрасен в каждом своем мгновении, а жить для будущего — это, извини, нонсенс. Вон смотри, — он показал кием на круглые вокзальные часы у самого потолка: у них оставалось всего восемь минут оплаченного времени. — Почему четверть шестого должна быть лучше десяти, одиннадцати или тринадцати шестого? Она ничем не лучше. Каждая минута достойна, чтобы в ней жить, — сказал он, переходя на крапивниковскую интонацию, ибо и мысль тоже была крапивниковская. — А верить в грядущее, презирая настоящее и мучаясь в нем, — не только глупо, но и безнравственно. Ждать и догонять — удел дураков. В каждом периоде свои сложности.

— А вся беда от интеллигенции? От народа ее отлучили, элитой не признают, и она дохнет от зависти. Стало быть, осталось одно — головой в удавку и ногой от табуретки?

— Прекрати, — поморщился Сеничкин, будто вляпался в какую-то дрянь. — Опять ерничает? Это у тебя от пустой, никчемной жизни. Здоровый парень, а пыхтишь, как неудачник, от тебя так и разит кислотой безнадеги. Ты историк. Ну хотя бы по своему жидкому образованию историк. Так вот, вместо того чтобы вытаскивать обозника и придумывать для него какую-то особую роль, собери, соедини всех обозников, слей вместе, преврати в сплав. Ведь народ велик не отдельностью, а целостностью. Интегрируй, а не разделяй. Не анализ, а синтез — вот задача интеллигенции. Собирать и хранить лучшее в народе. Охранять. Беречь.

— Ходить ВОХРой?

— Опять ты за свое? — насупился доцент.

— Не опять, а всегда. Мне, понимаешь, с ружьишком и с

собакой: «Шаг влево, шаг вправо — стрелять буду!» — или там экскурсоводом: «Вот, товарищи (или там «граждане», если «товарищей» вы отмените), катер Стеньки Разина» — или там фуражка Владимира Мономаха. Мне вполсыта, Москвошвей, — он ткнул в лацкан пиджака, забывая, что тот венгерский. — Мне «Парижская коммуна», — поднял ногу, — давка в троллейбусе и отпуск в доме отдыха, где набито, как в казарме. А тебе — западное шматье, ЗИС-110, иностранные командировки и дача на Риге. Тебе плевать, что в деревне шаром покати. Вон вроде как у нас тут, — он кивнул на зеленое поле.

— Ну, что ж. Деревня и впрямь не в порядке. Но при чем тут я?

— Погоди, дойду и до тебя. Мало того, что деревня разорена. Хуже того — у людей паспортов нету. Я осенью ездил за пополнением. В бесплацкартный набилось баб. Откуда-то из-под Ужгорода. Язык вроде украинский, но лишь с пятого на десятое понимаешь. Едут, говорят, пятые сутки. Сначала Львов, потом Вильнюс, Рига, Таллинн, Питер и на закуску Москва. Спят непонятно где. С утра до утра в дурака дуются. «Чего едете?» — спрашиваю. «А подывытыся».

— Небось спекулируют, — сказал Сеничкин, примериваясь к последнему шару.

— А хоть бы и так? Людям жить надо. В селе никаких товаров. Они чего-то человеческого ищут. Ботинок хотя бы. А вам наплевать, как они живут. Вы тут свой бульон варите. Ну, Бороздыке-то ничего не обломится. Он болтун. А тебе все на блюде, как хлеб-соль, несут: «Ешьте, Алексей Васильевич!»

— Ты не понимаешь. — Сеничкин еле сдерживался, точно учитель математики, битый час объясняющий оболтусу начала тригонометрии. — Мир разделился. Интернациональная идея дала течь. Отныне развитие может быть только национальным. Каждая нация ищет опору в своем прошлом. Крестьян растлили, и они шастают по городам, вместо того чтобы прижиматься к земле, которая богаче и плодотворнее города...

— Да, но ты чего-то к земле не жмешься. И клифтик на тебе иностранненький. Сукнишко, во всяком случае, не наше. И душа твоя ушла с Запада, но грешное тело прописано в Европе или даже в Штатах. Всем нам — назад, в деревню, в средневековье, в русскую общину или куда-нибудь еще (в какой-нибудь вариант лагеря!), а тебе с твоей соборной душой, тоскующей по Китежу, предстоит мучиться на растленном Западе. Там, глотая виски при «эйр-кондишн», ты будешь тосковать по российским полям, запаху хлеба (которого и не нюхал!) и еще Бог знает по чему. Все это неново. В прошлом веке такого было

навалом. Но ты куда хуже любого крепостника! Тому хоть нужно было, чтобы крестьяне лучше жрали и на него больше вкалывали. А тебе — чхать! Тебе лишь бы петь народу осанну, а как бедствует он — не твое дело. На костюмчик с рубашечкой он тебе наработает. У крепостника было свое, и чего-то он все же берег, а у тебя — чужое, и потому ты все это не жалеешь и готов по ветру пустить.

— Путаник ты,— сказал Сеничкин.— Прямо говори: любишь ты свой народ?

— Ну, люблю...

— Ты согласен, что наш народ — великий народ?

— Предположим,— буркнул Курчев. Ему стало скучно спорить, так же, как гоняться по столу за последним шаром. И победа на биллиарде и победа в споре ничего не значили.

— Тогда из-за чего орем? — победительно поглядел на него Сеничкин.

— По-твоему, не из-за чего? Но для большого, вернее великого народа унизительно хвастаться.

— Не хвастаться, а собирать и беречь традиции.

— Ну и береги. Только как беречь, не хвастаясь? Для того, чтобы беречь — надо агитировать. А агитируя, унижаешь других.

Спор становился бесплодным. Снял с гвоздика квитанцию, Курчев заплатил в кассе за лишние минуты, забрал у гардеробщика пальтишко и ушел, не попрощавшись с Сеничкиным. Еще не смеркалось, но вблизи реки здорово похолодало.

Все ему, думал Курчев. А тебе — хрен... и так далее.

Все дальше в сторону

Первые дни Марьяне, хотя она спала в одной комнате с сестрой и вернувшейся из лагеря родственницей, дома было легко и уютно, как в старых любимых туфлях, которые давно считала негодными, но вот случайный сапожник подклеил подошву, и, не веря в свое счастье, ты ступаешь сначала с опаской, — вдруг оторвется, но нет, держится, а ноге так вольно, что кажется — не идешь, а кружишься в вальсе. Проходит несколько дней, ты привыкла и не думаешь о туфлях, и вот тогда-то отклеивается подошва с носка, отрывается посередке, и уже не ходьба, а сплошное мучение, и горько, что обманулась, и ругаешь себя последней дурой — зачем зря обнадежилась.

Так или примерно так было с родным домом. Родственница прожила у них два дня. Ее кое-как экипировали, собрали еды

и денег и отпустили во Владимирскую область. Но оказалось, что вдвоем в комнате куда тесней, чем втроем. Сестра была капризная, избалованная, и Марьяна ощущала себя в доме точно старая подметка, которую уже не приклеить к туфле.

Стало обидно трястись по часу в день в набитых электричках ради ночлега, и в четверг Марьяна осталась ночевать у Кларки. Кларка ныла, жаловалась на одиночество и базедку. Твердила, что умрет на операционном столе, и похоже было, что в следующую среду ее положат. Так что надо было продержаться с неделю, а там перебраться к ней.

О муже все это время Марьяна думала мало, вернее думала в том плане, что ей не следует ничего предпринимать первой. Рано или поздно он все равно вернется — надо лишь выждать. Об Инге она и вовсе не думала, полагая, что та не вернулась из дома отдыха.

Но в воскресенье Марьяна переночевала у другой подруги, картавой Таньки Лапшиной, и та ввела ее в курс последних событий. Танька рассказала о смерти и похоронах старухи Рысаковой и о том, как Бороздыка и Сеничкин сидели с мертвой старухой, а аспирантка где-то пропадала четыре ночи подряд. Источник ее осведомленности был ясен: Игорь Александрович выводил на люди невесту Зарему, а он даром в гостях не питался, считал своим долгом в ответ накормить хозяев сплетнями.

Даже малозапомнившийся Таньке технический офицер, и тот был пристегнут к рассказу: Бороздыка утверждал, что три ночи аспирантка подарила военному ведомству.

— Этот офисей будто бы поучий квайтиу и обоснойся в Москве,— пояснила Танька.

Все это было чрезвычайно любопытно и неожиданно, и в понедельник утром Марьяна с помощью телефона установила, что Алеша почти перебрался в Докучаев переулок.

Поддав в себе столь естественную жажду скандала, она заперлась в служебном кабинете и провела разбор ситуации. Надо было ответить на несколько пунктов, как-то:

а) действительно ли Инга жила с Борькой;

б) как чувствует себя Алеша в чужой квартире, то есть: обиход, питание, быт (домработницы у Рысаковых не было, во всяком случае в домовый книге она не значилась. Впрочем, могла быть приходящая);

в) как Ингины родители отнесутся к тому, что на месте умершей старой родственницы так быстро появился новый и молодой;

г) как у Инги с диссертацией, не собирается ли она, наплевав на научную карьеру, обзавестись ребенком. (Последний

пункт особенно беспокоил Марьяну. Ей казалось, что она уже упустила время подкинуть Сеничкиным внука. Впрочем, она решила вернуться к этому пункту позже. Если Инга не родит, все обернется пошлым фарсом с перетаскиванием желтого портфеля и ее клетчатого чемодана.)

Были и еще пункты, касающиеся самой Инги, ее выдержки, характера — как-то: требовательности, избалованности и снисходительности. Надо сказать, что в браке с Жоркой мадемуазель Рысакова повела себя, как школьница.

«Что-то не похоже, чтобы она спала с Борькой,— все время возвращалась Марьяна почему-то к первому пункту.— Если она сошлась с Борькой, почему Борька ее отпустил? Как он с Алешкой? Обошлись без мордобоя? Ну, предположим, интеллигенты, комильфо и все такое прочее. Но все равно разговор у них должен был состояться. Да нет, не с Борькой она спала, с кем-то другим... Но с кем? С холостым мужчиной при комнате, это факт, но таких я что-то не припомню. Или новый сюжет из подмосковного дома отдыха? А вдруг все-таки с Борькой? Они тогда вместе ушли от нас, Борькин реферат ей понравился, она повезла его Крапивникову, и он стал ходить по рукам. Надо, кстати, сказать дураку, чтобы отобрал и сжег, и между делом узнать, была ли у него мадемуазель Рысакова».

И вечером в понедельник прямо с работы Марьяна отправилась на Переяславку. Дверь ей открыла маловыразительная соседка, из приотворенной двери в комнату доносилась английская песня «Гринфилдс». Лысый мужик сидел у старого патефона и сосредоточенно помахивал рукой в такт грустной песне.

— Привет,— сказала Марьяна, ставя чемодан на пол.

Мужик повернул к ней показавшееся странно знакомым полууголовное лицо и нелепо разинул рот, будто узнал ее.

«Ах да. Ресторан ЦПКЮ. Этот балбес еще хотел танцевать с Кларкой»,— вспомнила Марьяна.

— Что, опять в вихре вальса? — насмешливо спросила она.

«И откуда он их выкапывает?» — подумал Гришка, не решаясь помочь гостье раздеться. Но она не растерялась, подошла к гардеробу, достала оттуда висящий на плечиках курчевский китель и напялила на него свою беличью шубку. Потом, нагнувшись, достала из шкафа две толстые книжки, раскрыла одну, что-то прочла и улыбнулась.

— Так-с. Остановите-ка патефон,— приказала она.

Все еще робея, Гришка приподнял мембрану. Гостья сняла тонкий диск, повертела его в руках, посмотрела через него на висячую без абажура лампу и снова улыбнулась.

— Где этот дурень Борька? — спросила она.

— В бильярдной...— сообщил Новосельнов и, собравшись с духом, добавил: — А вам чего?

— Ничего. Просто интересно, в какой бильярдной? В той, что под рестораном в парке? Что ж вы его там оставили? Обдерут идиота. Небось еще выпили наверху?

— Не обдерут. Он с каким-то фрайером, с братом, что ли,— ответил обескураженный ее пронизательностью Гришка.

— А не измордуют они друг друга? — спросила гостья.— Киями глаз не выколют?

— С чего бы вдруг? — хитро осклабился Гришка. Он понял, что шикарная шмара в курсе Борькиной любовной незадачи.

— Значит, утешается этим? — Гостья положила тонкую пластинку на патефонный круг. Снова потекла грустная мелодия, но она, видно, не трогала красивую шмару. Вынув из сумки длинную красную коробку болгарских сигарет, она закурила и села на застеленный синим одеялом матрас. При ней непонятно-печальная английская песня не волновала Гришку. Он даже обрадовался, когда иголка доползла до центра.

— Слушайте, а не могли бы вы на недельку смотаться домой? — сказала вдруг шмара.— Правда, уезжайте, а то троим не поместимся,— и она вальяжно выпустила дым, причем пепел хоть и подполз к золотому мундштуку, все еще держался на длинной сигарете.

— Ну и бурда! — сказала она часа через полтора, когда Курчев внес из кухни большую кастрюлю и вылил остатки супа с костями ей в тарелку.— Неужели ее тоже этим кормил?

Курчев покраснел и косо взглянул на Новосельнова. Но тот все так же горбился на раскладушке.

— Кончай, Марьянка. А то я тебя тоже удивлю.

— Попробуй. А все-таки, Борька, чего она от тебя ушла? Померла тетка? Так небось та ее весь век заедала? А что бурдой кормил — смеюсь. Я бы не такое ела, лишь бы мужчина кастрюлю приносил. Не сердись. Суп в порядке, да и я голодная, как их брат в лагере.— Она кивнула на Гришку; тот не ответил, только еще больше съезжился на брезентовой койке.

— Чего к человеку пристала? — рассердился Курчев. С непривычки в его глазах мелькали бильярдные шары с крутящимися номерами, голубыми венозными прожилками и красными или желтыми пятнами, а Алешка медленно и элегантно намеливал полированный с крученой черной полосой кий.— Не каркай раньше времени. Он еще не сидел.

— Беденький.— Марьяна покачала головой, непонятно

кого жалея — Курчева, от которого ушла женщина, или Гришку, которому еще предстояла тюремная баланда.— Мы уже встречались. В ресторане, не бойся. У нас еще все впереди.

— Не предрекай. Я к его дружку определяюсь.

— К тому, что в валенках?

— Вот чума на мою голову! — рассмеялся Курчев.

— Ладно, сдаюсь,— Марьяна отсалютовала ложкой.— Все очень просто. У второго внешность несущественная. А валенки постоять за себя могут. В лагере ноги отморозил?

— Смотри, Марьяшка, поссоримся,— пробурчал Курчев.— За такое мужикам рыло бьют.

— Цыпленок жареный, цыпленок лысенький. Ты хоть кого-нибудь в жизни ударил? Небось кружил вокруг биллиарда, мечтал Алешке шаром запустить в глаз. Угадала? А меня цени, от тебя бабы уходят, а я вот пришла.

— Борис, я поеду.— Гришка набычился и поднялся с зеленой койки.

— Не обращай внимания.

— Нет, правда, поеду. Через полмесяца вернусь. А то груши околачиваю...

— Точно,— сказала Марьяна.

— Я не из-за нее... Денег на обмен достать надо...

Инга и Сеничкин сидели в дымной шашлычной на Ногина.

Лениво поддевая вилкой лобио, Алексей Васильевич думал, что еда вне дома, превращаясь в повседневность, теряет свою праздничность. Инга, по-видимому, здорово проголодалась, потому что уже расправилась с лобио, и теперь жевала зачерствевший лаваш. Быт не налаживается, думал Сеничкин. У них, вероятно, готовила покойница, а теперь все кувырком. Но каждый день в ресторанах не покормишься. Особенно с грудным ребенком, если, не дай Бог, появится...

Ему не жаль было денег. Он просто смотрел в лицо фактам.

Впрочем, предки вернутся, что-нибудь наладят. Он тут же решил не печалиться из-за пустяков.

— Они что там, заснули? — сказал погромче.

В этой грязноватой шашлычной качать права было бесполезно. Рыхлые бесцветные официантки больше вертелись вокруг провинциальных пьяниц, зарабатывая на обчете и разбавленном коньяке. Сеничкин же не заказал даже вина.

Нет, он вовсе не жадничал. Просто с тех пор как он поселился у Инги, его занимала мысль купить ее портрет, написанный одним художником год назад в пору ее медового месяца

с Крапивниковым. Оттого, что жизнь с Ингой складывалась не так, как он предполагал, и их чувство требовалось чем-то подпитывать, Сеничкин постоянно думал об этом портрете.

(Встретив Ингу у Георгия Ильича, один непризнанный художник предложил ее написать, и Инга, чтобы поддержать бедствующего живописца, согласилась. Но позировать оказалось очень утомительно: надо было каждый день приходиться к художнику рано утром и все время носить одно и то же. Лучше бы согласилась на ню, порой злилась Инга.

Портрет на импровизированном вернисаже завсегда, набившиеся в холодную и светлую мастерскую, нещадно хвалили и, мешая прихваченные коньяк и водку, соревновались друг с другом, изобретая подчас тонкие, взаимно исключающие соображения. Больше всех, как всегда, изощрялся Бороздыка. Художник, казалось, слушал гостей вполуха и подмигивал Инге, дескать, не робейте.

Она не робела, и портрет ей нравился, хотя ей трудно было поверить, что эта сотворенная из масляных тюбиков женщина и есть она. Получалось примерно то же, что с недавно вошедшими в моду магнитофонами. Говоришь в решетку мембраны, запись идет на твоих глазах, кассеты крутятся, а голос все равно не твой.

Крапивников тоже очень хвалил работу, но почему-то о покупке не заикнулся.

После бегства Инги в дом отдыха Сеничкин, тоскуя, навзвася к художнику в гости и твердо решил купить портрет за три тысячи. Почему именно за эту сумму, Сеничкин не смог бы объяснить. Видимо, в мозгу засела сумма, обещанная отчимом Борьке. И теперь, ревнуя и опасаясь, как бы Борька чего доброго не купил на подаренные дядькой деньги этот портрет, Сеничкин решил купить его первым.)

И вот теперь, в ожидании карского шашлыка Сеничкин думал, как его высокая любовь сублимируется в этой покупке. Раньше купить холст он не мог: дома его держать было нельзя. Не говоря уж о Марьяне, мамаша ни за что бы не позволила повесить на стену эту декадентскую формалистическую мазню. А вот явиться примаком с портретом молодой жены — в этом есть стиль, это заманчиво. Что-то в этом элегантно, оригинально. И Сеничкин, предвкушая свое появление в Докучаевом с полотном под мышкой, спокойно ждал перемены блюд.

Свет в комнате был погашен. Гришка давно ушел, должно быть, уже спал в ночном поезде. Курчев лежал на раскладушке и, хотя знал, что Марьяна не спит, думал сейчас не о ней, а о

соседке, Степаниде. Марьяна погостит и уйдет, а со Степанидой ему в этой хавире жить до самой смерти. Не хотелось портить отношения с соседкой. Пока что она лишь здоровалась чуть неприветливей, видимо, из-за гостя, хотя Гришка всю неделю к ней отчаянно подлизывался.

Теперь, лежа на новом, еще не продавленном брезенте, Курчев радовался, что Степанида не столкнулась с Валькой-монтажницей и почти не видела Ингу. Впрочем, может, соседка не столько боролась за мораль, сколько не любила шума и грязи.

— Почему не спишь? — с легким смешком спросила Марьяна.

— Да так... — вздрогнув, отозвался он из своего угла: он забыл о ней.

— Не расстраивайся. Вернется.

— Да ну тебя!..

— Вернется. Я зря не скажу. И Алешка ко мне приползет. Все это так... игра в ручеек, кошки-мышки, испорченный телефон и тому подобное. Я не верю, что кто-то от кого-то убежит. Побалуются и назад... Вроде ваших самоволок.

Любопытный у нас разговор, улыбнулся Курчев. Марьянка лежит под моим одеялом, в трех шагах, а я черт-те о чем думаю.

— Не веришь? Решил: утешаюсь? Нет. Мне и сейчас неплохо. Не один Алешка на свете.

— Знаю. Одного, во всяком случае, знаю. К. Р. Помнишь, музыка Чайковского на слова К. Р. Великий князь.

— Не улавливаю...

— Рашупкин. Мой командир полка.

— Сам доложил?

— Нет. Свекруха твоя вычислила. — Засмеялся Борис и тут же добавил: — Не дрейфь, шучу.

— Ольга и правда нас однажды встретила, — отозвалась Марьяна. — Но это ничего не меняет. Я умру на Алешкином диване, а Инга нарожает тебе кучу младенцев. И вообще хватит!.. Иди сюда, а то я шею сверну. Не могу разговаривать к тебе затылком.

Курчев поднялся с раскладушки и запросто, словно дело происходило днем и он был в полной форме и в сапогах, а не в трусах и майке, двинул к Марьяне.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказала Марьяна в следующую ночь. Они лежали рядом, курили и сбрасывали пепел в поставленную Курчеву на грудь консервную жестянку. — Не надо, Боренька. Мне, конечно, приятно, но это полная чепуха. И прежде всего, несерьезно.

— О чем ты?.. — не понял Курчев, потому что голова была полна путаных, вялых мыслей.

— Сам знаешь, — усмехнулась Марьяна. — Ты, Борька, прозрачный. — Теплый пепел с ее сигареты упал Курчеву на ключицу, но красный огонек не осветил Марьяниного лица. — Не надо предлагать мне руку и сердце, — сказала она резко, будто разговор об этом шел уже давно. — Я тебе благодарна, но не надо.

— Ну и ну, — вздохнул не слишком ошеломленный Курчев. Среди двух десятков мыслей, крутившихся в его мозгу с бестолковостью предоставленных самим себе солдат, действительно была и такая: а что, если жениться на Марьянке? Ночью ему с ней было хорошо и спокойно. Но весь день он провалился на матрасе, чувствуя, что куда-то проваливается — уж не в то ли самое Моревское болото?

— Скажешь, не угадала? — спросила Марьяна.

— Угадала.

Ему не хотелось опровергать ее. Лучше было так лежать, курить и вполголоса перебрасываться малозначащими словами.

— Не надо, Боренька. Мы очень близкие люди. Но все-таки это не то. Я люблю Алешку. Вернее, не люблю, но все лучшее, что было во мне, я положила на него, и ничего другого у меня уже не осталось. Как бы тебе объяснить?! Предположим, как если бы на Западе или у нас до революции я вложила накопленные деньги в какую-нибудь недвижимость. Например, в землю, где нефть или золото. Приобрела участок, а никакого золота там нет. И вот я, владелица того, что ни черта не стоит. Вернее, для других — ни черта не стоит. А для меня — это все! Пусть золота там нет, но в этом участке вся моя жизнь. Гляжу на него и вижу, как жила, как копила, как от всего отказывалась и видела только эту землю, которая, надеялась, столько принесет!..

— Так уж и отказывалась! — не удержался Курчев.

— А ты слушай и не перебивай. И не груби. Я с тобой, как с понятливым... — Она шутливо провела ладонью по его лицу, потом взяла его руку и провела по своему телу вниз от груди к ногам. — Понимаешь, так всегда хорошо... И фокуса тут никакого. А вот чтобы так... — она подняла его руку и провела ею по своей голове, по коротким и гладким волосам... — это может раз, ну два раза за жизнь хорошо бывает, а больше — нет. Понятно?

— Ага, — Курчев раздавил в консервной банке недокуренную сигарету и обнял женщину.

— Так что брось об этом думать,— сказала она потом, зевая и вытягиваясь во всю длину матраса.— А то больше оставаться у тебя не буду.

Голос у нее был усталый и тусклый, словно они не лежали в постели, а досиживали в долгих и скучных гостях.

Курчев вновь не стал с ней спорить.

Дружба в койке, думал он. Что ж, можно и дружбу...

Он чувствовал, что в промежутках становится недопустимо безучастным и только силой воли заставляет себя поддерживать разговор.

— Хочешь, чтобы я не приходила? — спросила Марьяна.

— Нет,— он и сам не знал: врет он или не врет.

— Хочешь, чтобы она вернулась?

— Нет.

— Колешься. Бриться надо... Не волнуйся, вернется. А мне с тобой хорошо, я тебя к ней не ревную.

«И с Ращупкиным тебе было хорошо...» — беззлобно подумал Курчев.

— ...А выкинул бы ты из головы, что обязан на мне жениться, и вовсе было бы отлично. Потому что томишься по мадемуазель Рысаковой, жениться хочешь на мне и ругаешь себя, что не звонишь Кларке. Ты ее тоже в жены звал?

— Нет.

— Не тушуйся. Все исполнится, как Марьяна Сергеевна нагадала. Еще на свадьбе твоей погуляем. Подарим с Алешкой тебе чайный сервиз. А то стыд один: из жестянки пьем.

— Брось.

— Женишься, друг. Женишься. А если нет, полный идиот будешь. Неужели не простишь?

— Нет. Ничего ведь не было...

— Мне хоть не ври. Я не меньше твоего на нее злюсь. Только она не виновата. Понимаешь, девчонка втюрилась, а это требуется довести до конца. Все равно как закрыть дело или в математике — тему. Любовь надо вылюбить, а то свербить, сверлить, нить будет. А так — переспала и избавилась. И все. И тебе же, Борька, лучше будет. Разлюбит она Алешку. Вот увидишь.

— Это не мое дело.

— Ну и дурень. Значит, выгонишь ее и будешь в этой конуре сидеть. Бриться бросишь. Станешь, как человек из подполья, подонок Достоевского. Под конец жизни напишешь воспоминания «Пятьдесят лет в углу». Да по мне самый последний потаскун лучше занюханного анахорета. Обозлишься вроде Бороздыки. Впрочем, тот уже женился. В свадебное путешествие на Север едет. Иконы воровать. Кстати, звонил мне сегодня в

прокуратуру. Адрес твой спрашивал. Говорит, слышал от Алешки, что у тебя самая маленькая в Советском Союзе пишущая машинка. Хочет одолжить — путевые впечатления записывать.

— Еще чего...— рассердился Курчев, вспомнив, как один старшина-сверхсрочник выпросил у него чемодан съездить в отпуск, а потом, оказалось, что он демобилизовался.

— Или, думаешь, вылезешь из угла? — спросила Марьяна.— Днем будешь в шарашкиной мастерской вкалывать, а ночью сочинять свое? Не выйдет, парень. Из шарашкиного ателье выпрут или того хуже — упекут. Да не в одних неприятностях дело. Просто жить в обществе...

— Знаю,— дернулся Курчев.— Не надо, а то поссоримся,— и он прижал ее лицо к своему плечу, чтобы молчала.

А километра за полтора по прямой от курчевской комнатенки Инга и Сеничкин молча лежали рядом и каждый старался убедить другого, что спит.

В среду Клара Викторовна легла в больницу, и Марьяна к Борису не пришла. Целый день он слонялся, небритый, в тапках на босу ногу, пытался что-то писать, но работа не клеилась. Он чувствовал, что безнадежно опускается — ему было лень даже натянуть сапоги и сбегать в продмаг за сигаретами.

В четверг он проснулся в четверть второго, перекипятил начавший кисать мясной бульон и с удивлением обнаружил, что не такой уж он отчаянный дымокур. В тусклом осколке зеркала он увидел свою четырехдневную щетину и остался доволен. Можно было заняться отращиванием бороды.

В пятницу Степанида, сжалившись, сварила ему суп, и Курчев хлебал его до воскресенья. Чемодан Марьяны уже начал покрываться пылью, и Курчев перестал о ней думать.

Несмотря на то что он целый день валялся на матрасе, мысли о женщинах его не посещали. Он действительно опускался. Любимая машинка, маленькая железная малявка, и та не вызывала в нем прежнего восторга. Курчев убрал ее в шкаф, уговаривая себя, будто прячет от Бороздыки. Туда же убрал он и Марьянин клетчатый чемодан, сунув его в один из своих кожаных.

Бороздыка явился в воскресенье. Карманы его пальто были заштопаны, пола подшита, и вообще Игорь Александрович в от-

личие от Курчева был как-то подчеркнуто отутюжен, подтянут.

— Обленились, милсдарь,— проговорил он снисходительно и опустил на табурет, предварительно обмахнув его большим клетчатым, еще не засмарканным платком.— Извините, что без приглашения. Вам Марьяна Сергеевна не передавала моей просьбы?

— Я ее не видел.

— Полноте, милсдарь... Это секрет полишинеля.

Несмотря на то что Игорь Александрович пришел одалживаться, не говорить гадостей он не мог.

— Я заходил к Сеничкиным, Ольга Витальевна вами пре-недовольна. Считает, что вы разрушаете семью. Не получили бы вы этой комнаты, Марьяна бы не ушла.

— А что еще говорила Ольга Витальевна?

— Больше ничего. Мы едва знакомы. Но вообще-то в семье траур. Ваш онкль, по-видимому, не будет избран президентом известной ассоциации и сбрасывается на низовку. Раньше это так называлось. Вы что, порвали с ними?

— Нет, просто гриппую.

— Что так? На дворе весна. Вы еще молоды, вон плечища какие, кровь с молоком, а хвораете. Встаньте. Сделайте зарядку. Окатите брэнное тело ледяной водой. Стыдно опускаться. Мадемуазель Рысакова, поверьте мне, того не стоит.

«Выгнать его, что ли?..» — подумал Курчев.

— Не обижайтесь. Я дело говорю. Одно время я и сам был, можно сказать, увлечен ею...

— Я помню. Мы с ней шли, а вы дрожали в переулке. Мороз тогда был крепкий,— злясь на себя, выпалил Борис, но тут же оборвал себя: заткнись, не связывайся с ним. Мало того, что ты опускаешься, так еще распускаешься, как баба...

— А вы ревнивый,— усмехнулся Бороздыка, но вспомнил, что пришел за машинкой — она ему была позарез нужна, так как в выклянченном у секретарши Серафимы Львовны командировочном удостоверении указывалось, что писатель И. А. Бороздыка направляется в Карело-Финскую ССР для написания очерка о памятниках русской старины. (Еще Стива Облонский считал, что охотник может быть одет в любое тряпье, но ружье у него должно быть новенькое. То же и с писателями, полагал Игорь Александрович. Тем более что писатель ехал с молодой женой.)

— Должен вас утешить,— сказал Бороздыка.— У вашего кузена с интересующей вас особой что-то...

— Это меня не касается,— оборвал его Борис. «А машинки я ему точно не дам»,— подумал он.

— У вас ко мне дело или так, сотрясение воздуха? — спросил, насупившись.— А то я бороду отпускаю, и вид у меня не для приема гостей.

— Я заметил. Но вы зря так расстроились. Она вас не стоит.

— Если вам хочется говорить о женщинах, я не в форме,— буркнул Курчев.

— Зря. А то известная особа...

— Я же вам сказал!..

— Хорошо. Как хотите. Вообще-то я пожаловал к вам ввиду вашей исключительной тайп-райтер.

— Авторучки, что ли? — глупо спросил Курчев, надеясь выиграть время.

Он уже знал, что выдаст этому хмырю малявку.

Слизняк, ругал он себя. Да он ничуть не лучше Зубихина. Особисту ты отказал, а ему не можешь? Общественного мнения боишься. На общество плюешь, а мнения его боишься.

— Ах, пишушую машинку?..— Курчев покраснел и полез за своим сокровищем.— Пожалуйста. Открывается вот так,— он нажал рычажок замка.— Все очень просто.

— Мне недели на две,— важничал Бороздыка.

— Все равно,— отмахнулся Курчев.

Ему действительно было все равно, как вдовцу, у которого спрашивают, какой братъ гроб. Он уже простился с машинкой, как полторы недели назад с Ингой Рысаковой, и сейчас лишь хотел, чтобы Бороздыка поскорее убрался из его комнаты и не лапал при нем малявку.

Сукин кот, крыл себя. Сукин интеллигент. Почему не пошел в Докучаев, не дрался? В биллиард резался... Тьфу... А теперь этого идиота робеешь и сам ему малявку суешь...

— Знаете, Бороздыка. Если у вас больше нету дела, катитесь отсюда к едрене-матрене,— сказал Курчев, отнюдь не надеясь, что Бороздыка обидится, хлопнет дверью и оставит машинку на столе.

— Однако вы себе позволяете...— Бороздыка приподнялся и уронил машинку себе на колени.— Ох, кажется, цела,— он поднял машинку на стол и закрыл прямоугольным футляром.— Нельзя так распускаться, Борис Кузьмич. Ведь я могу и оскорбиться, а между тем я вам еще пригожусь. С аспирантурой решили?

— Не решил... Идите, ради Бога. У меня голова раскалывается.

— Я прощаю вам ваши выпады. Вы сами о них пожалеете. Будем считать, что я их не слышал. До скорого.— Бороздыка махнул новенькой светло-серой кепкой и ушел.

Спустя минуту Курчев уже был готов как есть — в нижней

рубаше и босиком — бежать за Бороздыкой. Он кинулся к окну, отколол верхнюю кнопку, оборвал кусок газеты, но увидел лишь отходивший от остановки троллейбус. Долго и занудно ругался, потом, по армейской привычке разгладив обрывок, прочел:

«Экономико-статистический институт. Защита диссертации». Дальше было оторвано, но еще можно было разглядеть: «производительности труда» и «кандидата экономических наук».

Увидев некий знак в этом объявлении, Курчев на другой день, побрившись, поехал в экономико-статистический институт и в своем уже не вполне свежем венгерском костюме толкался по набитым девчонками коридорам, чувствуя себя непонятно кем — ни студент, ни аспирант, ни разбери-пойми...

В библиотеках лучше, думал он.

Защита диссертаций шла в почти пустой аудитории. Курчев насчитал восемнадцать человек, включая членов комиссии, но к концу защиты в зале не осталось и половины.

Ученый секретарь, молодая девчонка со стертым лицом и взбитыми крашеными кудельками, звучным голосом прочла анкету соискательницы. Семнадцатого года рождения, член партии с 1947 года. Дальше шел перечень мест работы. Соискательница нигде дольше двух лет не задерживалась.

Затем вышла она сама. Хотя ей было всего тридцать семь, выглядела она на полсотни. Рот сверкал золотыми зубами, тело просто-таки рвалось наружу из черной юбки и белой импортной кофточки. Шла она к кафедре не с большей охотой, чем камчадал к доске, а на кафедре стала тянуть kota за хвост. Слова еле выталкивались из ее широкого дряблого рта. «Ну» она употребляла чаще всех других слов.

Господи, думал Курчев. Да будь я завучем, я бы ее в девятом классе оставил на второй год. А она защитится и, глядишь, помрет академиком.

— Было проведено обследование двадцати шести предприятий ткацкой промышленности и выведено заключение, что рост производительности труда зависит... — тут диссертантка поплелась к развешанным на коричневых досках таблицам и стала тыкать в них указкой.

Это туфта, думал Курчев. Она умножает часовую выработку на восемь, потом на двадцать шесть, потом на одиннадцать с половиной, так у нее получается выработка за год, а потом все делит в обратном порядке и опять получается среднечасовая. Не злись, ты ведь в этом ничего не понимаешь, тут же он оборвал себя, потому что диссертантка действительно перешла к мало-понятым выкладкам с индексами. Но выводы ее были по-прежнему бессмысленны. Увеличение числа работающих не вело к

увеличению производительности труда. В то же время сокращение числа работающих так же не увеличивало производительность.

Никто из сидевших в зале не слушал. Несколько женщин переписывали что-то из раскрытых подшитых папок в толстые клеенчатые тетради. Трое очкастых членов комиссии довольно громко переговаривались и даже посмеивались, но, видимо, не над соискательницей, а над чем-то своим, вовсе не имеющим отношения к защите.

Следом за диссертанткой выползла на кафедру ее научная руководительница, седая раскоряченная калека с лицом и голосом школьной учительницы. В диссертации она тоже не слишком разобралась и в основном хвалила соискательницу за обширность собранного материала. Затем довольно долго пересказывала содержание, но делала это куда бойчей, чем диссертантка.

Выступившие следом двое оппонентов сказали, что в общем работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и привели, не слишком, впрочем, напирая на них, с десяток огрехов, которые ни в коем случае и насколько не снижают ценности данной работы.

Затем был объявлен перерыв, и, проголодавшись, Курчев спустился в студенческую столовку. Кормили неважно. С аспирантурой кончено! Один позор и дерьмо, решил он и поехал к себе.

В комнате сидела Марьяна и перелистывала «Ярмарку тщеславия».

Сеничкин жил у Инги вторую неделю, и они еще ни разу не поссорились. Но они чувствовали, что как раз из-за этого между ними вырастает невидимый забор невысказанных обид, и с каждым днем все труднее через него переговариваться; и, встречаясь вечером в Иностранке, они торопились в кафе, а оттуда домой.

На широкой родительской тахте им было хорошо, особенно если потом сразу удавалось уснуть. Теперь, на второй неделе этого полубрака, Инга все чаще думала о неминуемом возвращении родителей. Глава неожиданно сдвинулась с места, потому что Инга вдруг стала писать не о тщеславии героев, а об их разьединенности и глухоте, о некоммуникабельности, как любил говорить Крапивников. Роман Теккерей отвечал и такому взгляду, так что можно было писать главу, как дневник.

Так и надо, думала она. Без личной причастности ничего не выйдет. Холодных исследователей без того достаточно...

С печальным удивлением она перечитывала торопливо испи-
санные страницы и жалела, что не может их показать Курчеву.
Его письмо о «Ярмарке...» она так и не расшифровала. Первые
дни было не до писем, потом не до Курчева. Будь у него теле-
фон, она ему, может быть, и позвонила... Но ведь после всего
не явишься с просьбой прочесть твои странички. И письма ему
она тоже не написала, потому что глупо переписываться с че-
ловеком, живущим за шесть кварталов.

Диссертация занимала часть души, оставшееся место менее
прочно оккупировал страх. В субботу утром пришла телеграмма
«Беспокоимся молчанием звонили многократно». Инга, встретив
разносчицу на лестнице, не особенно раздумывая, отправила
ответную депешу: «Телефон выключили ошибке будто неуплату
Целую Инга». Но уже через четверть часа, в порыве раскаяния,
поехала на Курский и купила в предварительной кассе билет на
понедельник.

— Я уеду послезавтра,— сказала она вечером Сенички-
ну.— Неудобно явиться к ним перед самым их отъездом...

— Что ж, так, наверно, лучше,— сказал Сеничкин.— Нель-
зя жить под дамокловым мечом. Когда, кстати, поезд?

— В час с минутами.

— Жаль, не успею,— виновато улыбнулся он.— Как раз
лекция.

— Ничего. Я только на неделю, да и чемодан у меня легкий.
Ты пока тут живи.

Сеничкин промышчал нечто неопределенное в том смысле, что
неважно, где он будет ее ждать.

Разумеется, неважно, подумала Инга. Все неважно. Как
принес свой портфель, так и унесет. Даже такси можно не брать.

Ночью она долго лежала с закрытыми глазами и чувство-
вала, что он тоже не спит. Ей хотелось, чтобы быстрее наступил
понедельник и она бы уже сидела в плацкартном вагоне.

В воскресенье они встали, не выспавшись, и Сеничкин вдруг
объявил, что ему надо к отцу в больницу. Накануне он обмол-
вился, что туда пускают с двух. Но Инга не стала его уличать,
понимая, что для него она уже не здесь, а в спешащем на Кав-
каз поезде.

— Хорошо. А я пока соберусь,— сказала она, тоже забыв,
что вчера вечером объявила, что ничего с собой не возьмет.

Но когда за Сеничкиным хлопнула дверь, Инга вытащила
из-под тахты старый чемодан.

Было начало двенадцатого. Вырвав из тетради лист, она
написала:

«Алеша!

Они только что звонили. Я попытаюсь переменить билет на сегодня.

Целую, Инга».

Через четверть часа, когда она с не таким уж легким чемоданом торопилась по Спасской к троллейбусу, из параллельного Докучаеву Скорняжного вынырнул мужчина с железным ящичком в руке.

— Игорь! — крикнула Инга, узнав сначала машинку, а затем уже Бороздыку.

Игорь Александрович обернулся, демонстрируя свой благополучный вид: карманы пристрочены, пуговицы на двубортном пальто пришиты, хоть и в один ряд.

— Тоже отбываете? — спросил Бороздыка. — А где доцент?

— В Кремлевку поехал. Вы за иконами? Зачем лейтенанта ограбили? — Инга кивнула на железный ящичек. — Вы же печатать не умеете.

— Ничего, в поезде научусь.

— Знаете, Ига, верните машинку. Вы ее непременно сломаете или где-нибудь забудете. А чего доброго еще кому-нибудь презентуете.

— Не каркайте. У нас по части угадайки Марьяна Сергеевна. Или соревнуетесь?

— Ига, честное слово, верните! — Она поставила чемодан на мокрый асфальт и протянула руку к железному ящичку.

— Ну, вы это бросьте. — Бороздыка отвел руку с ящичком за спину. — Лейтенант мне хамил, словно в казарме. Нет и нет. — Он попятился от Инги.

— Хотите, вот в лужу плюхнусь, — чуть не со слезами молила Инга, представляя, как не хотел Курчев отдать машинку. — Хотите... что хотите для вас сделаю.

— Спасибо. Уже не требуется, — съязвил Бороздыка, но, испугавшись, перебежал на другую сторону улицы.

«Сволочь! Сволочь!» — чуть не крикнула Инга ему вслед: он размахивал пишущей машинкой, словно это был пустой бидон из-под керосина.

— Негодяй, — сказала она и подняла руку: с Садового на Спасскую сворачивало такси. Водитель довез ее до Курского, где ей в кассе обменяли билет, и, сунув чемодан под нижнюю полку, Инга долго еще бродила по перрону, сожалея, что не может позвонить Курчеву.

Она стала сочинять в уме письмо, которое хотела отправить ему из Кисловодска. О встрече с отцом и матерью она старалась пока не думать.

— Послезавтра Кларку режут. Плачет бедняга. Просила принести шмутки. Хочет сбежать. Уверяет, видела сон, будто помрет. Не жалко ее? — спросила Марьяна.

— Жалко,— признался Курчев.

Они снова курили в темноте.

— Ничего тебе не жалко. Ведь сбежал: телеграмму отстучал, а сам — дёру. Все вы такие,— беззлобно сказала Марьяна.— Но и мы не лучше. В больницу придешь?

— Приду.

— И в больницу не придешь. Побоишься, чтобы Кларка лишнего не подумала. Не бойся. Я ей сказала, что у тебя роман с мадемуазель Рысаковой.

— Хватит...

— Какое хватит, когда только начинается... Мадемуазель укатила вчера в Кисловодск.

— Врешь.

— Ладно. Не пыжься. Я не ревную. Давно пора по Екклезиасту все вернуть на круги своя. Ты женишься на мадемуазель, я рожу Алешке пашенка, а Кларке разрежут шею, и она увидит небо в алмазах.

— У тебя все просто...

— Просто не просто, а пора остепениться.

— Бедный Рашупкин!..

— Не хами.— Она толкнула его локтем.— Поссоримся. А я тебе еще ох как пригожусь!.. В шарашкино ателье поступишь?

— Может, и нет. Погляжу.

— Глядеть нечего. Надо сразу поворачиваться, туда или сюда. Я думала о тебе. Не обязательно идти служить. Можно черной работой кормиться, вроде Бороздыки. Кстати, взял он у тебя машинку?

— Взял.

— Ну и балда же ты. Придется новую покупать, а второй такой не достанешь. Так вот можно и халтурой жить. Жорка Крапивников подкинет, дадут и в другом месте, а там и в третьем. Парень ты не ленивый. Платят, понятно, жиденько, но как-нибудь обернешься, а остальное время будешь писать свое. Это тот же «угол» Достоевского, то же подполье, но облегаленное. Литературный работник — не придерутся... Только за, скажем, восемь сотен вкалывать придется, как другому за восемь тыщ. И сил, конечно, на свое мало останется. Но ты парень могучий. Авось кровью харкать начнешь не скоро, чего-нибудь успеешь. Жутко жалко тебя, Борька, но без таких идиотов, как ты, было бы еще хуже...

— Не знаю,— смутился Курчев.

Поднявшись на другое утро в девятом часу, Курчев никак не взял в толк, как он своими руками отдал Бороздыке машинку. Марьяна еще не просыпалась, соседка была на дежурстве, и он бы мог сидеть в кухне, но, расхристанный, как Чапаев, в бриджах, в нижней рубашке и тапках на босу ногу, Курчев слонялся по коридору, ожидая ухода Марьяны: его распирала жажда деятельности.

Ночной разговор разбередил его вовсе не потому, что он узнал об отъезде Инги. Инга была далеко не только географически. Она была и вообще далеко. Он так глубоко ее запрятал, словно она была куском динамита или адской машиной, и он думал лишь о себе.

За все надо платить, за любовь, за семью, за детей, если появятся. Да еще втридорога, сказала вчера Марьяна. А тебе, Борька, вообще в сто раз дороже... Сам знаешь, что мадемуазель Рысакова к тебе вернется, но хочешь зарыться в этой конуре. Не хочешь жить в наше время. Потому и не хочешь простить. Верно? Вешаться не хочешь, но прощать тоже не хочешь.

Марьяна угадала. Курчев не мечтал о самоубийстве. Армия отучила от подобных глупостей. Если ходишь «через день на ремень» с заряженным коротким ППС, который ничего не стоит уткнуть в грудь, мечты о смерти бессмысленны. В институте он еще грешил ими, в армии — никогда.

Нынче, бродя по пустой квартире, он тоже думал не о смерти, а о широкоплечем, высоком и лысом художнике, которого увидел у Крапивникова. Как тому удастся сводить в этом веке концы с концами?

Теперь ему — прямо вынь да положь — нужен был художник, хотя накануне Курчев о нем не вспоминал. Ему сейчас казалось, что этот занятый совсем иным делом человек и есть обладатель истины.

— Художник, пожалуй, ничего, хороший художник, — сказала о нем Инга. С Марьяной же говорить о художнике не хотелось. Марьяна обо всем догадывалась, это было утомительно.

В дверь постучали. Стук был негромкий, но властный и веселый, словно человек точно знал, что ему откроют, обрадуются и впустят. Так стучат почтальоны, принося денежные переводы, но Курчев ни от кого их не ждал.

«Уж не Алешка ли?» — растерянно подумал Курчев, но это оказался Ращупкин.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — сказал шепотом Курчев, отступая в глубь коридора и загораживая дверь в комнату. — Извините, у меня... — он помялся, — знакомая...

Подполковник, одиноко высясь в низком и темном коридоре, еще только соображал, что ответить, как вдруг, будто нарочно, запахнулась дверь, и из-за спины Курчева в наброшенной поверх ночной рубашки шинели с полотенцем в руке лениво выплыла Марьяна.

— Салют,— только чуть-чуть, на мгновение смешавшись, кивнула она Ращупкину и, даже не запахнувшись, прошла в кухню. Дескать, разбирайтесь сами, мне некогда.

«Сделать, что ли, из него котлету?» — Ращупкин поглядел на побагровевшего лейтенанта, но лишь козырнул и, пробурчав: «Виноват!» — пригнулся, едва не задев роскошной фуражкой сенную притолоку.

«Выходное как пить дать срежет. И черт с ним»,— подумал Курчев, хотя денег оставалось меньше полутора сотен. Был вторник, тридцатое марта, надо было тянуть до десятого, конца отпуска. Оставалась, правда, надежда на возвращение Гришки. Ждать же обещанных дядей Васей трех тысяч было бессмысленно.

— Влопался? — спросила Марьяна, возвращаясь из кухни.

— Да что он мне теперь? Я уже — тю-тю,— присвистнул Борис, распрощавшись с выходным пособием и годом выплаты за звание.— Тебе вот как?

— А мне что? Покохевряжится и как миленький приползет. Вопрос только, захочу ли? А гадить тебе не будет. Понимает, что тогда со мной — все. Примет пару бутылок и отойдет. Не расстраивайся.

Она ошиблась только в одном. Ращупкин пить не стал. Злобно матерясь, он влез на заднее сидение «Победы» и велел везти себя на окраину к Затирухину. Разные мысли крутились в его голове, но Затирухина он попросил лишь не мурыжить с курчевскими документами, тотчас переслать их в полк.

— Глаза б мои на него не глядели,— сказал Ращупкин.

— Что ж либерализм разводишь? Лиши выходного и привет. Натворил чего? — спросил начкадрами.

— Ну его, пачкаться...— нахмурился Ращупкин. Но в душе он отчаянно жалел, что командует полком и не может свести счеты с этим черт-те чего о себе возомнившем занюханым историком.

Он представил, как входит в курчевскую хибару, сбрасывает шинель и гоняет лейтенанта из угла в угол, молотя кулаками по его широкой скептической харе, пока хара не превращается в сплошное красное пятно и лейтенант, сплевывая желтые зубы, не начинает выть, как роженица.

На круги своя

Дом был каменный, но неказистый, запущенный. Поднимаясь на второй этаж по холодной сырой с подтеками лестнице, Курчев увидел на полумарше уборную с умывальником. Свет в ней забыли погасить и дверь не притворили.

«Хуже, чем у меня,— подумал он.— У меня хоть топят, а тут в пору шубу надевать».

Курчев уже второй день искал жилище художника. Женщина Татьяна, которой дозвониться было труднее, чем в железнодорожную справочную, адрес знала весьма приблизительно.

Дверь открыл художник. Вид у него был встревоженный и затравленный, словно он занимался чем-то недозволенным.

— Извините,— сказал Борис.— Вы меня не помните? У Крапивникова, я тогда был в армейском.

— Ах, да.— Художник провел рукой по лысому черепу, но от дверей не отодвинулся.

— У вас телефона нет... Я пойду. Только скажите, когда можно прийти...

— Хорошо. Заходите. Я уже закругляюсь.

Курчев вошел в темную кухню, где горела газовая двухконфорочная плита, а через нее попал в холодную, но очень светлую комнату со стеклянными стенами, отчего комната напоминала оранжерею.

— Не раздевайтесь. Здесь не Сахара,— сказал хозяин, поворачивая к стене деревянную махину, которая, как вспомнил Курчев, называлась мольбертом. На ней что-то желтело посреди белого холста.

— Так что привело вас в мои палестины? — спросил хозяин.— Картинки поглядеть пришли?

Художник вышел в кухню и в два приема принес четыре картины.

— Вот глядите. А я доуберусь.— Он поднимал с пола измазанные краской газеты и складывал в большой цинковый бак.

Курчев вздел очки, сел на табурет — тот стоял к нему ближе, чем стул,— и уставился на холсты. На всех четырех были изображены не люди, а различные предметы. На одном желтые шары на желтом столе. На втором — какая-то стеклянная глыба и небольшие осколки. Весь холст был серо-зелено-голубого цвета; непонятно как, но на серо-зелено-голубом различалось серо-зелено-голубое. И глыба и осколки были очень четкими, вещными, но при этом загадочными. Третий холст походил на второй, только на нем глыба помещалась справа, а осколки (их уже было не четыре, а шесть) слева. Да и холст был чуть шире.

Но больше всего Курчеву понравилась четвертая картина. Странной формы, узкая и длинная, в высоту она была меньше одной пятой длины. На гладкой поверхности выстроились наподобие городков грязно-серо-желтые цилиндрики, кубики и шары. Они шли от левого края картины к правому, причем дистанция — хоть линейкой проверь — нигде не нарушалась. И все двенадцать штук были, казалось, одного цвета и шли в одной последовательности — цилиндр, кубик, шар, цилиндр, кубик, шар.

— Повеситься охота.— Курчев повернулся к хозяину. Тот собрал газеты, накрыл бак крышкой и сел сверху.

— Думаете?

— Вижу.

Курчев встал с табурета, нагнулся (картина висела почти у пола) и, чуть не уткнувшись носом в холст, разглядел, что каждый из предметов написан чуть по-другому. Например, на втором цилиндре змеились тонкие красные прожилки, на первом кубе виднелось синее пятно. Вообще, хотя с двух метров картина напоминала однообразный ад, вблизи в ней было буйство красок.

Вроде нашего бункера, когда остаешься в нем один, подумал Борис.

— Можно, я расскажу вам про нее? — спросил он художника.

— Не надо. Я вижу, вы поняли,— усмехнулся тот.

— Правда, очень здорово. Я знал, что будет здорово. Только не думал, что настолько. Но ведь этого никогда не выставят.

— Как дело пойдет-повернется. Вообще-то тут ничего такого нет. Ведь я с них писал.— Художник подошел к подоконнику, нагнулся, открыл что-то вроде кухонного шкафа и показал Курчеву все двенадцать цилиндриков, кубов и шаров, уныло стоящих на фанерной полке.

— Это не они,— покачал головой Борис. Оригиналы никакого впечатления не производили.

— Они. Я искал точности. Я их вот сюда ставил.— Хозяин кивнул на стоящую под другим подоконником длинную узкую лавку,— и отсюда,— он показал на место, где стоял перед приходом Курчева мольберт,— писал.

— Я понимаю,— смутился Курчев.— Но важно, кто писал, а не с какого места. Вы только такое пишете?

— Только. Мне позировать трудно. У меня с нервами не порядок. Я должен работать строго в одно и то же время, а модели вечно опаздывают. Я уже год людей не пишу. Вот последняя...

Он вышел в кухню и принес оттуда подрамник высотой в метр и шириной сантиметров в семьдесят, и, когда перевернул его и повесил выше остальных картин, Курчев увидел Ингу в знакомых ему свитере и юбке. Она сидела на стуле и печально глядела прямо на Бориса.

— Я не знал... — выдохнул он и осекся — подумал, а не жил ли художник с Ингой.

— Что не знали? — спросил художник.

— Ничего... Намерзлась, наверно, она у вас!

— Да, было дело, — усмехнулся художник. — Правда, писал я ее в апреле. Хотел ню, она ни в какую. Пришлось так... Муж хотел купить, потом раздумал. Теперь она снова замужем, второй муж купил. К свадьбе, наверно. Деньги принес, а холст не забирает. Да, что я?! Это ведь ваш брат. Верно?

— Ага, — вспыхнул Курчев. — Двоюродный.

— Неплохой экземпляр, хотя немного странный. Пришел позавчера. Принес три тысячи — спросил, могу ли продать. Я бы и за две отдал. Утеплять студию надо.

— Продешевили! — сказал Курчев. — Три тысячи — гроши за такое!..

Хотя у него в кармане было всего сто рублей одной бумажкой, его злило, что Алешка увел у него не только Ингу, но еще и ее портрет.

— Может, и гроши, — кивнул художник. — Но ведь цены нет. Выставком у меня ничего не берет. Ее тоже не взяли. Мерзлячка какая-то, говорят. В МОСХе меня не балуют.

— Вы недовольны?

— Конечно. Надоело взаперти.

— Вы что цены себе без них не знаете?

— Может быть, знаю, а может, нет. Анахоретом жить трудно... Надо, чтобы глядели, ругали пусть, но видели, что делаешь. А те, что таскаются сюда и хвалят, те люди несерьезные. К тому же раз пришли, разумеется, похвалят.

— Вы просто не в настроении, — взволновался Курчев. — Вы же художник. Я ни черта не смыслю в живописи, но по мне вы замечательный художник. На черта вам всеобщая ругань или вообще одобрение? Будь я живописцем, Бога бы благодарил. Сиди себе в углу, пиши и плюй на все.

— А вы сочиняйте рефераты.

— Не то. Ключевский писал, что, если мы не знаем последствий преобразований, мы не можем делать их предметом изучения. А мне, как назло, нужно только сегодняшнее. Такой собачий характер. Хочу сидеть в погребе, но писать о том, что на поверхности. Противоречие?

— Нет. В погребке? Это ничего... Холодно только. Одиноко. Выходит, зарыться решились?

— Если духу хватит. Я к вам пришел поглядеть, как это у других. Но художникам легче. Они при вечности... Я, знаете, обклеил комнату потолочными обоями. Надеюсь, придете и чего-нибудь нарисуете... Теперь вижу — все не то...

— Не в том дело. Я бы с радостью, только не умею, — помрачнел хозяин.

— Как? — не понял Курчев.

— Да так: не умею — и все. Если б умел, у меня бы мастерская была, а не льдина-холодина.

— И спичечного коробка не можете?..

— Нет.

— А как же эти? — кивнул Борис на нижний холст.

— Эти могу. Эти вижу. У меня глаз другой. Простите, устал... Мне идти надо, — вдруг разволновался хозяин.

Борис подождал, пока художник снимет со стен и уберет в кухню работы, и вышел вместе с ним. Ингиного портрета он как следует не разглядел. Разговора не вышло, и все, как прежде, надо было решать самому.

Отчим не лежал в больнице, как сказал Инге Сеничкин. Вернее, в больнице он был, но к воскресенью его отправили под Москву в закрытый санаторий. Навверху еще не решили, уволнять его на пенсию или переводить на другую, низшую должность. И оттого, что еще не поступило указания, в «кремлевке» не ставили диагноз. Давление у Василия Митрофановича прыгало, но не катастрофически. С таким давлением можно и руководить, можно и в отставку.

Сам же Василий Митрофанович хотел на пенсию. Он не то чтобы устал. Просто ему надоело дрожать, тревожиться, давить на связи, наконец, просто надеяться. Жена считала, что пенсия его погубит. Дочка кричала, что на пенсии ему не протащить ее в институт. Один Алешка сочувствовал отчиму, но из сочувствия шубы не сошьешь, и, слоняясь по санаторному парку, Василий Митрофанович чувствовал себя одиноким.

Между тем пригревало солнце, пробивалась редкая травка на клумбах, пора было рыхлить в саду землю, а там и вскапывать огород. Бродя по аллеям, Сеничкин-старший злился, что его держат здесь и золотые дни уходят зря. Дали бы пенсию, и он бы тотчас уехал на Оку, отремонтировал материнский дом, покрасил бы лодку. Но, поворачивая к главному корпусу, он вдруг вспомнил, что материнский дом давно продан, что дача

у него казенная, и, если его до мая выпрут, семье придется торчать летом в Москве или снимать комнату с террасой у частников. Он знал, что жена надеется — может быть, удастся проволынить до лета. Она просто молится об этом из-за Надьки: шутка ли, после тяжелой зимы сдавать полтора десятка экзаменов — и на зрелость, и в институт.

— Надо, необходимо... — ворчал Василий Митрофанович. — Всем надо, а мне отдувайся?.. — и злился на жену, что продала дом на Оке. Сейчас бы скинуть с ног теплые ботинки «прощай молодость», переобуться в сапоги, а еще лучше спуститься с крыльца босым и осторожно пощупать ногой, нагрелась ли земля.

«Устал или постарел? — думал он. — Постарел, наверно, а то домой так бы не тянуло».

И оттого, что пятистенного, с надстроенной мансардой дома в Серпухове не стало, разбирала тоска, и никак не хотелось возвращаться в Москву, в четырехкомнатную квартиру, которая, он знал, останется за ним до смерти.

В эти дни безделья, в перерыве между забиванием «козла», он все чаще вспоминал племянника.

Читать Василия Митрофановича не тянуло. Газеты он проглядывал кое-как, больше для отвода глаз: то, о чем в них писалось, его уже не трогало. В гостиную к телевизору он тоже ходил редко. Отдыхающие его раздражали, и вовсе не потому, что он был здоровее многих. Были и покрепче его. Просто он чувствовал, что знакомые, да и многие незнакомые, но узнавшие о нем от знакомых, смотрят на него, как на человека в их среде временного. Отдохнет в санатории, и больше они его никогда не встретят. Даже санаторский персонал начал позволять себе с Василием Митрофановичем еле заметную небрежность, и это тоже раздражало, хотя он и не подавал виду.

— Матери скажи, чтоб три тысячи привезла, — сказал он Алешке в последнее воскресенье марта.

Среда пришла, но жена не появилась, а в субботу приехала прямо из школы, и денег у нее с собой не было. Но она твердо обещала привезти на неделе. На неделе она опять не приехала, и в четверг вечером Василий Митрофанович позвонил к себе в управление и попросил прислать завтра к полудню зарплату через шофера.

9 апреля был день рождения Курчева. Он снова зарос щетиной, которая догнала несбритые усы. Утром, поглядев в осколок зеркала, засунутого за водопроводную трубу, он огорчился.

Степанида пришла с дежурства, но Курчев, не обращая на нее внимания, бродил в ставшем для него привычном чапаевском затрапезе, натыкался на двери, выступы и старчески шаркал по неровному выщербленному линолеуму кухни.

Всю неделю, сидя на супе и хлебе, отказываясь от кино и выпивки, Курчев всерьез думал о себе. Но ничего придумать не смог.

— Краска. Искусство. Живопись... — бормотал он, валясь на матрас. — Искусство не переделывает жизни. Во всяком случае, не обязано. А если и переделывает, то не портится от этого. Картина оттого, что она висит в Третьяковской галерее или лежит в темной кладовке, не становится ни хуже, ни лучше. Искусство вечно, чего ему спешить? А вот мне... — вздыхал он и сплевывал прямо на пол. От тоненьких дешевых коротких сигарет пробирав кашель.

«Художник сидит себе и мажет, писатель сидит себе и пишет, и дела им нету до подлости, карьеризма и вообще всего... Пишут и свободны. А мне как? В аспирантуре — дерьмо, у абрикосочника опять же дерьмо. Компромисс — не в аспирантуру и не к абрикосочнику, а ни то ни се — кормиться при редакциях черной работой и писать в стол для лучших времен? Но при лучших временах кому это будет нужно? А сегодня кому покажешь? Алешке? Зачем это ему? Марьяне? Так она и без меня все знает. Инге?.. — но об Инге ему говорить даже с самим собой не хотелось. — Да и как-то нехорошо своим показывать, а чужим нет. Вроде ты делишь людей на чистых и нечистых. А хочешь печататься, пиши то, во что не веришь. Не печатаешься — опять же нехорошо, потому что тем самым делишь людей на тех, кому доверяешь, кому — нет. А иначе как? Ведь пропала половина «фурштатского солдата», и неясно — на сортир реферат извели или Зубихину отдали. Или я трус, оттого и сон приснился?.. Все безнравственно... — И он валился на тахту, находя оправдание ничегонеделанию, грязному полу, немытому телу и давно не стиранному белью. — Любое действие безнравственно, а нравственно только... — Тут Курчев не находил слов, потому что был молод и не хотел думать о смерти. Его занимала жизнь, а она не ладилась. — Если хочешь сделать что-то толковое, надо измараться. Если хочешь помешать другим сделать что-то подлое, тоже надо измараться. Чтобы мешать, надо сотрудничать, то есть делать вид, что ты им помогаешь, что ты свой. А чтобы протолкнуть что-то хорошее, притворись, что ты ихний и что именно для ихней же пользы стараешься. А если ты не ихний и не хочешь даже казаться ихним, твое дело швах. Сиди в углу, пока тебя не накروют».

«Что ж, я согласен на угол, — рассуждал он в пятницу утром — в день своего рождения. — Но для начала приберемся в углу, — и он поставил на огонь большую кастрюлю с водой. — Чистый пол никому не помешает».

У него остался червонец, и, протирая хозяйственным мылом прогнившие половицы, Борис вспомнил, что еще придется потратиться на баню. Завтра к восьми утра надо быть на полковом разводе. А там никому дела нет до твоего раздрызга. Если документы не пришли, изволь ать-два на объект. Впрочем, скорее всего, в бункер его не пошлют и пропуск не возобновят. Неделей больше, неделей меньше, но с армией все!..

И тем не менее он чувствовал, что развинтился, и каждая лишняя минута в полку покажется ему годом. И не дай Бог, если тех минут будет с большим перебором: после месяца гражданской войны нервы не выдержат, и он — не ровен час — отколет что-нибудь почище стрельбы в воздух...

Он окатил пол холодной водой и потащил воду к дверям. Пена быстро чернела — и мытье отняло у него больше часа. Он вытер доски насухо, лишь сполоснул ноги, руки и влез в уже непривычную форму. Сапоги от носки и нечистки скукожились; он решил, что займется ими после бани.

Во дворе он столкнулся с почтальоншей, она протянула ему заклеенный белый квадрат телеграммы и крохотный бланк. Он проставил время и смутился: у него не было для нее рубля. Он боялся, что телеграмма от Инги, — она знала день его рождения, но телеграмма была из Ленинграда: «Приеду десятого утром Новосельнов».

Солнце жарило всюю. Курчев, обливаясь потом, еле добрал до бани.

После парной и душа как-то неловко было мелочиться и, выпив кружку пива и вспомнив, что у него кончились лезвия, он зашел в парикмахерскую. Теперь денег осталось только на поезд. Автобусный билет стоит на два рубля дороже. Войдя в подворотню, он вздрогнул: весь двор занимал черный, длинный, сверкающий, как концертный рояль, лимузин ЗИС-110.

— У тебя небось шаром... — сказал Василий Митрофанович. Он вошел в комнату и, не раздевшись, поставил на стол бутылку армянского коньяка.

— Шаром... Отпуск кончился. Я уже ехать собрался.

— Ничего, подкину.

— Далеко...

— На колесах всюду близко. А я пока еще на колесах. Что ж,

открывай, выпьем за тебя! День помню, а сколько тебе стукнуло забыл. Четвертак?

— Двадцать шесть.

— Все равно молодой. Я тебе денег привез. Вот посчитай. Три, как обещал.

— Не надо...— зарделся Курчев, не столько обрадовавшись деньгам, сколько застыдившись: зачем обижал дядьку недоверием?

— Что не надо? Не подарок. Твои. Дом-то тютюкнули!.. Жалко.

— Жалко,— кивнул племянник.

— Ну, тебе не очень... Ты устроился,— сказал дядька, стакивая пальто и оглядывая комнату.— Бедно, но жить можно.— Он открыл шкаф, и Борис чуть не похолодел, но вспомнил, что сунул Марьянин клетчатый чемодан в свой желтый кожаный.

— Жить можно,— повторил дядька.— Молодой еще, чего надо, купишь. А мне уже податься некуда.

— Как так?..

— Некуда. И не спорь. Устал я в Москве. Был бы дом, сразу бы на пенсию, и айда с тобой рыбу ловить. Жениться не вздумал?

— Нет.

— Вот бы и приехал ко мне.

— А вы новый купите. И эти в него...— Курчев подтолкнул пачку купюр, сам удивляясь, как легко отказывается от денег.

— Нет. Купить не то... А эти спрячь,— дядька отвернулся, словно не был уверен, что не возьмет денег.

— Хорошо,— Борис сунул деньги в полевую сумку.— Узнаете?— спросил, вытаскивая из шкафа большую чашку.

— Как же, Кузькина,— усмехнулся министр.— Не любил он меня. А за что, теперь не спросишь.

— А может, вам казалось?

— Может,— согласился Василий Митрофанович, думая о чем-то своем.— Закусывать мануфактурой будем? Сбегай все же напротив, печенья хоть возьми.

Курчев выскочил в коридор и вспомнил, что у него осталось всего четыре рубля.

— Вам письмо,— сказала соседка.

— Печенья не осталось, Степанида Климовна?— спросил он.

— Сушки только.

— Сушки пойдут, дядь Вась?— крикнул он в открытую дверь.

— Давай.

— Вот.— Соседка протянула фаянсовую миску, полную обвалянных в маке маленьких баранок.— Письмо,— повторила,— возьмите.

Тут только Курчев глянул на конверт и узнал Ингину руку.

— Ты чего, пить или читать собрался? — Василий Митрофанович высунулся в коридор.— Серьезное, что ли?

— Да нет. Так...— застыдился Курчев и, внеся миску с сухарями, положил конверт на край стола, адресом вниз.

— Читай. Я подожду, хоть и разлито,— кивнул дядька на две кружки — жестяную и глиняную.

Курчев поднял жестяную и чокнулся с дядей.

— Ну, расти веселый,— обнял его Василий Митрофанович, и Курчев, расчувствовавшись, с пьяным мальчишским форсом сунул конверт в полевую сумку: дескать, кто мне сейчас важнее вас, дядя Вася, буду я какие-то письма читать, отвлекаться!..

Попеременно, а ближе к доньшкуну и перебивая друг друга, племянник с дядькой вспоминали разные случаи из давней жизни, и дядька все чаще шмалял Бориса по затылку.

— Хороший ты парень, Борька,— расчувствовался под конец министр.— Только деньги зря не спускай.— Он кивнул на полевую сумку и с уважением, словно это было именное оружие, повесил ее в шкаф.

«Так мне же с ней ехать»,— хотел сказать Курчев, но в подпитии постеснялся.

— Торопишься? — улыбнулся дядька.— Ну и правильно. Служба прежде всего. Тебе к которому?

— Все равно. Главное, чтобы завтра к разводу.

— Дорога хорошая.

— Асфальт.

— Тогда не тушуйся.— Министр надел на него шинель, перетянул ремнем и вытолкнул в коридор.

— Чего я всегда жалел, Борька,— сказал Василий Митрофанович, стоя за спиной Курчева (тот навешивал на дверь замок),— что ты мне только племяш. Соображаешь?

— Угу,— кивнул Курчев, чувствуя, что родич пьян не меньше его.

Ключ от замка, незаметно от дядькиных глаз, он пристроил на дверной притолоке.

Удобно, ничего не скажешь, думал Курчев, растянувшись на заднем сидении ЗИСа. Дядьку они уже завезли.

Быстро темнело. Время шло к девяти, еще не поздно было

сказать шоферу, чтобы развернулся и погнал в Москву. Шофер бы только обрадовался, а Курчев заскочил бы домой и прочел Ингино письмо. Но неловко было перед дядькой: шофер наверняка бы стукнул. Минут двадцать назад у проходной санатория дядька сказал водителю:

— Завтра, Вадим Михайлыч, подавай к часу. Лекций у Алешки вроде нет, и Марьянка, говорила, освободится пораньше...

Дядька сказал это небрежно, но чувствовалось, что он хотел показать племяннику и шоферу, — мол, в семье у него полный порядок.

«Склеилось у Алешки с Марьяшкой, вот и чудесно! — думал Курчев. — А у Инги, значит, расклеилось, потому и письма мне шлет», — но тут же переключился на себя: в углу-то в углу, а на ЗИСе катаешься. Раз такой честный, пешком ходи. А то армии два года от тебя было столько пользы, сколько сгущенки от козла. А тугриков получил немало. Охота писать в стол? Пиши. Но раз общество твое писание не прочтет, оно ему без разницы.

За окнами стало совсем темно — шофер то и дело переключал фары с ближнего света на дальний. Наконец они выехали на отводное шоссе, а на нем до самого «овощехранилища» им не встретилось ни одной машины.

— Спасибо. Дальше нельзя, — сказал Курчев и козырнул водителю.

Под зачарованным взглядом солдата роты охраны ЗИС, развернувшись возле шлагбаума, помчался в столицу, а Курчев пролез под полосатой перекладиной и очутился в полку, толком не зная, кто он теперь — офицер или демобилизованный.

На слабо белевшей под тусклой луной бетонке мысли роились невеселые. Военный городок приближался с каждым шагом, и на душе становилось все безрадостней.

— Отвык, распустился... — бормотал Курчев.

Больше всего ему не хотелось натолкнуться на Рашупкина. И на особиста тоже.

Вспомнив, что сапоги у него не чищены, Курчев спустился в балку, надеясь, что там не подсохло: свежая грязь на обуви выглядит приличнее старой. Но в балке было сухо.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант, — раздался возле забора знакомый голос. Дневальный Черенков, отодвинув известные всему полку доски, сидел на нижней перекладине. Рядом с ним приткнулась вороватая девка, что приходила из ближайшей деревни стирать офицерам и убирать в их домике.

— Напугал ты меня, — вздохнул Курчев. — Дуй отсюда, а то хватятся.

— Не хватятся... У нас третий день подъем в пять и без мертвого отдыха... Все давно матрасы давят.

— Все равно иди. Я тебя тут не видел.

Порядочки, думал он, вспомнив, как Черенков два месяца назад избивал почтальона, а теперь сам тискает девку.

Черенков снова запахнул девку в свой стеганный бушлат. Фонарь тут не горел, да и весь городок выглядел сонно. Нигде не было света. В курчевском доме тоже.

— Смотри, явился не запыхался! — засмеялся Морев, едва Курчев открыл дверь.— Вписывайся. Мы только начали.

За столом кроме Морева сидели Секачев и Павлов. Залетаев спал, второй летчик-связист, вернувшийся из отпуска, тоже спал, накрывшись чужой подушкой.

— Вписывайся,— повторил Федька.

— Разве что до утра, а то спать не на чем,— сказал Курчев, оглядывая две пустые койки без матрасов, свою и Гришки Новосельнова.

— Пехота в отпуске,— сказал Секачев.— У них ляжешь. Вписывать?

— Четыре рубля всего,— вздохнул Курчев, бросая на пустую койку шинель и шапку.

— Поверю,— насутился Секачев.— Кепор продашь, а то мой сперли.

— А я в чем?

— Лысым будешь,— засмеялся Морев.

— Тише нельзя? — буркнул из угла Залетаев, приподнял голову, но, увидев Курчева, отвернулся к стене.

— Женился? — кивнул на летчика Курчев.

— Нет, но она его обкрутит,— проворчал Секачев.— Батя им жилье обещал: Забродин в госпиталь лег, так что комната освободилась.

— Не женился?

— Кто?

— Кто, кто? Инженер.

— На Карпенке? Так ты ведь с ней!

— Я?

— Говорили — ты. Она как взяла у летчика адрес, не возвратилась, а вещи ее здесь.

— Иди врать...

— Значит, перевелась на другой объект. Жалко. Девчонка что надо.

— Я тебе, историк, впишу двести на полку,— зевнул Морев.

— Нам, татарам, одна муть...— Курчев придвинул табурет к столу. Его шархнуло известие о Вальке.

— Сдавай, большевик,— Морев пододвинул колоду Федьке.
— Сдай на мизер, чтоб не больше трех ловилось,— сказал Курчев.

— Разве Федя-большевик когда сдаст? — вздохнул Секачев.

— Чего это тебя так окрестили? — спросил Курчев.

— Скажи, скажи,— подмигнул Федьке Морев.

— Хватит вам,— отмахнулся Федька.

— В партию подал,— пробасил Секачев.

— Врешь!

— Чего врать? Мы со смеху чуть в штаны не надули, а Колпиков ничего — принял. Покажи, чума, кандидатскую корочку.

— Правда, покажи,— попросил Курчев — он думал, что его разыгрывают.

— В сейфе она,— вспыхнул Федька.— Ну что, мизериться будешь? — Он уткнулся в распущенные веером курчевские карты.

— Да нет,— Курчев уже потерял интерес к игре.

Через полтора часа, почти все время пропасовав, он выиграл восемнадцать рублей и, перетащив из волховской комнатенки матрас и подушку, скинул сапоги и накрылся шинелью.

— Спишь? — спросил в темноте Федька.

— Сплю,— машинально откликнулся Курчев, думая, как-то завтра его встретит Ращупкин.

— Батя тут чеховстил тебя,— сказал Федька.

— А тебя? — усмехнулся ехидно Курчев.

— Меня — нет. Меня теперь не укусишь.

— Это как взяться. Пить бросил?

— Пить — нет,— засмеялся Федька, но тут же посерьезнел: — Без корочки офицеру нельзя. Какая разница, когда подавать, сейчас или через год. Уж если решил, лучше сразу... Ты выскочил, а мне что — пропадать?..

— За что меня Журавль ругал? — спросил Борис.

— За все сразу. Трус, говорит... В воздух стрелял, а потом деру... Дня лишнего, говорит, его не потерплю. Как приедет, пусть идет к начфину.

Утром Курчев на развод не вышел. Сидел на койке, меланхолично разглядывал сапоги. Волхов уехал в отпуск, чистить их было нечем. Заметив, что пуговица на шинельном погоне слева оторвалась, он сорвал погон, потом — для симметрии и второй. В мятом кителе и в грязных сапогах он спустился к штабу. Навстречу никто не попался.

Круглолицый начфин сидел у себя с каким-то незнакомым, огромным, мордатым младшим лейтенантом.

— Вот он,— кивнул начфин на Курчева.— С него возьмешь и как раз будет. Сдавай, Курчев, удостоверение, бери справку и три косых. По вчера рассчитал. За «молчи-молчи» выходное не положено.

Курчев вынул удостоверение личности, взял справку — теперь единственный его документ — и пересчитал купюры. Три тысячи одними пятидесятками оттопыривали ему карман.

— Куда кладешь? А ему? — сказал начфин, кивая на мордатого, и Курчев понял, что это новый комсорг.

— У меня заплачено,— он достал комсомольский билет. Разменивать новые купюры ему было жаль.

— За март уплачено.— Комсорг поглядел в новенькую ведомость.— А за апрель?

— Сколько?

— Полтора процента,— сказал начфин.

— Не пойдет. Апрель только начался. В Москве заплачу, да и с выходного не положено.

— Положено со всего,— посуровел комсорг.

— А мне двадцать шесть стукнуло...

— Продлеваться не будете?

— Нет.— Курчев оставил билет на столе.

— Ох, ты и жмот,— засмеялся начфин, но Курчев уже шел к двери.

В штабном коридоре, засунув руки в карманы галифе, стоял капитан Зубихин.

— Здравия желаю,— сказал Курчев.

— Привет. Освободился?

— Ага.

— Ну, тогда пошли. Кой-чего тебе покажу.— Он взял Курчева под руку.— Специально для тебя приехал.

— Еще чего? — Курчев вырвал руку. Ему почудилось, что его арестовывают.

— Не дрожи. Или совесть нечиста?

— В чем дело?

— Ни в чем. Хотел тебе кой-чего показать. А то уедешь и не узнаешь. Пойдем, жалеть не будешь.

— Некогда. Паспорт получать надо.

— Пошли, пошли.

— У тебя что — ордер на меня? — не выдержал Курчев.

— Дурак.— Зубихин сплюнул.— Я с тобой как с человеком...

Они стояли на плацу, и Курчеву казалось, что полк во все глаза глядит на них из окон.

— «Надо, чтобы каждый человек разделил тетрадную страницу...» — медленно, словно трогал с места тяжелый состав, проговорил Зубихин, и Курчев побледнел и припомнил сон про Сталина.

— Чего стоишь? Пойдем отдам.— Особист снова взял его под руку.

За пищеблоком, в тесной и темноватой комнатенке, Зубихин отпер сейф и протянул Борису несколько страниц третьего экземпляра.

— Сожги и больше не пиши.

— Кто дал? — снова не выдержал Курчев.

— Много будешь знать, загремишь...— Особист пододвинул к краю стола консервную жестянку.— Пальцы не спали,— он сам поднес зажженную спичку к несчастному реферату.— Садись,— он кивнул на табурет, а сам сел на койку и, запустив руку за стол, вытащил ополовиненную бутылку.

— Не закусывая, можешь?

— Ага.

— Тогда начинай. Стакан у меня, понимаешь, один.

«Еще бы, кто с тобой, кроме меня, пить будет?» — подумал Курчев.

— Ваше здоровье.

Особист кивнул, взял у него стакан и вылил себе все, что оставалось.

— Думаешь, я зверь, да? — спросил он, поморщась.— Не зверь. Я почти два курса архитектурного кончил. Если б не война, я бы, может, дома строил. Думаешь, заливаю, не веришь?.. Ну и зря... Ты мягкий. Из тебя чего хочешь лепи. Был бы ты моим братом, наставил бы тебе фонарей, чтоб не сочинял такого...— Он кивнул на догоравшие в консервной коробке страницы.— И остальные тоже сожги. А то на гражданке ребята пошустрей будут. Понял?

Курчев чувствовал себя так, словно его облевали с головы до ног.

— Голова у тебя соображает.— Особист вытащил из кармана пачку «Беломора» и прикурил от догоравшей страницы.— А раз соображаешь, нечего писать. Молчи в тряпочку, не то попухнешь. В аспирантуру тебя не взяли?

— Нет.

— Ну, и не надо. Сунься куда-нибудь на завод. На сдельной больше любого кандидата зашибешь. И еще, говорю тебе как человеку — женись. Хоть на той чернявенькой. Или уже женился?

— Да нет.

— Чего ж нет? Она инженеру колун повесила.

— Говорят,— выдавил из себя Курчев.

— Будто ты не знаешь...

— Нет,— он помотал головой.

— Ну, как хочешь. Я с тобой по-людски. Сам бы таким был, если б не война...— вздохнул Зубихин.

Курчеву показалось, что особист пьян; ему стало жалко этого одинокого в полку человека. Комнатенка его была не то чтобы грязная, но какая-то безнадежно запущенная, будто никто из солдат не соглашался тут убирать, а если и соглашался (в армии особенно не поупрямишься!), то, смахнув пыль, пульей вылетал отсюда. Стол, тумбочка, табурет, стул, койка, застеленная суконным одеялом,— все было самое обыкновенное, армейское. И все-таки комнатенка походила не на дежурку, а на офицерскую гауптвахту. Будто Зубихин был арестован, и ему спиртное сюда приносили втихую.

— Да, война,— вздохнул он.— Ты ведь войны не нюхал?

— Не нюхал,— ответил Курчев. Ему не терпелось выско-
чить из этой камеры.

— Что ты сидишь, как на гвоздях. Я говорю, мы воевали, а что получили? Я вон сколько в окопах мерз! С третьего дня войны. А чего получил? Капитан — только и всего. А Ращупкин с бабами воевал, а скоро папаху нацепит.

— Сейчас весна,— сказал Курчев.

— Дадут, так и в солнцепек наденет. Сейчас у него больше шансов, чем на войне. А мне на фронте, Курчев, лучше было. Не веришь? По мне бы — век война не кончалась!..

«Еще бы,— подумал Курчев.— Небось тебе землянку оборудовали, и ты резался там с утра до ночи в карты с перерывами на допросы. Все мечтали побыстрее немцев разбить и по домам, а ты — нет».

— Песню «Играй, мой баян» пели? — спросил он Зубихина.

— Какую? — вздрогнул тот, будто проснулся.— При чем это?

— Да нет, просто так вспомнил,— сказал Курчев и пожалел, что спросил.— Просто там слова «О доме родном, о времени том, когда мы вернемся домой...»

— Не знаю, я не пою,— перекатывая желваки, скривился капитан.— На войне все понятно было. Кто воет, а кто сачкует. А теперь разбери-пойми. Ращупкин гоголем ходит, а офицер он дерьмовый. Больше насчет баб. А ты, дурак, ключи ему даешь.

«На пушку берет? — покраснел Борис.— Или Ишков постукивает?»

— Чего краснеешь? Насквозь, Курчев, тебя видно. Даже скучно говорить с тобой. Что у него за баба?

— Не знаю. Я не видел.

— Ты это мне брось...

Нет, Ишков не стучит, обрадовался Курчев за Ращупкина. Стучал бы — Зубихин бы не спрашивал.

— Я ее в глаза не видел. Они довезли меня, и все...

— Брось, брось...— повторил Зубихин.

«Наверно, видел, как я грузился с матрасом,— решил Курчев.— А Ишков ни при чем».

— Ну, что ж. Везунец ты, лейтенант. На гражданке только не влопайся.

— С чего бы?

— Да вроде бы не с чего. Пистолета в воздух пулять там не будет. Ты ведь Ращупкина тоже не любишь?

— Он не баба,— нахмурился Курчев, соображая, не догадался ли Зубихин, что у них общая женщина.

Но Зубихин вдруг брезгливо поморщился и, не поднимаясь с койки, протянул ему руку:

— Ладно, бывай.

И Курчев, стараясь не спешить, вышел из тусклой, похожей на тюремную камеру, комнатенки.

В поезде Инга письма так и не написала, а в Кисловодске первые дни ушли на утешение предков. Врать было мучительно, а мать все допытывалась, как умирала Вава. Отец молчал, но Инга чувствовала, что он жадно вбирает каждое ее слово, и она непрерывно рыдала, надеясь, что слезы заставят их прекратить расспросы.

Наконец родители чуть успокоились, вновь стали брать ванны, пить воду, и Инга смогла написать Курчеву: «Борис!» Подумав минут десять, она вывела своим угловатым почерком новое слово «Боренька». Но тут же, скомкав лист, начала писать быстро, ничего не зачеркивая:

«Боря! Так мне легче к тебе обращаться. Я, когда шла на вокзал, увидела знакомое, противное, правда, уже заштопанное пальто, которое несло в правой руке твою машинку, и мне стало горько. Зачем ты ее отдал ему? Я хотела у него ее отнять. Но Бороздыка сказал, что ты его обидел и он тебе машинку не вернет.

Боря, не знаю, как с тобой разговаривать. Лучше бы я встретила тебя на два месяца раньше, а еще лучше, если бы я тебя не встретила, а через четыре дня, вернувшись (у нас биле-

ты на седьмое), увидела бы тебя впервые. Тогда мне было бы хорошо и я бы в лепешку расшиблась, чтобы тебе тоже было хорошо. Боря, не сдавай ком. билет. Продлись. Очень тебя прошу. Ну, просто советую. Знаю, у меня нет права ни о чем тебя просить. Все так. Но тем не менее пусть одна женщина, которой ты не знаешь, но для которой ты... ну, существуешь, очень тебе советует: не сдавай.

Тебя возьмут на любую кафедру. Хочешь, я натаскаю тебя по-английски, если ты, как говорил, в немецком ни бум-бум. Но у тебя, кажется, есть знакомая, которая знает немецкий. Тебе каждый поможет. Все равно, что ты ни сделаешь, ты чистый, цельный человек. Я в тебя верю.

Слышишь?! Я, наверно, тронулась от всего — от смерти тетки, от тебя, от того, что была с тобой, а потом не с тобой, и теперь ни с кем.

Наверное, не надо тебе это писать! Прости. Но врать я не люблю, не умею и написала, чтобы ты все знал. Но ты и так знаешь. Еще раз прости.

Вот я и призналась тебе, и сразу стало скучно и пусто.

Да, совсем забыла, хотя все время об этом думала. Я pošлю письмо, но так, чтобы оно пришло ко дню твоего рождения. Поздравляю тебя, Боренька, Боря, Борька.

Ты мне позвони, когда получишь письмо. Но, наверно, я все равно не выдержу и прибегу в твою конюшню. Уехал ли твой товарищ? А тебя демобилизовали?

Инга».

— Шапку продашь? — спросил Секачев, когда Курчев вернулся от особиста.

— Бери так. Ремень нужен кому? — Курчев поднял с кровати сетки портупею.

— А китель? — пошутил Федька.

— Деньги некуда сунуть, а то бы отдал.

— Ты, Федька, утонешь в нем.— Морев оценивающе поглядел на щуплого Павлова.— Да и китечек уже того... А вообще, сыпь отсюда, историк. Надоел.

— Понял,— помрачнел Курчев и вышел из финского домика.

Было тепло, даже жарко, и, пролезая между досками забора, Курчев подумал, что стоит вернуться и отдать ребятам китель, переложив деньги в карманы бридж. Но, боясь, что пути не будет, нырнул в балку, вылез на пустой бетонке и за шлагбаумом поймал ЗИС-151, который дополз за два часа до метро.

Гришка, расставив раскладушку, читал Теккеря.

— Чистый хитрованец. Картина Репина «Не ждали»,— улыбнулся он Курчеву, глядя на его обеспогоненную шинель и запыленные сапоги.

— Нет, я брился,— провел Курчев по еще гладкой щеке.

— Баба твоя тут была. Чемодан свой искала. Все перерыла и, понимаешь, нашла. Вот что значит лягашка. Ты зачем его в свой чемодан запрятал?

— Да так...

— Знаю, Ращупкина боялся. Чудное дело. Глянул я в окно — на той стороне Сережка Ишков у «Победы» колдует. Потом эта фря переходит улицу, а подполковник у нее чемоданчик берет. Живет она с ним?

— Не знаю,— Курчев кинулся к гардеробу. Полевой сумки не было.

— Погоди не пыхти. Записку на,— протянул Гришка сложенный вчетверо листок.

«Боря,— прочел Курчев,— нам нужно поговорить. Василий Митрофанович болен, нельзя пользоваться слабостью нездорового человека. Кроме того, мы покупаем дом на Оке и там у тебя будет свой угол. А пока верни деньги, Боря, если хочешь считать себя порядочным человеком.

10.04.54

Твоя О. В.»

— Теперь бери.— Новосельнов отпер свой саквож и вытащил оттуда потертую офицерскую сумку.— Три тысячи и какое то письмо.

— Я с самого начала знал, что это деньги гиблые,— сказал Курчев,— тетка даже дом готова купить, лишь бы не бросать трех тысяч на ветер.

— Ну и дурак,— покачал головой Гришка.— Я бы с такой еще три слупил. Разоралась тут, права качает.

— Ладно, кончай. Надолго приехал?

Ему не хотелось при Гришке читать письмо.

— Мешаю? — спросил тот.

— Нет. Просто спрашиваю.— Курчев сбросил с себя жалкую форму и влез в теперь уже не новый венгерский костюм.

— Ты куда это?

— На шахматы,— сказал он неожиданно для себя, хотя минуту назад и не думал о матче. Там, решил, и прочту.

— А я, может, не вернусь. У Игната заночую. Про тебя спросить?

— Спроси.

— Но ты как, надумал?

— Нет.

— Ну ты штрейкбрехер... Вернее, этот, не штрейкбрехер, а как это называется? Слово забыл. Ну, тот, кто злостно филонит.

— Саботажник.

— Вот он. Самый ты заядлый и вредный саботажник. Не скажу, что ты злой, по отдельности, ты, может, людей и уважаешь, но всех вместе не перевариваешь. Ты за каждого, но против всех. Вот кто ты. Плохо тебе придется, Борька.

Курчев, не отвечая, оглядывал воротник голубой в полоску рубашки и, поколебавшись, в конце концов бросил ее в нижний ящик шкафа.

— Ты что, женишься? — спросил Новосельнов.

— Нет. Просто первый день свободы.

Ему хотелось чувствовать себя как можно уверенней, когда он распечатает письмо.

— Ключ получше притырь, — сказал он, уходя.

— Ладно. Я еще не скоро. Поваляюсь пока... — вздохнул Новосельнов, которому вовсе не хотелось идти к Игнату.

В эту субботу Ботвинник творил чудеса. Отступить чемпиону было некуда. Три партии подряд он продул и теперь отставал от Смылова на очко.

Зал жужжал, мигалка «Соблюдайте тишину» не гасла, все понимали, что сегодня непременно что-то будет. Игралась двенадцатая партия, и, если Смылов устоит, Ботвиннику крышка: остальных двенадцати встреч чемпион не выдержит — как никак он старше на целых десять лет.

Недовольно оглядев соседей, Курчев достал из пиджака конверт и медленно, осторожно, будто в нем была денежная доверенность или судебное определение, провел ногтем по краю.

Инга вернулась в Москву в пятницу вечером и обрадовалась, не заметив в квартире никаких следов доцента. В пепельницах не было окурков, пол был подметен.

— Спасибо, — подмигнула в коридоре Полина.

Позже, когда родители легли, Полина внесла в Ингину комнату холст.

— Куда мне? — вспыхнула Инга.

— А мне? — удивилась Полина. — Передать просил. Не выбросишь. Хотя, как подруге скажу, гадость. Не похожа совсем. Он что, дорогой?

— Не знаю, — потупилась Инга, соображая надо или не

надо благодарить Сеничкина и что сказать завтра утром родителям.

— Совсем разнюхались? — вздохнула Полина.

— Да. Он к жене вернулся.

На другой день, в субботу, Инга в библиотеку не поехала, ждала звонка, но телефон молчал. Холст она задвинула в коридоре за сундук.

День тащился еле-еле. Мать и отец ушли из дому: наверное, отправились в крематорий договариваться о нише.

Наконец в шестом часу в пустой квартире зазвенел звонок, раз-другой-третий,— казалось, звонки ударили в оконные стекла, сразу стало весело, необыкновенно светло, будто это звонил не телефон, а само солнце. Инга кинулась к аппарату и услышала невыносимый красивый баритон Бороздыки:

— Вы были правы. Я поступил как идиот. Незачем было возить машинку. Я переходил озеро, и она бултыхнулась в полынью.

Врет, подумала Инга.

Бороздыка и впрямь врал: никакого озера по льду он не переходил, а, крепко выпив, остался ночевать у смотрительницы краевого музея и подарил ей утром от широты души на память курчевскую машинку, а по возвращении в гостиницу был изрядно поколочен своей нареченной Заремой Бороздыка.

После гостиничного скандала прошла неделя, Зарема утихомирилась, почти поверив в историю с переходом озера, и теперь Игорь Александрович уже вполне уверенно отработывал версию о потере машинки.

— Это подло.— Инга бросила трубку.— Подло,— повторила она, надела пальто и выскочила на улицу.— Подло и гадко, но и я сама не лучше его,— шептала она, приближаясь к Переяславке. Хотя лейтенант вряд ли обрадуется, узнав, что Бороздыка утопил машинку в озере, ей почему-то было легче после этого прийти к нему.

— Ушел,— сказал ей беззубый и лысый его приятель, с неохотой поднимаясь с раскладушки. В руках у него был первый том ее Теккеря.

— А он скоро вернется? — Инга улыбнулась ему.

Все-таки приятнее было встретить в этой комнате облезлого мужчину, чем красивую женщину.

— Вроде на шахматы пошел. Нарядился и пошел от радости, что демобилизовали. А вас давно не было...— вдруг осклабился лысый, и Инга догадалась, что он все знает.

— Я уезжала.

— Передам, что заходили. Обрадуется,— подмигнул лысый.

И вот, купив у барыги за полтора червонца семирублевый билет, Инга поднялась на верхний ярус концертного зала и среди пестрых, жужжавших, забивших все места и проходы любителей шахмат пыталась найти Курчева. Но сверху они все до того походили друг на друга, что отличить их не было возможности. Среди них встречались и военные, но уж больно тучные.

Нарядился и пошел, вспомнила Инга и поняла, что лейтенант должен быть в штатском, а в штатском она его ни разу не видела. И вообще, раз он нарядился, его может здесь не быть. Мужчины тут были в основном потрепанного вида, а о женщинах и говорить не стоило. Все они были либо очкастые, либо настолько невыразительные, что посетительницы научных залов по сравнению с ними казались манекенщицами из иностранных журналов мод.

Мальчишки и старики бушевали, будто на трибуне стадиона. Ругаться, правда, не ругались, но неодобрения своего не прятали. Костили и Смылова и Ботвинника, но Инга не слушала их, она целиком ушла в поиски лейтенанта, но нет-нет вздрагивала — представляла, каково здесь было Ваве.

Гул в зале нарастал, в партере кое-кто из зрителей вскакивал с мест. На них шикали, а какой-то мужчина со сцены умолял соблюдать тишину.

Под большой демонстрационной доской слева и справа чернели цифры «29». Потом Ботвинник что-то двинул на маленьком столике, и тут же под огромной демонстрационной доской вылезла слева цифра «30», а посередине доски исчезла черная пешка и ее место заняла белая. И тут же черный конь, который пасся где-то в углу, прыгнул в центр, и под доской справа тоже появилось «30».

— Ура! — закричали на галерке.— Ботинку конец.

— Бей Ботинка! — раздалось внизу.

— Кранты! Кранты! Спекся,— слышалось со всех сторон.

Почти весь зал поднялся и заплодировал. Но тут Ботвинник неожиданно двинул пешку на черного короля.

«Шах»,— машинально подумал Инга.

В зале опять зашумели, многие кинулись к дверям, и Инге стал лучше виден партер. Там по-прежнему было скученно, добрая половина зрителей уже стояла, и тут Инга разглядела в шестом ряду человека, который держал в руках листки (не шахматный бюллетень, а именно небольшие листки!), и хотя она ни-

когда не смотрела на лейтенанта с такой высоты, она догадалась, что это он.

С балкона его голова не то чтобы сияла гладью лысины, но плешь все же намечалась, и в первую минуту Инга ощутила неловкость, словно она подглядывала за Курчевым.

Но вот Смыслов забрал ладьей пешку Ботвинника. И Ботвинник под страшный вопль зала сунул ферзя на последнюю линию и прогнал черного короля, а Курчев по-прежнему не отрывался от письма, которое, наверно, уже читал в десятый, если не в сотый раз, и Инге сейчас больше всего на свете хотелось узнать, о чем он думает.

— Проиграл, — мрачно сказал светловолосый парень рядом с ней, сочувствовавший, очевидно, Смыслову. На доске слон белых напал сразу на три фигуры претендента.

Зал быстро редел. Все спешили вниз. Инга тоже спустилась в фойе партера.

— Все. Конец, — раздался крик, и, заглянув из фойе в зал, Инга увидела Курчева. Теперь он тоже глядел на доску. В очках и штатском он казался незнакомым. К тому же все время морщился. То ли жалел Смылова, то ли у него болели зубы.

Толпа валила из зала в фойе, а Инга все ждала, не повернет ли Курчев голову. Ее со всех сторон толкали, но она ждала, не уходила. Но вот Курчев снова стал читать письмо. Медленно прочел одну страничку, перевернул, стал читать вторую, а в зале все еще хлопали, и на сцене Ботвинник со Смысловым снова стали, уже быстрее, чем раньше, передвигать фигуры. Но на демонстрационной доске ничего не передвигалось, только чернело на белой картонке «Черные сдались».

«Ну, что же он?» — чуть не рыдала Инга: между ней и сидящим в кресле Курчевым уже никого не было. Зал опустел, и, если бы Курчев поднял голову, он бы сразу ее увидел.

«Подойти или нет?» — колебалась она; последние десять метров до его кресла пройти было труднее, чем от ее дома до его дома и от его дома — в зал.

И тут Курчев поднял голову, вздрогнул, сорвал очки и беспомощно посмотрел на Ингу.

Он ни о чем не думал. Просто вспомнил, как три года назад, весной, в Запорожье припекало солнце и солдаты играли в волейбол. И вдруг приехала из полка врачиха и всей отдельной батарее вкатила страшные противочумные прививки, от которых температура сразу подскакивала до 39°, а то и до 40°.

В то время газеты были полны баек о бактериологической

войне в Корее. Хьюлетту Джонсону показывали мешки, сброшенные с американских «летающих крепостей», будто бы полные чумных козявок, и в Запорожье командование тоже давило на бдительность. Правда, вакцину вкололи в субботу, чтобы солдаты за воскресенье могли отлежаться.

Как всегда, командование всего не учло (а, возможно, и учло, но не придало значения подобной мелочи). Вся штука в том, что солдаты могут хоть весь год валять ваньку, но не позволят себе — температура не температура — пропустить ни завтрака, ни ужина, не говоря уже об обеде. Суточный наряд в ту субботу стоял шалаяй-валяй, дневальным разрешили сидеть у тумбочек, однако рабочим по кухне, как всегда, не было снисхождения.

И без противочумных уколов кухонный наряд в этом не приспособленном под казарму здании давался тяжело: печки дымили, котлы пригорали, мойки не было, миски мылись в тазу, и еще была куча неприятных обязанностей, так что рабочий по кухне за сутки не успевал поспать и полчаса. А тут еще противочумная порция под лопатку и страшный жар в теле.

Курчев всегда с содроганием вспоминал эту субботу. Безнадежное чувство стыда и страха охватило его еще на волейбольной площадке, когда, подавая мяч, он услышал крик «Уколы!», и достигло высшей отметки через два часа, когда полуживой от прививки младший сержант Зайцев построил в казарме пятых таких же полудохлых солдат и, корчась от боли в лопатке, топтался перед строем неполного отделения.

Злобясь от того, что другие сержанты сумели защитить перед старшиной своих людей, а он не смог и, как всегда, самое неприятное досталось ему, вернее его подчиненным, маленький, щупленький, похожий на пацаненка сержантик, подрагивая ножкой и вертя хохолком, злобно растягивал удовольствие.

— В кухонный наряд пойдет...— вроде бы размышлял он вслух, и глазки его загорались влажным блеском — глазки даже не вора, а шестерки, который пробует свою силу на слабосильном фрайеришке.— Ка-во бы та, ето самое, послать...— тянул душу Зайцев и, как ни страшно было с такой температурой висеть вниз головой, отскребая с котла нагар от каши и серый жир от борща, но стоять в строю во власти этого полудурка и тоскливо надеяться: вдруг пронесет! — было еще невыносимей.

Курчев посмотрел на ребят и понял, что каждый молится про себя: «Пронеси, Господи, пронеси, воля Твоя, пронеси...» Больше ничего их лица не выражали. А сучонок Зайцев, подрагивая ножкой, выкобенивался, расхаживая вдоль строя.

И тогда Курчев не выдержал.

— Да не тяни ты, а то как въеду...— сказал он и двинул на опешившего сержанта.— Я пойду.

— Но-но,— выкрикнул еще не нарезвившийся Зайцев.— На губу захотел? Так я оформлю.

— А ты не тяни, а то как вытяну! — повторил Курчев, и младший сержант, вспомнив, как, впервые попав в кухонный наряд, Курчев едва не огрел топором старослужащего повара-ефрейтора, любившего поизмываться над молодыми солдатами, тут же сник и назначил в пару с Курчевым Барышева, тихого и мирного парня, одинаково охотно и плохо работающего любую работу.

В ту субботу Барышев дважды плескал водой в лицо Курчеву: кровь ударяла ему в виски — ему казалось, что он не висит вниз головой в котле, а проваливается в черную яму. Сутки прошли, как в тяжелом бреде, но все же прошли, а тоскливое безнадежное чувство зависимости от чванливого сержантика запомнилось навсегда.

И сейчас, глядя на стройную Ингу, которая ничуть не была схожа с маленьким, смахивающим на злобную облезлую дворнягу Зайцевым, Курчев вновь испытал этот унижающий, тягостный, постыдный страх обреченности — и, боясь и не желая объяснений, оправданий, выяснений, всех этих длинных, ненужных, выматывающих душу разговоров, и подавляя в себе отчаянную жажду бегства, как тогда из строя, он вышел сейчас из своего ряда и быстро пошел по проходу.

И хотя он знал, что у него впереди ничего веселого и что они с Ингой здорово измучают друг друга, он все-таки прошел через поредевший зал и, ни секунды не медля, обнял ее в пустых, распахнутых настежь дверях.

1969—1971 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая ПОЛК И ГОРОД

На холоде и в тепле	3
ЧП	20
Сушеные абрикосы	37
Инга	59
Дознание	83

Часть вторая ГОРОД И ПОЛК

Караульщик Бороздыка	106
Страсти по доценту	120
Страсти по кентавру	137
Штатский трёп	168
Штабные амбиции	198

Часть третья. ГОРОД

Жилье	218
На свету	248
В темноте	269
Шахматы	288

Часть четвертая. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Кто куда	313
Биллиард	329
Все дальше в сторону	338
На круги своя	357

Владимир Николаевич Корнилов

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Редактор
А. Бармасов

Художник
Н. Старцев

Художественный редактор
М. Кудрявцева

Технические редакторы
Л. Беседина, Н. Привезенцева

Корректоры
З. Кулемина, Л. Царская

ИБ № 4483

Сдано в набор 25 01 90 Подписано к печати 15 08 90 Формат 60×84¹/₁₆ Бумага типографская № 2 Гарнитура «Литературная» Печать офсетная Усл печ л 22,32 Усл кр-отт 22,78 Уч-изд л 23,99 Тираж 50 000 экз Заказ 575
Цена 1 р 60 к

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

Корнилов В. Н.
К67 **Демобилизация: Роман.**— Моск. рабочий, 1990.—
381 с.

Действие романа происходит в 1954 году Молодой офицер, успевший немало прослужить к тому времени, хочет вырваться из казармы — куда, он еще сам толком не знает В романе передано предощущение «оттепели» люди, образно говоря, падают, поднимаются, потом снова падают и снова поднимаются, даже заставляют себя распрячься «Демобилизация» — это произведение о духовной мобилизации человека Роман полон характерных примет быта и времени В 1976 году «Демобилизация» была издана на Западе

К 4702010201—062 92—90
М172(03)—90
ISBN 5—239—00842—6

ББК 84Р7—4

1 р. 60 к.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

